

А. СОЛЖЕНИЦЫН



**РАКОВЫЙ
КОРПУС**

YMCA - PRESS

Париж

РАКОВЫЙ КОРПУС

А. СОЛЖЕНИЦЫН

**РАКОВЫЙ
КОРПУС**

Повесть в двух частях

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris-V

Обложка работы художника Ю. П. Анненкова.

YMCA - PRESS
Paris 1968.



Александр Исаевич Солженицын

О Г Л А В Л Е Н И Е

Часть первая.

	Стр.
Глава 1 — Вообще не рак	13
2 — Образование ума не прибавляет	20
3 — Пчелка	32
4 — Тревоги больных	44
5 — Тревоги врачей	57
6 — История анализа	66
7 — Право лечить	79
8 — Чем люди живы?	90
9 — <i>Tumor cordis</i>	100
10 — Дети	109
11 — Рак березы	121
12 — Все страсти возвращаются	137
13 — И тени тоже	155
14 — Правосудие	164
15 — Каждому свое	174
16 — Несуразности	184
17 — Иссык-кульский корень	191
18 — “И пусть у гробового входа...”	204
19 — Скорость, близкая свету	213
20 — Воспоминания о Прекрасном	226
21 — Тени расходятся	237

Часть вторая.

	Стр.
Глава 22 — Река, впадающая в пески	251
23 — Зачем жить плохо?	258
24 — Переливая кровь	275
25 — Вега	287
26 — Хорошее начинание	298
27 — Что кому интересно	311
28 — Всюду — нечет	322
29 — Слово жесткое, слово мягкое	334
30 — Старый доктор	347
31 — Идолы рынка	361
32 — С оборота	373
33 — Счастливый конец	385
34 — Потяжелей немного	396
35 — Первый день творения	405
36 — И последний день	427

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нем, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус». Вот уже такта не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный.

Однако, во всей республике сейчас не могли ему помочь, нигде кроме этой клиники.

— Но ведь у меня — не рак? Доктор? У меня ведь — не рак? — с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи все так же обтянутую безобидной белой кожей.

— Да нет же, нет, конечно, — в десятый раз успокаивала доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки — скругленные, четырехугольные, как только прекращала писать — снимала их. Она была уже немолода, и вид у нее был бледный, очень усталый. Это было еще на амбулаторном приеме, несколько дней назад. Даже назначенные в раковый на амбулаторный прием, больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцова определила лечь и как можно быстрее.

Не сама только болезнь, не предусмотренная, неподготовленная, налетевшая как шквал за две недели на беспечного счастливого человека, — но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить — Евгению Семеновичу, и Шендяпину, и Улмасбасбаеву, а те, в свою очередь, звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике спецпалаты, или нельзя ли хоть временно организовать маленькую

комнатку, как спецпалату. Но по здешней тесноте не вышло ничего.

И единственное, о чем удалось договориться через главного врача всего больничного городка, — что можно будет миновать приемный покой, общую баню и передевалку.

И на их голубеньком «москвичке» Юра подвез отца и мать к самым ступенькам Тринадцатого корпуса.

Несмотря на морозец, две женщины в противных бумажных халатах стояли на открытом каменном крыльце — ежились, сплетя руки вокруг груди, а стояли.

Начиная с этих неопрятных халатов, все здесь было для Павла Николаевича неприятно: слишком истертый ногами цементный пол крыльца; тусклые ручки двери, захватанные руками больных; зал ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью стен (оливковый цвет так и казался грязным) и большими рейчатыми скамьями, на которых не помещались и сидели на полу, приехавшие издалека больные — узбеки в стеганых ватных халатах, старые узбечки в белых платках, а молодые в лиловых, красно-зеленых, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку в расстегнутом, до полу свешанном пальто, сам истоцавший, а с животом опухшим, и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нем.

Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал:

— Капа! я здесь умру. Не надо. Вернемся.

Капитолина Матвеевна взяла его за руку твердо и сжала:

— Пашенька! Куда же мы вернемся?.. И что дальше?

— Ну, может быть, с Москвой еще как-нибудь устроится...

Капитолина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, еще уширенной пышными медными стриженными кудрями:

— Пашенька! Москва — это, может быть, еще две недели, может быть, не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше!

Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам, — тем приятней и спокойней было ему в делах семейных всегда полагаться на жену: все важное она решала быстро и верно.

А парень на скамейке раздирался — кричал!

— Может врачи домой согласятся?.. Заплатим... — неуверенно отпирался Павел Николаевич.

— Пасик! — внушала жена, страдая вместе с мужем.

— Ты знаешь, я сама первая всегда за это: позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили: эти врачи не ходят, денег не берут. И у них аппаратура. Нельзя...

Павел Николаевич и сам понимал, что нельзя. Это он говорил только на всякий случай.

По уговору с главврачем онкологического диспансера, их должна была ожидать старшая сестра в два часа дня вот здесь, у низа лестницы, по которой сейчас осторожно спу- скался больной на костылях. Но, конечно, старшей сестры на месте не было и каморка ее под лестницей была на за- мочке.

— Ни с кем нельзя договориться! — вспыхнула Капи- толина Матвеевна, — за что им только зарплату платят!

Как была, объятая по плечам огромным воротником из двух чернобурок, Капитолина Матвеевна пошла по кори- дору, где написано было: «В верхней одежде вход воспре- щен».

Павел Николаевич остался стоять в вестибюле. Боязно, легким наклоном головы направо, он ощупывал свою опухоль между ключицей и челюстью. Такое было впечатление, что за полчаса — с тех пор, как он дома в последний раз посмо- трел на нее в зеркало, окутывая кашне, за эти полчаса она как будто еще выросла. Павел Николаевич ощущал слабость и хотел бы сесть. Но скамьи казались грязными, и еще надо было просить подвинуться какую-то бабу в платке с салыным мешком на полу между ног. У Павла Николаевича было не- защищенное обоняние, и даже издали как бы достигал до него смрадный запах от этого мешка.

И когда только наше население научится ездить с чи- стыми аккуратными чемоданами? (Впрочем, теперь, при опухоли, это было уже все равно).

Страдая от криков того парня и от всего, что видели глаза, и от всего, что входило через нос, Русанов стоял, чуть прислонясь к выступу стены. Снаружи вошел какой-то му- жик, перед собой неся поллитровую банку с наклейкой, по- чти полную желтой жидкостью. Банку он нес не пряча, а гордо приподняв, как кружку с пивом, выстоянную в оче- реди. Перед самым Павлом Николаевичем, чуть не протягивая ему эту банку, мужик остановился, хотел спросить, но по- смотрел на котиковую шапку и отвернулся, ища дальше, к больному на костылях:

— Милай! Куда это несть, а?

Безногий показал ему на дверь лаборатории.

Павла Николаевича просто тошнило.

Раскрылась опять наружная дверь — и в белом халате, ничем больше не покрытая, вошла сестра, не миловидная,

слишком долголицая. Она сразу заметила Павла Николаевича и догадалась, и подошла к нему.

— Простите, — сказала она через запышку, румяная до цвета покрашенных губ, так спешила. — Простите, пожалуйста! Вы давно меня ждете? Там лекарства привезли, я принимаю.

Павел Николаевич хотел ответить едко, но сдержался. Уж он рад был, что ожидание кончилось. Подошел, неся чемодан и сумку с продуктами, Юра — в одном костюме, без шапки, как правил машиной, — очень спокойный, с покачивающимся чубом.

— Пойдемте! — вела старшая сестра к своей кладовке под лестницей. — Я знаю, Низамутдин Бахрамович мне говорил, вы будете в своем белье и привезли свою пижаму, только еще не ношенную, правда?

— Из магазина.

— Это обязательно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимаете? Вот здесь вы переоденетесь.

Она отворила фанерную дверь и зажгла свет. В каморке со скопленным потолком не было окна, а висело много граффиков цветными карандашами.

Юра молча занес туда чемодан, вышел, а Павел Николаевич зашел переодеваться. Старшая сестра ринулась куда-то еще за это время сходить, но тут подошла Капитолина Матвеевна:

— Девушка, вы что, так торопитесь?

— Да я —немножко...

— Как вас зовут?

— Мита.

— Странное какое имя. Вы не русская?

— Немка...

— Вы нас ждать заставили.

— Простите, пожалуйста. Я сейчас там принимаю...

— Так вот слушайте, Мита, я хочу, чтоб вы знали. Мой муж — заслуженный человек, очень ценный работник. Его зовут Павел Николаевич.

— Павел Николаевич, хорошо, я запомню.

— Понимаете, он и вообще привык к уходу, а сейчас у него такая серьезная болезнь. Нельзя ли около него устроить дежурство постоянной сестры?

Озабоченное беспокойное лицо Миты еще озаботилось. Она покачала головой:

— У нас, кроме операционных, на шестьдесят человек три дежурных сестры днем. А ночью две.

— Ну вот, видите! тут умирать будешь, кричать — не подойдут.

— Почему вы так думаете! Ко всем подходят.

— А Павел Николаевич не «все». К тому же ваши сестры меняются.

— Да, по двенадцать часов.

— Ужасно это обезличенное лечение!.. Я бы сама с дочерью сидела бы посменно! Я бы постоянную сиделку за свой счет пригласила, — мне говорят — и это нельзя?..

— Я думаю, это невозможно. Так никто еще не делал. Да там в палате и стула негде поставить.

— Боже мой, воображаю, что это за палата! Еще надо посмотреть эту палату! Сколько ж там коек?

— Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат на лестнице, в коридоре.

— Девушка, я буду все-таки просить, вы знаете своих людей, вам легче организовать. Договоритесь с сестрой или санитаркой, чтобы к Павлу Николаевичу было внимание не казенное... — она уже расцелкнула большой черный ридикуль и вытянула оттуда три пятидесятки.

Недалеко стоявший молчаливый сын с устойчивым светлым чубом отвернулся.

Мита отвела обе руки за спину.

— Нет, нет! Таких поручений...

— Но я же не вам даю! — совала ей в грудь растопыренные бумажки Капитолина Матвеевна. — Но раз нельзя это сделать в законном порядке... Я плачу за работу! Я вас прошу только о любезности, любезности передать!

— Нет-нет, — холодела сестра. — У нас так не делают.

Со скрипом двери из каморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелено-коричневой пижаме и теплых комнатных туфлях с меховой оторочкой. На его почти безволосой голове была новенькая малиновая тюрбетейка. Теперь, без зимнего воротника и кашне, особенно грозно выглядела его опухоль в кулак на боку шеи. Он голову уже не держал ровно, а чуть набок.

Сын положил в чемодан все снятое. Спрятав деньги в ридикуль, жена с тревогой смотрела на мужа:

— Не замерзнешь ли ты?.. Надо было теплый халат тебе взять. Привезу. Да, здесь же шарфик, — она вынула из его кармана. — Обмотай, чтоб не простудить! — В чернобурках и в шубе она казалась втрое мощнее мужа. — Теперь иди в палату, устраивайся. Разложи продукты, осмотришься, подумай, что тебе нужно, я буду сидеть ждать. Спустишься, скажешь — к вечеру все привезу.

Она не теряла головы, она всегда все предусматривала. Она была настоящим товарищ по жизни. Павел Николаевич

с благодарностью и страданием посмотрел на нее, потом на сына.

— Ну, так значит, едешь, Юра?

— Вечером поезд, папа — подошел Юра. Он держался с отцом почтительно, но, как всегда, порыва у него не было никакого, сейчас вот — порыва разлуки с отцом, оставляемым в больнице. Он все воспринимал погашенно.

— Так, сынок. Значит, это первая серьезная командировка. Возьми сразу правильный тон. Никакого благодушия! Тебя благодушие губит! Всегда помни, что ты — не Юра Русанов, не частное лицо, ты — представитель за-ко-на, понимаешь?

Понимал Юра или нет, но Павлу Николаевичу трудно было сейчас найти более точные слова. Мита мялась и рвалась идти.

— Так я же подожду с мамой, — улыбнулся Юра. — Ты не прощайся, иди пока, папа.

— Вы дойдете сами? — спросила Мита.

— Боже мой, человек еле стоит, неужели вы не можете довести его до койки? Сумку донести!

Павел Николаевич сиротливо посмотрел на своих, отклонил поддерживающую руку Миты и, крепко взявшись за перила, стал всходить. Сердце его забилося, и еще не от подъема совсем. Он всходил по ступенькам, как всходят на этот, как его... ну, вроде трибуны, чтобы там, наверху, отдать голову.

Старшая сестра, опережая, взбежала вверх с его сумкой, там что-то крикнула Марии, и, еще прежде, чем Павел Николаевич прошел первый марш, уже сбегала по лестнице другою стороною из корпуса вон, показывая Капитолине Матвеевне, какая тут ждет ее мужа чуткость.

А Павел Николаевич медленно взошел на лестничную площадку — широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях. На этой серединной площадке, ничуть не мешая движению, стояли две кровати с больными и еще тумбочки при них. Один больной был плох, изнурен и сосал кислородную подушку.

Стараясь не смотреть на его безнадежное лицо, Русанов повернул и пошел выше, глядя вверх. Но и в конце второго марша его не ждало ободрение. Там стояла сестра Мария. Ни улыбки, ни приветия не излучало ее смуглое иконописное лицо. Высокая, худая и плоская, она ждала его, как солдат, и сразу же пошла верхним вестибюлем, показывая, куда. Отсюда было несколько дверей, и где только они не загоразива-

лись — везде стояли кровати с больными. В беззаконном завороте под постоянно горящей настольной лампой стоял письменный столик сестры, ее же процедурный столик, а рядом висел настенный шкаф с матовым стеклом и красным крестом. Мимо этих столиков, еще мимо кровати, и, указывая длинной сухой рукой, Мария сказала:

— Вторая от окна.

И уже торопилась уйти — неприятная черта общей больницы: не постоит, не поговорит.

Створки двери в палату были постоянно распахнуты, и все же, переходя порог Павел Николаевич ощутил влажно-спертый смешанный, отчасти лекарственный запах — мучительный при его чуткости к запахам.

Койки стояли поперек стен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход вдоль комнаты тоже был — двоим разминуться.

В этом среднем проходе стоял коренастый широкоплечий больной в розовополосчатой пижаме. Толсто и туго была обмотана бинтами вся его шея — высоко, почти под мочки ушей. Белое сжимающее кольцо бинтов не оставляло ему свободы двигать тяжелой тупой головой, буро заросшей.

Этот больной хрипло рассказывал другим, слушавшим с коек. При входе Русанова он повернулся к нему всем корпусом, с которым наглухо сливалась голова, посмотрел без участия и сказал:

— А вот — еще один рачок?

Павел Николаевич не счел нужным ответить на эту фамильярность. Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними. Он лишь отодвигающим движением повел рукою в воздухе, указывая бурому больному посторониться. Тот пропустил Павла Николаевича и опять так же, всем корпусом с приклепанной головой повернулся вслед.

— Слышь, браток, у тебя рак — ч е г о? — спросил он нечистым голосом.

Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскользило от этого вопроса. Он поднял глаза на нахала, стараясь не выйти из себя (но все-таки плечи его дернулись), и сказал с достоинством:

— Ни ч е г о. У меня вообще не рак.

Бурый просопел и присудил на всю комнату:

— Ну и дурак! Если б не рак — разве б сюда положили.

В этот первый же вечер в палате за несколько часов Павлу Николаевичу стало жутко.

Твердый комок опухоли — неожиданной, бессмысленной, никому не полезной, притащил его сюда, как крючок тащит рыбу, и бросил на эту железную койку — узкую, жалкую, со скрипящей сеткой, со скудным матрасиком. Стоило только переодеться под лестницей, проститься с родными и подняться в эту палату — как захлопнулась вся прежняя осмысленная, стройная жизнь, а здесь выперла такая мерзкая, что от нее еще жутче стало, чем от самой опухоли. Уже не выбрать было приятного, успокаивающего, на что смотреть, а надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как бы равных, — восемь больных в бело-розовых, сильно уже слинявших и поношенных пижамах, где заплатанных, где надорванных, почти всем не по мерке. И уже не выбрать было, что слушать, а надо было слушать нудные разговоры этих неинтеллигентных людей, совсем не касавшиеся Павла Николаевича и не интересные ему. Он охотно приказал бы им замолчать, и особенно этому надоедливому буроволосому с бинтовым охватом по шее и защемленной головой — его просто Ефремом все звали, хотя был он не молод.

Но Ефрем никак не умирался, не ложился и из палаты никуда не уходил, а беспокойно похаживал средним проходом вдоль комнаты. Иногда он взмарщивался и лицом перекашивался, как от укола, брался за голову, потом опять ходил. И, походив так, останавливался именно у кровати Русанова, переклонялся к нему через спинку всей своей негнущейся верхней половиной, выставляя широкое конопатое хмурое лицо и внушал:

— Теперь все, профессор. Домой не вернешься, понятно?

В палате было очень тепло. Павел Николаевич лежал сверх одеяла в пижаме и тюбетейке. Он поправил очки с золоченым ободочком, посмотрел на Ефрема строго, как умел смотреть, и ответил:

— Я не понимаю, товарищ, чего вы от меня хотите? И зачем вы меня запугиваете? Я ведь вам вопросов не задаю.

Ефрем только фыркнул злобно (не полетело ли при этом слюнных брызг на одеяло Павла Николаевича?):

— Да уж задавай, не задавай, а домой не вернешься. Очки вот можешь вернуть. Пижаму новую.

Сказав такую грубость, он выпрямил неповоротливое туловище и опять запагал по проходу, нелегкая его несла.

Павел Николаевич мог, конечно, оборвать его и поста-

вить на место, но для этого он не находил в себе обычной воли: она упала и от слов обмотанного черта еще опускалась. Нужна была поддержка, а его в яму сталкивали. В несколько часов Русанов как потерял все положение свое, заслуги, планы на будущее — и стал семью десятками килограммов теплого белого тела, не знающего своего завтра.

Наверно, тоска отразилась на его лице, потому что в одну из следующих проходок Ефрем, став напротив, сказал уже миролюбиво:

— Если и попадешь домой — не надолго. А — опять сюда. Рак людей любит. Кого рак клешней схватит — то уж до смерти.

Не было сил у Павла Николаевича возражать, и Ефрем опять занялся ходить. Да и кому было в комнате его осадить? — все лежали какие-то прибитые или нерусские. По той стене, где из-за печного выступа помещалось только четыре койки, одна койка — прямо против русановской, ноги к ногам, через проход была Ефремова, а на трех остальных совсем были юнцы: простоватый смуглявый хлопец у печки, молодой узбек с костылем, а у окна — худой, как глист, и скрюченный на своей койке пожелтевший стонущий парень. В этом же ряду, где был Павел Николаевич, налево лежали два нацмена, потом у двери русский пацан, стриженный под машинку, но рослый, сидел читал, — а по другую руку на последней приоконной койке тоже будто русский, но не обрадуешься такому соседству: морда у него была бандитская. Так он выглядел, наверно, от шрама (начинался шрам близ угла рта и переходил по низу левой щеки почти до шеи); может быть — от непричесанных дыблых черных волос, торчащих и вверх, и вбок, а может, вообще от грубого жесткого выражения. Бандюга этот туда же тянулся, к культуре — дочитывал книгу.

Уже горел свет — две ярких лампы с потолка. За окном стемнело. Ждали ужина.

— Вот тут старик есть один, — не унимался Ефрем, — он внизу лежит, операция ему завтра. Так ему еще в сорок втором году рачок маленький вырезали и сказали — пустяки, иди гуляй. Понял? — Ефрем говорил будто бойко, а голос был такой, как самого бы резали. — Тринадцать лет прошло, он и забыл про этот диспансер, водку пил, баб трепал — мотный старик, увидишь. А сейчас рачище у него та-кой вырос, — Ефрем даже чмокнул от удовольствия, — прямо с операционного стола как бы не в морг.

— Ну хорошо, довольно этих мрачных предсказаний! — отмахнулся и отвернулся Павел Николаевич и не узнал своего голоса: так неавторитетно, так жалобно он прозвучал.

А все молчали. Еще нудьги нагонял этот исхудалый, все вертящийся парень у окна в том ряду. Он сидел — не сидел, лежал — не лежал, скрючился, подобрав коленки к груди и никак не находя удобное, перевалялся головой уже не к подушке, а к изножью кровати. Он тихо-тихо стонал, гримасами и подергиваниями выражая, как ему больно.

Павел Николаевич отвернулся от него, он спустил ноги в шлепанцы и стал бессмысленно инспектировать свою тумбочку, открывая и закрывая то дверцу, где были густо сложены у него продукты, то верхний ящичек, где легли туалетные принадлежности и электробритва.

А Ефрем все ходил, сложив руки в замок перед грудью, иногда вздрагивал от внутренних уколов и гудел свое, как припев, как по покойнику:

— Так что — сикиверное наше дело... очень сикиверное...

Легкий хлопок раздался за спиной Павла Николаевича. Он обернулся туда осторожно, потому что каждое шевеление шеи отдавалось болью, и увидел, что это его сосед, полубандит, хлопнул коркой прочтенной книги и вертел ее в своих больших шершавых неинтеллигентных руках. Наискось по темносинему переплету и такая же по корешку или тисненые золотом и уже потускневшие росписи писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, — а спрашивать у такого типа не хотелось. Он придумал соседу прозвище — Оглоед. Очень подходило.

Оглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю палату:

— Если бы не Демка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам ее не подкинули.

— Чего — Демка? Какую книгу? — отозвался пацан от двери, читая свое.

— По всему городу шарь — пожалуй, нарочно такой не найдешь. — Оглоед смотрел в широкий тупой затылок Ефрема (давно не стриженные от неудобства его волосы налезали на повязку), потом в напряженное лицо. — Ефрем! Хватит скулить. Возьми-ка вот книжку почитай.

Ефрем остановился как бык, посмотрел мутно.

— А зачем — читать? Зачем, как все подохнем скоро? Оглоед шевельнул шрамом:

— Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на. Он уже протягивал книгу Ефрему, но тот не шагнул:

— Много тут читать. Не хочу.

— Да ты неграмотный, что ли? — не очень-то уговаривал Оглоед.

— Я — даже очень грамотный. Где мне нужно — я очень грамотный.

Оглоед пошарил за карандашом на подоконнике, открыл книгу сзади и, просматривая, кое-где поставил точки.

— Не бойсь, — бормотнул он, — тут рассказишки маленькие. Вот эти несколько — попробуй. Да надоел больно, скулишь. Почитай.

— А Ефрем ничего не боётся! — Он взял книгу и перешвырнул к себе на койку.

На одном костыле, уже почти ходя и без него, прохромал из двери молодой узбек Ахмаджан — самый веселый в комнате. Объявил:

— Ложки к бою.

И смуглявый у печки оживился:

— Вечерю несут, хлопцы!

Показалась раздатчица в белом халате, держа поднос выше плеча. Она перевела его вперед себя и стала обходить койки. Все, кроме измученного парня у окна, запевелились и разбирали тарелки. На каждого в палате приходилась тумбочка, и только у пацана Демки не было своей, а пополам с ширококостным казахом, у которого распух над губою неперебинтованный безобразный темно-бурый струп.

Не говоря о том, что Павлу Николаевичу и вообще сейчас было не до еды, даже до своей домашней, но один вид этого ужина — прямоугольной резиновой манной бабки с желейным желтым соусом и этой нечистой серой алюминиевой ложки с дважды перекрученным стеблем, только еще раз горько напомнили ему, куда он попал и какую, может быть, сделал ошибку, согласясь на эту клинику.

А все, кроме стонущего парня, дружно принялись есть. Павел Николаевич не взял тарелку в руки, а постучал ногом по ее ребру, оглядываясь, кому б ее отдать. Одни сидели к нему боком, другие спиной, а тот хлопец у двери как раз видел его.

— Тебя как зовут? — спросил Павел Николаевич, не напрягая голоса (тот должен был сам услышать).

Стучали ложки, но хлопец понял, что обращаются к нему, и ответил готовно:

— Прощка... той, э-э-э... Прокофий Семеныч.

— Возьми.

— Та що ж, можно... — Прощка подошел, взял тарелку — Благодарствуйте.

А Павел Николаевич, ощущая жесткий комок опухоли под челюстью, вдруг сообразил, что ведь он здесь был не из легких. Изо всех девяти только один был перевязан — Ефрем и в таком месте как раз, где могли порезать и Павла Николае-

вича. И только у одного были сильные боли. И только у того здорового казаха через койку — темно-багровый струп. И вот — костыль у молодого узбека, да и то он лишь чуть на него приступал. А у остальных вовсе не было заметно снаружи никакой опухоли, никакого безобразия, они выглядели как здоровые люди. Особенно — Прошка, он был румян, как будто в доме отдыха, а не в больнице, и с большим аппетитом вылизывал сейчас тарелку. У Оглоеда хоть была серизна в лице, но двигался он свободно, разговаривал развязно, а на бабу так накинудся, что мелькнуло у Павла Николаевича — не симулянт ли он, пристроился на государственных харчах, благо в нашей стране больных кормят бесплатно.

А у Павла Николаевича сгусток опухоли поддавливал под голову, мешал поворачиваться, рос по часам — но врачи здесь не считали часов: от самого обеда и до ужина никто не смотрел Русанова, и никакое лечение не было применено. А ведь доктор Донцова заманила его сюда именно экстренным лечением. Значит, она совершенно безответственна и преступно-халатна. Русанов же поверил ей и терял золотое время в этой тесной, затхлой, нечистой палате — вместо того, чтобы созваниваться с Москвой и лететь туда.

И это сознание делаемой ошибки, обидного промедления, наложенное на его тоску от опухоли, так защемило сердце Павла Николаевича, что непереносимо было ему слышать что-нибудь, начиная от этого стука ложек по тарелкам, и видеть эти железные кровати, грубые одеяла, стены, лампы, людей. Ощущение было, что он попал в западню, и до утра нельзя было сделать никакого решительного шага.

Глубоко несчастный, он лег и своим домашним полотенцем закрыл глаза от света и ото всего. Чтоб отвлечься, он стал перебирать дом, семью, чем они там могут сейчас заниматься. Юра уже в поезде. Его первая практическая инспекция. Очень важно правильно себя показать. Но Юра — не напористый, растяпа он, как бы не опозорился. Авиета в Москве, на каникулах. Немножко развлечься, по театрам побегать, а главное — с целью деловой: присмотреться, как и что, может быть, завязать связи, ведь пятый курс, надо правильно сориентироваться в жизни. У Авиеты — широкий захват, дальние запросы, она истая журналистка, очень-очень деловая, и, конечно, ей надо перебраться в Москву, здесь ей будет тесно. Она такая умница и такая талантливая, как никто в семье. Павел Николаевич беззаветно рад, что дочь выросла намного развитей его самого — опыта у нее недостаточно, но как же она все на лету схватывает! Лаврик — немножко шалопаи, учится так себе, но в спорте

— просто талант, уже ездил на соревнования в Ригу, там жил в гостинице, как взрослый. Он уже и машину гоняет. Теперь при Досаафе занимается на получение прав. Во второй четверти схватил две двойки, сейчас надо выправлять. А Майка учится в первой смене, сейчас дома, наверное — на пианино играет (до нее в семье никто не играл). А в коридоре лежит Джульбарс на коврик. Последний год Павел Николаевич пристрастился сам его по утрам выводить, это и себе полезно. Теперь будет Лаврик выводить. Он любит — притравить немножко на прохожего, а потом: вы не пугайтесь, я его держу!

Но вся дружная образцовая семья Русановых с парой старших и парой младших детей, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира, обставленная без скупости, — все это за несколько дней отделилось от него и оказалось по другую сторону опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь ни волновались, ни заботились, ни плакали, — опухоль задвигала его, как стена, и по эту сторону оставался один он.

Мысли о доме не помогли, и Павел Николаевич постарался отвлечься общегосударственными мыслями. В субботу должна открыться сессия Верховного Совета Союза. Ничего крупного как будто не ожидается, утвердят бюджет. А в итальянском, французском и западно-германском парламентах идет борьба против позорных парижских соглашений. В Тайванском проливе стреляют... Да, когда сегодня он уезжал из дому в больницу, начали передавать по радио большой доклад о тяжелой промышленности. А здесь, в палате, даже радио нет, и в коридоре нет, хорошенькое дело! Надо хоть обеспечить «Правду» без перебора. Сегодня — о тяжелой промышленности, а вчера — постановление об увеличении производства продуктов животноводства. Да! Очень энергично развивается экономическая жизнь, и предстоят, конечно, крупные преобразования разных государственных и хозяйственных организаций.

И Павлу Николаевичу уже стало представляться, какие именно могут произойти реорганизации в масштабах республики и области. Эти реорганизации всегда как-то волновали, на время отвлекали от рутинной работы, работники созванивались, встречались и обсуждали возможности. И в какую бы сторону реорганизации ни происходили, иногда в противоположную, никого никогда, в том числе и Павла Николаевича, не понижали, а только всегда повышали.

Но и этими мыслями не отвлекся он и не оживился. Кольнуло под шейей — и опухоль, глухая, бесчувственная, двинулась и заслонила весь мир. И опять: бюджет и париж-

ские соглашения, тяжелая промышленность и животноводство — все это осталось по т у сторону опухоли. А по э т у — Павел Николаевич Русанов. Один.

В палате раздался приятный женский голосок. Хотя сегодня ничего не могло быть приятно Павлу Николаевичу, но этот голосок был просто лакомый:

— Температурку померим! — будто она обещала раздавать конфеты. Русанов стянул полотенце с лица. Чуть приподнялся и надел очки. Счастье какое! — это была не та унылая черная Мария, а плотненькая, подобранная и не в косынке углом, а в шапочке на золотистых волосах, как носили доктора.

— Азовкин! А, Азовкин! — весело окликала она молодого человека у окна, стоя над его койкой. Он лежал еще странней прежнего — наискось кровати, ничком, с подушкой под животом, упершись подбородком в матрас, как кладет голову собака, и смотрел в прутья кровати, отчего получался, как в клетке. По его обтянутому лицу переходили тени внутренних болей. Рука свисала до полу.

— Ну, подбирайтесь! — стыдила сестра. — Силы у вас есть. Возьмите термометр сами.

Он еле поднял руку от пола, как ведро из колодца, взял термометр. Так был он обессилен и так углубился в боль, что нельзя было поверить, что ему лет семнадцать — не больше.

— Зоя! — попросил он стонуце. — Дайте мне грелку.

— Вы враг сам себе, — строго сказала Зоя. — Вам давали грелку, но вы ее клали не на укол, а на живот.

— Но мне так легчает, — страдальчески настаивал он.

— Вы себе опухоль так отрациваете, вам объясняли. В онкологическом вообще грелки не положены, для вас специально доставали.

— Ну, я тогда колоть не дам.

Но Зоя уже не слушала, и постукивая пальчиком по пустой кровати Оглоеда, спросила:

— А где Костоглотов?

(Ну надо же! — как Павел Николаевич верно схватил! Как истинная фамилия оказалась похожа на кличку!).

— Курить пошел, — отозвался Демка от двери. Он все читал.

— Он у меня докурится! — проворчала Зоя.

Какие же тоненькие бывают девушки! Павел Николаевич с удовольствием смотрел на ее туго-затянутую кругловатость и чуть навывкате глаза — смотрел с бескорыстным уже любованием и чувствовал, что смягчается. Улыбаясь, она протянула ему термометр. Она стояла как раз со стороны опухоли

ли, но ни бровью не дала понять, что ужасается или не видела таких никогда.

— А мне никакого лечения не прописано? — спросил Русанов.

— Пока нет, — извинялась она улыбкой.

— Но почему же? Где врачи?

— У них рабочий день уже кончился.

На Зою нельзя было сердиться, но кто-то же был виноват, что Русанова не лечили! И надо было действовать! Русанов презирал бездействие и слякотные характеры. И когда Зоя пришла отбирать термометры, он спросил:

— А где у вас городской телефон? Как мне пройти?

В конце концов можно было сейчас решиться и связаться с Остапенко! Простая мысль о телефоне вернула Павлу Николаевичу его привычный мир. И мужество. И он почувствовал себя снова борцом.

— Тридцать семь — сказала Зоя с улыбкой и на новой температурной карточке, повешенной в изножье его кровати, поставила первую точку графика. — Телефон в регистратуре. Но вы сейчас туда не пройдете. Это с другого парадного.

— Позвольте, девушка. — Павел Николаевич приподнялся и построжел:

— Как может в клинике не быть телефона? Ну, а если сейчас что-нибудь случится? Вот со мной, например?

— Побежим — позвоним, — не испугалась Зоя.

— Ну, а если буран, дождь проливной?

Зоя уже перешла к соседу, старому узбеку, и продолжала его график.

— Днем и прямо ходим, а сейчас заперто.

Хорошая-хорошая, а дерзкая: не дослушав, уже перешла к казаху. Невольно повышая голос ей вслед, Павел Николаевич воскликнул:

— Так должен быть другой телефон! Не может быть чтоб не было!

— Он есть, — ответила Зоя из присадки уже у кровати казаха. — Но в кабинете главврача.

— Ну, так в чем дело?

— Дема... Тридцать шесть и восемь... А кабинет заперт. Низамутдин Бахрамович не любит...

И ушла.

В этом была логика. Конечно, неприятно, чтобы без тебя ходили в твой кабинет. Но в больнице как-то же надо придумать...

На мгновенье болтнулся проводок к миру внешнему —

и оборвался. И опять весь мир закрыла опухоль величиной с кулак, подставленный под челюсть.

Павел Николаевич достал зеркальце и посмотрел. Ух, как же ее разнесло! Посторонними глазами — и то страшно на нее взглянуть, а своими? Ведь такого не бывает! Вот кругом ни у кого же нет! Да, за сорок пять лет жизни Павел Николаевич ни у кого не видел такого уродства!..

Опало в нем... Не стал уж он определять — еще выросла или нет, спрятал зеркальце да немного достал — пожевал.

Двух самых неприятных — Ефрема и Оглоеда — в палате не было, ушли. Азовкин у окна еще по-новому извернулся, но не стонал. Остальные вели себя тихо, слышалось перелистывание страниц, некоторые легли спать. Оставалось и Русанову заснуть. Скоротать ночь, не думать — а уж утром дать взбучку врачам.

И он разделся, лег под одеяло, накрыл голову домашним мохнатеньким полотенцем и попробовал уснуть.

Но в тишине особенно стало слышно и раздражало, как где-то шепчут и шепчут — и даже прямо в ухо Павлу Николаевичу. Он не выдержал, сорвал полотенце с лица, приподнялся, стараясь не сделать больно шее, и обнаружил, что это шепчет его сосед узбек — высокий, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой черной бородки и в коричневой же потертой тубетейке.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в потолок и шептал молитвы, что ли, старый дурак?

— Э! Аксакал! — погрозил ему пальцем Русанов. — Перестань! Мешаешь!

Аксакал смолк. Опять Русанов лег и накрылся полотенцем. Но уснуть все равно не мог. Теперь он понял, что успокоиться ему мешает режущий свет двух подпотолочных ламп — не матовых и плохо закрытых абажурами. Даже через полотенце ощущался этот свет. Павел Николаевич крикнул, опять на руках поднялся от подушки, лада, чтоб не кольнула опухоль.

Прощка стоял у своей кровати близ выключателя и начинал раздеваться.

— Молодой человек! Потушите-ка свет! — распорядился Павел Николаевич.

— Та ще... лекарства нэ принесли... замаялся Прощка, но приподнял руку к выключателю.

— Что значит — «потушите»? — зарычал сзади Русанова Оглоед. — Укротитесь, вы тут не один.

Павел Николаевич сел как следует, надел очки и, побрегая опухоль, визжа сеткой, обернулся:

— А вы повежливей можете разговаривать?

Грубиян скорчил кривоватую рожу и отвесил низким голосом:

— Не оттягивайте, я не у вас в аппарате.

Павел Николаевич мотнул в него испепеляющим взглядом, но на Оглоеда это не подействовало ничуть.

— Хорошо, а зачем нужен свет? — вступил Русанов в корректные переговоры.

— В заднем проходе ковырять, — сгрубил Костоглов.

Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу! Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия. (Не упустить поговорить о нем с администрацией).

— Так если почитать или что другое — можно выйти в коридор, — справедливо указал Павел Николаевич. — Почему вы присваиваете право решать за всех? Тут разные больные и надо делать различия.

— Сделают, — оклычился тот. — Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас — ногами вперед.

Такого необузданного неподчинения, такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил. И он даже терялся — что можно противопоставить. Не жаловаться же этой девчонке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки, осторожно лег и накрылся полотенцем.

Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лег в эту клинику. Но не поздно будет завтра же выписаться. На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь все терпеть. Когда-нибудь же они успокоятся.

Но опять началась ходьба и тряска между кроватями — это, конечно, Ефрем вернулся. Старые половицы комнаты отзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж решил Павел Николаевич замечания ему не делать, терпеть.

Сколько же еще в нашем населении неискоренного хамства! И как его с этим грузом ввести в новое общество?

Бесконечно тянулся вечер. Начала приходить сестра — один раз, второй, третий, четвертый, одному несла микстуру, другому порошок, третьего и четвертого колола. Азовкин вскрикивал при уколе, опять клячил грелку, чтобы рассасывалось. Ефрем продолжал топтать туда-сюда, не находил покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей кровати. Как будто только сейчас и оживали по-настоя-

щему, как-будто ничто их не заботило и нечего было лечить. Даже Демка не ложился спать, а пришел и сел на койку Костоглотова, и тут, над самым ухом Павла Николаевича они бубнили.

— Побольше стараюсь читать, — говорил Демка, — пока время есть. В университет поступить охота.

— Это хорошо. Только учти: образование ума не прибавляет.

(Чему учит ребенка Оглоед!).

— Как не прибавляет?!

— Так вот.

— А что ж прибавляет?

— Жизнь.

Демка помолчал, ответил:

— Я не согласен.

— У нас в части комиссар такой был, Пашкин, он всегда говорил: образование ума не прибавляет. И звание не прибавляет. Иному добавляют звездочку, он думает — и ума прибавилось. Нет.

— Так что же тогда — учиться не надо? Я не согласен.

— Почему не надо? Учись. Только для себя помни, что ум не в этом.

— А в чем же ум?

— В чем ум? Глазам своим верь, а ушам не верь. На какой же ты факультет хочешь?

— Да вот не решил. На исторический хочется и на литературный хочется.

— А на технический?

— Не-а.

— Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты — нет?

— Меня... общественная жизнь очень разжигает.

— Общественная... Ох, Демка, с техникой — спокойней жить. Учись лучше приемники собирать.

— А чего же мне — покойней!.. Сейчас вот если месяца два тут полежу — надо за девятый класс подгонять, за второе полугодие.

— А учебники?

— Да два у меня есть. Стереометрия очень трудная.

— Стереометрия?! А ну, тащи сюда!

Слышно было, как пацан пошел и вернулся.

— Так, так, так... Стереометрия Киселева, старушка... Та же самая. Прямая и плоскость, параллельные между собой... Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в плоскости, то она параллельна и самой

плоскости... Черт возьми, вот книжечка, Демка! Вот так бы все писали! Толщины никакой, да? А сколько тут напихано!

— Полтора года по ней учат.

— И я по ней учился. Здорово знал!

— А когда?

— Сейчас тебе скажу. Тоже вот так девятый класс со второго полугодия... значит, в тридцать седьмом и в тридцать восьмом. Чудно в руках держать. Я геометрию больше всего любил.

— А потом?

— Что потом?

— После школы?

— После школы я на замечательное отделение поступил — геофизическое.

— Это где?

— Там же, в Ленинграде.

— И что?

— Первый курс кончил, а в сентябре тридцать девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати, и меня загребли.

— А потом?

— Потом действительную служил.

— А потом?

— А потом — не знаешь, что было? Война.

— Вы — офицер были?

— Не, сержант.

— А почему?

— А потому, что если все в генералы пойдут, некому будет войну выигрывать... Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости и пересекает эту плоскость, то линия пересечения... Слушай, Демка! Давай я с тобой каждый день буду стереометрией заниматься? Ох, двинем! Хочешь?

— Хочу.

(Этого еще не хватало, над ухом).

— Буду уроки тебе задавать.

— Задавай.

— А то, правда, время пропадает. Прямо сейчас и начнем. Разберем вот эти три аксиомы. Аксиомы эти, учти, на вид простенькие, но они потом в каждой теореме скрытно будут содержаться, и ты должен видеть — где. Вот первая: если две точки прямой принадлежат плоскости, то и каждая точка этой прямой принадлежит ей. В чем тут смысл? Вот пусть эта книжка будет плоскость, а карандаш — прямая, так? Теперь попробуй расположить...

Заладили и долго еще гудели об аксиомах и следствиях.

Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повернутый к ним спиной. Наконец, замолчали и разошлись. С двойным снотворным заснул и умолок Азовкин. Так тут начал кашлять аксакал, к которому Павел Николаевич повернут был лицом. И свет уже потушили, а он, проклятый, кашлял и кашлял, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнется.

Повернулся Павел Николаевич спиной к нему. Он снял полотенце с головы, но настоящей темноты все равно не было: падал свет из коридора, там слышался шум, хождение, гремели плевательницами и ведрами.

Не спалось. Давила опухоль. Такая продуманная, такая стройная и полезная жизнь была на обрыве. Было очень жалко себя. Одного маленького толчка не хватало, чтоб выступили слезы.

И толчок этот не упустил добавить Ефрем. Он и в темноте не унялся и рассказывал Ахмаджану по соседству идиотскую сказку:

— А зачем человеку жить сто лет? И не надо. Это дело было вот как. Раздавал Аллах жизнь, и всем зверям давал по пятьдесят лет, хватит. А человек пришел последний, и у Аллаха оставалось только двадцать пять.

— Четвертная, значит? — спросил Ахмаджан.

— Ну, да. И стал обижаться человек: мало! Аллах говорит: хватит. А человек: мало! Ну, тогда, мол, пойди сам, спроси, может, у кого лишнее, отдаст. Пошел человек, встречает лошадь. «Слушай, — говорит, — мне жизни мало. Уступи от себя». — «Ну, на, возьми двадцать пять». Пошел дальше, навстречу собаке. «Слушай, собака, уступи жизни!». «Да возьми двадцать пять!». Пошел дальше. Обезьяна. Выпросил и у нее двадцать пять. Вернулся к Аллаху. Тот и говорит: «Как хочешь, сам ты решил. Первые двадцать пять лет будешь жить, как человек. Вторые 25 лет будешь работать, как лошадь. Третьи двадцать пять будешь гавкать, как собака. И еще двадцать пять над тобой, как над обезьяной, смеяться будут.»...

3.

Хотя Зоя была толкова, проворна и очень быстро сновала по своему этажу от стола к кроватям и снова к столу, она увидела, что не успевает выполнить к отбою всех назначений. Тогда она подогнала, чтобы кончить и погасить в муж-

ской палате и в малой женской. В большой же женской — огромной, где стояло больше тридцати коек, женщины никогда не угоманивались вовремя, гаси им свет или не гаси. Многие там лежали подолгу, утомились от больницы, сон у них был плох, душно, постоянно шел спор — держать ли балконную дверь открытой или закрытой. А было и несколько изощренных любительниц поговорить из угла в угол. До полуночи и до часу ночи тут все обсуждали то цены, то продукты, то мебель, то детей, то мужей, то соседок — и до самых бесстыжих разговоров.

А сегодня там еще мыла пол санитарка Нэлля — крутозадая горластая девка, с большими бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никак не могла кончить, встречая в каждый разговор. Между тем ждал своей ванночки Сибгатов, чья кровать стояла в вестибюле перед входом в мужскую палату. Из-за этих вечерних ванночек, а также стесняясь дурного запаха от своей спины, Сибгатов добровольно остался лежать в вестибюле, хотя он был здесь издавнее всех старожиллов — уж будто и не больной, а на постоянной службе. Быстро мелькая по женской палате, Зоя сделала Нэлле одно замечание и второе, но Нэлля только огрызнулась, а подвигалась медленно: она была уже не моложе Зои, и считала обидой подчиняться девчонке. Зоя пришла сегодня на работу в праздничном настроении, но это сопротивление санитарки раздражало ее. Вообще Зоя считала, что всякий человек имеет право на свою долю свободы, и, приходя на работу, тоже не обязательно должен выложиться до изнемоги, но где-то была разумная мера, а тем более — находясь при больных.

Наконец, и Зоя все раздала и кончила, и Нэлля дотерла пол, потушили свет у женщин, потушили в вестибюле верхний, был уже двенадцатый час, когда Нэлля развела на первом этаже и оттуда принесла Сибгатову в его постоянном тазике теплый раствор.

— О-о-ой, уморилась, громко зевнула она. — Закачусь я минуток на триста. Слушай больной, ты ведь целый час будешь сидеть, тебя не дожدهшься. Ты потом сам тазик снеси вниз, вылей, а?

В этом крепком старом здании с просторными вестибюлями не было наверху водопровода.

Каким Шараф Сибгатов был раньше — уж теперь нельзя было догадаться, не по чему судить: страдание его было такое долгое, что от прежней жизни уже как бы ничего и не осталось. Но после трех лет непрерывной гнетучей болезни этот молодой татарин был самый кроткий, самый вежливый человек во всей клинике. Он часто слабо-слабо улы-

бался, как бы извиняясь за долгие хлопоты с собой. За свои четырех и шестимесячные лежанья он тут знал всех врачей, сестер и санитарок, как своих, и они его знали. А Нэлля была новенькая, несколько недель.

— Мне тяжело будет, — тихо возразил Сибгатов. — Если куда отлить, я бы по частям отнес.

Но Зоин стоял было близко, она слышала и привскочила:

— Как тебе не стыдно. Ему спину искривлять нельзя, так он тебе таз понесет, да?

Она это все как бы выкрикнула, но полупшепотом, никому, кроме их троих, не слышно. А Нэлля спокойно отозвалась, но на весь второй этаж:

— А чего стыдно. Я тоже, как сучка, замоталась.

— Ты на дежурстве! Тебе деньги платят! — еще приглушенной возмущалась Зоя.

— Хой! Платят! Разве это деньги? Я на текстильном — и то больше заработаю.

— Тш-ш! Тшше ты можешь?

— О-о-ой, — вздохнула-простонала на весь вестибюль ширококудрая Нэлля. — Милая подружка-подушка! Спать-то как хочется — а... Ту ночь с шоферами прогуляла... Ну ладно, больной, ты тазик потом подсунь под кровать, я утром вынесу.

И глубоко-затяжно зевнув, не покрывая рта, в конце зевка сказала Зое:

— Тут я, в заседаниях, буду, на диванчике.

И, не дожидаясь разрешения, пошла к угловой двери — там была с мягкой мебелью комната врачебных заседаний и пятиминуток.

Она оставляла еще многою недоделанную работу, невычищенные плевательницы, и в вестибюле можно было помыть пол, но Зоя посмотрела вслед ей в широкую спину и сдержалась. Не так давно и сама она работала, но начинал понимать этот досадный принцип: кто не тянет, с того и не спросишь, а кто тянет и за двоих потянет. Завтра с утра заступит Елизавета Анатольевна, она вычистит и вымоет за Нэллю и за себя.

Теперь, когда Сибгатова оставили одного, он обнажил крестец, в неудобном положении опустил в тазик на полу около кровати — и так сидел, очень тихо. Ото всякого неосторожного движения ему было больно в кости, но еще бывало паляще больно и от касания к поврежденному месту, даже от постоянного касания бельем, а уж ложиться на спину он старался меньше. Что там у него сзади, он не видел никогда, только иногда нащупывал пальцами. В позапрошлом году

его внесли в клинику на носилках — он не мог вставать и ногами двигать. Его смотрели тогда многие доктора, но лечила все время Людмила Афанасьевна. И за четыре месяца боль совсем прошла — он свободно ходил, наклонялся и ни на что не жаловался. При выписке он руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь осторожен, Шараф. Не прыгай, не ударяйся!» Но на такую работу его не взяли, а пришлось опять экспедитором. Экспедитору — как не прыгать из кузова на землю. Как не помочь грузчику и шоферу. Но все было ничего до одного случая — покатила с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное место. И на месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал, как цепью прикован к раковому диспансеру.

С непроходящим чувством досады Зоя села за стол и еще раз проверила, все ли процедуры исполнила, дочеркивая расплывающимися чернилами по дурной бумаге уже расплывшиеся чернильные строки. Писать рапорт было бесполезно. Да и не в натуре Зои. Надо было самой справиться, но именно с Нэллей она справиться не умела. Поспать — ничего плохого нет. При хорошей санитарке Зоя и сама бы полночи проспала. А теперь надо сидеть. Она смотрела на свою бумажку, но слышала, как подошел мужчина и стал рядом. Зоя подняла голову. Стоял Костоглотов — неукладистый, с недочесанной угольной головой, большие руки почти не влезали в боковые маленькие карманчики больничной куртки.

— Давно пора спать, — внушала Зоя. — Что рассказываете?

— Добрый вечер, Зоенька, выговорил Костоглотов, как мог мягче, даже нарастяг.

— Спокойной ночи, — летуче улыбнулась она. — Добрый вечер был, когда я за вами с термометром бегала.

— То на службе было, не укоряйте. А сейчас я к вам в гости пришел.

— Вот как? — (Это уж так само получалось, что подбрасывались ресницы или широко открывались глаза, она этого не обдумывала).

— Почему вы думаете, что я принимаю гостей?

— А потому, что по ночным дежурствам вы всегда зубрили, а сегодня учебников не вижу. Сдали последний.

— Наблюдательны. Сдала.

— И что получили? Впрочем, это неважно.

— Впрочем, все-таки четверку. А почему неважно?

— Я подумал: может быть тройку, и вам неприятно говорить. И теперь каникулы?

Она мигнула с веселым выражением легкости. Мигнула и прониклась: чего она, в самом деле, расстроилась. Две недели каникул, блаженство! Кроме клиники — больше никуда! Сколько свободного времени! И на дежурствах можно книжечку почитать, можно вот поболтать.

— Значит, я правильно пришел в гости?

— Ну садитесь.

— Скажите, Зоя, но ведь каникулы, если я не забыл, раньше начинались 25 января.

— Так мы осень на хлопке были. Это каждый год.

— И сколько ж вам лет осталось учиться?

— Полтора.

— А куда вас могут назначить?

Она пожала кругленькими плечами.

— Родина необъятна.

Глаза ее с выкатом, даже когда она смотрела спокойно, как будто под веками не помещались, просились наружу.

— Но здесь не оставят?

— Не-ет, конечно.

— И как же вы семью бросите?

— Какую семью? У меня бабушка одна. Бабушку — с собой.

— А папа — мама?

Зоя вздохнула.

— Мама моя умерла.

Костоглов посмотрел на нее и об отце не спросил.

— А вообще вы — здешняя?

— Нет, из Смоленска.

— Во-о! И давно оттуда?

— В эвакуацию, когда ж.

— Это вам было... лет девять?

— Ага. Два класса там кончила... А потом здесь с бабушкой застряла.

Зоя потянулась к большой хозяйственной ярко-оранжевой сумке на полу у стены, достала оттуда зеркальце, сняла врачебную шпалочку, чуть включила стянутые шпалочкой волосы и начесала на них редкую, легкой дугой подстриженную золотенькую челку.

Золотой отблик отразился и на жесткое лицо Костоглова. Он смягчился и следил за ней с удовольствием.

— А ваша где бабушка? — пошутила Зоя, кончая с зеркальцем.

— Моя бабушка, — вполне серьезно принял Костоглов, — и мама моя (не шло к его виду это «мама») ... умерли в блокаду.

— Ленинградскую?

— У-гм. И сестренку снарядом убило. Она была медсестрой. Вот такая же, как вы. Еще козьявистей.

— Да-а — протянула Зоя, сколько погибло в блокаду! Проклятый Гитлер!

Костоглотов усмехнулся:

— Что Гитлер — проклятый, это не требует повторных доказательств. Но все же ленинградскую блокаду я на него одного не списываю.

— Как! Почему?

— Ну — как! Гитлер и шел нас уничтожать. Неужели ждали, что он приотворит калиточку и предложит блокадным: выходите, по одному, не толпитесь? Он воевал, он враг. А в блокаде виноват некто другой.

— Кто же? — прошептала пораженная Зоя. Ничего подобного она не слышала и не предполагала.

Костоглотов собрал черные брови.

— Ну, скажем, тот или те, кто были готовы к войне даже если бы с Гитлером объединились Англия, Франция и Америка. Кто получал зарплату десятки лет и предусмотрел угловое положение Ленинграда и его оборону. Кто оценил степень будущих бомбардировок и догадался спрятать продовольственные склады под землю. Они-то и задумали мою мать — вместе с Гитлером.

Просто это было — но как-то очень уж ново.

Сибгатов тихо сидел в своей ванночке позади них, в углу.

— Но тогда?.. Но тогда их надо судить?.. — шепотом предложила Зоя.

— Не знаю, — Костоглотов скривил губы, и без того угловатые. Не знаю.

Зоя не надевала больше шапочки. Верхняя пуговица ее халата была расстегнута, и виднелся ворот платья-иззолотасерый.

— Зоенька. А ведь я к вам отчасти и по делу.

— Ах, вот как! — прыгнули ее ресницы. — Тогда, пожалуйста, в дневное дежурство. А сейчас — спать! Вы просились в гости?

— Я — и в гости. Но пока вы еще не испортились, не стали окончательным врачом — протяните мне человеческую руку.

— А врачи не протягивают?

— Ну, у них и рука не такая... Да и не протягивают. Зоенька, я всю жизнь отличался тем, что не любил быть мартышкой. Меня здесь лечат, но ничего не объясняют. Я так не могу. Я у вас видел книгу — «Патологическая анатомия». Так ведь?

— Так.

— Это и есть об опухолях? Да?

— Да.

— Так вот будьте человеком — принесите мне ее! Я должен ее полистать и кое-что сообразить. Для себя.

Зоя округлила губы и покачала головой.

— Но больным читать медицинские книги противопоказано. Даже вот когда мы, студенты, изучаем какую-нибудь болезнь, нам всегда кажется...

— Это кому-нибудь другому противопоказано, но не мне! — прихлопнул Костоготов по столу большой лапой. — Я уже в жизни пуган-перепуган и отпугался. Мне в областной больнице хирург-кореец, который вот диагноз ставил, вот под Новый год, тоже объяснять не хотел, а я ему «говорите». «У нас, мол, так не положено!». «Говорите, я отвечаю! Я семейными делами хочу распорядиться!» Ну и он мне лепнул: «Три недели проживете, больше не ручаюсь!».

— Какое ж он имел право!..

— Молодец! Человек! Я ему руку пожал. Я знать должен! Да если я до этого полгода мучился, а последний месяц не мог уже ни лежать, ни сидеть, ни стоять, чтобы не болело, в сутки спал несколько минут — так я уже что-то ведь передумал! За эту осень я на себе узнал, что человек может переступить черту смерти, еще оставаясь в неумершем теле. Еще в тебе что-то там кровообращается или пищеварится, — а ты уже — психологически — прошел всю подготовку к смерти и пережил саму смерть. Все, что видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба, бесстрастно. Хотя ты не причислял себя к христианам и даже иногда напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты-таки уже простил всем обижавшим тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже просто все, и все безразличны, ничего не порываешься исправить, ничего не жаль. Я бы даже сказал: очень равновесное состояние, естественное — как у деревьев, как у камней. Теперь меня вывели из него, но я не знаю — радоваться ли. Вернутся все страсти — и плохие, и хорошие.

— Да уж чего задаетесь! Еще бы не радоваться! Когда вы сюда поступили... Сколько это дней?..

— Двенадцать.

— И вот тут, в вестибюле, на диванчике крутились — на вас смотреть было страшно, лицо покойническое, не ели ничего, температура тридцать восемь и утром, и вечером, — а сейчас. Ходите в гости... Это же чудо — чтоб человек за двенадцать дней так ожил! У нас так редко бывает.

В самом деле — тогда на лице его были, как зубилом

прорублены глубокие, серые, частые морщины от постоянного напряжения. А сейчас их стало куда меньше и они посветлели.

— Все счастье в том, что оказалось — я хорошо перепошу рентген.

— Это далеко не часто! Это удача! — с теплым сердцем сказала Зоя.

Костоглотов усмехнулся:

— Жизнь моя так была бедна удачами, что в этой рентгеновской есть своя справедливость. Мне и сны сейчас стали сниться какие-то расплывчатые — приятные. Я думаю — это признак выздоровления.

— Вполне допускаю.

— Так тем более мне надо понять и разобраться! Я хочу понять, в чем состоит метод лечения, какие перспективы, какие осложнения. Мне настолько полегчало, что, может, нужно лечение остановить. Это надо понять. Ни Лидия Афанасьевна, ни Вера Корнильевна мне ничего не объясняют, лечат, как обезьяну. Принесите книжечку, Зоя, прошу вас! Я вас не продам. И книжки у меня никто не увидит, будьте уверены!

Он говорил так настоятельно, что оживился.

Зоя в колебании взялась за ручку ящика в столе.

— Она у вас здесь? — догадался Костоглотов. — Зоенька, дайте! — И уже руку вытянул. — Когда вы следующий раз дежурите?

— В воскресенье днем.

— И я вам отдам! Все! Договорились!

Какая она славная была, незаносчивая, с этой челкой золотенькой, с этими выкаченными глазками.

Он только не видел, как во всех направлениях были закручены угловатые вихры на его собственной голове, отлежанные так на подушке, а из-под курточки, недостегнутой до шеи, с больничною простотой высывался уголок казенной бязевой сорочки.

— Так-так-так, — листал он книгу и лез в оглавление. — Очень хорошо. Тут я все найду. Вот спасибо. А то, черт его знает, еще, может, перелечат. Им ведь только графу заполнить. Я еще, может, оторвусь. И хорошая аптека убавит века.

— Ну вот! — всплеснула Зоя ладонями. — Стоило вам давать! А ну-ка назад!

И она потянула книгу одной рукой, потом двумя. Но он легко удерживал.

— Порвете библиотечную! Отдайте!

Круглые плотные плечи ее и круглые плотные небольшие

руки были как облитые в натянувшемся халате. Шея была ни худа, ни толста, ни коротка, ни вытянута, очень соразмерна.

Перетягивая книгу, они сблизились и он смотрел в упор. Его нескладное лицо распустилось в улыбке. И шрам уже не казался таким страшным. Он и был-то побледневший, давний. Свободной рукой мягко отнимая ее пальцы от книги, Костоглотов шепотом уговаривал:

— Зоенька. Ну, вы же не за невежество, вы же за просвещение. Как можно мешать людям развиваться? Я пошутил, я никуда не оторвусь.

Напористым шепотом отвечала она:

— Да вы уж потому недостойны читать, что — как вы себя запустили? Почему вы не приехали раньше? Почему надо было приезжать уже мертвецом?

— Э-э-эх, — вздохнул Костоглотов уже полувслух. — Транспорта не было.

— Да что это за место такое — транспорта не было? Ну, самолетом! Да почему надо было допускать до последнего? Почему заранее не переехать в более культурное место? Какой нибудь врач, фельдшер у вас был?

Она освободила книгу.

— Врач есть, гинеколог. Даже два...

— Два гинеколога?! — подивилась Зоя. — Так у вас там одни женщины?

— Наоборот, женщин нехватает. Гинеколога два, а других врачей нет. И лаборатории нет. Крови не могли взять на исследование. У меня РОЭ был, оказывается шестьдесят, и никто не знал.

— Кошмар! И опять беретесь решать — лечиться или нет? Себя не жалеете — хоть бы близких своих пожалели, детей!

— Детей? — будто очнулся Костоглотов, будто вся эта веселая возня с книгой была во сне, а вот опять он возвращался в свое жесткое лицо и медленную речь. — У меня никаких детей нет.

— А жена — не человек?

Он стал еще медленней.

— И жены нет.

— Мужчины всегда, что — нет. А какие же вы семейные дела собирались улаживать? Корейцу что говорили?

— Так я ему соврал.

— А может, мне — сейчас?

— Нет, правда, нет. — Лицо Костоглотова тяжелело. — Я переборчив очень.

— Она не выдержала вашего характера? — сочувственно кивнула Зоя.

Костоглотов совсем медленно покачал головой.

— И не было никогда.

Зоя недоуменно оценивала, сколько ж ему лет. Она шевельнула губами раз — отложила вопрос. И еще шевельнула — и еще отложила.

Зоя к Сибгатову сидела спиной, а Костоглотов — лицом, и ему было видно, как тот преосторожно поднялся из ванночки, обеими руками держась за поясицу, и просыхал. Вид его был обстрадавшийся: от крайнего горя он уже отстал, а к радости не вызвало его ничто.

Костоглотов вдохнул и выдохнул, как будто это работа была — дышать.

— Ох, закурить хочется! Здесь никак нельзя?

— Никак. И для вас курить — это смерть.

— Ни за что просто?

— Просто ни за что. Особенно при мне.

Но улыбнулась.

— А, может, одну все-таки?

— Больные спят, как можно!

Он все же вытащил пустой длинный наборный мундштук ручной работы и стал его сосать.

— Знаете, как говорят: молодому жениться рано, а старому — поздно. — Двумя руками облокотился о ее стол и пальцы с мундштуком запустил в волосы. — Чуть-чуть я не женился после войны, хотя — я студент, она — студентка. Поженились бы все равно, да пошло кувырком.

Зоя рассматривала малодружелюбное, но сильное лицо Костоглотова. Костлявые плечи, руки — но это от болезни.

— Не сладилось?

— Она... как это называется... погибла. — Один глаз он закрыл в кривой пожимке, а один смотрел. — Погибла, но вообще — жива. В прошлом году мы обменялись с ней несколькими письмами.

Он распурился. Увидел в пальцах мундштук и положил его в карманчик назад.

— И, знаете, по некоторым фразам в этих письмах я вдруг задумался: а на самом-то деле тогда она была ли таким совершенством, как виделось мне? Может, и не была?.. Что мы понимаем в двадцать пять лет?..

Он смотрел в упор на Зою темно-коричневыми глазами:

— Вот вы, например, — что сейчас понимаете в мужчинах? Ни-чер-та!

Зоя засмеялась:

— А может быть как раз понимаю.

— Никак этого не может быть, — продиктовал Костоглотов. — То, что под пониманием думаете — это не понимание. И выйдете замуж — обяза-тельно ошибетесь.

— Перспективка! — покрутила Зоя головой и из той же большой оранжевой сумки достала и развернула вышивание: небольшой кусочек, натянутый на пальцы, на нем уже вышитый зеленый журавль, а лиса и кувшин — только нарисованы.

Костоглотов смотрел, как на диво:

— Вышиваете?!

— А почему вы удивляетесь?

— Не представлял, что сейчас и студентка мединститута — может вынуть рукоделие.

— Вы не видели, как девушки вышивают?

— Кроме, может быть, самого раннего детства. В двадцатые годы. И то уже считалось буржуазным. За это б вас на комсомольском собрании выхлестали.

— Сейчас это очень распространено. А вы не видели?

Он покрутил головой.

— И осуждаете?

— Что вы! Это так мило, уютно. Я люблюсь.

Она клала стежок к стежку, давая ему полюбоваться. Она смотрела в вышивание, а он — на нее. В желтом свете лампы отсвечивали призолотой ее ресницы. И отзолачивал открытый уголок платья.

— Вы — пчелка с челкой, — прошептал он.

— Как? — она исподлобья взбросила бровки.

Он повторил.

— Да? — Зоя будто ожидала похвалы и побольше. — А там, где вы живете, если никто не вышивает, так, может быть, свободно продаются мулинэ?

— Как-как?

— Му-ли-нэ. Вот эти нитки — зеленые, синие, красные, желтые. У нас очень трудно купить.

— Мулинэ. Запомню и спрошу. Если есть — обязательно пришлю. А если у нас окажутся неограниченные запасы мулинэ — так, может быть, вам проще переехать самой к нам туда?

— А куда это, все-таки, — к вам?

— Да можно сказать — на целину.

— Так вы — на целине? Вы — целинник?

— То-есть, когда я туда приехал, никто не думал, что целина. А теперь выяснилось, что — целина, и к нам при-

езжают целинники. Вот будут распределять — проситесь к нам! Наверняка не откажут. К нам — не откажут.

— Неужели у вас так плохо?

— Ничуть. Просто у людей перевернуты представления — что хорошо и что плохо. Жить в пятиэтажной клетке, чтоб над твоей головой стучали и ходили, а радио со всех сторон — это считается хорошо. А жить среди трудолюбивых земледельцев в глинобитной хатке на краю степи — это считается крайняя неудача.

Он говорил ничуть не в шутку, с той утомленной убежденностью, когда не хочется даже силой голоса укрепить доводы.

— Но степь — или пустыня?

— Степь. Барханов нет. Все же травка кой-какая. Растет кантах — верблюжья колючка, не знаете? Это колючка, но в июле на ней розоватые цветы, и даже очень тонкий запах. Казахи делают из нее сто лекарств.

— Так это в Казахстане?

— У-гм.

— Как же называется?

— Уш-Терек.

— Это аул?

— Да хотите — аул, а хотите — и районный центр. Больница. Только врачей не хватает. Приезжайте!

Он сощурился.

— И больше ничего не растет?

— Нет, почему же, есть поливное земледелие. Сахарная свекла, кукуруза. На огородах вообще все, что угодно. Только трудиться надо много. С чекменем. На базаре у греков всегда молоко, у курдов — баранина, у немцев — свинина. А какие живописные базары, вы бы видели! Все в национальных костюмах, приезжают на верблюдах.

— Вы — агроном?

— Нет. Землеустроитель.

— А вообще зачем вы там живете?

Костоготов почесал нос:

— Мне там климат очень нравится.

— И нет транспорта?

— Да почему, ходят машины, сколько хотите.

— Но зачем, все-таки, туда поеду я?

Она смотрела искоса. За то время, что они болтали, лицо Костоготова подобрело и помягчело.

— Вы? — он поднял кожу лба, как бы готовясь к тосту.

— А откуда вы знаете, Зоенька, в какой точке земли вы будете счастливы? В какой — несчастливы? Кто скажет, что знает это о себе?

4.

Хирургическим больным, то-есть тем, чью опухоль намечено было пресекать операцией, не хватало места в палатах нижнего этажа, и их клали также наверху, вперемежку с «лучевыми», кому назначалось облучение или химия. Поэтому наверху каждое утро шло два обхода: лучевики смотрели своих больных, хирурги — своих.

Но четвертого февраля была пятница, операционный день, и хирурги обхода не делали. Доктор же Вера Корнильевна Гангарт, лечащий врач лучевых, после пятиминутки тоже не пошла сразу обходить, а лишь, поравнявшись с дверью мужской палаты, заглянула.

Доктор Гангарт была невысока и очень стройна — казалась очень стройной оттого, что у нее подчеркнуто узко сходилась в поясном перехвате. Волосы ее, немодно положенные узлом на затылке, были светлее черных, но и темней темнорусых, — те, что нам предлагают называть непонятым словом шатеновые, а сказать бы: чернорусые — между черными и русыми.

Ее заметил Ахмаджан и закивал радостно. И Костоглов успел поднять голову от большой книги и поклониться издали. И она обоим им улыбнулась и подняла палец, как предупреждают детей, чтобы сидели без нее тихо. И тут же, уклонясь от дверного проема, ушла.

Сегодня она должна была обходить палаты не одна, а с заведующей лучевым отделением Людмилой Афанасьевной Донцовой, но Людмилу Афанасьевну вызвал и задержал Низамутдин Бахрамович, главврач.

Только в эти дни своих обходов, Донцова жертвовала рентгено-диагностикой. Обычно же два первых лучших утренних часа, когда острее всего глаз и ясней ум, она сидела со своим очередным ординатором перед экраном. Она считала это самой сложной частью своей работы и более чем за двадцать лет ее поняла, как дорого обходятся ошибки именно в диагнозе. У нее в отделении было три врача, все молодые женщины, и чтоб опыт каждой из них был равномерен и ни одна из них не отставала бы от диагностики, Донцова кругообразно сме-

няла их, держа по три месяца на первичном амбулаторном приеме, в рентгенодиагностическом кабинете и лечащим врачом в клинике.

У доктора Гангарт шел сейчас этот третий период. Самым главным, опасным и наименее исследованным здесь было — следить за верной дозировкою облучения. Не было такой формулы, по которой можно было бы рассчитать интенсивности и дозы облучений, самые смертоносные для каждой опухоли, самые безвредные для остального тела. Формулы не было, а был — некий опыт, некое чутье и возможность сверяться с состоянием больного. Это тоже была операция — но лучом, вслепую и растянутая по времени. Невозможно было не ранить и не губить здоровых клеток.

Остальные обязанности лечащего врача требовали только методичности: во-время назначать анализы, проверять их и делать записи в тридцати историях болезни. Никакой врач не любит исписывать разграфленные бланки, но Вера Корнильевна примирилась с ними за то, что эти три месяца у нее были свои большие, — не бледное сплетение света и теней на экране, а свои живые постоянные люди, которые верили ей, ждали от нее голоса ободрения и обнадежного взгляда. И когда ей приходилось передавать обязанности лечащего врача, ей всегда было жалко расставаться с теми, кого она не долечила.

Дежурная медсестра, Олимпиада Владиславовна, пожилая, седоватая, очень осанистая женщина, с виду солиднее иных врачей, объявила по палатам, чтобы лучевые не расходились. Но в большой женской палате только как будто и ждали этого объявления — сейчас же одна за другой женщины в однообразных серых халатах потянулись на лестницу и куда-то вниз: посмотреть, не пришел ли сметанный дед; и не пришла ли бабка с молоком; заглядывать с крыльца клиники в окна операционной (поверх забеленной нижней части видны были шапочки хирургов и сестер и яркие верхние лампы); и что-то постирать над раковиной; и кого-то навестить.

Не только их операционная судьба, но еще эти серые бумазейные обтрепавшиеся халаты, неопрятные на вид, даже когда они были вполне чисты, отъединяли, отрывали женщин от их женской доли и женского обаяния. Покрой этих халатов был никакой: они были все просторны так, чтобы любая толстая женщина могла в любой запахнуться, и рукава шли бесформенными широкими трубами. Бело-розовые полосатые курточки мужчин были гораздо аккуратнее. Женщинам же не выдавали платьев, а только эти халаты, лишенные петель и пуговиц. Все однообразно затягивали бумазейные пояса,

чтоб не обнажать сорочек, и так же однообразно стягивали руками полы на груди. Угнетенная болезнью и убогая в этом халате, женщина не могла обрадовать ничего взгляда и принимала это.

А в мужской палате все, кроме Русанова, ждали обхода спокойно, малоподвижно.

Старый узбек, колхозный сторож Мурсалимов, лежал, вытянувшись на спине поверх застеленной постели, как всегда, в своей вытертой-перевытертой тюбетейке. Он уж тому, должно быть, рад был, что кашель его не рвал. Он сложил руки на задышливой груди и смотрел в одну точку потолка. Его темно-бронзовая кожа обтягивала почти череп: видны были ребрики носовой кости, скулы, острая подбородочная кость за клинышком бородки. Уши его утончились и были совсем плоские хрящики. Ему уже немного оставалось досохнуть и дотемнеть до мумии.

Рядом с ним средолетний казах чабан Егенбердиев на своей кровати не лежал, а сидел, поджав ноги накрест, будто дома у себя на кошме. Ладонями больших сильных рук он держался за круглые большие колени, и так жестко было сцеплено его тугое ядреное тело, что если он и чуть покачивался иногда в своей неподвижности, то лишь как заводская труба или башня. Его плечи и спина распирали бело-розовую курточку, и манжеты ее едва не рвались на мускулистых предлоках. Небольшая язвочка на губе, с которой он приехал в больницу, здесь под трубками обратилась в большой темно-багровый струп, который заслонял ему рот и мешал есть и пить. Но он не бесился, не бегал, не кричал, а мерно и дочи-ста выедал из тарелок и вот так спокойно часами мог сидеть, смотря никуда.

Дальше, на придверной койке, шестнадцатилетний Дема вытянул больную ногу по кровати и все время чуть поглаживал, массировал грызущее место голени ладонью. А другую ногу он поджал, как котенок, и читал, ничего не замечая: он вообще читал все то время, что не спал и не проходил процедур. В лаборатории, где делались все анализы, у старшей лаборантки был шкаф с книгами, и уже Дема был туда допущен и менял себе книги сам, не дожидаясь, пока обменят всей палате. Сейчас он читал журнал в синеватой обложке, но не новый, а потрепанный и выгоревший на солнце, — новых не было в шкафу лаборантки.

А Прошка, добросовестно, без морщин и ямок застав свою койку, сидел чинно, терпеливо, спустив ноги на пол, как вполне здоровый человек. Он и был вполне здоров — в палате ни на что не жаловался, не имел никакого наружного

поражения, щеки были налиты здоровою смуглостью, а по лбу — выложен гладкий чуб. Парень он был хоть куда, хоть на танцы.

Рядом с ним Ахмаджан, не найдя, с кем играть, положил на одеяло шашечную доску углом и играл сам с собою в уголки.

Ефрем в своей бинтовой, как броневой, обмотке, с некрутящейся головой, не топал по проходу, не нагонял тоски, а, подмявшись двумя подушками повыше, без отрыва читал книгу, навязанную ему вчера Костоглотовым. Правда, страницы он переворачивал так редко, что можно было подумать — дремлет с книгой.

А Азовкин все так же мучился, как и вчера. Он может быть и совсем не спал. По подоконнику и тумбочке были разбросаны его вещи, постель вся сбита. Лоб и виски его пробивала испарина, по желтому лицу переходили все те искорчины боли, которые он ощущал внутри. Он держался обеими руками за живот и складывался в животе. Он уже много дней в комнате не отвечал на вопросы, ничего о себе не говорил. Речь он тратил только на выпрашивание лишних лекарств у сестер и врачей. Когда приходили к нему на свидание домашние, он посылал их покупать еще этих лекарств, какие видел здесь.

За окном был пасмурный, безветренный, бесцветный день. Костоглотов, вернувшись с утреннего рентгена и не спросив Павла Николаевича, отворил над собой форточку, и оттуда тянуло сыроватым, правда не холодным.

Опасаясь простудить опухоль, Павел Николаевич обмотал шею и отсел к стене. Какие-то тупые все, покорные, полубревна! Кроме Азовкина здесь, видимо, никто не страдает настоящему, а значит — и недостоин выздоровления. Как сказал, кажется, Горький, только тот достоин свободы, кто за нее повседневно идет в бой. Павел-то Николаевич уже принял утром решительные шаги. Едва только открылась регистратура, он пошел позвонил домой и сообщил жене ночное решение: через все каналы добиваться направления в Москву, а здесь не рисковать, себя не губить. Капа — пробивная, она уже действует. Конечно, это было малодушие: испугаться опухоли и лечь сюда. Ведь это только кому сказать — с трех часов вчерашнего дня никто даже не пришел пощупать — растет ли его опухоль. Никто не дал лекарства. «Убийцы в белых халатах!» — как это верно сказано! Повесили температурный листок для дураков. Даже санитарка не пришла застелить его постель — сам справляйся! Не-ет,

лечебные учреждения у нас еще надо подтягивать и подтягивать!

Наконец, появились врачи — но опять не вошли в комнату: остановились там, за дверью, и изрядно постояли около Сибгатова. Он открывал спину и показывал им. (Тем временем Костоглотов спрятал свою книгу под матрац).

Но вот вошли и в палату — доктор Донцова, доктор Гангарт и осанистая седая сестра с блокнотом в руках и полотенцем на локте. Вход нескольких сразу белых халатов вызывает всегда прилив внимания, страха и надежды, — и тем сильнее все три чувства, чем белее халаты и шапочки, чем строже лица. Тут строже и торжественнее всех держалась сестра Олимпиада Владиславовна: для нее обход был как для дьякона богослужение. Эта была та сестра, для которой врачи — выше простых людей, которая знает, что врачи все понимают, никогда не ошибаются, не дают неверных назначений. И всякое назначение она вписывает в свой блокнот с ощущением почти счастья, как молодые сестры уже не делают.

Однако, и войдя в палату, врачи не поспешили к койке Русанова! Людмила Афанасьевна — крупная женщина с простыми крупными чертами лица, с уже пепелистыми, но стриженными и подвитыми волосами сказала общее негромкое «здравствуйте» и у первой же койки, около Демы, остановилась, изучающе глядя на него.

— Что читаешь, Дема?

(Не могла найти вопроса поумней! В служебное время!)

По привычке многих, Дема не назвал, а вывернул и показал голубоватую поблекшую обложку журнала. Донцова сощурилась.

— Ой, старый какой, позапрошлого года. Зачем?

— Здесь статья интересная, — значительно сказал Дема.

— О чем же?

— Об искренности! — еще выразительней ответил он. — О том, что литература без искренности...

Он спускал большую ногу на пол, но Людмила Афанасьевна быстро его предупредила:

— Не надо! Закати.

Он закатил штанину, она присела на его кровать и осторожно, издали, несколькими пальцами стала прощупывать ногу.

Вера Корнильевна, позади нее опершись о кроватьную спинку и глядя ей через плечо, сказала негромко:

— Пятнадцать сеансов, три тысячи «эр».

— Здесь больно?

— Больно.

— А здесь?

— Еще и дальше больно.

— А почему ж молчишь? Герой какой! Ты мне говори, откуда больно.

Она медленно выщупывала границы.

— А само болит? Ночью?

На чистом Демином лице не росло ни волоска. Но постоянно-напряженное выражение очень взрослило его.

— И день и ночь грызет.

Людмила Афанасьевна переглянулась с Гангарт.

— Ну, все-таки, как ты замечаешь — за это время стало сильнее грызть или слабей?

— Не знаю. Может, немного полегче. А может — как-жестя.

— Кровь, — попросила Людмила Афанасьевна, и уже Гангарт протягивала ей историю болезни. Людмила Афанасьевна почитала, посмотрела на мальчика.

— Appetit есть?

— Я всю жизнь ем с удовольствием, — ответил Дема с важностью.

— Он стал у нас получать дополнительное, — голосом няни, нараспев, ласково вставила Вера Корнильевна и улыбнулась Деме. И он ей. — Трансфузия? — тут же тихо отрывисто спросила Гангарт у Донцовой, беря назад историю болезни.

— Да. Так что ж, Дема? — Людмила Афанасьевна изучающе смотрела на него опять. — Рентген продолжим?

— Конечно, продолжим! — осветился мальчик.

И благодарно смотрел на нее.

Он так понимал, что это — вместо операции. И ему казалось, что Донцова тоже так понимает. (А Донцова-то понимала, что прежде, чем оперировать саркому кости, надо подавить ее активность рентгеном и подавить метастазы).

Егенбердиев уже давно приготовился, насторожился и, как только Людмила Афанасьевна встала с соседней койки, поднялся в рост в проходе, выпятил грудь и стоял над ней по-солдатски.

Донцова улыбнулась ему, приблизилась к его губе и рассматривала струп. Гангарт тихо читала ей цифры.

— Ну! Очень хорошо! — громче, чем надо, как всегда говорят с иноязычными, ободряла Людмила Афанасьевна. — Все идет хорошо, Егенбердиев! Скоро домой пойдешь!

Ахмаджан, уже зная свои обязанности, перевел по-узбек-

ски. (Они с Егенбердиевым понимали друг друга, хотя каждому язык другого казался искаженным).

Егенбердиев с надеждой, с доверием и даже восторженно уставился в Людмилу Афанасьевну, — с тем восторгом, с каким эти простые души относятся к подлинно образованным и подлинно полезным людям. Но все же провел рукой около своего ступа и спросил:

— А стало — больше? Раздулось? — перевел Ахмаджан.

— Это все отвалится! Так быть должно! — усиленно громко выговаривала ему Донцова. — Все отвалится! Отдохнешь три месяца дома — и опять к нам!

Она перешла к старику Мурсалимову. Он уже сидел, спустив ноги, и сделал попытку встать навстречу ей, но она удержала его и села рядом. С той же верой в ее всемогущество смотрел на нее и этот высохший бронзовый старик. Она через Ахмаджана спрашивала его о кашле и велела закатить рубашку, подавливала грудь, где ему больно, и выстукивала рукой через другую руку, тут же слушала Веру Корнильевну о числе сеансов крови, уколах и молча сама смотрела в историю болезни. Когда-то было все нужное, все на месте в здоровом теле, а сейчас все было лишнее и выпирало — какие-то узлы, углы...

Донцова назначила ему еще другие уколы и попросила показать из тумбочки таблетки, какие он пьет.

Мурсалимов вынул пустой флакон из-под поливитаминов.

— Когда купил? — спрашивала Донцова.

Ахмаджан перевел:

— Третьего дня.

— А где же таблетки?

— Выпил.

— Как выпил?? — изумилась Донцова. — Сразу все?

— Нет, за два раза, — перевел Ахмаджан.

Расхохотались врачи, сестры, русские больные, Ахмаджан, и сам Мурсалимов приоткрыл зубы, еще не понимая.

И только Павла Николаевича их бессмысленный, несвоевременный, преступный смех наполнил негодованием. Ну, сейчас он их отрезвит! Он выбирал позу, как лучше встретить врачей, и решил, что, подобрав ноги, полулежа, он больше подчеркнет.

— Ничего, ничего! — ободрила Донцова Мурсалимова. И, назначив ему еще витамин «С», обтерев руки о полотенце, истово подставленное сестрой, она с озабоченностью повернулась перейти к следующей койке. Теперь, обращенная к окну и близко к нему, она сама выказывала нездоровый се-

роватый цвет лица и глубоко-усталое, едва ли не больное выражение.

Лысый, в тубетейке и в очках, строго сидящий в постели, Павел Николаевич почему-то напоминал учителя, да и не какого-нибудь, а заслуженного, вырастившего сотни учеников. Он дождался, когда Людмила Афанасьевна подошла к его изголовью, поправил очки и объявил:

— Так, товарищ Донцова. Я вынужден буду говорить в минздраве о порядках в этой клинике. И звонить товарищу Остапенко.

Она не вздрогнула, не побледнела, может быть, землистее стал цвет ее лица. Она сделала странное одновременное движение плечами — круговое, будто плечи устали от лямок и нельзя было дать им свободу.

— Если вы имеете легкий доступ в минздрав, — сразу согласилась она, — и даже можете звонить товарищу Остапенко, я добавлю вам материала, хотите?

— Да уж добавлять некуда! Такое равнодушие, как у вас, ни в какие ворота не лезет! Я восемнадцать часов здесь! — а меня никто не лечит! А между тем я — не рядовой работник и не должен так лежать!

Все в комнате молчали и смотрели на него. Кто принял удар, так это не Донцова, а Гангарт, — она сжала губы в ниточку и схмурилась и лоб стянула, как будто непоправимое видела и не могла остановить.

А Донцова нависая над сидящим Русановым, крупная, не дала себе воли даже нахмуриться, только плечами еще раз кругоподобно повела и сказала уступчиво, тихо:

— Вот я пришла вас лечить.

— Нет уж, теперь поздно! — обрезал Павел Николаевич. — Я посмотрелся здешних порядков — я уйду отсюда. Никто не интересуется, никто диагнозов не ставит!

Его голос непредусмотренно дрогнул. Потому что действительно было обидно.

— Диагноз вам поставлен, — размеренно сказала Донцова, обеими руками держась за спинку его кровати. — И вам некуда идти больше, с этой болезнью в нашей республике вас нигде больше не возьмутся лечить.

— Но ведь вы сказали — у меня не рак?! Тогда объявите диагноз!

— Вообще мы не обязаны называть больным их болезнь. Но если это облегчит ваше состояние, извольте: лимфогрануломатоз.

— Так, значит, не рак?!

— Конечно, нет. — Даже естественного озлобления от

спора не было в ее лице и голосе. Ведь она видела его опухоль в кулак под челюстью. На кого ж было сердиться? На опухоль? — Вас никто не неволил ложиться к нам. Вы можете выписаться хоть сейчас. Но помните... — Она поколебалась. Она примирительно предупредила его: — Умирают ведь не только от рака.

— Вы что — запугать меня хотите?! — вскрикнул Павел Николаевич. — Зачем вы меня пугаете? Это не методически! — еще бойко резал он, но при слове «умирают» все охладело у него внутри. Уже мягче он спросил: — Вы что, хотите сказать, что со мной так опасно?

— Если вы будете переезжать из клиники в клинику — конечно. Снимите-ка шарфик. Встаньте, пожалуйста.

Он снял шарфик и стал на пол. Донцова начала бережно ощупывать его опухоль, потом и здоровую половину шеи, сравнивая. Попросила его сколько можно запрокинуть голову назад (не так-то далеко она и запрокинулась, сразу потянула опухоль), сколько можно наклонить вперед, повернуть налево и направо.

Вот оно как! Голова его, оказывается, уже почти не имела свободы движения — той легкой изумительной свободы, которую мы не замечаем, обладая ею.

— Куртку снимите, пожалуйста.

Куртка его зеленовато-коричневой пижамы расстегивалась крупными пуговицами и не была тесна, и кажется бы не трудно было ее снять, но при вытягивании рук отдалось в шее, и Павел Николаевич простонал. О, как далеко дошло дело! Седая осанистая сестра помогла ему выпутаться из рукавов.

— Под мышками вам не больно? — спрашивала Донцова. — Ничего не мешает?

— А что — и там может заболеть? — Голос Русанова совсем упал и был еще тише теперь, чем у Людмилы Афанасьевны.

— Поднимите руки в стороны! — И сосредоточенно, остро давя, щупала у него под мышками.

— А в чем будет лечение? — спросил Павел Николаевич.

— Я вам говорила: в уколах.

— Куда? Прямо в опухоль?

— Нет, внутривенно.

— И часто?

— Три раза в неделю. Одевайтесь.

— А операция — невозможна?

(Он спрашивал «невозможна», но больше всего боялся

именно лечь на стол. Как всякий больной, он предпочитал любое другое долгое лечение).

— Операция бессмысленна. — Она вытирала руки о подставленное полотенце.

И хорошо, что бессмысленна! Павел Николаевич соображал. Все-таки надо посоветоваться с Капой. Обходные хлопоты тоже не просты. Влияния-то нет у него такого, как хотелось бы, как он здесь держался. И позвонить товарищу Остапенко совсем не было просто.

— Ну хорошо, я подумаю. Тогда завтра решим?

— Нет, — неумолимо проговорила Донцова. — Только сегодня. Завтра мы укола делать не можем, завтра суббота.

Опять правила! Как будто не для того и пишутся правила, чтоб их ломать!

— Почему это вдруг в субботу нельзя?

— А потому что за вашей реакцией надо хорошо следить — в день укола и в следующий. А в воскресенье это невозможно.

— Так что, — такой серьезный укол?

Людмила Афанасьевна не отвечала. Она уже перешла к Костоглолову.

— Ну, а если до понедельника?..

— Товарищ Русанов! Вы упрекнули, что восемнадцать часов вас не лечат. Как же вы соглашаетесь на семьдесят два? — (Она уже победила, уже давила его колесами, и он ничего не мог!..) — Мы или берем вас на лечение, или не берем. Если да, то сегодня в одиннадцать часов дня вы получите первый укол. Если нет — вы распишитесь, что отказываетесь от нашего лечения, и сегодня же я вас выпишу. А три дня ждать в бездействии мы не имеем права. Пока я кончу обход в этой комнате — продумайте и скажите.

Русанов закрыл лицо руками.

Гангарт, глухо затянутая халатом почти под горло, беззвучно миновала его. И Олимпиада Владиславовна проплыла мимо, как корабль.

Донцова устала от спора и надеялась у следующей кровати порадоваться.

— Ну, Костоглолов, а что скажете вы?

Костоглолов немного пригладивший вихры, ответил громко, уверенно, голосом здорового человека:

— Великолешно, Людмила Афанасьевна! Лучше не надо!

Врачи переглянулись. У Веры Корнильевны губы лишь чуть улыбались, зато глаза — просто смеялись от радости.

— Ну все-таки, — присела Донцова на его кровать. —

Опишите словами — что вы чувствуете? Что за это время изменилось?

— Пожалуйста! — охотно взялся Костоглотов. — Боли у меня ослабились после второго сеанса, совсем исчезли после четвертого. Тогда же упала и температура. Сплю я сейчас великолепно, по десять часов, в любом положении — и не болит. А раньше я такого положения найти не мог. На еду я смотреть не хотел, а сейчас все подбираю и еще добавки прошу. И не болит.

— И не болит? — рассмеялась Гангарт.

— А — дают? — смеялась Донцова.

— Иногда. Да вообще — о чем говорить? У меня просто изменилось мироощущение. Я приехал вполне мертвец, а сейчас я живой.

— И тошноты не бывает?

— Нет.

Донцова и Гангарт смотрели на Костоглотов и сияли — так, как смотрит учитель на выдающегося отличника: больше гордясь его великолепным ответом, чем собственными знаниями и опытом. Такой ученик вызывает к себе привязанность.

— А опухоль ощущаете?

— Она мне уже теперь не мешает.

— Но ощущаете?

— Ну, когда вот ложусь — чувствую лишнюю тяжесть, вроде бы даже перекатывается. Но не мешает! — настаивал Костоглотов.

— Ну, лягте.

Костоглотов привычным движением (его опухоль за последний месяц щупали в разных больницах многие врачи и даже практиканты, и звали из соседних кабинетов щупать, и все удивлялись) поднял ноги на койку, подтянул колени, лег без подушки на спину и обнажил живот. Он сразу почувствовал, внутренняя жаба, спутница его жизни, прилегла там где-то глубоко и подавливала.

Людмила Афанасьевна сидела рядом и мягкими круговыми приближениями подбиралась к опухоли.

— Не напрягайтесь, не напрягайтесь, — напоминала она, хотя и сам он знал, но непроизвольно напрягался в защиту и мешал щупать. Наконец, добившись мягкого доверчивого живота, она ясно ощутила в глубине, за желудком, край его опухоли и пошла по всему контуру сперва мягко, второй раз жестче, третий — еще жестче.

Гангарт смотрела через ее плечо. И Костоглотов смотрел на Гангарт. Она очень располагала. Она хотела быть строгой

— и не могла: быстро привыкала к больным. Она хотела быть взрослой — и тоже не получалось: что-то было в ней девчоночье.

— Отчетливо пальпируется по-прежнему, — установила Людмила Афанасьевна. — Стала площе, это безусловно. Отошла вглубь, освободила желудок, и вот ему не больно. Помягчела. Но контур — почти тот же. Вы — посмотрите?

— Да нет, я каждый день, надо с перерывами. РОЭ—25, лейкоцитов — пять восемьсот, сегментных... Ну, посмотрите сами...

Русанов поднял голову из рук и шепотом спросил у сестры:

— А уколы — очень болезненные?

Костоглотов тоже дознавался:

— Людмила Афанасьевна! А сколько мне еще сеансов?

— Этого сейчас нельзя посчитать.

— Ну все-таки. Когда, примерно, вы меня выпишете?

— Что??? — она подняла голову от истории болезни.

— О чем вы меня спросили?

— Когда вы меня выпишете? — также уверенно повторил Костоглотов.

Он обнял колени руками и имел независимый вид.

Никакого любования отличником не осталось во взгляде Донцовой. Был трудный пациент с закоренело-упрямым выражением лица.

— Ведь я вас только начинаю лечить! — осадил она его. — Начиная с завтрашнего дня. А это все была легкая пристрелка.

Но Костоглотов не пригнулся:

— Людмила Афанасьевна, я хотел бы немного объяснить. Я понимаю, что я еще не излечен, но я не претендую на полное излечение.

Ну, выдались больные! Один лучше другого. Людмила Афанасьевна насупилась, вот когда она сердилась!

— Что вообще вы говорите? Вы — нормальный человек или нет?

— Людмила Афанасьевна, — спокойно отвел Костоглотов большой рукой, — дискуссия о нормальности и ненормальности современного человека завела бы нас очень далеко... Я сердечно вам благодарен, что вы меня привели в такое приятное состояние. Теперь я хочу в нем немножечко пожить. А что будет от дальнейшего лечения — я не знаю. По мере того, как он это говорил, у Людмилы Афанасьевны

выворачивалась в нетерпении и возмущении нижняя губа. У Гангарт задергались брови, глаза ее переходили с одного на другую, ей хотелось вмешаться и смягчить. Олимпиада Владиславовна смотрела на бунтаря надменно. — Одним словом, я не хотел бы платить слишком большую цену сейчас за надежду пожить когда-нибудь. Я хочу положиться на защитные силы организма...

— Вы со своими защитными силами организма к нам в клинику на четвереньках приползли! — резко отповедала Донцова и поднялась с его кровати. — Вы даже не понимаете, чем вы играете! Я с вами и разговаривать не буду!

Она взмахнула рукой по-мужски и отвернулась к Азовкину, но Костоглотов с подтянутыми по одеялу коленями смотрел непримиримо, как черный пес:

— А я, Людмила Афанасьевна, прошу вас поговорить! Вас, может быть, интересует эксперимент, чем это кончится, а мне хочется пожить покойно. Хоть годик. Вот и все.

— Хорошо, — бросила Донцова через плечо. — Вас вызовут.

Раздосадованная, она смотрела на Азовкина, еще никак не переключаясь на новый голос и новое лицо.

Азовкин не вставал. Он сидел, держась за живот. Он поднял только голову навстречу врачам. Его губы не были сведены в один рот, а каждая губа выражала свое отдельное страдание. В его глазах не было никакого чувства, кроме мольбы — мольбы к глухим о помощи.

— Ну, что, Коля? Ну, как? — Людмила Афанасьевна обняла его с плеча на плечо.

— Плохо, — ответил он очень тихо, одним ртом, стараясь не выталкивать грудью воздуха, потому что всякий толчок легкими сразу же отдавался к животу на опухоль.

Полгода назад он шел с лопатой через плечо во главе комсомольского воскресника и пел во всю глотку — а сейчас даже о боли своей не мог рассказать громче шепота.

— Ну, давай, Коля, вместе подумаем, — так же тихо говорила Донцова. — Может быть, ты устал от лечения? Может быть, тебе больничная обстановка надоела? Надоела?

— Да...

— Ты ведь здешний. Может, дома отдохнешь? Хочешь?.. Выпишем тебя на месяц — на полтора?

— А потом... примете?

— Ну, конечно, примем. Ты ж теперь наш. Отдохнешь от уколов. Вместо этого купишь в аптеке лекарство и будешь класть под язык три раза в день.

— Синестрол?..

— Да.

Донцова и Гангарт не знали: все эти месяцы Азовкин фанатично вымаливал у каждой заступающей сестры, у каждого ночного дежурного врача лишнее снотворное, лишнее болеутоляющее, всякий лишний порошок и таблетку, кроме тех, которыми его кормили и кололи по назначению. Этим запасом лекарств, набитой матерчатой сумочкой, Азовкин готовил себе спасение вот на этот день, когда врачи откажутся от него.

— Отдохнуть тебе надо, Коленька... Отдохнуть...

Было очень тихо в палате, и тем слышней, как Русанов вздохнул, выдвинул голову из рук и объявил!

— Я уступаю, доктор. Колите!

5.

Как это называется? — Расстроена? Угнетена? — когда утесняется наша душа. Какой-то невидимый, но плотный тяжелый туман входит в грудь, а все наше облегает и сдавливает к середине. И мы чувствуем только это сжатие и эту муку и не сразу даже понимаем — что именно нас так утеснило.

Вот это чувствовала Вера Корнильевна, кончая обход и спускаясь вместе с Донцовой по лестнице. Ей было очень нехорошо.

В таких случаях помогает вслушаться и разобраться: отчего это все? И выставить что-то в заслон.

Но она не успела даже и разобраться.

Нет, вот что было: была боязнь за маму — так звали между собой Людмилу Афанасьевну три ее ординатора-лучевика. М а м о й она приходилась им и по возрасту — им всем близ тридцати, а ей под пятьдесят; и по тому особенному рвению, с которым натаскивала их на работе: она сама была старательна до въедливости и хотела, чтоб ту же старательность и въедливость усвоили все три «дочери»; она была из последних, еще охватывающих и рентгенодиагностику и рентгенотерапию, и вопреки направлению времени и дроблению знаний, добивалась, чтоб ее ординаторы тоже удержали обе. Не было секрета, который она таила бы для себя и не поделилась. И когда Вера Гангарт то в одном, то в другом оказывалась живей и острей ее, то «мама» только радовалась.

Вера работала у нее уже восемь лет, от самого института — и вся сила, которую она в себе теперь чувствовала, сила вытягивать умоляющих людей из запахнувшей их смерти, — вся сила эта произошла от Людмилы Афанасьевны.

Этот Русанов мог причинить «маме» тягучие неприятности. Мудрено голову приставить, а срубить немудрено.

Да если бы только один Русанов! Это мог сделать любой больной с ожесточенным сердцем. Ведь всякая травля, однажды кликнутая, — она не лежит, она бежит. Это — не след по воде, это борозда по памяти. Можно ее потом заглаживать, песочком засыпать, — но крикни опять кто-нибудь, хоть спяну: «бей врачей!» или «бей инженеров!» — и палки уже при руках.

Черная туча подозрений, стянутая над белыми халатами, — они клочками остались там и сям, — проносится. Совсем недавно лежал в их клинике по поводу опухоли желудка шофер МГБ. Он был хирургический, Вера Корнильевна не имела к нему никакого отношения, но как-то дежурила ночью и делала вечерний обход. Он жаловался на плохой сон. Она назначила ему бромурал, но, узнав от сестры, что мелка расфасовка, сказала: «Дайте ему два порошка сразу!». Больной взял, Вера Корнильевна даже не заметила особенного его взгляда. И так бы не узналось, но лаборантка клиники была этому шоферу соседка по квартире и навещала его в палате. Она прибежала к Вере Корнильевне взволнованная: шофер не выпил порошков (почему два сразу?), он не спал ночь, а теперь расспрашивал лаборантку: «Почему ее фамилия Гангарт? Расскажи о ней поподробней. Она отравить меня хотела. Надо ею заняться».

И несколько недель Вера Корнильевна ждала, что ей з а й м у т с я. И все эти недели она должна была неуклонно, безошибочно и даже со вдохновением ставить диагнозы, безупречно отмерять дозы лечения и взглядом и улыбкой подбадривать больных, попавших в этот пресловутый раковый круг, и от каждого ожидать взгляда: «А ты не отравительница?».

Вот еще что сегодня было особенно тяжело на обходе: что Костоглотов, один из самых успешливых больных, к которому Вера Корнильевна была особенно почему-то добра, — Костоглотов именно так и спросил «маму», подозревая какой-то злой эксперимент над собой.

Шла удрученная с обхода и Людмила Афанасьевна и тоже вспоминала неприятный случай — с Полиной Заводчиковой, скандальнейшей бабой. Не сама она была больна, но ее сын, а она лежала с ним в клинике. Ему вырезали внутреннюю опухоль — и она напала в коридоре на хирурга, требуя вы-

дать ей кусочек опухоли сына. И не будь это Лев Леонидович, пожалуй бы, и получила. А дальше у нее была идея — отнести этот кусочек в другую клинику, там проверить диагноз и, если не сойдется с первоначальным диагнозом Донцовой, то подавать в суд и мстить.

Не один такой случай был на памяти у каждой из них.

Теперь, после обхода, они шли договорить друг с другом то, чего нельзя было при больных, и принять решения.

С помещениями было скудно в 13-м корпусе, и не находилось комнатки для врачей лучевого отделения. Они не помещались ни в операторской «Гамма-пушка», ни в операторской длиннофокусных рентгеновских установок на сто двадцать и двести тысяч вольт. Было место в рентгенодиагностическом, но там постоянно темно. И поэтому свой стол, где они разбирались с текущими делами, писали истории болезни и другие бумаги, они держали в лечебном кабинете короткофокусных рентгеновских установок, — как будто мало им было за годы и годы их работы тошнотворного рентгеновского воздуха с его особенным запахом и разогревом.

Они пришли и сели рядом за большой этот стол без ящиков, грубо остроганный. Вера Корнильевна перекладывала карточки стационара — женские и мужские, разделяла, какие она сама обрабатывает, а о каких надо решить вместе. Людмила Афанасьевна угрюмо смотрела перед собой в стол, чуть выкатив нижнюю губу и чуть постукивая карандашиком.

Вера Корнильевна с участием взглядывала на нее, но не решалась сказать ни о Русанове, ни о Костоглодове, ни об общей врачебной судьбе, — потому что понятное повторять ни к чему, а высказаться можно недостаточно тонко, недостаточно осторожно и только задеть, не утешить.

А Людмила Афанасьевна сказала:

— Как же это бесит, что мы бессильны, а?! — (Это могло быть о многих осмотренных сегодня). Еще постучала карандашиком. — Но ведь нигде ошибки не было. — (Это могло быть об Азовкине, о Мурсалимове). — Мы когда-то шатнулись в диагнозе, но лечили верно. И меньшей дозы мы дать не могли тоже. Нас погубила бочка.

Вот как! — Она думала о Сибгатове! Бывают же такие неблагоприятные болезни, что тратишь на них утроенную изобретательность, спасти больного нет сил. Когда Сибгатова впервые принесли на носилках, рентгенограмма показала полное разрушение почти всего крестца. Шатание было в том, что, даже с консультацией профессора, признали саркому кости, и лишь потом постепенно выявили, что это была гигантоклеточная опухоль, когда в кости появляется жижа и вся

кость заменяется желеподобной тканью. Однако, лечение совпадало.

Крестец нельзя отнять, нельзя выпилить, — это камень, положенный во главу угла. Оставалось — рентгенооблучение и обязательно сразу большими дозами — меньшие не могли помочь. И Сибгатов выздоровел! — крестец укрепился. Он выздоровел, но от бычьих доз рентгена все окружающие ткани стали непомерно чувствительны и расположены к образованию новых злокачественных опухолей. И так от ушиба у него вспыхнула трофическая язва. И сейчас, когда уже кровь его и ткани его отказывались принять рентген, — сейчас бушевала новая опухоль, и нечем было ее сбить, ее только держали.

Для врача это было сознание бессилия, несовершенства методов, а для сердца — жалость, самая обыкновенная жалость: вот есть такой кроткий, вежливый, печальный татарин Сибгатов, так способный к благодарности, но все, что можно для него сделать, это — продлить его страдания.

Сегодня утром Низамутдин Бахрамович вызвал Донцову по специальному этому поводу: ускорить оборачиваемость коек, а для этого во всех неопределенных случаях, когда не обещается решительное улучшение, больных выписывать. И Донцова была согласна с этим: ведь в приемном вестибюле у них постоянно сидели ожидающие, даже по несколько суток, а из районных онкопунктов шли просьбы разрешить прислать больного. Она была согласна в принципе, и никто, как Сибгатов, так ясно не подпадал под этот принцип, — а вот выписать его она не могла. Слишком долгая изнурительная борьба велась за этот один человеческий крестец, чтоб уступить теперь простому разумному рассуждению, чтоб отказаться даже от простого повторения ходов с ничтожной надеждой, что ошибется все-таки смерть, а не врач. Из-за Сибгатова у Донцовой даже изменилось направление научных интересов: углубилась в патологию костей из одного порыва — спасти Сибгатова. Может быть, в приемной сидели больные с меньшей нуждой, — а вот она не могла отпустить Сибгатова и будет хитрить перед главврачом, сколько сможет.

И еще настаивал Низамутдин Бахрамович не задерживать обреченных. Смерть их должна происходить по возможности вне клиники — это тоже увеличит оборачиваемость коек, и меньше угнетения будет оставшимся, и улучшится статистика, потому что они будут выписаны не по причине смерти, а лишь с «ухудшением».

По этому разряду и выписывался сегодня Азовкин. Его история болезни, за месяцы превратившаяся уже в толстую

тетрадочку из коричневатых склеенных листков с грубой выделкой, со встрявшими белесоватыми кусочками древесины, задирающими перо, содержала много фиолетовых и синих цифр и строчек. И оба врача видели сквозь эту подклеенную тетрадочку вспотевшего от страданий городского мальчика, как он сиживал на койке, сложенный в погибель; но читаемые тихим мягким голосом цифры были неумолиме раскатов трибунала, и обжаловать их не мог никто. Тут было двадцать шесть тысяч «эр» облучения, из них двенадцать тысяч в последнюю серию, пятьдесят инъекций синестрола, семь трансфузий общим объемом литр двести тридцать миллилитров крови, и все равно лейкоцитов только три тысячи четырехста, эритроцитов... Метастазы рвали оборону, как танки, они уже твердели в средостении, появились в легких, уже воспаляли узлы над ключицами, но организм не давал помощи, чем их остановить.

Врачи переглядывали и дописывали отложенные карточки, а сестра-рентгенолаборант тут же продолжала процедуры для амбулаторных. Вот она ввела четырехлетнюю девочку в синем платье с матерью. У девочки на лице были красные сосудистые опухолечки, они еще были малы, они еще не были злокачественны, но принято было облучать их, чтоб они не переродились. Сама же девочка мало заботилась, не знала о том, что, может быть, на крохотной губке своей несла уже тяжелую гирию смерти. Она не первый раз была здесь, уже не боялась, щебетала, тянулась к никелированным деталям аппаратов и радовалась блестящему миру. Весь сеанс ей был три минуты, но эти три минуты она никак не хотела посидеть неподвижно под точно направленной на больное место узкой трубкой. Она тут же изворачивалась, отклонялась, и рентгенотехник, нервничая, выключала и снова и снова наводила на нее трубку. Мать держала игрушку, привлекая внимание девочки, и обещала ей еще другие подарки, если будет сидеть спокойно. Потом вошла мрачная старуха и долго разматывала платок и снимала кофту. Потом пришла из стационара женщина в сером халате с шариковой цветной опухолью на ступне — просто наколола гвоздем в туфле — и весело разговаривала с сестрой, никак не предполагая, что этот сантиметровой пустячный шарик, который ей не хотяз почему-то отрезать, есть королева злокачественных опухолей — меланобластома.

Врачи невольно отвлекались и на этих больных, осматривая их и давая советы сестре, — и так уже перешло время, когда надо было Вере Корнильевне идти делать эмбихиновый укол Русанову, — и тут она положила перед Людмилой Афа-

насывной последнюю, нарочно ею так задержанную, карточку — Костоглотова.

— При таком запущенном исходном состоянии — такое блистательное начало, — сказала она. — Только очень уж упрямый человек. Как бы он, правда, не отказался.

— Да попробует он только! — пристукнула Людмила Афанасьевна. Болезнь Костоглотова была та самая, что у Азовкина, но так обнадежливо поворачивалось лечение, и еще бы он смел отказаться!

— У вас — да, — согласилась сразу Гангарт. — А я не уверена, что его переупрямлю. Может, прислать его к вам? — Она счищала с ногтя какую-то прилепившуюся соринку. — У меня с ним сложились довольно трудные отношения... Не удастся категорично с ним говорить. Не знаю, почему.

Их трудные отношения начались еще с первого знакомства.

Был ненастный январский день, лил дождь. Гангарт заступила на ночь дежурным врачом по клинике. Часов около девяти вечера к ней вошла толстая здоровая санитарка первого этажа и пожаловалась:

— Доктор, там больной один безобразит. Я сама не отобьюсь. Что ж это — если меры не принимать, так нам на голову сядут.

Вера Корнильевна вышла и увидела, что прямо на полу около запертой коморки старшей сестры, близ большой лестницы, вытянулся долговязый человек в сапогах, изрыжевшей солдатской шинели, а в ушанке — гражданской, тесной ему, однако, тоже натянутой на гол ову. Под голову он подмостил вещмешок, и по всему видно, что приготовился спать. Гангарт подошла к нему близко — тонконогая, на высоких каблучках (она никогда не одевалась небрежно), посмотрела строго, желая пристыдить взглядом и заставить подняться, но он, хотя видел ее, смотрел вполне равнодушно, не шевельнулся и даже, кажется, прикрыл глаза.

— Кто вы такой? — спросила она.

— Че-ло-век, — негромко, с безразличием ответил он.

— Вы имеете к нам направление?

— Да.

— Когда вы его получили?

— Сегодня.

По отпечаткам на полу под его боками видно было, что шинель его вся мокра, как, впрочем, и сапоги, и вещмешок.

— Но здесь нельзя. Мы... не разрешаем тут. Это и... просто неудобно...

— У-добно, — вяло отозвался он. — Я — у себя на родине, кого мне стесняться?

Вера Корнильевна смешалась. Она почувствовала, что не может прикрикнуть на него, велеть ему встать, да он и не послушается.

Она оглянулась в сторону вестибюля, где днем всегда было полно посетителей и ожидающих, где на трех садовых скамьях родственники виделись с больными, а по ночам, когда клиника запиралась, тут оставляли и тяжелых приезжих, которым некуда было податься. Сейчас в вестибюле стояло только две скамьи, на одной из них уже лежала старуха, на второй молодая узбечка в цветастом платке, положила ребенка и сидела рядом.

В вестибюле-то можно было бы разрешить лечь на полу, но пол там нечистый, захоженный.

А тут — стерильность, сюда входили только в больничной одежде или в белых халатах. Вера Корнильевна опять посмотрела на этого дикого больного с уже отходящим безразличием остро-исхудалого лица.

— И у вас никого нет в городе?

— Нет.

— А вы не пробовали — в гостиницы?

— Пробовал, — уже устал отвечать он.

— Здесь — пять гостиниц.

— И слушать не хотят, — он закрыл глаза, как бы кончая аудиенцию.

— Если бы раньше! — соображала Гангарт. — Некоторые наши нянечки пускают к себе больных ночевать. Они недорого берут.

Он лежал с закрытыми глазами.

— Говорит: хоть неделю буду так лежать! — напала дежурная санитарка. — На дороге! Пока, мол, койку мне не предоставят! Ишь ты, озорник! Вставай, не балуй! Стерильно тут! — подступала санитарка.

— А почему только две скамейки? — удивлялась Гангарт. — Вроде ведь третья была.

— Ту, третью, вон перенесли, — показала санитарка через застекленную дверь.

Верно, верно, за эту дверь, в коридоре к аппаратным, перенесли одну скамейку для тех ожидающих больных, которые днем приходили принимать сеансы амбулаторно.

Вера Корнильевна велела санитарке отпереть этот коридор, а больному сказала:

— Я переложу вас удобнее, поднимитесь.

Он посмотрел на нее — не сразу доверчиво. Потом с му-

ченьями и подергиваниями боли стал подниматься. Видно, каждое движение и поворот туловища давались ему трудно. Поднявшись, он не прихватил в руки вещмешок, а теперь ему было больно за ним наклониться.

Вера Корнильевна легко наклонилась, белыми пальцами взяла его промокший нечистый вещмешок и подала ему.

— Спасибо, — криво улыбнулся он. — До чего я дожил...

Влажное продолговатое пятно осталось на полу там, где он лежал.

— Вы были под дождем? — вглядывалась она в него со все большим участием. — Там, в коридоре, тепло, снимите шинель. А вас не знобит? Температуры нет? — Лоб его весь был покрыт этой нахлобученной черной дрянной шалчонкой со свисающими меховыми ушами, и она приложила пальцы не ко лбу его, а к щеке.

И прикосновением можно было понять, что температура есть.

— Вы что-нибудь принимаете?

Он смотрел на нее уж как-то иначе, без этого крайнего отчуждения.

— Анальгин.

— Есть у вас?

— У-гм.

— А снотворное принести?

— Если можно.

— Да! — спохватилась она. — Направление-то ваше покажите!

Он не то усмехнулся, не то губы его двигались просто велениями боли.

— А без бумажки — под дождь?

Расстегнул верхние крючки шинели и из кармана открывшейся гимнастерки вытащил ей направление, действительно написанное в этот день утром в амбулатории. Она прочла и увидела, что это — ее больной, лучевой. С направлением в руке она повернула за снотворным:

— Я сейчас принесу. Идите ложитесь.

— Подождите, подождите! — оживился он. — Бумажечку верните! Знаем мы эти приемчики!

— Но чего вы можете бояться? — обернулась она обиженная. — Неужели вы мне не верите?

Он посмотрел в колебании. Буркнул:

— А почему я должен вам верить? Мы с вами из одной миски щей не хлебали...

И пошел ложиться.

Она рассердилась и сама уже к нему не вернулась, а через санитарку послала снотворное и направление, на котором сверху написала «cito», подчеркнула и поставила восклицательный знак.

Лишь ночью она прошла мимо него. Он спал. Скамья была удобна для этого, не свалишься: изгибистая спинка переходила в изгибистое же сидение полужелобом. Мокрую шинель он снял, но все равно ею же и накрылся: одну полу тянул на ноги, другую на плечи. Ступни сапог свешивались с краю скамьи. На подметках сапог места живого не было — косячками черной и красной кожи латали их. На носках были металлические набойки, на каблуках — подковки.

Утром Вера Корнильевна еще сказала старшей сестре, и та положила его на верхней лестничной площадке.

Правда, с того первого дня Костоглотов ей больше не дерзил. Он вежливо разговаривал с ней обычным городским языком, первый здоровался и даже доброжелательно улыбался. Но всегда было ощущение, что он может выкинуть что-нибудь странное.

И действительно, позавчера, когда она вызвала его сделать пробу на совместимость крови и приготовила пустой шприц — взять у него крови из вены, он спустил откаченный уже рукав и твердо сказал:

— Вера Корнильевна, я очень сожалею, но найдите способ обойтись без этой пробы.

— Да почему же, Костоглотов?

— Из меня уже попили кровушки, не хочу. Пусть дает, в ком крови много.

— Но как вам не стыдно? Мужчина! — взглянула она с той природной извечной женской насмешкой, которой мужчине перенести невозможно. — Я у вас возьму три кубика только...

— Да еще три! Кубических сантиметров? Это зачем же?

— Определить вашу группу крови, сделать реакцию со-вмещения и, если подойдет, перельем вам двести пятьдесят.

— Мне? Переливать? Избавьте! Зачем мне чужая кровь? Чужой не хочу, своей ни капли не дам. Группу крови запишите, я по фронту знаю.

Как она его ни уговаривала — он не уступал, находя новые неожиданные соображения. Он уверен был, что это все лишнее.

Наконец, она просто обиделась:

— Вы ставите меня в какое-то глупое смешное положение. Я последний раз прошу вас.

Конечно, это была ошибка и унижение с ее стороны, — о чем, собственно просить?

Но он сразу оголил руку и протянул:

— Лично для вас — возьмите три кубика, пожалуйста.

Из-за того, что она терялась с ним, однажды произошел смешной эпизод. Костоглотов сказал:

— А вы не похожи на немку. У вас, наверно, фамилия по мужу?

— Да, — вырвалось у нее.

Почему она так ответила? В то мгновение показалось обидным сказать иначе.

Он больше ничего не спросил. А Гангарт — ее фамилия по отцу, по деду. Они обрусевшие немцы.

А как надо было сказать? — «Я не замужем»? «Я замужем никогда не была?».

Невозможно.

6.

Прежде всего Людмила Афанасьевна повела Костоглотову в аппаратную, откуда только что вышла больная после сеанса. С восьми утра непрерывно работала здесь большая ставосьмидесятитысячезольтовая рентгеновская трубка, свисающая с потолка на проволочных подвесах, а форточка была закрыта, и весь воздух был наполнен чуть сладковатым, чуть противным рентгеновским теплом.

Этот разогрев, как ощущали его легкие (а был он не просто разогрев), становился противен больным после полдюжины, после десятка сеансов, Людмила Афанасьевна привыкла к нему, приятен — не приятен. За двадцать лет работы здесь, когда трубки и совсем никакой защиты не имели (она попадала и под провод высокого напряжения, едва убита не была), Донцова каждый день дышала воздухом рентгеновских кабинетов и больше часов, чем допустимо, сидела на диагностике. И несмотря на все экраны и перчатки, она получила на себя, наверно, больше «эр», чем самые терпеливые и тяжелые больные, только никто этих «эр» не подсчитывал, не складывал.

Она спешила — но не только, чтоб выйти скорей, а нельзя было лишних минут задерживать рентгеновскую установку. Она показала Костоглотову лечь на твердый топчан под трубку и открыть живот. Какой-то щекочущей прохладной

кисточкой она водила ему по коже, что-то очерчивая, как будто выписывая цифры.

И тут же сестре-рентгентехнику объяснила схему квадрантов и как подводить трубку на каждый квадрант. Потом велела ему перевернуться на живот и мазала еще на спине. Объявила:

— После сеанса — зайдете ко мне.

И ушла. А сестра опять велела ему животом вверх и обложила первый квадрант простынями, потом стала носить тяжелые коврики из просвинцованной резины и закрывать ими все смежные места, которые не должны были сейчас получить прямого удара рентгеном. Гибкие коврики приятно-тяжело облегали тело.

Ушла и сестра, затворила дверь и видела его теперь только через окошечко в толстой стене. Раздалось тихое гудение, засветились вспомогательные лампы, раскалилась главная трубка.

И через оставленную клетку кожи живота, а потом через прослойки и органы, которым названия не знал сам обладатель, через туловище жабы-опухоли, через желудок или кишки, через кровь, идущую по артериям и венам, через лимфу, через клетки, через позвоночник и малые кости, и еще через прослойки, сосуды и кожу там, на спине, потом через настил топчана, четырехсантиметровые доски пола, через лаги, через засыпку и дальше, дальше, уходя в самый каменный фундамент или в землю, — полились жесткие рентгеновские лучи, не представимые человеческому уму вздрагивающие вектора электрического и магнитного полей, или более понятные снаряды-кванты, разрывающие и респетящие все, что попадалось на пути.

И этот варварский расстрел тяжелыми квантами, происходивший беззвучно и неощутимо для расстреливаемых тканей, за двенадцать сеансов вернул Костоглотову намерение жить и вкус жизни, и аппетит, и даже веселое настроение. Со второго и третьего прострела освободясь от болей, делавших ему невыносимым существование, он потянулся узнать и понять, как же эти пронизывающие снарядики могут бомбить опухоль и не трогать остального тела. Костоглотов не мог вполне поддаться лечению, пока для себя не понял его идеи и не поверил в нее.

И он постарался выведать идею рентгенотерапии от Веры Корнильевны Гангарт, этой милой женщины, обезоружившей его предвзятость и настороженность с первой встречи под лестницей, когда он решил, что пусть хоть пожарниками и милицией его вытаскивают, а доброй волей он не уйдет.

— Вы не бойтесь, объясните, — успокаивал он ее. — Я — как тот сознательный боец, который должен понимать боевую задачу, иначе он не воюет. Как это может быть, чтобы рентген разрушал опухоль, а остальных тканей не трогал?

Все чувства Веры Корнильевны еще прежде глаз выразились в ее губах. Какие-то были отзывчивые легкие губы у нее, как крылышки. И колебание выразилось в них же: губы дышали в сомнениях.

(Что она могла ему рассказать об этой слепой артиллерии, с тем же удовольствием лущущей по своим, как и по чужим?).

— Ох, не полагается... Ну, хорошо. Рентген, конечно, разрушает все подряд. Только нормальные ткани быстро восстанавливаются, а опухолевые — нет.

Правду ли, неправду ли она сказала, но Костоготову это понравилось.

— О, на таких условиях я играю. Спасибо. Теперь буду выздоравливать!

И, действительно, выздоравливал. Охотно ложился под рентген и во время сеанса еще особо внушал клеткам опухоли, что они разрушаются, что им — хана.

А то и вовсе думал под рентгеном о чем попало, даже дремал.

Сейчас вот он обошел глазами многие висящие шланги и провода и хотел для себя объяснить, зачем их столько, и если есть тут охлаждение, то водяное или масляное. Но мысль его на этом не задержалась и ничего он себе не объяснил.

Он думал, оказывается, о Вере Гангарт. Он думал, что вот такая милая женщина никогда не появится у них в Уп-Тереке. И все такие женщины обязательно замужем. Впрочем, помня этого мужа в скобках, он думал о ней вне этого мужа. Он думал, как приятно было бы поболтать с ней не мельком, а долго-долго, хоть бы вот походить по двору клиники. Иногда напугать ее резкостью суждения, она забавно теряется. Милость ее всякий раз светит в улыбке, как солнышко, когда она только попадет в коридоре навстречу или войдет в палату. Она не по профессии добра, она просто добра. Улыбка у нее добра, и не улыбка, а сами губы. Это какие-то живые отдельные губы, которые вот улетят с лица и взвьются в небо жаворонком. Всем губам суждено целоваться, целуются и эти, а все-таки у этих еще свое назначение — журчать о чем-то светлом.

Трубка гудела с легким призвоном.

Он думал о Вере Гангарт, но думал и о Зое. Оказалось, что самое сильное впечатление от вчерашнего вечера, выплыв-

шее и с утра, было от ее дружно подобранных грудей, составлявших как бы полочку, почти горизонтальную. Во время вчерашней болтовни лежала на столе около них большая и довольно тяжелая линейка для расчерчивания ведомостей — не фанерная линейка, а из струганной досочки. И весь вечер у Костоглотова был соблазн — взять эту линейку и положить на полочку ее грудей, проверить: соскользнет или не соскользнет. Ему казалось, что — не соскользнет.

Но он боялся ее обидеть.

Еще он с благодарностью думал о том самом тяжелом просвинцованном коврике, который кладут ему ниже живота. Этот коврик давил на него и радостно подтверждал: «Защитцу, не бойся!».

А может быть, нет? А, может, он недостаточно толст? А может, его не совсем аккуратно кладут?

Впрочем, за эти двенадцать дней Костоглотов не просто вернулся к жизни — к еде, движению и веселому настроению. За эти двенадцать дней он вернулся и к ощущению самому красному в жизни, но которое за последние месяцы в болях совсем потерял. И, значит, свинец держал оборону!

А все-таки надо было выскакать из клиники, пока цел.

Он и не заметил, как прекратилось жужжание и стали остывать розовые нити. Вошла сестра, стала снимать с него щитки и простыни. Он спустил ноги с топчана и тут хорошо увидел на своем животе фиолетовые клетки и цифры.

— А как же мыться? — спросил он сестру.

— Только с разрешения врачей.

— Удобненькое устройство. Так это что мне — на месяц заготовили?

Он пошел к Донцовой. Та сидела в комнате короткофокусных аппаратов и, надев очки, округленно-четыреугольные, смотрела на просвет большие рентгеновские пленки. Оба аппарата были выключены, обе форточки открыты, и больше не было никого.

— Садитесь, — сказала Донцова сухо.

Он сел.

Она еще продолжала сравнивать две рентгенограммы.

Хотя Костоглотов с ней и спорил, но все это была его оборона против излишеств медицины, разработанных в инструкции. А сама Людмила Афанасьевна вызывала у него доверие — не только мужской решительностью, четкими командами в темноте у экрана и возрастом, и безусловной преданностью работе одной, но больше всего тем, как она с первого дня уверенно шупала контур опухоли и шла точно-точно по нему. О правильности прощупа ему говорила сама опухоль,

которая тоже что-то чувствовала. Только больной может оценить, верно ли врач понимает опухоль пальцами. Донцова так щупала его опухоль, что ей и рентген был не нужен.

Отложив рентгенограммы и сняв очки, она сказала:

— Костоглотов. В вашей истории болезни слишком существенный пробел. Нам нужна точная уверенность в природе вашей первичной опухоли.

Когда Донцова переходила на медицинскую речь, ее манера говорить очень убыстрялась: длинные фразы и термины проскакивали одним дыханием.

— То, что вы рассказываете об операции в позапрошлом году и положение нынешнего метастаза сходятся к нашему диагнозу. Но все-таки не исключаются и другие возможности. А это нам затрудняет лечение. Взять пробу сейчас из вашего метастаза, как вы понимаете, невозможно.

— Слава Богу. Я бы и не дал.

— Я все-таки не понимаю — почему мы не можем получить стеклов с первичным препаратом. Вы-то сами вполне уверены, что гистологический анализ был?

— Да, уверен.

— Но почему в таком случае вам не объявили результата? — строчила она скороговоркой делового человека. О некоторых словах надо было догадываться.

А вот Костоглотов торопиться отвык:

— Результата? Такие у нас были бурные события, Людмила Афанасьевна, такая обстановочка, что, честное слово... Просто стыдно было о моей биопсии спрашивать. Тут головы летели. Да я и не понимал, зачем биопсия. — Костоглотов любил, разговаривая с врачами, употреблять их термины.

— Вы не понимали, конечно. Но врачи-то должны были понять, что этим не играют?

— Вра-чи?

Он посмотрел на сединку, которую она не прятала и не закрашивала, охватил собранное деловое выражение ее несколько скуластого лица.

Как идет жизнь, что вот сидит перед ним его соотечественница, современница и доброжелатель — и на общем их родном русском языке он не может объяснить ей самых простых вещей. Слишком издалека начинать надо, что ли. Или слишком рано оборвать.

— И врачи, Людмила Афанасьевна, ничего поделать не могли. Первый хирург, украинец, который назначил мне операцию и подготовил меня к ней, был взят на этап в самую ночь под операцию.

— И что же?

— Как что? Увели.

— Но, позвольте, его предупредили — и он мог...

Костоглотов рассмеялся откровенно. Ему было очень забавно.

— Об этапе никто не предупреждает, Людмила Афанасьевна. В том-то и смысл, чтобы выдернуть человека внезапно.

Донцова нахмурилась крупным лбом. Костоглотов говорил какую-то несообразицу.

— Но если у него был операционный больной?..

— Ха! Там принесли еще почище меня. Один литовец проглотил алюминиевую ложку, столовую.

— Как это может быть?!

— Нарочно. Чтобы уйти из одиночки. Он же не знал, что хирурга увозят.

— Ну, а... потом? Ведь ваша опухоль быстро росла?

— Да, прямо-таки от утра до вечера, серьезно... Потом, дней через пять привезли с другого лагпункта другого хирурга, немца, Карла Федоровича. Во-от... Ну, он осмотрелся на новом месте и еще через денек сделал мне операцию. Но никаких этих слов: «злокачественная опухоль», «метастазы» — никто мне не говорил. Я их и не знал.

— Но биопсию он послал?

— Я тогда ничего не знал, никакой биопсии. Я лежал после операции, на мне — мешочки с песком. К концу недели стал учиться спускать ногу с кровати, стоять; вдруг — собирают из лагеря еще этап, человек семьсот, называется «бунтарей». И в этот этап попадает мой смиреннейший Карл Федорович. Его взяли из жилого барака, не дали обойти больных последний раз.

— Дикость какая!

— Да это еще не дикость. — Костоглотов оживился больше обычного. — Прибежал мой дружок, шепнул, что я тоже в списке на этот этап, начальница санчасти мадам Дубинская дала согласие. Дала согласие, зная, что я ходить не могу, что у меня швы не сняты, сволочь!.. Простите... Ну, я твердо решил: ехать в телячьих вагонах с неснятыми швами — загноятся, это смерть. Сейчас за мной придут, скажу: стреляйте тут, на койке, никуда не поеду. Твердо! Но за мной не пришли. Не потому, что смилостивилась мадам Дубинская, она еще удивлялась, что меня не отправили. А разобрались в учетно-распределительной части: сроку мне оставалось меньше года. Но я отвлекся... Так вот, я подошел к окну и смотрю. За штaketником больницы — линейка, метров двадцать от меня, и на нее уже готовых с вещами сгоняют на этап. Оттуда Карл Федорович меня в окне увидал и кричит: «Косто-

глотов! Откройте форточку!» Ему надзор: «Замолчи, падло!» А он: «Костоглотов! Запомните! Это очень важно! Срез вашей опухоли я направил на гистологический анализ в Омск, на кафедру патанатомии, запомните!» Ну и... угнали их. Вот мои врачи, ваши предшественники. В чем они виноваты?

Костоглотов откинулся в стуле. Он разволновался. Его охватило воздухом той больницы, не этой.

Отбирая нужное от лишнего (в рассказах больных всегда много лишнего), Донцова вела свое:

— Ну, и что ж ответ из Омска? Был? Вам объявили?

Костоглотов пожал остроуглыми плечами.

— Никто ничего не объявлял. Я и не понимал, зачем мне это Карл Федорович крикнул. Только вот прошлой осенью, в ссылке, когда меня уж очень забрало, один старичок-гинеколог, мой друг, стал настаивать, чтобы я запросил. Я написал в свой лагерь. Ответа не было. Тогда написал жалобу в лагерное управление. Месяца через два ответ пришел такой: «При тщательной проверке вашего архивного дела установить анализа не представляется возможности». Мне так тошно уже становилось от опухоли, что переписку эту я бы бросил, но поскольку все равно и лечиться меня комендатура не выпускала, — я написал наугад в Омск, на кафедру патанатомии. И оттуда быстро, за несколько дней, пришел ответ — вот уже в январе, перед тем, как меня выпустили сюда.

— Ну, вот, вот! Этот ответ! Где он?!

— Людмила Афанасьевна, я сюда уезжал — меня... Безразлично все. Да и бумажка без печати, без штампа, это просто письмо от лаборанта кафедры. Она любезно пишет, что именно от той даты, которую я называю, именно из того поселка поступил препарат, и анализ был сделан и подтвердил вот... подозреваемый вами вид опухоли. И что тогда же ответ был послан запрашивающей больнице, то-есть нашей лагерной. И вот это очень похоже на тамошние порядки, я вполне верю: ответ пришел, никому не был нужен, и мадам Дубинская...

Нет, Донцова решительно не понимала такой логики! Руки ее были скрещены, и она нетерпеливо прихлопнула горстями повыше локтей.

— Да ведь из такого ответа следовало, что вам немедленно нужна рентгенотерапия!

— Ко-го? — Костоглотов шутливо прижмурился и посмотрел на Людмилу Афанасьевну. — Рентгенотерапия?

Ну вот, он четверть часа рассказывал ей — и что же рассказал? Она снова ничего не понимала.

— Людмила Афанасьевна! — воззвал он. — Нет, чтоб

тамошний мир вообразить... Ну, о нем совсем не распространено представление! Какая рентгенотерапия! Еще боль у меня не прошла на месте операции, вот как сейчас у Ахмаджана, а я уже был на общих работах и бетон заливал. И не думал, что могу быть чем-то недоволен. Вы знаете, сколько весит глубокий ящик с жидким бетоном, если его вдвоем поднимать?

Она опустила голову. Будто это она сама и послала его на бетон.

Да, выяснять историю этой болезни было сложновато.

— Ну пусть. Но вот теперь этот ответ с кафедры патанатомии почему же он без печати? Почему он — частное письмо?

— Еще спасибо, что хоть частное письмо! — уговаривал Костоглотов. — Попался добрый человек — лаборантка. Все-таки добрых людей среди женщин больше, чем среди мужчин, я замечаю... А частное письмо — из-за нашей треклятой секретности! Она и пишет дальше: однако, препарат опухоли был прислан к нам безмянно, без указания фамилии больного. Поэтому мы не можем дать вам официальной справки и стекла препарата тоже не можем выслать. Костоглотов начал раздражаться. Это выражение быстрее других завладевало его лицом. — Великая государственная тайна! Идиоты! Трясутся, что на какой-то там кафедре узнают, что в каком-то лагере томится некий узник Костоглотов. Брат Людовика! Теперь анонимка будет там лежать, а вы будете голову ломать, как меня лечить. Зато тайна!

Донцова смотрела твердо и ясно. Она не уходила от своего.

— Что ж, и это письмо я должна включить в историю болезни.

— Хорошо. Вернусь в свой аул и сейчас же вам его вышлю.

— Нет, надо быстрее. Этот ваш гинеколог не найдет, не вышлет?

— Да найти-то найдет... А сам я когда поеду? — Костоглотов смотрел исподлобья.

— Вы поедете тогда, — с большим значением отвесила Донцова, — когда я сочту нужным прервать ваше лечение. И то на время.

Этого мига и ждал Костоглотов в разговоре! Его-то и нельзя было пропустить без боя!

— Людмила Афанасьевна! Как бы нам установить не этот тон взрослого с ребенком, а — взрослого с взрослым? Серьезно. Я вам сегодня на обходе...

— Вы мне сегодня на обходе, — погрозило крупное лицо Донцовой, — устроили позорную сцену. Что вы хо-

тите? — Будоражить больных? Что вы им в голову вколачиваете?

— Что я хотел? — Он говорил не горячася, тоже со значением и стул занимал прочно, спиной о спинку. — Я хотел только напомнить вам о своем праве распоряжаться своей жизнью. Человек — может распоряжаться своей жизнью, нет? Вы признаете за мной такое право?

Донцова смотрела на его бесцветный извилистый шрам и молчала. Костоглотов развивал:

— Вы сразу исходите из неверного положения: раз больной к вам поступил, дальше за него думаете вы. Дальше за него думают ваши инструкции, ваши пятиминутки, программа, план и честь вашего лечебного учреждения. И опять я — песчинка, как в лагере, опять от меня ничего не зависит.

— Клиника берет с больных письменное согласие перед операцией, — напомнила Донцова.

(К чему это она об операции!.. Вот уж на операцию он не дастся ни за что!)

— Спасибо! За это — спасибо. Хотя она так делает для собственной безопасности). — Но кроме операции — ведь вы ни о чем не спрашиваете больного, ничего ему не поясняете? Ведь чего стоит один рентген!

— О рентгене — где это вы набрались слухов? — догадывалась Донцова. — Не от Рабиновича ли?

— Никакого Рабиновича я не знаю! — уверенно мотнул головой Костоглотов. — Я говорю о принципе.

(Да, именно от Рабиновича он слышал эти мрачные рассказы о последствиях рентгена, но обещал его не выдавать. Рабинович был амбулаторный больной, уже получивший 200 с чем-то сеансов, тяжело переносивший их и с каждым десятком приближавшийся, как он ощущал, не к выздоровлению, а к смерти. Там, где жил он, — в квартире, в доме, в городе, никто его не понимал: здоровые люди, они с утра до вечера бегали и думали о каких-то удачах и неудачах, казавшихся им очень значительными. Даже своя семья уже устала от него. Только тут, на крылечке противоракового диспансера, больные часами слушали его и сочувствовали. Они понимали, что это значит, когда окостенел подвижный треугольник «дужки» и сгустились рентгеновские рубцы по всем местам облечения).

Скажите! Он говорил о принципе!.. Только и нехватало Донцовой и ее ординаторам проводить дни в беседах с больными о принципах лечения! Когда б тогда и лечить!

Но такой дотошный любознательный упрямец, как этот, или как Рабинович, изводивший ее выяснениями о ходе бо-

лезни, попадались на пятьдесят больных один, и не миновать было тяжкого жребия иногда с ними объясняться. Случай же с Костогловым был особый и медицински: особый в том небрежном, как будто заговорно-зловом ведении болезни до нее, когда он был допущен, дотолкнут до самой смертной черты, — и особый же в том крутом исключительно-быстром оживлении, которое под рентгеном у него началось.

— Костоглов! За двенадцать сеансов рентген сделал вас живым человеком из мертвеца — и как же вы смеете руку заносить на рентген? Вы жалуетесь, что вас в лагере и ссылке не лечили, вами пренебрегали — и тут же рядом вы жалуетесь, что вас лечат и о вас беспокоятся. Где логика?

— Получается, логики нет, — потряс черными кудлами Костоглов. — Но может быть, ее и не должно быть, Людмила Афанасьевна? Ведь человек же — очень сложное существо, почему он должен быть объяснен логикой? Или там — экономикой? Или физиологией? Да, я приехал к вам мертвецом и просился к вам, и лежал на полу около лестницы, — и вот вы делаете логический вывод, что я приехал к вам спастись л ю б о й ц е н о й. А я не хочу — любой ценой!! Такого и на свете нет ничего, за что б я согласился платить л ю б у ю ц е н у! — Он стал спешить, как не любил, но Донцова клонила его перебить, а еще тут много было высказать. — Я приехал к вам за о б л е г ч е н и е м с т р а д а н и й! Я говорил: мне очень больно, помогите! И вы помогли! И вот мне не больно. Спасибо! Спасибо! Я — ваш благодарный должник. Только теперь — отпустите меня! Дайте мне, как собаке, убраться к себе в конуру и там отлежаться и отлизаться.

— А когда вас снова подопрет — вы опять приползете к нам?

— Может быть. Может быть, опять приползу.

— И мы должны будем вас принять?

— Да!! И в этом я вижу ваше милосердие! А вас беспокоит что? — Процент выздоровления? Отчетность? Как вы запишете, что отпустили меня после пятнадцати сеансов, если АМН рекомендует не меньше шестидесяти?

Такой сбивчивой ерунды она еще никогда не слышала. Как раз с точки зрения отчетности очень выгодно было сейчас его выписать с «резким улучшением», а через пятьдесят сеансов этого не будет.

А он все толоч свое:

— С меня довольно, что вы опухоль попятели. И остановили. Она — в обороне. И я в обороне. Прекрасно. Солдату лучше всего живется в обороне. А вылечить «до конца» вы

все равно не сможете, потому что никакого к о н ц а у ракового лечения не бывает. Да и вообще все процессы природы характеризуются ассимптотическим насыщением, когда большие усилия приводят уже к малым результатам. В начале моя опухоль разрушалась быстро, теперь пойдет медленно — так отпустите меня с остатками моей крови.

— Где вы этих сведений набрались, интересно? — сощурилась Донцова.

— А я, знаете, с детства любил почитать медицинские книги.

— Но чего и м е н н о вы боитесь в нашем лечении?

— Чего мне бояться — я не знаю, Людмила Афанасьевна, я не врач. Это, может быть, знаете вы, да не хотите мне объяснить. Вот, например, Вера Корнильевна хочет назначить мне колоть глюкозу...

— Обязательно.

— А я — не хочу.

— Да почему же?

— Во-первых, это неестественно. Если мне уж очень нужен виноградный сахар — так давайте мне его в рот! Что это придумали в XX веке: каждое лекарство — уколom? Где это видано в природе? У животных? Пройдет сто лет — над нами, как над дикарями, будут смеяться. А потом — как колют? Одна сестра попадет сразу, а другая истычет весь этот... локтевой сгиб. Не хочу! Потом я вижу, что вы подбегаете к переливанию мне крови...

— Вы радоваться должны! Кто-то отдает вам свою кровь! Это — здоровье, это — жизнь!

— А я не хочу! Одному чечену тут при мне перелили, его потом на койке подбрасывало три часа, говорят: «неполное совмещение». А кому-то ввели кровь мимо вены, у него шишка на руке вскочила. Теперь компрессы и парят целый месяц. А я не хочу.

— Но без переливания крови нельзя давать много рентгена.

— Так не давайте!! Почему вообще вы берете себе право решать за другого человека? Ведь это — страшное право, оно редко ведет к добру. Бойтесь его! Оно не дано и врачу!

— Оно именно дано врачу! В первую очередь — ему! — убежденно вскрикнула Донцова, уже сильно рассерженная. — А без этого права не было б и медицины никакой!

— А к чему это ведет? Вот скоро вы будете делать доклад о лучевой болезни, так?

— Откуда вы знаете? — изумилась Людмила Афанасьевна.

— Да это легко предположить...

(Просто лежала на столе толстая папка с машинописными листами. Надпись на папке приходилась Костоглотову вверх ногами, но за время разговора он прочел ее и обдумал).

— ...легко догадаться. Потому что появилось новое название, и, значит, надо делать доклады. Но ведь и двадцать лет назад вы облучали какого-нибудь такого Костоглотова, который отбивался, что боится лечения, а вы уверяли, что все в порядке, потому что еще не знали лучевой болезни. Так и я теперь: еще не знаю, чего мне надо бояться, но — отпустите меня! Я хочу выздоравливать собственными силами. Вдруг да мне станет лучше, а?

Есть истина у врачей: больного надо не пугать, больного надо подбодрять. Но такого назойливого больного, как Костоглотов, надо было, напротив, ошеломить.

— Лучше? Н е с т а н е т! Могу вас заверить, — она прихлопнула четырьмя пальцами по столу, как хлопущей муху, — не станет! Вы, — она еще соразмеряла удар, — у м р е т е!

И смотрела, как он вздрогнет. Но он только затих.

— У вас будет судьба Азовкина. Видели, да? Ведь у вас с ним одна болезнь и запущенность почти одинаковая. Ахмаджана мы спасаем — потому что его стали облучать сразу после операции. А у вас потеряно два года, вы думайте об этом! И нужно было сразу делать вторую операцию — ближнего по ходу следования лимфоузла; а вам пропустили, учтите! И метастазы потекли! Ваша опухоль — из самых опасных видов рака! Она опасна тем, что скоротечна и резко-злокачественна, то-есть очень проворно дает метастазы. Ее смертность совсем недавно составляла девяносто процентов, вас устраивает? Вот, я вам покажу...

Она вытащила папку из груди и начала рыться в ней.

Костоглотов молчал. Потом заговорил, но тихо, совсем не так уверенно, как раньше:

— Откровенно говоря, я за жизнь не очень-то держусь. Не только впереди у меня ее нет, но и сзади не было. И если проглянуло мне пожить полгода — надо их и прожить. А на десять-двадцать лет планировать не хочу. Лишнее лечение — лишнее мучение. Начнется рентгеновская тошнота, рвоты — зачем?..

— Нашла! Вот! Это наша статистика. — И она обернула к нему двойной тетрадный листик. Через весь развернутый лист шло название его опухоли, а потом над левой стороной: «Уже умерли», над правой: «Еще не умерли». И в три колонки писались мужские фамилии — в разное время, каран-

дашами, чернилами. В левой стороне помарок не было, а в правой — вычеркивания, вычеркивания, вычеркивания... — Так вот. При выписке мы записываем каждого в правый список, а потом переносим в левый... Но все-таки есть счастливицы, которые остаются в правом, видите?

Она дала ему еще посмотреть список и подумать.

— Вам к а ж е т с я, что вы выздоровели! — опять приступила она энергично. — Вы — больны, как и были. Каким пришли к нам, такой и остались. Единственное, что выяснилось: что с вашей опухолью м о ж н о бороться! Что не все еще погибло. И в этот момент вы заявляете, что уйдете? Ну, уходите! Уходите! Выписывайтесь хоть сегодня! Я сейчас дам распоряжение... А сама занесу вас вот в этот список. Еще не умерших.

Он молчал.

— А? Решайте?

— Людмила Афанасьевна, — примирительно выдвинул Костоглотов. — Ну, если нужно какое-то разумное количество сеансов — пять, десять...

— Не пять и не десять! Ни одного! Или — столько, сколько нужно! Например, с сегодняшнего дня — по два сеанса, а не по одному. И все виды лечения, какие понадобятся! И курить бросите! И еще обязательное условие: переносить лечение не только с верой, но с р а д о с т ь ю! Вот только тогда вы вылечитесь!

Он опустил голову. Отчасти-то сегодня он торговался с запросом. Он опасался, как бы ему не предложили операцию — но вот и не предлагали. А облучиться еще можно, ничего. В запасе у Костоглотова было секретное лекарство — иссыккульский корень, и он рассчитывал уехать к себе в глушь не просто, а полечиться корнем. Имея корень, он вообще приезжал в этот раковый диспансер только для пробы.

А доктор Донцова, видя, что победила, сказала великодушно:

— Хорошо, глюкозы давать вам не буду. Вместо нее — другой укол, внутримышечный.

Костоглотов улыбнулся:

— Ну, это я вам уступаю.

— И пожалуйста: ускорьте пересылку омского письма.

Он шел от нее и думал, что идет между вечностями. С одной стороны — список «еще не умерших» с обязательным вычеркиванием. С другой стороны в е ч н а я ссылка. Вечная, как звезды. Как Галактика.

А вот начни б он допытываться, что это за укол, какая цена его, и нужен ли он действительно и оправдан ли морально; если б Людмиле Афанасьевне пришлось объяснять Косто-глотову смысл и возможные последствия этого нового лечения, — очень может быть, что он бы и окончательно взбунтовался.

Но именно тут, исчерпав свои блестящие доводы, он сдал.

А она нарочно схитрила, сказала как о пустяке, потому что устала уже от этих объяснений, а знала твердо, что именно теперь, когда проверено было на больном воздействие рентгена в чистом виде, пришла пора нанести опухоли еще новый удар, очень рекомендуемый для данного вида рака современными руководствами. Прозревая нерядовую удачу в лечении Костоглотова, она не могла ослабить его упрямству и не обрушить на него всех средств, в которые верила. Правда, не было стекол с первичным препаратом, но вся интуиция ее, наблюдательность и память подсказывали, что опухоль — та самая, именно та, не тератома и не саркома.

По этому самому типу опухолей с этим именно движением метастазов доктор Донцова писала кандидатскую диссертацию. То-есть, не то, чтобы писала постоянно, а когда-то начинала, бросала, опять писала, учитель ее доктор Орещенков, и друзья убеждали, что все отлично получится, но, заставленная и задавленная обстоятельствами, она уже не предвидела когда-нибудь ее защитить. Не потому, что у нее не хватало опыта или материала, но слишком много было того и другого, и повседневно они звали ее то к экрану, то в лабораторию, то к койке, а заниматься подбором и описанием рентгено снимков и формулировками, и систематизацией, да еще сдачей кандидатского минимума — не было сил человеческих. Можно было получить научный отпуск на полгода, — но никогда не было в клинике таких благополучных больных и того первого дня, с которого можно было прекратить консультации трех молодых ординаторов и уйти на полгода.

Людмила Афанасьевна слышала, будто бы Лев Толстой сказал про своего брата: он имел все способности писателя, но не имел недостатков, делающих писателем. Наверное, и она не имела тех недостатков, которые делают людей кандидатами наук. Ей, в общем, не было надо слышать шепот позади: «она не просто врач, она кандидат медицинских наук, это Донцова». Или чтобы перед статьей ее (второй десяток их уже печатался, маленьких, но все по делу) шли эти дополнительные, мел-

кие, но такие весомые буквочки. Правда, деньги лишние — никогда не лишние. Но уж раз не получилось, так не получилось.

Того, что называется научно-общественная работа, полно было и без диссертации. В их диспансере бывали клиничко-анатомические конференции с разбором ошибок в диагностике и лечении, с докладами о новых методах — обязательно было их посещать и обязательно активно участвовать (правда, лучевики и хирурги и без того каждый день советовались и разбирались в ошибках и применяли новые методы, — но конференции были сами собой). А еще было городское научное общество рентгенологов — с докладами и демонстрациями. А еще недавно образовалось и научное общество онкологов, где Донцова была не только участник, но и секретарь, и где, как со всяким новым делом, суэта была повышенная. А еще был Институт усовершенствования врачей. А еще была переписка с рентгенологическим Вестником и онкологическим Вестником, и Академией меднаук, и информационным центром, — и получалось, что хотя Большая Наука была как будто вся в Москве и в Ленинграде, а они тут как будто просто лечили, но дня не проходило, чтоб досталось только лечить, а о науке не хлопотать.

Так и сегодня. Ей надо было звонить председателю общества рентгенологов насчет своего близкого доклада. И надо было срочно просмотреть две маленьких журнальных статьи. И ответить на одно письмо в Москву. И на одно письмо в глухой онкопункт, откуда спрашивали разъяснения.

А скоро старший хирург, закончив операционный день, должна была, по уговору, показать Донцовой для консультации одну свою гинекологическую больную. А еще надо было к концу амбулаторного приема пойти посмотреть с одной из своих ординаторов этого больного из Ташауза с подозрением на опухоль тонкого кишечника.

И сама же она на сегодня назначила разобраться с рентгено-лаборантами, как им уплотнить работу установок, чтобы больше пропускать больных. И эмбихинный укол Русанову не надо было упустить из памяти, подняться проведать; таких больных они лишь недавно стали лечить сами, до сих пор отсылали в Москву.

А она потеряла время на вздорное препирательство с упрямым Костоготовым! — методическое баловство. Еще во время их разговора два раза заглядывали в дверь мастера, которые вели дополнительный монтаж на гамма-установке. Они хотели доказать Донцовой необходимость каких-то работ, не предусмотренных сметой, и чтобы она подписала им на

эти работы акт и убедила главврача. Теперь они ее потащили туда, но прежде в коридоре сестра передала ей телеграмму. Телеграмма была из Новочеркасска — от Анны Зацырко. Пятнадцать лет они уже не виделись и не переписывались, но это была ее хорошая старая подруга, с которой они вместе были в акушерской школе в Саратове, еще до мединститута, в 1924-м году. Анна телеграфировала, что старший сын ее Вадим поступит сегодня или завтра к ней в клинику из геологической экспедиции, и просит она о дружеском внимании к нему, и ей честно написать что с ним. Людмила Афанасьевна взволновалась, покинула мастеров и пошла просить старшую сестру задержать до конца дня место Азовкина для Вадима Зацырко. Старшая сестра Мита, как всегда, бегала по клинике, и не так легко ее было найти. Когда же она нашла и обещала место для Вадима, она озадачила Людмилу Афанасьевну тем, что лучшую сестру из лучевого отделения Олимпиаду Владиславовну требуют на десять дней на городской семинар профказначеев — и десять дней ее надо кем-то заменять. Это было настолько недопустимо и невозможно, что вместе с Митой Донцова тут же решительным шагом пошла через много комнат в регистратуру — звонить в райком союза и отбивать. Но был занят телефон сперва с этой стороны, потом с той, потом перешвырнули их звонить в обком союза, а оттуда удивлялись их политической беспечности и неужели они предполагают, что профсоюзная касса может быть оставлена на произвол. Ни райкомовцев, ни обкомовцев, ни самих, ни родных — никого еще, видно, не укусила опухоль и, как думали они, не укусит. Заодно позвонив в общество рентгенологов, Людмила Афанасьевна рванулась просить о заступничестве главврача, но тот сидел с какими-то посторонними людьми и обсуждал намеченный ремонт хозяйственным способом одного крыла их здания. Так все осталось неопределенно, и она пошла к себе через рентгенодиагностический, где сегодня не работала. Тут был перерыв, записывались при красном фонаре результаты, и тут же доложили Людмиле Афанасьевне, что подсчитали запасы пленки и при нынешнем расходе ее хватит не больше, как на три недели, а это значит — уже авария, потому что меньше месяца заявки на пленку не выполняют. Отсюда ясно стало Донцовой, что надо сегодня же или завтра свести аптекаря и главврача, а это нелегко, и заставить их послать заявку.

Затем ей путь преградили мастера гамма-установки, и она подписала им акт. Кстати было зайти и к рентгенолаборантам. Тут она села, и стали подсчитывать. По исконным техническим условиям аппарат должен работать один час, а

полчаса отдыхать, но это давно было заброшено, а работали все аппараты девять часов без перерыва, то-есть полторы рентгеновские смены. Однако, и при такой нагрузке, и при том, что привычные лаборанты быстро сменяли больных под аппаратами, все равно не умещались дать столько сеансов, сколько хотели. Надо было успевать пропускать амбулаторных по разу в день, а клинических некоторых — и по два (как с сегодняшнего дня назначено было Костоглотову) — чтоб усилить удар по опухоли, да и ускорить оборачиваемость коек. Для этого, тайком от технического надзора, перешли на ток в двадцать миллиампер вместо десяти. Получалось вдвое быстрее, хотя трубки, очевидно, изнашивались тоже быстрее. А все равно не умещались. И сегодня Людмила Афанасьевна пришла заметить в списках, каким больным и на сколько сеансов она разрешает не ставить (это тоже укорачивало сеанс вдвое) миллиметрового медного фильтра, оберегающего кожу, а каким ставить фильтр полумиллиметровый.

Тут она поднялась на второй этаж посмотреть, как ведет себя после укола Русанов. Затем пошла в кабинет короткофокусных аппаратов, где снова уже шло облучение больных, и хотела приняться за свои статьи и письма, как постучала вежливо Елизавета Анатольевна и попросила разрешения обратиться.

Елизавета Анатольевна была просто «нянечкой» лучевого отделения, однако, ни у кого язык не поворачивался звать ее на «ты», Лизой или тетей Лизой, как зовут даже старых санитарок даже молодые врачи. Это была хорошо воспитанная женщина, в свободные часы ночных дежурств она сидела с книжками на французском языке, — а вот почему-то работала санитаркой в онкодиспансере, и очень исполнительно. Правда, она имела тут полторы ставки, и некоторое время здесь платили еще пятьдесят процентов надбавки за рентгеновскую вредность, но вот надбавку нянечкам свели до пятнадцати процентов, а Елизавета Анатольевна не уходила.

— Людмила Афанасьевна! — сказала она, чуть изгибаясь в извинении, как это бывает у повышенно вежливых людей. — Мне очень неловко беспокоить вас по мелкому поводу, но ведь просто берет отчаяние! — Ведь нет же тряпок, совсем нет! Чем убирать?

Да, вот это была кручина! Министерство предусматривало снабжение онкодиспансера радиевыми иголками, гамма-пушкой, аппаратами «Стабилизольт», новейшими приборами для переливания крови, последними синтетическими лекарствами, — но для простых тряпок и простых щеток в таком высоком списке не могло быть места. Низамутдин же Бахрамович

отвечал: «если министерство не предусмотрело — неужели я вам буду на свои деньги покупать?» Одно время рвали на тряпки изветшавшее белье — но хозорганы спохватились и запретили это, заподозрив тут расхищение нового белья. Теперь требовали изветшавшее свозить и сдавать в определенное место, где авторитетная комиссия активировала его и потом рвала.

— Я думаю, — говорила Елизавета Анатольевна, — что, может быть, мы все, сотрудники лучевого отделения, обяжемся принести из дому по одной тряпке и так выйдем из положения, а?

— Да что ж, — вздохнула Донцова, — наверно, ничего не остается. Я согласна. Вы это, пожалуйста, предложите Олимпиаде Владиславовне...

Да! Саму-то Олимпиаду Владиславовну надо было идти выручать. Ведь просто же нелепость — лучшую опытную сестру выключить из работы на десять дней.

И она пошла звонить. И ничего не добилась опять. Тут сразу же пошла смотреть на больного из Ташауза. Сперва сидела в темноте, приучая глаза. Потом смотрела бариевую взвесь в тонком кишечнике больного, то стоя, то опуская защитный экран как стол и кладя больного на один бок и на другой для фотографирования. Проминая в резиновых перчатках живот больного и совмещая с его криками «больно!» слепые расплывчатые зашифрованные оттенки пятен и теней, Людмила Афанасьевна перевела их в диагноз.

Где-то за всеми этими делами миновал и ее обеденный перерыв, только она никогда его не отмечала, не выходила с бутербродом в сквер даже летом.

Сразу же пришли ее звать на консультацию в перевязочную. Там старший хирург сперва предварил Людмилу Афанасьевну об истории болезни, затем вызвали больную и смотрели ее. Донцова пришла к выводу: спасение возможно только одно — путем кастрации. Больная, всего лишь лет сорока, заплакала: дали ей поплакать несколько минут. «Да ведь это конец жизни!.. Да ведь меня муж бросит...».

— А вы мужу и не говорите, что за операция! — втолковывала ей Людмила Афанасьевна. — Как он узнает? Он никогда и не узнает. В ваших силах это скрыть.

Поставленная спасти ж и з н ь, именно жизнь — в их клинике почти всегда шло о жизни, о меньшем не шло, — Людмила Афанасьевна непреклонно считала, что всякий ущерб оправдан, если спасается жизнь.

Но сегодня, как ни кружилась она по клинике, что-то

мешало весь день ее уверенности, ответственности и власти.

Была ли это ясно ощущаемая боль в области желудка у нее самой? Некоторые дни она не чувствовала ее, некоторые дни слабей, сегодня — сильней. Если б она не была онкологом, она бы не придавала значения этой боли или, напротив, бесстрашно пошла бы на исследования. Но слишком хорошо она знала эту ниточку, чтобы отмотать первый виток: сказать родным, сказать товарищам по работе. Сама-то для себя она проявлялась русским авосем: а может, обойдется? А может, только нервное ощущение?

Нет, не это, еще другое мешало ей весь день, как будто она занозилась. Это было смутно, но настойчиво. Наконец теперь, придя в свой уголок к столу и коснувшись этой папки «Лучевая болезнь», подмеченной доглядчивым Костоглотовым, она поняла, что весь день не только взволнована, но уязвлена спором с ним о праве лечить.

Она еще слышала его фразу: «лет двадцать назад вы облучали еще какого-нибудь Костоглотова, который умолял вас не облучать, но вы же не знали о лучевой болезни!».

Она действительно должна была скоро делать сообщение в обществе рентгенологов на тему: «О поздних лучевых изменениях». Почти то самое, в чем упрекал ее Костоглотов.

Лишь совсем недавно, год-два, как у нее и у других рентгенологов — здесь, и в Москве, и в Баку — стали появляться эти случаи, не сразу понятые. Возникло подозрение. Потом догадка. Об этом стали писать друг другу письма, говорили — пока не в докладах, а в перерывах между докладами. Тут кто-то прочел реферат из американского журнала — один, другой. Назревало что-то похожее и у американцев. А случаи нарастали, еще и еще приходили больные с жалобами — и вдруг это все получило одно название: «Поздние лучевые изменения», и настало время говорить о них с кафедр и что-то решать.

Смысл был тот, что рентгеновские лечения, благополучно, успешно или даже блистательно закончившиеся десять и пятнадцать лет тому назад дачею крупных доз облучения, — выявлялись теперь в облученных местах неожиданными разрушениями и искажениями.

Не обидно было, или во всяком случае оправдано, если те давние облучения проводились по поводу злокачественных опухолей. Тут не было выхода даже и с сегодняшней точки зрения: больного спасали единственным образом от неминуемой смерти и только большими дозами, потому что малые помочь не могли. И, приходя теперь с увечьем, он должен же

был понять, что увечье это плата за уже прожитые добавленные ему годы и еще за те, которые оставались впереди.

Но тогда, десять, и пятнадцать, и восемнадцать лет назад, когда не было и названия «лучевая болезнь», рентгеновское облучение представлялось способом таким прямым, надежным и абсолютным, таким великолепным достижением современной медицинской техники, что считалось отсталостью мышления и чуть ли не саботажем в лечении трудящихся — отказываться от него и искать другие, параллельные или окольные, пути. Боялись только острых ранних поражений тканей и костей, но их тогда же научились и избегать. И — облучали! Облучали с увлечением! Даже доброкачественные опухоли. Даже у маленьких детей.

А теперь эти дети, ставшие взрослыми, юноши и девушки, иногда и замужние, приходили с необратимыми увечьями в тех местах, которые так ретиво облучались.

Минувшей осенью пришел — не сюда, не в раковый корпус, а в хирургический, но Людмила Афанасьевна узнала и тоже добилась его посмотреть — пятнадцатилетний мальчик, у которого рука и нога одной стороны отставали в росте от другой и так же кости черепа, отчего он снизу и доверху казался дугообразно искаженным, как карикатура. И, сравнив архивы, Людмила Афанасьевна отождествила в нем того двухс-половиной-летнего мальчика, которого мать принесла в клинику медгородка со множественными поражениями костей не известного никому происхождения, но совсем не опухолевой природы, с глубоким поражением обмена веществ, — и тогда же хирурги послали его к Донцовой — наудачу, авось да поможет рентген. И Донцова взялась, и рентген помог! — да как хорошо; мать плакала от радости, говорила, что никогда не забудет спасительницы.

А теперь он пришел один — матери не было уже в живых, и никто ничем не мог ему теперь помочь, никто не мог взять назад из его костей прежнего облучения.

А совсем недавно, вот уже в конце января, пришла молодая мать с жалобой, что грудь не дает молока. Она пришла не сюда, но ее слали из корпуса в корпус, и она достигла онкологического. Донцова не помнила ее, но так как в их клинике карточки на больных хранятся вечно, пошли в сарайчик, рылись там и нашли ее карточку девятьсот сорок первого года, откуда подтвердилось, что девочкой она приходила и доверчиво ложилась под рентгеновские трубки — с доброкачественной опухолью, от которой ее теперь никто б рентгеном лечить не стал.

Оставалось Донцовой лишь продолжить старую карточку,

записать, что стали атрофичны мягкие ткани и что, по всей видимости, это есть позднее лучевое изменение.

Ни этому перекоsobоченному юноше, ни этой обездоленной матери никто не объяснил, конечно, что их лечили в детстве не так, объяснять это было бы в личном отношении бесполезно, а в общем отношении — вредило бы санитарной пропаганде среди населения.

Но у самой Людмилы Афанасьевны эти случаи вызвали потрясение, ноющее чувство неискusимой и непоправимой вины — и туда-то, в эту точку попал сегодня Костоглотов.

Она сложила руки накрест, обнимая плечи, и прошлась по комнате от двери к окну, от окна к двери, по свободной полоске пола между двумя уже выключенными аппаратами.

Но можно ли так? — Ставить вопрос о праве врача лечить? Если думать так, если сомневаться в каждом научно принятом сегодня методе, не будет ли он в будущем опровергнут или отвергнут, — тогда можно черт знает до чего дойти! Ведь смертные случаи описаны даже от аспирина: принял человек свой первый в жизни аспирин и умер! Тогда лечить вообще нельзя! Тогда вообще нельзя приносить повседневных благ.

Этот закон, вероятно, имеет и всеобщий характер: всякий делая что-либо всегда порождает и то, и другое — и благо, и зло. Один только — больше блага, другой — больше зла.

Но как бы она себя ни успокаивала и как бы ни знала она отлично, что эти несчастные случаи вместе со случаями неверных диагнозов, поздно принятых или неверно принятых мер, может не составить и двух процентов ее деятельности, — а излеченные ею, а возвращенные к жизни, а спасенные, а исцеленные ею молодые и старые люди, женщины и мужчины ходят по пашне, по траве, по асфальту, летают по воздуху, убирают хлопок, лазят по столбам, метут улицы, стоят за прилавками, сидят в кабинетах или в чайханах, служат в армии и во флоте, и их тысячи, и не все они забыли ее и не все забудут, — она знала также, что она сама скорее забудет их всех, свои лучшие случаи, свои труднейшие победы, а до могилы будет помнить тех нескольких, тех немногих горемык, которые попали под колеса.

Такова была особенность ее памяти.

Нет, готовиться к сообщению она сегодня уже не сможет, да и день к концу. (Разве взять папку домой? Наверняка, провозишь зря, хоть сотни раз она так брала и возила).

А что надо успеть сделать — вот «Медицинскую радиологию» освободить, статейки дочесть. И ответить этому фельдшеру в Тахта-Купыр на его вопрос.

Плохой становился свет из пасмурного окна, она зажгла настольную лампу и уселась. Заглянула одна из ординаторов, уже без халата:

— Вы не идете, Людмила Афанасьевна? — И Вера Гангарт зашла: — Вы не идете?

— А как Русанов?

— Спит. Рвоты не было. Температура есть. — Вера Корнильевна сняла глухой халат и осталась в серо-зеленоватом тафтяном платье, слишком хорошем для работы.

— Не жалеете таскать? кивнула Донцова.

— А зачем беречь? Для чего беречь?.. — хотела улыбнуться Гангарт, но получилось жалостно.

— Ладно, Верочка, если так, следующий раз введем ему полную, десять миллиграмм, — в своей убыстренной манере, когда слова только время отнимают, протолкнула Людмила Афанасьевна и писала письмо фельдшеру.

— А Костоготов? — тихо спросила Гангарт уже от двери.

— Был бой, но он разбит и покорился! — усмехнулась Людмила Афанасьевна и опять почувствовала от выпеха усмешки, как резануло ее около желудка. Она даже хотела сейчас и пожаловаться Вере, ей первой, подняла на нее прищуренные глаза, но в полутемной глубине комнаты увидела как собравшуюся в театр — в выходном платье, на высоких каблуках.

И решила — до другого раза.

Все ушли, а она сидела. Совсем было ей бесполезно и полчаса лишних проводить в этих помещениях, ежедневно облучаемых, но вот так все цеплялось. Всякий раз к отпуску она была бледно-сера, а лейкоциты ее, монотонно падающие весь год, снижались до двух тысяч, как преступно было бы довести какого-нибудь больного. Три желудка в день полагалось смотреть рентгенологу по нормам, а она ведь смотрела по десять в день, а в войну и по двадцать пять. И перед отпуском ей самой было впору переливать кровь. И за отпуск не восстанавливалось утерянное за год.

Но повелительная инерция работы не легко отпускала ее. К концу каждого дня она с досадой видела, что опять не успела. И сейчас между делами она снова задумалась о жестокоем случае с Сибгатовым и записала, о чем посоветоваться при встрече на обществе с доктором Орещенковым. Как она ввела в работу своих ординаторов, так и ее когда-то, до войны, вводил за руку, осторожно направляя и передал ей вкус кружозора доктор Орещенков. — «Никогда, Людочка, не специализируйтесь до сушеной воблы! — предупреждал он. — Пусть

весь мир течет к специализации, а вы держитесь за свое — одной рукой за рентгенодиагностику, другой — за рентгенотерапию. Будьте хоть последней — но такой!» И он все еще был жив, и тут же в городе.

Уже лампу потушив, она от двери вернулась и записала дела на завтра. Уже надев свое синее не новое пальто, она еще свернула к кабинету главврача — но он был заперт.

Наконец, она сошла со ступенек между тополями, шла по аллеям медицинского городка, но в мыслях оставалась вся в работе и даже не пыталась и не хотела выйти из них. Погода была никакая — она не заметила, какая. А еще не сумерки. На аллеях встречались многие незнакомые лица, но в Людмиле Афанасьевне и здесь не пробудилось естественное женское внимание — кто из встречных во что одет, что на голове, что на ногах. Она шла с присобранными бровями и на всех этих людей остро поглядывала, как бы прозревая локализацию тех возможных опухолей, которые в людях этих еще сегодня не дают себя знать, но могут выявиться завтра.

Так она шла и миновала внутреннюю чайхану медгородка, и мальчика узбеченка, постоянно торгующего здесь газетными фунтиками миндаля, — и достигла главных ворот.

Кажется, проходя эти ворота, из которых неусыпная бранчливая толстуха-сторожиха выпускала только здоровых людей, а больных заворачивала громкими окриками, — кажется, ворота эти проходя, должна ж она перейти из рабочей части своей жизни в домашнюю, семейную. Но нет, не равно делилось время и силы ее между работой и домом. Внутри медицинского городка она проводила свежую и лучшую половину своего бодрствования, и рабочие мысли еще вились вокруг ее головы, как пчелы, долго спустя ворота, а утром задолго до них.

Она опустила письмо в Тахта-Купыр. Перешла улицу к трамвайному кругу. Позванивая, развернулся нужный номер. Стали густо садиться и в передние, и в задние двери. Людмила Афанасьевна поспешила захватить место — и это была первая внешняя мысль, начинавшая превращать ее из оракула человеческих судеб в простого пассажира трамвая, которого толкали запросто.

Но еще и под дребезжание трамвая по старой однопутной колее и на долгих разминных остановках Людмила Афанасьевна смотрела в окно неосмысленно, все обдумывая то о легочных метастазах у Мурсалимова, то о возможном влиянии укулов на Русанова. Его обидная наставительность и угрозы, с которыми он выступил сегодня на обходе, затертые с утра

другими впечатлениями, сейчас, после конца дня, проступили угнетающим осадком: на вечер и на ночь.

Многие женщины в трамвае, как и Людмила Афанасьевна, были не с малюсенькими дамскими сумочками, а с сумками-баулами, куда можно затолкать живого поросенка или четыре буханки хлеба. С каждой пройденной остановкой и с каждым магазином, промелькнувшим за окном, Людмилой Афанасьевной завладевали мысли о хозяйстве и о доме. Все это было — на ней и только на ней, потому что какой спрос с мужчин? И муж, и сын были у нее такие, что когда она уезжала на конференцию в Москву — они и посуды не мыли неделю: не потому, что хотели приберечь это для нее, а — не видели в этой повторительной, вечно возобновляемой работе смысла.

Была и дочь у Людмилы Афанасьевны — уже замужняя, с маленьким на руках, и даже уже почти не замужняя, потому что шло к разводу. И в первый раз за день вспомнив сейчас о дочери, Людмила Афанасьевна не развеселилась.

Сегодня была пятница. В это воскресенье Людмила Афанасьевна непременно должна была совершить большую стирку. Уже набралось. Значит обед на первую половину недели (она готовила его дважды в неделю) надо было во что бы то ни стало варить в субботу вечером. А замочить белье сегодня бы тоже вечером, когда б ни лечь. И в общем сейчас, и только сейчас хоть и поздно, ехать на главный рынок — там и до вечера кого-нибудь застанешь.

Она сошла, где надо было пересаживаться на другой трамвай, но посмотрела на соседний зеркальный «Гастроном» и решила в него заглянуть. В мясном отделе было пусто, и продавец уже ушел. В рыбном нечего было брать — селедка, соленая камбала, консервы. Пройдя живописные ряды винных бутылок и коричневые — совсем под колбасу — сырныи круглые стержни, она наметила в бакалейном взять две бутылки подсолнечного масла (перед тем было только хлопковое) и ячневый концентрат. Так она и сделала — пересекла мирный магазин, заплатила в кассу, вернулась в бакалейный.

Но пока она тут стояла за двумя человеками, какой-то оживленный шум поднялся в магазине, повалил с улицы народ, и все выстраивались в гастрономический и в кассу. Людмила Афанасьевна дрогнула и, не дождавшись получить в бакалейном, ускоренным шагом пошла тоже занимать и к продавцу, и в кассу. Еще ничего не было за изогнутым оргстеклом прилавка, по теснившимся женщины точно сказали, что будут давать ветчинно-рубленную по килограмму в руки.

Так удачно она попала, что был смысл чуть позже занять и вторую очередь.

Если бы не этот охват рака по шее, Ефрем Поддуев был бы мужчина в расцвете. Ему еще не сравнялось полуста, и был он крепок в плечах, тверд в ногах и здрав умом. Он не то, что был двужилый, но двухребетный, и после восьми часов мог еще восемь отработать, как первую смену. В молодости на Каме таскал он шестипудовые мешки, и из силы той не много ubyло, он и сейчас не отрекался выкатить с рабочими бетономешалку на помост. Перебывал он во многих краях, переделал пропасть разной работы, там ломал, там копал, там снабжал, а здесь строил, не унижался считать ниже червонца, от полулитра не шатался, за вторым литром не тянулся — и так он чувствовал себя и вокруг себя, что ни предела, ни рубежа не поставлено Ефрему Поддуеву, а всегда он будет такой. Несмотря на силищу, на фронте он не бывал — бронировали его спецстроительства, не отведал он ни ран, ни госпиталей. И ничем никогда не болел тяжелым, ни гриппом, ни в эпидемию, ни даже зубами. И только в запрошлом году первый раз заболел — и сразу вот этим. — Раком.

Это сейчас он так с размаху лепил: «раком», а долго-долго перед собой притворялся, что нет ничего, пустяки, и сколько терпелу было — оттягивал, не шел к врачам. И когда уже пошел, и от диспансера к диспансеру дослали его в раковый, а здесь всем до одного больным говорили, что у них — не рак, — Ефрем не захотел смекнуть что у него, не поверил своему природному уму, а поверил своему хотению: не рак у него, и обойдется.

А заболел у Ефрема язык — поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся. Этим языком он себе выговаривал плату там, где ее не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не верил. И кричал на начальство. И обкладывал рабочих. И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святей да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей. И анекдоты выкладывал жирно-задые, только всегда без политики. И волжские песни пел. И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернется через неделю и будут дом строить. «Ах, чтоб твой язык отсох!» — проклинала одна такая временная теща. Но язык только в шибко пьяном виде отказывал Ефрему.

И вдруг стал наращиваться. Цепляться о зубы. Не помещался в мягком сочном зеве.

А Ефрем все отряхивался, все скалился перед товарищами:

— Поддуев! Ничего на свете не боится!

И те говорили:

— Да-а, вот у Поддуева — сила воли.

А это была не сила воли, а упрятеренный страх. Не из силы воли — из страха он держался и держался за работу, как только мог откладывая операцию. Всей жизнью своей Поддуев был подготовлен к жизни, а не к умиранию. Этот переход был ему свыше сил, он не знал путей этого перехода — и отгонял его от себя тем, что был на ногах и каждый день, как ни в чем не бывало, шел на работу и слышал похвалы своей воле.

Не дался он операции, и лечение начали иголками: впускали в язык иголки, как грешнику в аду, и по несколько суток держали. Так хотелось Ефрему этим и обойтись, так он надеялся! — нет. Распухал язык. И, уже не найдя у себя той силы воли, быковатую голову опустив на белый амбулаторный стол, Ефрем согласился. Операцию делал Лев Леонидович — и замечательно ж как сделал! Как обещал: укоротился язык, сузился, он быстро привыкал обращаться снова и все то же говорить, что и раньше, только может не так чисто, как раньше. Еще покололи иголками, отпустили, вызвали, и Лев Леонидович сказал:

— А теперь через три месяца приезжай, и еще одну операцию сделаем — на шее. Эта — легкая будет.

Но таких «легких» на шее Поддуев тут уже насмотрелся и не явился в срок. Ему присылали по почте вызовы — он на них не отвечал. Он вообще привык на одном месте не жить и шутя сейчас мог завеяться хоть на Колыму, хоть в Хакассию. Нигде его не держало ни имущество, ни квартира, ни семья — только любил он вольную жизнь, да деньги в кармане. Однако, удержался, не поехал. А из клиники писали: сами не явитесь, приведем через милицию. Вот какая власть была у ракового диспансера даже над теми, у кого вовсе не рак.

Он поехал. Он мог, конечно, еще не дать согласия, но Лев Леонидович щупал его шею и крепко ругал за задержку. И его порезали справа и слева по шее, как режутся ножами блатари, и долго он тут лежал в обмоте, а выпустили, качая головами...

Но уже к вольной жизни не нашел он прежнего вкуса: разонравилась ему и работа, и гулянки, и питье, и курье. На шее у него не мягчело, а брякло, и потягивало, и покалывало, и постреливало, даже в голову. Болезнь поднималась по шее едва не к ушам. И когда он месячишко назад вернулся опять все к тому же старому зданию из серого кирпича с добротной

открытой расшивкой швов и взмошел на то же полированное тысячами ног крылечко меж тополей, и хирурги тотчас за него схватились, как за родного, и опять он был в полосатом больничном и в той же палате близ операционной, с окнами, упертыми в задний забор, и ожидал операцию, по бедной шее вторую, а общим счетом третью, — Ефрем Поддуев больше не мог себе врать и не врал. Он сознался, что у него — рак.

И теперь, порываясь к равенству, он стал и всех соседей убеждать, что рак и у них. Что никому отсюда не вырваться. Что всем сюда вернуться. Не то, чтоб он находил удовольствие давить и слушать, как похрущивают, а пусть не врут, пусть правду думают.

Ему сделали третью операцию, большей и глубже. Но после нее на перевязках доктора что-то не повеселели, а буркали друг другу не по-русски и обматывали все плотней и выше, сращивая бинтами голову с туловищем. И в голову ему стреляло все сильней, все чаще, почти уже и подряд.

Итак, что ж было прикидываться? За раком надо было принять и дальше — то, от чего он жмурился и отворачивался два года: что пора Ефрему подыхать. Так, со злорадством, оно даже легче получалось: не умирать — подыхать.

Но это можно только выговорить, а не умом вообразить, не сердцем представить: как же так может с ним, Ефремом? Как же это будет? И что надо делать?

От чего он прятался за работой и между людей, — то подошло теперь один на один и душило повязкой за шею.

И ничего он не мог услышать в помощь от соседей — ни в палатах, ни в коридорах, ни на нижнем этаже, ни на верхнем. Все было переговорено — а все не то.

Вот тут его и замотало от окна к двери и обратно, по пять часов в день и по шесть. Это он бежал искать помощи.

Сколько жил Ефрем и где ни бывал (а не бывал он только в главных городах, окраины все прочесал), — и ему, и другим всегда было ясно, что от человека требуется. От человека требуется или хорошая специальность, или хорошая хватка в жизни. От того и другого идут деньги. И когда люди знакомятся, то за как зовут сразу идет: кем работаешь, сколько получаешь. И если человек не успел в заработках, значит — или глупой, или несчастный, а в общем — так себе человек.

И такую вполне понятную жизнь видел Поддуев все эти годы и на Воркуте, и на Енисее, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии. Люди зарабатывали большие деньги, а потом их тратили — хоть по субботам, хоть в отпуск сразу все.

И было это складно, это годилось, пока не заболели

люди раком или другим смертельным. Когда же заболели, то становились ничто и их специальность и хватка, и должность, и зарплата, и по оказавшейся их тут беспомощности, и по желанию врать себе до последнего, что у них не рак, выходило, что все они слабаки и что-то в жизни упустили.

Но что же?

Смолоду слышал Ефрем, да и знал про себя и про товарищей, что они молодые, росли умней своих стариков. Старики и до города за весь век не доезжали, боялись, а Ефрем в тринадцать лет уже скакал, из нагана стрелял, а к пятидесяти, всю страну как бабу, перещупал. Но вот сейчас, ходя по палате, он вспоминал, как умирали те старые в их местности, на Каме — хоть русские, хоть татары, хоть вотяки. Не выжили они, не отбивались, не хватало, что не умрут, — все они принимали смерть с п о к о й н о. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому — кобыла, кому — жеребенок, кому — зипун, кому — сапоги. И отходили облегченно, как-будто просто перебирались в другую избу. И никого из них нельзя было напугать раком. Да и рака-то ни у кого не было.

А здесь, в клинике, уж кислородную подушку сосет, уж глазами еле ворочает, а языком все доказывает: не умру! У меня не рак!

Будто куры. Ведь каждую ждет нож по глотке, а они все кудахчут, все за кормом роются. Унесут одну резать, а остальные роются.

Так день за днем вышагивал Поддубев по старому полу, качая половицами, но ничуть ему не становилось ясней, чем же надо встречать смерть. Придумать этого было нельзя. Услышать было — не от кого. И уж меньше всего он ожидал бы найти это в какой-нибудь книге.

Когда-то он четыре класса кончил, когда-то и строительные курсы, но собственной тяги читать у него не было: заместо газет шло радио, а книги представлялись ему совсем лишними в обиходе, да в тех диковатых дальних местах, где протаскался он жизнь за то, что там платили много, он и не густо видал книжечек. Поддубев читал по нужде — брошюры по обмену опытом, описания подъемных механизмов, служебные инструкции, приказы и «Краткий курс» до четвертой главы. Тратить деньги на к н и г и или в библиотеку за ними переться — находил он просто смешным. Когда же в дальней дороге или в ожидании ему попадалась какая, — прочитывал он страниц двадцать-тридцать, но всегда бросал, ничего не найдя в ней по умному направлению жизни.

И здесь, в больнице, лежали на тумбочках и на окнах

— он до них не дотрагивался. И эту синенькую, с золотой росписью, тоже бы не стал читать, да всучил ее Костоглотов в самый пустой, тошный вечер. Подложил Ефрем две подушки под спину и стал просматривать. И тут еще он не стал бы читать, если б это был роман. Но это были рассказыки маленькие, которых суть выяснялась в пяти-шести страницах, а иногда в одной. В оглавлении их было насыпано, как гравия. Стал читать Поддуев названия, и повеяло на него сразу, что идет как бы о деле. «Труд, смерть и болезнь». «Главный закон». «Источник». «Упустишь огонь — не потушишь». «Три старца». «Ходите в свете, пока есть свет».

Ефрем раскрыл какой поменьше. Прочел его. Захотелось подумать. Он подумал. Захотелось этот рассказик еще раз прочесть. Перечел. Опять захотелось подумать. Опять подумал.

Так же вышло и со вторым.

Тут погасили свет. Чтобы книгу не уперли, а утром ее не искать, Ефрем сунул ее себе под матрац. В темноте он еще рассказывал Ахмаджану старую басню, как делил Аллах лета жизни и что много ненужных лет досталось человеку (впрочем, сам он не верил в это, никакие лета не представлялись ему ненужными, если бы здоровье). А перед сном еще думал о прочтенном.

Только в голову шибко стреляло и мешало думать. Утро в пятницу было пасмурно и, как всякое больничное утро, — тяжелое. Каждое утро в этой палате начиналось с мрачных речей Ефрема. Если кто высказывал какую надежду или желание, Ефрем тут же его охоложивал и давил. Но сегодня ему была нехоть смертная открывать рот, а приудобился он читать эту тихую спокойную книгу. Умываться ему было почти лишнее, потому что даже защечья его были подбинтованы; завтрак можно было съесть в постели; а обхода хирургических сегодня не было. И медленно переворачивая шершавую толстоватую бумагу этой книги, Ефрем помалкивал, почитывал да подумывал. Прошел обход лучевых, погавкал на врача этот золотоочкастый, потом струсил, его укололи; качал справа Костоглотов, уходил, приходил; выписывался Азовкин, попрощался, ушел согнутый, держась за живот; вызвали других — на рентген, на вливания. А Поддуев так и не вылез топтать дорожку меж кроватей — читал себе и молчал. С ним разговаривала книга, не похожая ни на кого, занятно.

Целую жизнь он прожил, а такая серьезная книга ему не попадалась.

Хотя вряд ли бы он стал ее читать не на этой койке и

не с этой шеей, стреляющей в голову. Рассказчиками этими едва ли можно было прошибить здорового.

Еще вчера заметил Ефрем такое название: «Чем люди живы?». До того это название было вылеплено, будто сам же Ефрем его и составил. Топча больничные полы и думая, не назвав, об этом самом он ведь и думал последние недели: чем люди живы?

Рассказ был не маленький, но с первых же слов читался легко, ложился на сердце мягко и просто.

«Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьей сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья».

Понятно это было все, и дальше очень понятно: сам Семен поджарый, и подмастерье Михайла худощавый, а барин:

«как с другого света человек: морда красная, налитая, шея, как у быка, весь как из чугуна вылит... С житья такого как им гладким не быть, этакого заклепа и смерть не возьмет...».

Повидал таких и Ефрем довольно: Карашук, начальник углетреста, такой был, и Антонов такой, и Чечев, и Кухтиков... Да и сам Ефрем не начинал ли на такого вытягивать?

Медленно, как по слогам разбирая, Поддуев прочел весь рассказ до конца.

Это уже было к обеду.

Не хотелось Ефрему ни ходить, ни говорить. Как будто что в него вошло и повернуло там. И где раньше были глаза — теперь глаз не было. И где раньше рот приходился — теперь не стало рта.

Первую-то, грубую, стружку с Ефрема сняла больница. А теперь — только строгай.

Все так же, подмостясь подушками и подтянув колени, а при коленях держа закрытую книгу, Ефрем смотрел на пустую белую стенку. День наружный был без просвета.

На койке против Ефрема с самого укола спал этот белокрылый курортник. Накрыли его потяжелей от озноба.

На соседней койке Ахмаджан играл с Сибгатовым в шашки. Языки их мало сходились, и разговаривали они друг с другом по-русски. Сибгатов сидел так, чтоб не кривить и не гнуть большую спину. Он еще был молодой, но на темени его волосы прореженные-прореженные.

А у Ефрема ни волосинки еще не упало, буйных бурых чаща — не продерешься. И до сих пор была при нем вся сила на баб. А как бы уже — ни к чему.

Сколько Ефрем этих баб охобачивал — представить себе нельзя. Еще вначале вел им счет, женам — особо, потом не утруждался. Первая его жена была Амина — белолицая татарка из Елабуги, чувствительная очень: кожа на лице тонкая, едва коготьяжками ее тронь — и кровь. И еще непокорчивая — сама ж с девчонкой и ушла. С тех пор Ефрем позора не допускал и покидал баб всегда первый. Жизнь он вел перелетную, свободную: то вербовка, то договор, и семью за собой таскать было б ему несручно. Хозяйку он на всяком новом месте находил. А у других — встречных-поперечных, вольных и невольных — и имена не всегда спрашивал, а только расплачивался по уговору. И смешались теперь в его памяти лица, повадки и обстоятельства, и запомнилось только, если как-нибудь особенно. Так запомнил он Евдошку, инженерову жену: как во время войны, на перроне станции Алма-Ата стояла она под его окном, задом виляла и просилась. Их ехал целый штат в Или, открывать новый участок, и провожали их многие из треста. Тут же и муж Евдошки, затруханый, невдалеке стоял, кому-то чего-то доказывал. А паровоз первый раз дернул.

— «Ну! — крикнул Ефрем и вытянул руки. — Если любишь — полезай сюда, поехали!». И она уцепилась, вскарабкалась к нему в окно вагона на виду у треста и у мужа — и поехала пожить с ним две недельки. Вот это он запомнил — как втаскивал Евдошку в вагон.

Итак, что увидел Ефрем в бабах за всю жизнь — это приязчивость. Добыть бабу — легко, а вот с рук скачать — трудно. Хоть везде говорилось «равенство», и Ефрем не возражал, но нутром никогда он женщин за полных людей не считал — кроме первой своей жены Амины. И удивился бы он, если б другой мужик стал ему серьезно доказывать, что плохо он поступает с бабами.

А вот по этой чудной книге так получалось, что Ефрем же во всем и виноват.

Зажгли прежде времени свет.

Проснулся этот чистюля с желчью под челюстью, вылез лысой головенкой из-под одеяла и поскорей напялил очки, в которых выглядел профессором. Сразу всем объявил о радости: что укол перенес он ничего, думал, хуже будет. И нырнул в тумбочку за курятиной.

Этим хилякам, Ефрем замечал, только курятину подавай. На барашку — и ту они говорят: «тяжелое мясо». На кого-нибудь другого хотел бы посмотреть Ефрем, но для того надо было всем корпусом поворачивать. А прямо смотреть —

он видел только этого поносника, как тот глодает курячью косточку.

Поддуев закричал и осторожно повернул себя направо.

— Вот, — объявил и он громко. — Тут рассказ есть. Называется: «Чем люди живы?». — И усмехнулся. — Такой вопрос, кто ответит — чем люди живы?

Сибгатов и Ахмаджан подняли головы от пашек. Ахмаджан ответил уверенно, весело, он выздоравливал:

— Довольствием. Продуктовым и вещевым.

До армии он жил только в ауле и говорил только по-узбекски. Все русские — слова и понятия, всю дисциплину и всю развязность он принес из армии.

— Ну, кто еще? — хрипло спрашивал Поддуев. Загадка книги, неожиданная для него, была — так и для всех — легкая. — Кто еще? Чем люди живы?

Старый Мурсалимов по-русски не понимал, хоть, может, ответил бы тут лучше всех. Но пришел ему делать укол медбрат Тургун, студент, и ответил:

— Зарплатой, чем!

Прошка чернявый из угла наострил, как в магазинную витрину, даже рот приоткрыл, а ничего не высказывал.

— Ну, ну! — требовал Ефрем.

Демка отложил свою книгу и хмурился над вопросом. Ту, что была у Ефрема, тоже в палату Демка принес, но читать ее у него не получилось: она говорила совсем не о том, как глухой собеседник отвечает тебе не на вопрос. Она расслабляла и все запутывала, когда нужен был совет к действию. Поэтому он не прочел «Чем люди живы?» и не знал ответа, ожидаемого Ефремом. Он готовил свой.

— Ну, пацан! — подбодрял Ефрем.

— Так, по-моему, — медленно выговаривал Демка, как учителю у доски, чтоб не ошибиться, и еще между словами додумывая. — Раньше всего воздухом. Потом — водой. Потом — едой.

Так бы Ефрем ответил прежде, если б его спросили. Еще б только добавил — спиртом. Но книга совсем не в ту сторону тянула.

Он чмокнул.

— Ну, кто еще?

Прошка решил:

— Квалификацией.

Опять-таки верно, всю жизнь так и думал Ефрем.

А Сибгатов вздохнул и сказал, стесняясь:

— Родиной.

— Как это? — удивился Ефрем.

— Ну, родными местами... Что б жить, где родился.

— А-а-а... Ну, это не обязательно. Я с Камы молодым уехал, и нипочем мне, есть она там, нет. Река и река, не все ль равно?

— В родных местах, — тихо упорствовал Сибгатов, — и болезнь не привяжется. В родных местах все легче.

— В родных местах все легче.

— Ладно. Еще кто?

— А что? А что? — отозвался приободренный Русанов.
— Какой там вопрос?

Ефрем, крихтя, повернул себя налево. У окон были койки пусты, и оставался один только курортник. Он объедал куриную ножку, двумя руками держа ее за концы.

Так и сидели они друг против друга, будто черт их на-зло посадил. Прищурился Ефрем.

— Вот так, профессор: чем люди живы?

Ничуть не затруднился Павел Николаевич, даже от курицы почти не оторвался.

— А в этом и сомнения быть не может. Запомните. Люди живут идейностью и общественными интересами.

И выкусил самый тот сладкий хрящик в суставе. После чего, кроме грубой кожи у лапы и висящих жилок, ничего на костях не осталось. И он положил их поверх бумажки на тумбочку.

Ефрем не ответил. Ему досадно стало, что хляк вывернулся ловко. Уж где идейность — тут заткнись.

И раскрыв книгу, уставился опять. Сам для себя он хотел понять — как же ответить правильно.

— А про что книга? Что пишут? — спросил Сибгатов, останавливаясь в шапках.

— Да вот... — Поддуев прочел первые строки. — «Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было...».

Но читать вслух было трудно и длинно, и, подможенный подушками, он стал перелагать Сибгатову своими словами, сам стараясь еще раз охватить:

— В общем, сапожник запивал. Вот шел он пьяненький и подобрал замерзающего, Михайлу. Жена ругалась — куда, мол, еще дармоеда. А Михайла стал работать без разгиба и научился шить лучше сапожника. Раз, по зиме, приезжает к ним барин, дорогую кожу привозит и такой заказ: чтоб сапоги носились, не кривились, не поролись. А если кожу сапожник загубит — с себя отдаст. А Михайло странно как-то улыбался: там, за баринком в углу, видел что-то. Не успел барин уехать, Михайло эту кожу раскроил и испортил: уже не са-

поги вытяжные на ранту могли получиться, а только вроде тапочек. Сапожник за голову схватился: ты ж, мол, зарезали меня, что ты делаешь? А Михайло говорит: припасает себе человек на год, а не знает, что будет ли жив до вечера. А верно: еще в дороге барин окочурился. И барыня дослала к сапожнику пацана: мол, сапог шить не надо, а поскорей дайте тапочки. На мертвого.

— Ч-черт его знает, чушь какая! — отозвался Русанов, с шипением и с возмущением выговаривая «ч». — Неужели другую пластинку завести нельзя? За километр воняет, что мораль не наша! И чем же там люди живы?

Ефрем перестал рассказывать и перевел набрякшие глаза на лысого. Ему-то и досаждало, что лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что живы люди не заботой о себе, а любовью к другим. Хиляк же сказал: общественными интересами. Оно как-то сходилось.

— Живы чем? — Даже в слух это не выговаривалось. Неприлично вроде. — Мол, любовью...

— Лю-бо-вью?! Не-ет, это не наша мораль! — потешались золотые очки. — Слушай, а кто это все написал?

— Чего? — промычал Поддубев. Угубали его куда-то от сути в сторону.

— Ну, написал это все — кто? Автор?.. Ну, там вверху, на первой странице посмотри.

А что было в фамилии? Что она имела к сути — к их болезням? К их жизни или смерти? Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же.

Теперь он все же отлистнул первую страницу и прочел вслух:

— Тол-стой.

— Н-не может быть! — запротестовал Русанов. — Толстой? Учтите: Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи, иначе б его и не печатали. «Хлеб», «Петр Первый». Он — трижды лауреат сталинской премии, да будет вам известно!

— Так это — не тот Толстой! — отозвался Демка из угла. — Это у нас Лев Толстой.

— Ах, не то-от? — растянул Русанов — с облегчением отчасти, а отчасти — кривясь. — Ах, это другой... Это который — зеркало русской революции, рисовые котлетки?.. Так сю-сюкала ваш Толстой! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался. А злу надо противиться, паренек, со злом надо бороться!

— И я так думаю, — глухо ответил Демка.

У Евгении Устиновны, старшего хирурга, не было почти ни одного обязательного хирургического признака — ни того волевого взгляда, ни той решительной складки лба, ни того железного зажима челюстей, ни прямодышащей мудрости всего облика. На шестом десятке лет, если волосы она все убирала во врачебную шапочку, видевшие ее в спину часто окликали: «Девушка, скажите, а?..» Она была, как говорится, сзади пионерка, спереди пенсионерка. У нее были очень опущены нижние веки, глаза казались отечными, лицо всегда усталое. Она выравнивала это постоянно яркими окрашенными губами, но краску приходилось накладывать в день не раз, потому что всю она ее стирала о папиросы.

Всю минуту, когда она была не в операционной, не в перевязочной и не в палате, — она курила. Оттуда же она улучала выбежать и набрасывалась на папиросу так, будто хотела ее съесть. Во время обхода она иногда поднимала указательный и средний палец к губам, и потом можно было спорить, не курила ли она и на обходе.

Вместе с главным хирургом Львом Леонидовичем, действительно рослым мужчиной с длинными руками, эта узенькая постаревшая женщина делала все операции, за какие бралась их клиника, — пилила конечности, вставляла трахеотомические трубки в стенку горла, удаляла желудки, добиралась до всякого места кишечника, разбойничала в лоне тазового пояса, а к концу операционного дня ей доставалось, как работа уже не сложная и виртуозно освоенная, удалить одну-две молочных железы, пораженные раком. Не было такого вторника и такой пятницы, чтобы Евгения Устиновна не вырезала женских грудей, и санитарке, убиравшей операционную, она говорила как-то, куря ослабевшими губами, что если б все эти груди, удаленные ею, собрать вместе, получился бы холм.

Евгения Устиновна была всю жизнь только хирург, никто вне хирургии, а все же помнила и понимала слова толстовского казака Ерошки о европейских врачах: «только резать и умеют. Стало, дураки. А вот в горах дохтура настоящие. Травы знают».

И если бы завтра лучевая, химическая, травная терапия, или какая-нибудь световая, цветовая, телепатическая смогли бы спасти ее больных помимо ножа, и хирургии грозило бы исчезнуть из практики человечества, — Евгения Устиновна не защищала бы ее ни дня. Может, не по убеждению, даже а по-

тому что целую жизнь она резала, резала, целую жизнь — кровь и мясо.

Одна из утомительных необходимостей человечества — та, что люди не могут освежить себя в середине жизни, круто сменив род занятий.

На обход они приходили втроем-вчетвером: Лев Леонидович, она и ординаторы. Но несколько дней назад Лев Леонидович уехал в Москву на семинар по операциям грудной клетки. Она же в эту субботу вошла в мужскую верхнюю палату почему-то совсем одна — без лечащего и даже без сестры.

Даже не вошла, а тихо стала, прикачнувшись к косяку. Это было движение девичье. Совсем молодая девушка может так прислониться, зная, что это приятно выглядит, что это лучше, чем стоять с ровной спиной, ровными плечами, прямой головой.

Она стояла и задумчиво наблюдала за Деминой игрой. Дема, вытянув по кровати больную ногу, а здоровую калачиком подвернув, на нее, как на столик, положил книгу, а над книгой строил что-то из четырех длинных карандашей, держа их обеими руками. Он рассматривал эту фигуру и долго б так, но его окликнули. Он поднял голову и свел растопыренные карандаши.

— Что это ты, Дема строишь? — печально спросила Евгения Устиновна.

— Теорему! — бодро ответил он, громче нужного.

Так они сказали, но внимательно смотрели друг на друга, и ясно было, что не в этих словах дело.

— Ведь время уходит, — пояснил Дема, но не так бодро и не так громко.

Она кивнула.

Помолчала, прислоненная к косяку — нет, не по девичьи, а от усталости.

— Дай-ка я тебя посмотрю.

Всегда рассудительный, Дема возразил оживленной обыч-ного:

— Вчера Людмила Афанасьевна смотрела! Сказала — еще будем облучать!

Евгения Устиновна кивала. Какое-то печальное изящество было в ней.

— Вот и хорошо, а я все-таки посмотрю.

Дема нахмурился. Он отложил стереометрию, подтянулся на кровати, давая место, и оголил больную ногу до колена.

Евгения Устиновна присела рядом. Она без усилия вскинула рукава халата и платья почти до локтей. Тонкие, гибкие

руки ее стали двигаться по Деминой ноге, как два живых существа.

— Больно? Больно? — только спрашивала она.

— Есть. Есть, — подтверждал он, все сильнее хмурясь.

— Ночью чувствуешь ногу?

— Да... Но Людмила Афанасьевна...

Евгения Устиновна еще покивала понимающей головой и потрепала по плечу.

— Хорошо, дружок. Облучайся.

И еще они посмотрели в глаза друг другу.

И в палате стало совсем тихо, и каждое их слово слышно.

А Евгения Устиновна поднялась и обернулась. Там, у печи, должен был лежать Прошка, но он вчера вечером пере-лег к окну (хотя и была примета, что не надо ложиться на койку того, кто шел умирать). А кровать у печи теперь занимал невысокий, тихий белобрысый Фридрих Федерату, не совсем новичок для палаты, потому что он три дня лежал на лестнице. Сейчас он встал, опустил руки по швам и смотрел на Евгению Устиновну приветливо и почтительно. Ростом он был ниже ее.

Он был совсем здоров! У него нигде ничего не болело! Первой операцией его совсем излечили. И если он опять явился в раковой корпус, то не с жалобой, а из аккуратности: написано было в справке — прибыть на проверку 1-го февраля 1955 г. И издалека, с трудными дорогами и пересадками, сперва в тулупе и в валенках в кузове машины, а от своей станции и сюда в полуботинках и легком пальтеце, он явился не 31-го января и не 2-го февраля, а с той точностью, с какой луна является на назначенные ей затмения.

И его лицо затмили — опять положили зачем-то в стационар. Он очень надеялся, что сегодня его отпустят.

Подошла высокая сухая Мария с изгасшими глазами. Она несла полотенце. Евгения Устиновна протерла руки, подняла их, все так же открытые до локтей, и в такой же полной тишине долго делала накатывающие движения пальцами на шее у Федерату и, велев расстегнуться, еще во впадинах у ключиц и еще под мышками.

Наконец сказала:

— Все хорошо, Федерату. Все у вас очень хорошо.

Он осветился, как награжденный.

— Все хорошо, — тянула она ласково и опять накатывала у него под нижней челюстью. — Еще маленькую операцию сделаем — и все.

— Как? — осунулся Федерату. — Зачем же, если все хорошо, Евгения Устиновна?

— А чтоб еще было лучше, — бледно улыбнулась она.

— Здесь? — показал он режущим движением ладони по шее наискосок. Выражение его мягкого лица стало просительное. У него были бледно-белесые брови.

— Здесь. Да не беспокойтесь, у вас ничего не запущено. Давайте готовить вас на этот вторник. — (Мария записала). — А к концу февраля поедете домой и что б уж к нам не возвращаться.

— И опять будет «проверка»? — пробовал улыбнуться Федерату, но не получилось.

— Ну, разве что проверка, — улыбнулась в извинение она. Чем она могла подкрепить его, кроме своей утомленной улыбки?

И, оставив его стоять, а потом сесть и думать, она пошла дальше по комнате. По пути еще чуть улыбнулась Ахмаджану (она его резала в паху три недели назад) — и остановилась у Ефрема.

Он уже ждал ее, книжку синюю сбросив рядом. С широкой головой, с непомерно утолщенной, обинтованной шеей и в плечах широкий, а с ногами поджатыми, он полусидел в кровати каким-то неправдоподобным коротышкой. Он смотрел на нее исподлобья, ожидая удара.

Она облокотилась о спинку его кровати и два пальца держала у губ, как бы курила.

— Ну, как настроение, Поддуев?

Только и было болтать, что о настроении! Ей поговорить и уйти, ей номер отбыть.

— Резать надоело, — высказал Ефрем.

Она подняла бровь, будто удивилась, что резать — может надоест.

Ничего не говорила.

И он довольно сказал.

Они молчали, как в размолвке. Как перед разлукой.

— Ведь опять по тому же месту? — даже не спросил, а сам сказал Ефрем.

(Он хотел выразить: как же вы раньше резали? Что ж вы думали? Но никогда не павший никаких начальников, всем лепивший в лицо, Евгению Устиновну он поберег. Пусть сама догадается).

— Рядышком, — ответила она.

(Что ж говорить тебе, горемыка, что рак языка — это не рак нижней губы? Подчелюстные узлы уберешь, а вдруг оказывается, что затронуты глубинные лимфоути. Этого нельзя было резать раньше).

Крякнул Ефрем, как потянувши не в силу.

— Не надо. Ничего не надо.

Да она что-то и не уговаривала.

— Не хочу резать. Ничего больше не хочу.

Она смотрела и молчала.

— Выписывайте!

Смотрела она в его рыжие глаза, после многого страха перешагнувшие в бесстрашие, и тоже подумала: зачем? Зачем его мучить, если нож не успевал за метастазами?

— В понедельник, Поддуев, размотаем — посмотрим. Хорошо?

(Он требовал выписывать, но как еще надеялся, что она скажет: «Ты с ума сошел, Поддуев? Что значит — выписывать? Мы тебя лечить будем! Мы вылечим тебя!..»).

А она соглашалась.

Значит, мертвяк.

Он сделал движение всем туловищем, означавшее кивок. Ведь головой отдельно он не мог кивнуть.

И она прошла к Прошке. Тот встал ей навстречу и улыбался. Ничуть его не осматривая, она спросила:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Та гарно, — еще шире улыбнулся Прошка. — О ци таблетки мэне допомоглы.

Он показал флакончик с поливитаминами. Он уже не знал, как ее лучше удобрить? Как уговорить ее, чтоб она не задумала резать.

Она кивнула таблеткам. Протянула руку к левой стороне его груди:

— А тут? Покалывает?

— Та трохи е.

Она еще кивнула:

— Сегодня выписываем вас.

Вот когда обрадовался Прошка! Так и полезли в гору черные брови:

— Та шо вы? А операции — нэ будэ, ни?

Она качала головой, бледно улыбаясь.

Неделю его щупали, загоняли в рентген четыре раза, то сажали, то клали, то поднимали, водили по каким-то старикам в белых халатах — уж он ожидал себе лихой хворобы, — и вдруг — отпускали без операции!

— Так я здоров?!

— Не совсем.

— О ци, таблетки дже гарны, га? — черные глаза его сверкали пониманием и благодарностью. Ему приятно было, что своим легким исходом он и ее радует.

— Такие таблетки будете сами в аптеке покупать. А я

вам еще пропишу, тоже попьете. — И повернула голову к сестре: — Аскорбиновую.

Мария строго наклонила голову и записала в тетрадь.

— Только вам придется побережться! — внушала Евгения Устиновна. — Вам не надо быстро ходить. Не надо поднимать тяжелого. Если наклоняться — то осторожно.

Прошка рассмеялся, довольный, что и она не все на свете понимает.

— Як то — важкого нэ подымать? Я — тракторист.

— А вы сейчас пока работать не будете.

— А чего ж? По бюлетню?

— Нет. Вы сейчас по справке нашей получите инвалидность.

— Инвалидность? — Прошка диковато на нее посмотрел. — Та наяки мини лыхо инвалидность? Як я на ни жить буду? Я ще молодой, я робыть хочу.

Он выставил свои здоровые с грубоватыми пальцами руки, просящиеся в работу.

Но это не убедило Евгению Устинову.

— Вы в перевязочную спуститесь через полчаса. Будет готова справка, и я вам объясню.

Она вышла, и негнущаяся худая Мария вышла за ней. И сразу в палате заговорили в несколько глоток. Прошка — об этой инвалидности — на кой она, обговорить с хлопцами, но другие толковали о Федерату. Это разительно было для всех: вот чистая, белая, ровная шея, ничего не болит, — и операция!

Поддуев на кровати повернулся на руках корпусом с поджатыми ногами (это вышло — как поворачивается безногий) и закричал сердито, даже покраснел:

— Не давайся, Фридрих! Не будь дурак! Начнут резать — зарежут, как меня.

Но и Ахмаджан мог судить:

— Надо резать Федерату! Они даром не скажут.

— Зачем же резать, если не болит? — возмущался Дема.

— Да ты что, браток? — басил Костоглотов. — С ума сойти, здоровую шею резать.

Русанов морщился от этих криков, но не стал никому делать замечаний. Вчера после укола он очень повеселел, что его легко перенес. Но по-прежнему опухоль под шейю всю ночь и утро мешала ему двигать головой, и сегодня с утра он чувствовал себя вполне несчастным, что ведь она не уменьшается.

Правда, приходила доктор Гангарт. Она очень подробно расспросила Павла Николаевича о каждом оттенке его самочувствия вчера и ночью, и сегодня, и о степени слабости, и

объясняла, что опухоль не обязательно должна поддаться после первого укола, даже это вполне нормально, что не подалась. Отчасти она его успокоила. Он присмотрелся к Гангарт — у нее не глупое лицо (только фамилия подозрительная). В конце концов, в этой клинике тоже не самые последние врачи, опыт у них есть, надо уметь с них требовать.

Но успокоения его хватило не надолго. Врач ушла, а опухоль торчала под челюстью и давила, а больные несли свое, а вот предлагали человеку резать совсем здоровую шею. У Русанова же какая бубуля — и не режут и не предлагают. Неужели так плохо?

Позавчера, войдя в палату, Павел Николаевич не мог бы себе представить, что так быстро почувствует себя в чем-то объединенным с этими людьми.

Ведь о шее шла речь. У троих у них — о шее.

Фридрих Якобович очень расстроился. Слушал все, что ему советовали, и улыбался растерянно. Все уверенно говорили, как ему поступить, только сам он свое дело видел смутно. (И они смутно видели свое собственное). И резать было опасно, и не резать было опасно. Он уже посмотрелся и повыспрашивал здесь, в клинике, еще прошлый раз, когда ему лечили рентгеном нижнюю губу, как вот сейчас Егенбердиеву. С тех пор струп на губе и раздулся, и высох, и отвалился, но он понимал, зачем режут шейные железы: чтоб не дать продвигаться раку дальше.

Однако, вот Поддуеву два раза резали — и что, помогло?.. А если рак никуда и не думает ползти? Если его уже нет? Во всяком случае надо было посоветоваться с женой, а особенно с дочерью Генриетой, самой образованной и решительной у них в семье. Но он занимает здесь койку, и клиника не станет ждать оборота писем (а еще от станции к ним, в глубь степи, почту возят два раза в неделю, и то лишь по хорошей дороге). Выписываться же и ехать на совет домой — очень трудно, трудней, чем это понимают врачи и те больные, которые ему так легко советуют. Для этого надо закрыть в здешней городской комендатуре отпускное свидетельство, только что выхлопотанное с трудом, сняться с временного учета и ехать: сперва ехать поездом до маленькой станции, там надевать полушубок и валенки, оставленные на хранение у незнакомых добрых людей, — потому что там погода нездешняя, там еще лютые ветры и зима, — и сто пятьдесят километров трястись-качаться до своей МТС, может быть, не в кабине, а в кузове; и тотчас же, приехав домой, писать заявление в областную комендатуру и две-три-четыре недели ждать разрешения на новый выезд; и когда оно придет — опять отпрашиваться с ра-

боты, а как раз потает снег, — развезет дорогу, и машины станут; и потом на маленькой станции, где останавливаются два поезда в сутки, каждый по минуте, мотаться отчаянно от кондуктора к кондуктору, который бы посадил; и, приехав сюда, в здешней комендатуре опять становиться на временный учет и потом еще сколько-то дней ждать очереди на место в клинике.

Тем временем обсуждали дела Прошки. Вот и верь дурным приметам! Лег на плохую койку! Его поздравляли и советовали подчиниться инвалидности, пока дают. Дают — бери! Дают — значит надо. Дают, а потом отнимут. Но Прошка возражал, что хочет работать. Да еще, мол, наработаешься, дурак, жизнь длинная!

Пошел Прошка за справками. Стало в палате стихать.

Ефрем опять открыл свою книгу, но читал строки, не понимая, и скоро заметил это.

Он не понимал их, потому что дергался, волновался, смотрел, что делается в комнате и в коридоре. Чтоб их понимать, надо было ему вспомнить, что сам он уже никуда не успеет. Ничего не изменит. Никого не убедит. Что самому ему остались считанные дни разобраться в себе самом.

И только тогда открывались строки этой книги. Они были напечатаны обычными черными буквочками по белой бумаге. Но мало было простой грамоты, чтоб их прочесть.

Когда Прошка, уже со справками, радостно поднялся по лестнице, в верхнем вестибюле он встретил Костоглотов и показал ему:

— И печати круглэньки, ось воно!

Одна справка была на вокзал — с просьбой без очереди дать билет больному такому-то, перенесшему операцию. (Если не написать об операции, на вокзале больных слали в общий хвост, и они могли не уехать два дня и три).

А в другой справке — для медицинского учреждения по месту жительства — было написано: *Tumor cordis casus inoperabilis*.

— Нэ зрозумію! — тыкал туда Прошка пальцем. — Що такэ написано, га?

— Сейчас подумаю, — щурился Костоглотов с недовольным лицом. — На, забирай, я так подумаю.

Прошка забрал дорогие справки и пошел собираться.

А Костоглотов облегся о перила и свесил чуб над пролетом.

Никакой латыни он путем не знал, как и вообще никакого иностранного языка, как и вообще никакой науки полностью, кроме топографии, да и то военной, в объеме сержант-

ских курсов. Но хотя всегда и везде он зло высмеивал образование, он ни глазом, ни ухом не пропускал нигде ни крохи, чтобы свое образование расширить. Ему достался один курс геофизического в 1938-м году да неполный один курс геодезического с 46-го на 47-й год, между ними была армия и война, мало приспособленные для успеха в науках. Но всегда Костоготов помнил поговорку своего любимого деда: «Дурак любит учить, а умный любит учиться», — и даже в армейские годы всегда вбирал, что было полезно знать, и приклонял ухо к разумной речи, рассказывал ли что офицер из чужого полка, или — солдат его взвода. Правда, он так ухо приклонял, чтобы гордости не уцербнуть, — слушал вбирчиво, а вроде не очень ему это и нужно. Но при знакомстве с человеком никогда не спешил Костоготов представить себя и порисоваться, а сразу доведывался, кто его знакомец, чей, откуда и каков. Это много помогло ему услышать и узнать. А уж где пришлось набраться вдосыть — это в переполненных послевоенных бутырских камерах. Там каждый вечер читались у них лекции профессорами, кандидатами и просто знающими людьми — по атомной физике, западной архитектуре, по генетике, по этике, пчеловодству, — и Костоготов был первый слушатель всех этих лекций. Еще под нарами Красной Пресни и на нетесанных нарах теплушек, и когда в этапах сажали задницей на землю, и в лагерном строю, — всюду он по той же дедушкиной поговорке старался добрать, чего не удалось ему в институтских аудиториях.

Так и в лагере он расспросил медстатистика — пожилого робкого человека, который в санчасти писал бумажки, а то и слали его за кипятком сбежать, — и оказался тот преподавателем классической филологии и античных литератур ленинградского университета. Костоготов придумал брать у него уроки латинского языка. Для этого пришлось ходить в мороз по зоне туда-сюда, ни карандаша, ни бумаги при этом не было, а медстатистик иногда снимал рукавичку и пальцем по снегу что-нибудь писал. (Медстатистик давал те уроки совершенно бескорыстно: он просто чувствовал себя на короткий час человеком. Да Костоготову и платить было бы нечем. Но едва они не поплатились у опера: он порознь вызывал их и допрашивал, подозревая, что готовят побег и на снегу чертят план местности. В латынь он так и не поверил. Уроки прекратились).

О тех уроках и сохранилось у Костоготова, что *casus* это «случай», *in* — приставка отрицательная, и *cor, cordis* он оттуда знал, а если б и не знал, то не было большой догадкой сообразить, что кардиограмма — от того же корня. А слово

«tumor» встречалось ему на каждой странице «Патологической анатомии», взятой у Зои.

Так без труда он понял сейчас диагноз Прошки:

«Опухоль сердца, случай не поддающийся операции».

Не только операции, но и никакому лечению, если ему прописывали аскорбинку.

Так что, наклонясь над лестницей, Костоглотов думал не о переводе с латыни, а о принципе своем, который он вчера выставлял Людмиле Афанасьевне, — что больной должен все знать.

Но то был принцип для таких видалых, как он.

А Прошка?

Прошка ничего почти и в руках не нес — не было у него имущества. Его провожали Сибгатов, Демка, Ахмаджан. Все три шли осторожно: один берег спину, другой — ногу, третий все-таки с костыльком. А Прошка шел весело, и белые зубы его сверкали.

Вот так вот, когда приходилось изредка провожать и на волю.

И — сказать, что сейчас, за воротами, его арестуют опять?

— Так шо там написано? — спросил Прошка на ходу, беспечно...

— Ч-черт его знает, — скривил рот Костоглотов, и шрам его скривился тоже. — Такие хитрые врачи стали, не прочтешь.

— Ну, выздоравливайте! И вы уси выздоравливайте, хлопцы! Та до хаты! Та до жинки! — Прошка всем им пожал руки и еще с лестницы, весело оборачиваясь, помахивал им.

И уверенно спускался.

К смерти.

10.

Только обошла она пальцами Демкину опухоль да приобняла за плечи — и пошла дальше. Но там случилось что-то роковое. Демка почувствовал. Веточки его надежды отрубались.

Он не сразу это почувствовал — сперва были в палате обсуждения и проводы Прошки, потом он примерялся перебраться на его, уже теперь счастливую, койку, к окну — там светлей читать и близко разговаривать с Костоглотовым, а тут вошел новенький.

Это был темно-загоревший молодой человек с смолеными опрятными волосами, чуть завойчатыми. Лет ему было, наверно, уже двадцать со многим. Он тащил под левой мышкой три книги и под правой мышкой три книги.

— Привет, друзья! — объявил он с порога, и очень понравился Демке, так просто держался и смотрел искренно. — Куда мне?

А сам почему-то оглядел не койки, а стены.

— Вы — много читать будете? — спросил Демка.

— Все время!

Подумал Демка.

— По делу или так?

— По делу.

— Ну, ложитесь вон около окна, ладно. Сейчас вам постелят. А книги у вас о чем?

— Геология, браток, — отметил новенький.

И Демка прочел на одной: «Геохимические поиски рудных месторождений».

— Ложитесь к окну, ладно. А болит что?

— Нога.

— И у меня нога.

Да, ногу одну новичок бережно переставлял, а фигура была — хоть на льду танцевать.

Новенькому постелили, и он, верно, как будто затем и приехал: тут же разложил пять книг по подоконнику, а в шестую уткнулся. Почитал часок, ничего не спрашивая, никому не рассказывая, и его вызвали к врачам.

Демка тоже старался читать. Сперва — стереометрию и строить фигуры из карандашей. Но теоремы ему в голову не шли. А чертежи — отсеченные отрезки прямых, зазубристо обломанные плоскости — напоминали и намекали Демке все на то же.

Тогда он взял книжку полегче — «Живая вода» какого-то Кожевникова, уже схватившая Сталинскую премию. Это был А. Кожевников, а то еще был и С. Кожевников, а то еще и В. Кожевников. Демке страшновато становилось, что писателей так много. В прошлом веке писателей было человек десять, и все — великие. А в этом — тысячи, одну букву измени — и новый писатель. То был Сафронов, а то — Сафонов. Да и Сафонов, кажется, не один. Да и Софронов — один ли? Прочсть их книг никто не может успеть. А какую прочтешь — так вроде бы и не читать. Писатели выныривали никому не известные, получали сталинские премии и канули навсегда. Премировалась почти каждая сколько-нибудь объемистая кни-

га минувшего года. Премий каждый год выдавалось по сорок — по пятьдесят.

Также путались в Демкиной голове и названия. Много писали о фильмах «Большая жизнь» и «Большая семья». Какой-то из этих фильмов был очень полезный, а какой-то — очень вредный, но никак не мог Демка запомнить какой же именно, тем более, что не видал их обоих. И понятия тоже путались — и тем больше, чем больше о них Демка читал. Только он усвоил, что разбирать объективно — значит, видеть вещи, как они есть в жизни, и тут же читал, как ругали писательницу Панову, что она «стала на зыбкую, засасывающую почву объективизма».

А все-таки, надо было одолеть, понять и запомнить!

Читал Демка «Живую воду» и не мог разобрать: то ли книга такая нудь, то ли это на душе у него.

В нем нарастало давление ущерба, тоска. Хотелось ему то ли посоветоваться, то ли пожаловаться. А то — просто по-человечески поговорить, что б даже его немножко пожалели.

Конечно, он читал и слышал, что жалость — чувство унижающее, и того унижающее, кто жалеет, и того унижающее, кого желают.

А все-таки хотелось, чтобы пожалели.

Потому что вообще в жизни никто никогда Демку не жалел.

Здесь, в палате, было интересно послушать и поговорить, но не о том и не так, как хотелось сейчас. С мужчинами надо держать себя, как мужчина.

Женщин в клинике было много, но Дема не решился бы переступить их большой шумной палаты. Если бы столько было там собрано здоровых женщин, — занятно было бы, идя мимо, ненароком туда заглянуть, и что-нибудь увидеть. Но перед таким гнездилищем больных женщин он отводил глаза, боясь увидеть что-нибудь. Болезнь их была завесой запрета, более сильного, чем простой стыд. Некоторые из этих женщин, встречавшиеся Деме то на лестнице, то в вестибюле, были так опущены, так подавлены, что плохо запахивали халаты, и ему приходилось видеть их нижние сорочки то на груди, то ниже пояса. Однако, эти случаи вызывали в нем ощущение не радости, а боли.

И так всегда он опускал глаза перед ними. И вовсе не просто было здесь познакомиться.

Только тетя Стефа сама его заметила, стала расспрашивать, и он с ней подружился. Тетя Стефа была уже и мать и бабушка, и уже с этими общими чертами бабушек — мор-

цинками и улыбкой, снисходящей к слабостям. Становились они с тетей Стефой где-нибудь около верха лестницы и говорили подолгу. Никто никогда не слушал Дему так подробно и с таким участием, будто ей и ближе не было никого, как он. И ему легко было рассказывать ей о себе и даже о матери такое, чего б он не открыл никому.

Двух лет был Демка, когда убили отца на войне. Потом был отчим, хоть не ласковый, но справедливый, с ним вполне можно было бы жить, но мать — так Стефе он этого слова не выговорил — а для себя давно и твердо заключил — скурвилась. Отчим бросил ее и правильно сделал. С тех пор мать приводила мужиков в единственную с Демой комнату, тут они выпивали обязательно (и Деме навязывали пить, да он не принимал), и мужики оставались у нее разное: кто до полуночи, кто до утра, и разгородки в комнате не было никакой, и темноты не было, потому что засвечивали с улицы фонари. И так это Демке опостылело, что пойдом свиным казалось ему то, о чем его сверстники думали с задрогом.

Прошел так пятый класс и шестой, а в седьмом ушел Демка жить к школьному сторожу, старику. Два раза в день школа кормила Демку. Мать и не старалась его вернуть — сдыхала и рада была.

Дема говорил о матери зло, не мог спокойно. Тетя Стефа выслушивала, головой кивала, а заключила странное:

— На белом свете все живут. Белый свет всем один.

С прошлого года Дема переехал в заводской поселок, ему дали общежитие. Работал Дема учеником токаря, потом получил второй разряд. Не очень у него работа шла, но наперекор материнскому шалопутству он водки не пил, песен не орал, а занимался. Хорошо кончил восьмой класс и одно полугодие девятого.

И только в футбол — в футбол он изредка бегал с ребятами. И за это одно маленькое удовольствие судьба его наказала: кто-то в суматохе с мячом не нарочно стукнул Демку бутсой по голени, Демка и внимания не придал, похромал, потом прошло. А с осени нога разбалчивалась и разбалчивалась, он еще долго не показывал врачам, потом грели, стало хуже, послали по врачебной эстафете в областной город, потом — сюда.

И почему же, спрашивал теперь Демка тетю Стефу, почему такая несправедливость и в самой судьбе? Ведь есть же люди, которым так и выстилает, так и выстилает гладенько всю жизнь, а другим — все перекромсано. И говорят — от человека самого зависит его судьба. Ничего не от него.

— От Бога зависит, — смиряла тетя Стефа. — Богу все видно. Надо покориться, Демушка.

— Так тем более, если от Бога, если Ему все видно — зачем же тогда на одного валить? Ведь надо же распределить как-то...

Но что покориться надо — против этого спорить не приходится. А если не покориться — так что другое делать?

Тетя Стефа была здешняя, ее дочери, сыновья и невестки часто приходили проведать ее и передать гостинца. Гостинцы эти у тети Стефы не задерживались, она угощала соседок и санитарок, а, вызвав Дему из палаты, и ему совала или яичко или пирожок.

Дема был всегда не сыт, он недоедал всю жизнь. Из-за постоянных настороженных мыслей о еде голод казался ему больше, чем был на самом деле. Но все же обирать тетю Стефу он стеснялся, и если яичко брал, то пирожок пытался отвергнуть.

— Бери, браток! — махала она. — Пирожок с мясом. Пока и есть его, пока мясоед.

— А что, потом не будет?

— Конечно, неужели не знаешь?

— И что ж после мясоеда?

— Масленица, что!

— Так еще лучше, тетя Стефа! Масленица-то еще лучше?!

— Каждое своим хорошо. Лучше, хуже — а мясо нельзя.

— Ну, а масленица-то хоть, не кончится?

— Как не кончится! В неделю пролетит.

— И что потом будем делать? — весело спрашивал Дема, уже уминая домашний пахучий пирожок, каких в его доме никогда не пекли.

— Вот нехристи растут, ничего не знают. А потом великий пост.

— А зачем он сдался, великий пост? Он-то зачем? Пост, да еще — великий!

— А потому, Демушка, что брюхо натолочить — сильно к земле клонит. Не всегда так, просветы тоже нужны.

— На кой они, просветы? — Не мог этого Дема понять, потому что одни только просветы и знал.

— На то и просветы, чтобы просветлиться. Натощак-то свежей, не замечал разве?

— Нет, тетя Стефа, никогда не замечал.

С самого первого класса, еще и читать-то и писать не умел, а уже научен был Дема, и знал твердо и понимал ясно, что религия есть дурман, трижды реакционное учение, вы-

годное только мошенникам. Из-за религии кое-где трудящиеся и не могут освободиться от эксплуатации. А как с религией рассчитаются — так и оружие в руки, так и свобода.

И сама тетя Стефа с ее смешным календарем, с ее Богом на каждом слове, с ее незаботной улыбкой даже в этой мрачной клинике и вот с этим пирожком была фигурой совершенно реакционной.

И тем не менее сейчас, в субботу после обеда, когда разошлись врачи, оставив каждому больному свою думку, когда хмурый денек еще давал кой-какой свет в палаты, а в вестибюлях и коридорах уже горели лампы, Дема ходил прихрамывая, и всюду искал именно реакционную тетю Стефу, которая и посоветовать-то ему ничего дельно не могла, кроме как смириться.

А как бы не отняли, как бы не отрезали. Как бы не пришлось отдать.

— Отдать — не отдать? Отдать — не отдать?..

Хотя от этой грызучей боли, пожалуй, и отдать легче.

Но тети Стефы в обычных местах не было. Зато в нижнем коридоре, где он расширялся, образуя маленький вестибюльчик, который считался в клинике красным уголком, хотя там же стоял стол нижней дежурной медсестры и ее шкаф с медикаментами, Дема увидел девушку, даже девчонку, в таком же застиранном сером халате, а сама, как из кинофильма: с желтыми волосами, каких не бывает, и еще из этих волос было что-то состроено легкое шевелящееся.

Дема еще вчера ее видел мельком в первый раз, и от этой желтой клумбы волос даже моргнул. Девушка показалась ему такой красивой, что задерживаться на ней взглядом не посмел, — отвел и прошел. Хотя по возрасту изо всей клиники она была ему ближе всех (еще — Сархан с отрезанной ногой), — но такие девушки вообще были ему недоступны.

А сегодня утром он ее еще разок видел в спину. Даже в больничном халате она была как осочка — сразу узнаешь. И подрагивал снопик желтых волос.

Наверняка Дема ее сейчас не искал, потому что не мог решиться с ней знакомиться: он знал, что рот ему свяжет как тестом, он будет мычать что-нибудь неразборчивое и глупое. Но он увидел ее — и в груди екнуло. И стараясь не хромать, стараясь ровней пройти, он свернул в красный уголок и стал перелистывать подшивку республиканской «Правды», прореженную больными на обертку и другие нужды.

Половину того стола, застеленного кумачем, занимал бронзовый бюст Сталина — крупнейшей головой и плечами, чем

обычный человек. А с другой стороны, при уголке стола, стояла нянечка, тоже дородная, широкогубая, как бы рядом со Сталиным. По-субботнему, не ожидая себе никакой гонки, она перед собой расстелила газету, высыпала туда семечек и сочно лускала их на ту же газету, сплевывая без помощи руки. Она, может, и подошла-то на минутку, но никак не могла отстать от семечек.

Репродуктор со стены давал хрипленько танцевальную музыку. Еще за маленьким столиком двое больных играли в шашки.

А девушка, как Дема видел уголком глаза, сидела на стуле у стенки просто так, ничего не делая, но сидела пряменькая, и одной рукой стягивала халат у шеи, где никогда не бывало застежек, если женщины сами не пришивали.

Сидел желтоволосый тающий нежный ангел, руками нельзя прикоснуться. А как славно было бы потолковать о чем-нибудь!.. Да и о ноге.

Сам на себя сердясь, Демка просматривал газеты. Еще спохватился он сейчас, что, бережа время, никакого не делал зачеса на лбу, просто стригся под машинку сплошь. А теперь выглядел перед ней как болван.

И вдруг ангел сам сказал:

— Что ты робкий такой? Второй день ходишь — не пойдешь.

Дема вздрогнул, окинулся. Да! Кому ж еще? Это ему говорили!

Хохолок или султанчик, как на цветке, качался на голове.

— Ты что — пуганый, да? Бери стул, волокн сюда, познакомимся.

— Я не пуганый. — Но в голосе подвернулось что-то и помешало ему сказать звонко.

— Ну так тащи, мостись.

Он взял стул и, вдвое стараясь не хромать, понес его к ней в одной руке, поставил у стенки рядом. И руку протянул.

— Дема.

— Ася, — вложила та свою мягенькую и вынула.

Он сел, и оказалось совсем смешно — ровно рядышком сидят, как жених и невеста. Да и смотреть на нее плохо. Приподнялся, переставил стул вольней.

— Ты что ж, сидишь — ничего не делаешь? — спросил Дема.

— А зачем делать? Я делаю.

— А что ты делаешь?

— Музыку слушаю. Танцую мысленно. А ты, небось, не умеешь?

— Мысленно?

— Да хоть ногами!

Демка чмокнул отрицательно.

— Я сразу вижу, не протертый. Мы б с тобой тут покрутились. — огляделась Ася, — да негде. Да и что это за танцы? Просто так слушаю, потому что молчание меня всегда угнетает.

— А какие танцы хорошие? — с удовольствием разговаривал Демка. — Танго?

Ася вздохнула:

— Какое танго, это бабушки танцевали! Настоящий танец сейчас рок-н-ролл. У нас его еще не танцуют. В Москве танцуют. И то мастера.

Дема не все слова ее улавливал, а просто приятно было разговаривать и прямо на нее иметь право смотреть. Глаза у нее были странные — с призеленью. Но ведь глаза не покрасишь, какие есть. А все равно приятные.

— Вот еще танец! — прищелкнула Ася. — Точно только не могу показать, сама не видела. А как же время проводишь? Песни поешь?

— Да не. Песен не пою.

— Отчего, мы поем. Когда молчание угнетает. Что ж ты делаешь? На аккордеоне?

— Не... — застыживался Демка. Никуда он против нее не годился. Не мог же он ей прямо ляпнуть, что его раздражает общественная жизнь!..

Ася просто-таки недоумевала: вот интересный попался тип!

— Ты, может, в атлетике работаешь? Я, между прочим, в пятиборье немножечко работаю. Я сто сорок сантиметров делаю и тринадцать две десятых делаю.

— Я — не... — Горько было Демке сознавать, какой он перед ней ничтожный. Вот умеют же люди создавать себе развязную жизнь!

А Демка никогда не сумеет... В футбол немножечко...

И доигрался.

— Ну, хоть куришь? Пьешь? — еще с надеждой спрашивала Ася. — Или пиво одно?

— Пиво, — вздохнул Демка. (Он и пива в рот не брал, но нельзя ж было до конца позориться).

— О-о-ох! — простонала Ася, будто ей в подздошье ударили. — Какие вы все еще, ядрена палка, маменькины сынки! Никакой спортивной чести! Вот и в школе у нас такие. Нас в сентябре в мужскую перевели — так директор

себе одних прибитых оставил, да отличников. А всех лучших ребят в женскую спихнул.

Она не унижить его хотела, а жалела, но все ж он за прибитых обиделся.

— А ты в каком классе? — спросил он.

— В десятом.

— И кто ж вам такие прически разрешает?

— Где разрешают! Бо-орются!.. Ну, и мы боремся!

Нет, она простодушно говорила. Да хоть бы и зубоскалила, хоть бы она Демку кулаками колотила, а хорошо, что разговорила.

Танцевальная музыка кончилась, и стал диктор выступать о борьбе народов против позорных парижских соглашений, опасных для Франции тем, что отдавали ее во власть Германии, но и Германии невыносимых тем, что отдавали ее во власть Франции.

— А что ты вообще делаешь? — допытывала Ася свое.

— Вообще — токарем работаю, — небрежно-достойно сказал Демка.

Но и токарь не поразил Асю.

— А сколько получаешь?

Демка очень уважал свою зарплату, потому что она была кровная и первая. Но сейчас почувствовал, что не выговорит — сколько.

— Да чепуху, конечно, — выдавил он.

— Это все ерунда! — заявила Ася с твердым знанием. Ты бы спортсменом лучше стал! Данные у тебя есть.

— Это уметь надо...

— Чего уметь?! Да каждый может стать спортсменом! Только тренироваться надо много! А спорт как высоко оплачивается! — везут бесплатно, кормят за тридцать рублей в день, гостиницы! А еще премии! А сколько городов повидаешь!

— Ну, ты где была?

— В Ленинграде была, в Воронеже...

— Ленинград понравился?

— Ой, что ты! Пассаж! Гостиный двор! А специализированные — по чулкам отдельно, по сумочкам отдельно!..

Ничего этого Демка не представлял, и стало ему завидно. Потому что, правда, может быть, все именно и было хорошо, о чем так смело судила эта девчонка, а захолустно было — во что так упирался он.

Няечка как монумент, все так же стояла над столом и сплевывала семечки на газету, не наклоняясь.

— Как же ты — спортсменка, а сюда попала?

Он не решился бы спросить, где именно у нее болит. Это могло быть стыдно.

— Да я — на три дня только, на исследование, — отмахнулась Ася. Одной рукой ей приходилось постоянно придерживать или поправлять расхолодившийся ворот. — Халат напялили черт-те какой, стыдно надеть! Тут если неделю лежать — так с ума сойдешь... Ну, а ты за что попал?

— Я?.. — Демка чмокнул. О ноге-то он и хотел поговорить, да рассудительно, а наскок его смутил. — У меня на ноге...

До сих пор «у меня на ноге» — были для него слова с большим и горьким значением. Но при Асиной легкости он уже начал сомневаться, так ли уж все это весит. Уже и о ноге он сказал почти как о зарплате, стесняясь.

— И что говорят?

— Да вот видишь... Говорить — не говорят... А хотят — отрезать.

Сказал — и с онемевшим лицом смотрел на светлое Асино.

— Да ты что!! — Ася хлопнула его по плечу, как старого товарища. — Как это — ногу отрезать? Да они с ума сошли? Лечить не хотят! Ни за что не давайся! Лучше умереть, чем без ноги жить, что ты? Какая жизнь у калеки, что ты! Жизнь дана для счастья!

Да, конечно, она опять была права! Какая жизнь с костылем? Вот сейчас бы он сидел рядом с ней — а где б костыль держал? А как бы — культу?.. Да он и стула бы сам не поднес, это она б ему подносила. Нет, без ноги — не жизнь.

Жизнь дана для счастья.

— И давно ты здесь?

— Да уж сколько? — Дема соображал. — Недели три.

— Ужас какой! — Ася перевела плечами. — Вот скучица! Ни радио, ни аккордеона! И что там за разговорчики, в палате — воображаю!

И опять не захотелось Демке признаться, что он целыми днями занимается, учится. Все его ценности не выстаивали против быстрого воздуха из Асиных губ. — Они казались сейчас преувеличенными и даже картонными.

Усмехнувшись (а про себя он над этим не усмехался), Демка сказал:

— Вот обсуждали, например, чем люди живы?

— Как это?

— Ну, зачем живут, что ли?

— Хо! — у Аси на все был ответ. — Нам тоже такое со-

чинение давали: «Для чего живет человек?» И план дает: о хлопкоробах, о доярках, о героях гражданской войны, подвиг Павла Корчагина, и как ты к нему относишься, подвиг Матросова, и как ты к нему относишься.

— А как относишься?

— Ну — как? Значит: повторил бы сам или нет. Обязательно требует. Мы пишем все — повторили бы, зачем портить отношения перед экзаменами? Сашка Громов спрашивает: а можно я напишу все не так, а как я думаю? Я тебе дам, говорит, «как думаю!» Я тебе такой кол закачу!.. Одна девчонка написала, вот потеха: «Я еще не знаю, люблю ли свою родину, или нет». Та как заквывает: «Это — страшная мысль! Как ты можешь не любить?» «Да, может и люблю, но не знаю. Проверить надо». — «Нечего проверять! Ты с молоком матери должна была всосать и любовь к Родине! К следующему уроку все заново перепиши!» Вообще мы ее жабой зовем. Входит в класс — никогда не улыбнется. Ну, да понятно: старая дева, личная жизнь не удалась, на нас вымещает. Особенно не любит хорошеньких.

Ася обронила это, уверенно зная, какая мордочка чего стоит. Она видно, не прошла никакой стадии болезней, болей, вымучивания, потери аппетита и сна, она еще не потеряла свежести, румянца, она просто прибежала из своих спортивных залов, со своих танцевальных площадок на три дня на исследование.

— А хорошие преподаватели есть? — спросил Демка, чтоб только она не замолкла, говорила что-нибудь, а ему на нене посматривать.

— Не, нету! Индюки надутые! Да вообще — школа!.. Говорить не хочется!

Ее веселое здоровье перехлестывалось и к Демке. Он сидел, благодарный ей за болтовню, уж совсем не стесненный, разнятый. Ему ни в чем не хотелось с ней спорить, во всем хотелось соглашаться, вопреки своим убеждениям. И с ногой бы он облегчился и согласился, если б нога не грызла и не напоминала, что он увязил ее и еще сколько-то вытащит — пол голени? По колено? Или — пол бедра? А из-за ноги и вопрос «чем люди живы?» оставался для него из главных. И он спросил:

— Ну, а правда, как ты думаешь? Для чего... человек живет?

Нет этой девчонке все было ясно! Она посмотрела на Демку зеленоватыми глазами, как бы не веря, что это он не разыгрывает, что он серьезно спрашивает:

— Как для чего? Для любви, конечно!

Для любви!.. «Для любви» и Толстой говорил, да в каком смысле? И учительница от них требовала «для любви» — да в каком смысле? Демка все-таки привык до точности доходить и своей головой обрабатывать.

— Но ведь... — с захрипом сказал он (просто-то стало просто, а выговорить все ж неудобно), — любовь — это ж... Это ж не вся жизнь. Это ж... иногда. С какого-то возраста. И до какого-то...

— А с какого? А с какого? — сердито допрашивала Ася, будто он ее оскорбил. — В нашем возрасте вся и сладость, а когда ж еще? А что в жизни еще есть, кроме любви?

В поднятых бровках так она была уверена, что ничего возразить нельзя — Демка и не возражал. Да ему послушать надо было, а не возражать.

Она завернулась к нему, наклонилась и, ни одной руки не протянув, будто обе протягивала через развалины всех стен на земле:

— Это — наше всегда! И это — сегодня! А кто что языками мелет — этого не слушаешься, то ли будет, то ли нет. Любовь — и все!

Она с ним до того была проста, будто они уже сто вечеров толковали, толковали, толковали... И, кажется, если б не было этой санитарки с семечками, медсестры, двух шапистов, да шаркающих по коридору больных, — то хоть сейчас, тут в этом закулке, в их самом лучшем возрасте она готова была помочь ему понять, чем люди живы.

И постоянно, даже во сне, грызущая, только что грызшая Демкина нога забылась, и не было у него больной ноги. Демка смотрел в распахнувшийся Асин ворот, и рот его приоткрылся. То, что вызывало такое отвращение, когда делала мать, — в первый раз представилось ему ни перед кем на свете не виноватым, не испачканным — достойным перевесом всего дурного на земле.

— А ты — что?.. полупшепотом спросила Ася, готовая рассмеяться, но с сочувствием. — А ты до сих пор не... Лопушок, ты еще не?..

Ударило Демку горячим в уши, в лоб, в лицо, будто его захватили на краже. За двадцать минут этой девчонкой сбитый со всего, в чем он укреплялся годами, с пересохшим горлом он, как пощаду выпрашивая, спросил:

— А ты?..

Как под халатом была у нее только сорочка да грудь, да душа, так и под словами она ничего от него не скрывала, она не видела, зачем прятать:

— Фу, да я — с девятого класса!.. А одна у нас в вось-

мом забеременела! А одну на квартире поймали, где... за деньги, понимаешь? У нее уже своя сберкнижка была! А как открылось? — в дневнике забыла, а учительница нашла. А сейчас у нас — половина девчонок!.. Да чем раньше, тем интересней! И чего откладывать? — Атомный век!..

11.

Все-таки субботний вечер с его незримым облегчением чувствовался. И в палатах ракового корпуса, хотя неизвестно почему: ведь от болезней своих больные не освобождались на воскресенье, ни тем более от размышлений о них. Освобождались они от разговоров с врачами и от главной части лечения — и вот этому-то, очевидно, и рада была какая-то вечно детская струнка в человеке.

Когда после разговора с Асей Демка, все осторожно ступая на ногу, завывавшую все сильнее, одолел лестницу и вошел в свою палату, тут было оживленно, как никогда. Не только свои все и Сибгатов были в сборе, но еще и гости с первого этажа, среди них знакомые — как старый кореец Ни, отпущенный из радиологической палаты (пока в языке у него стояли радиевые иголки, его держали под замком, как банковую ценность), и совсем новенькие. Один новичок — русский, очень представительный мужчина с высоким серым зачесом, с пораженным горлом, — только шепотом он говорил, сидел как раз на демкиной койке, половину ее занимал. И все слушали — даже Мурсалимов и Егенбердиев, кто не понимал по-русски.

А речь держал Костоглолов. Он сидел не на койке, а выше на своем подоконнике, и этим тоже выражал значительность момента. (При строгих сестрах ему б так не дали рассиживаться, но дежурил медбрат Тургун, свойский парень, который правильно понимал, что от этого медицина не перевернется). Одну ногу в носке Костоглолов поставил на свою койку, а вторую, согнув в колене, положил на колено первой, как гитару, и, чуть покачиваясь, возбужденный, громко, на всю палату, рассуждал:

— Вот был такой философ Декарт. Он говорил: «Все подвергай сомнению»!

— Но это не относится к нашей действительности! — напомнил Русанов, строго поднимая палец.

— Нет, конечно, нет, — даже удивился возражению Костоглолов. — Я только хочу сказать, что мы не должны

как кролики доверяться врачам. Вот, пожалуйста, я читаю книгу, — он приподнял с подоконника раскрытую книгу большого формата. — Абрикосов и Струков, Патологическая Анатомия, учебник для вузов. И тут говорится, что связь хода опухоли с центральной нервной деятельностью еще очень слабо изучена. А связь удивительная! Даже прямо написано, — он нашел строчку, — редко, но бывают случаи с а м о п р о и з в о л ь н о г о исцеления! Вы чувствуете, как написано. Не излечения, а и с с ц е л е н и я! А?

Движение прошло по палате. Как-будто из распахнутой большой книги выпорхнуло осязаемой радужной бабочкой самопроизвольное исцеление, и каждый подставлял лоб и щеки, чтоб оно благодетельно коснулось его налету.

— Самопроизвольное! — отложив книгу, тряс Костоглотов растопыренными руками, а ногу по-прежнему держал, как гитару. — Это значит — вот вдруг, по необъяснимой причине, опухоль трогается в обратном направлении! Она уменьшается, рассасывается, и, наконец, ее нет! А?

Все молчали, рты приоткрывши сказке. Чтобы опухоль, е г о опухоль, вот эта, губительная, всю его жизнь перековеркующая опухоль — и вдруг бы сама изошла, истекла, иссякла, кончилась...

Все молчали, подставляя бабочке лицо, только угрюмый Поддуев заскрипел кроватью и, безнадежно набычившись, прохрипел:

— Для этого надо, наверно... чистую совесть.

Не все даже поняли: это он — сюда, к разговору, или свое что-то.

Но Павел Николаевич, который на этот раз не только со вниманием, а даже отчасти с симпатией, слушал соседа — Оглоеда, нервно повернулся к Поддуеву и отчитал его:

— Да это же бред идеалистический! При чем тут совесть? Стыдитесь, товарищ Поддуев!

Но Костоглотов принял на ходу:

— Это ты здорово рубанул, Ефрем! Здорово! Все может быть, ни хрена мы не знаем. Вот, например, после войны читал я журнал, кажется, «Звезда», так там интереснейшую вещь... Оказывается, у человека на переходе к голове есть какой-то кровомозговой барьер, и те вещества, или там микробы, которые убивают человека, пока они не пройдут через этот барьер в мозг — человек жив. Так отчего ж это зависит?..

Молодой геолог, который, придя в палату, не покидал книг и сейчас сидел с книгой на койке у другого окна, близ Костоглотова, иногда поднимал голову на спор. Поднял и сейчас. Слушали гости, слушали и свои. А Федерату у печки

с еще чистой, белой, но уже обреченной шеей, комочком лежал на боку и слушал с подушки.

— ...А зависит, оказывается, в этом барьере от соотношений солей калия и натрия. Какие-то из этих солей, не помню, допустим, натрия, если перевешивают, то ничто человека не берет, через барьер не проходит, и он не умирает. А перевешивают, наоборот, соли калия — барьер уже не защищает, и человек умирает. А отчего зависят натрий и калий. Вот это самое интересное! Их соотношение зависит — от **н а с т р о е н и я** человека!! Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоек — в барьере перевешивает натрий, и никакая болезнь, никакая — не доведет его до смерти! Но достаточно ему упасть духом — и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб.

Геолог слушал со спокойным оценивающим выражением, как опытный студент, который примерно догадывается, что будет на доске в следующей строке. Он одобрил:

— Физиология оптимизма. По идее хорошо. Очень хорошо. И, будто упуская время, окунулся опять в книгу.

Тут и Павел Николаевич ничего не возразил. Оглоед рассуждал вполне научно.

— Так и не удивлюсь, — развивал Костоглотов, — что лет через сто откроют, что еще какая-нибудь цезиевая соль выделяется по нашему организму при спокойной совести и не выделяется при отягощенной. И от этой цезиевой соли зависит: будут ли клетки расти в опухоль, или опухоль рассосется.

Ефрем хрипло вздохнул.

— Я — баб много разорил. С детьми бросал. Плакали... у меня не рассосется.

— Да при чем тут?! — вышел из себя Павел Николаевич. — Да это же махровая поповщина — так думать! Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддубов, и разоружились идеологически! И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование талдыкать.

— А что вы так прицепились к нравственному усовершенствованию? — огрызнулся Костоглотов. — Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую ярость? Кого оно может обижать? Только нравственных уродов!

— Вы... не забывайте! — блеснул очками и оправой их Павел Николаевич и в этот момент так строго, так ровно держал голову, будто никакая опухоль не подпирала ее справа под челюсть. — Есть вопросы, по которым установилось определенное мнение! И вы уже не можете рассуждать!

— А почему это не могу? — темными глазами уперся Костоглотов в Русанова.

— Да ладно! — зашумели больные, примиряя их.

— Слушайте, товарищ, — шептал безголосый с Демкиной кровати, — вы начали насчет березового гриба...

Но ни Русанов, ни Костоглотов не хотели уступить. Ничего они друг о друге не знали, а смотрели взаимно с ожесточением.

— А если хотите высказаться, так будьте же грамотны элементарно! — выплевывая каждое слово по звукам, осадил своего оппонента Павел Николаевич. — О нравственном усовершенствовании Льва Толстого и компании раз и навсегда написал Ленин! И товарищ Сталин! И Горький!

— Простите! — напряженно сдерживаясь и вытягивая руку навстречу, ответил Костоглотов. — Раз и навсегда никто на земле ничего сказать не может. Потому что тогда остановилась бы жизнь. И всем последующим поколениям нечего было бы говорить.

Павел Николаевич опешил. У него покраснели верхние кончики его чутких белых ушей, и на щеках кое-где проступили красные круглые пятна.

(Тут не возражать, не спорить надо было по-субботному, а надо было проверить, что это за человек, откуда он, из чьих, — и его вопиюще-неверные взгляды не вредят ли занимаемой им должности).

— Я не говорю, — спешил Костоглотов, — что я грамотен в социальных науках, мне мало пришлось изучать. Но своим умишкой я понимаю так, что Ленин упрекал Льва Толстого за нравственное усовершенствование тогда, когда оно отводило общество от борьбы с произволом, от зреющей революции. Так! Но зачем вы затыкаете рот человеку, — он обеими крупными кистями указал на Поддуева, — который задумался о смысле жизни, находясь на грани ее со смертью? Почему вас так раздражает, что он при этом читает Толстого? Кому от этого худо? Или, может быть, Толстого надо сжечь на костре? Может быть, правительственный Синод не довел дело до конца?

(Не изучив социальных наук, Костоглотов спутал «святий» с «правительственным»).

Теперь оба уха Павла Николаевича налились в полный красный налив. Этот уже прямой выпад против правительственного учреждения (он не расслышал, правда, — какого именно) да еще при случайной аудитории, подобранной не по списку, усугублял ситуацию настолько, что надо было тактично прекратить спор, а Костоглотова при первом же слу-

чае — п р о в е р и т ь. И поэтому, не поднимая пока дела на принципиальную высоту, Павел Николаевич сказал в сторону Поддубова:

— Пусть Островского читает. Больше будет пользы.

Но Костоглотов не оценил тактичности Павла Николаевича, он вообще не слышал, не внял, а нес свое перед неподготовленной аудиторией.

— Почему мешать человеку задуматься? В конце концов, к чему сводится наша философия жизни? — «Ах, как хороша жизнь!.. Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья!». Что за глубина! Но это может и без нас сказать любое животное — курица, кошка, собака.

— Я прошу вас! Я прошу вас! — уже не по гражданской обязанности, уже не как субъект истории, а как объект, предостерег Павел Николаевич. — Не будем говорить о смерти! Не будем даже о ней вспоминать!

— И просить меня нечего! — отмахивался Костоглотов рукой-лопатой. — Если здесь о смерти не поговорить, где ж о ней поговорить? «Ах, мы будем жить вечно!».

— Так что? Что? — взывал Павел Николаевич. — Что вы предлагаете? Говорить и думать все время о смерти? Чтоб эта калиевая соль брала верх?

— Не все время, — немного стих Костоглотов, поняв, что попадает в противоречие. — Не все время, но хотя бы иногда. Это полезно. А то ведь, что мы всю жизнь твердили человеку. — Ты — член коллектива! Ты член коллектива! Верно. Но это — пока он жив. А когда придет час умирать — мы отпустим его из коллектива. Член-то он член, а умирать ему одному. А опухоль сядет на него одного, не на весь коллектив. Вот вы! Вы, вы! — грубо совал он палец в сторону Русанова. — Ну, ка, скажите, чего вы сейчас больше всего боитесь на свете? Умирать!! А о чем больше всего боитесь говорить? О смерти! Как это называется. Лицемерие!

— В рамках разумного это верно, — тихо сказал, но был услышан симпатичный геолог. — Мы так боимся смерти, что даже отгоняем мысль о тех, кто уже умер. Мы даже за могилами не следим.

— Ну, это правильно, — согласился Русанов. — Памятники героев надо поддерживать, об этом и в газетах пишут.

— Да не героев только, а всех, — говорил геолог мягко голосом, будто не приспособленным повышаться. Он и сам был тонок, в плечах не угадывалось физической силы. — У нас позорно запущены многие кладбища, вот я видел на Алтае и туда, к Новосибирску. Ограды нет, бродит скот, свиньи ро-

ются. Что это — наш национальный характер? Нет, у нас могилы уважали...

— Чтили! — подбросил ему Костоглотов.

Павел Николаевич перестал слушать, потерял интерес спорить с ними. Он забылся, сделал неосторожное движение, и так больно отдалось ему от опухоли в шею и в голову, что померк весь интерес просвещать этих балбесов и рассеивать их бредни. В конце концов, он попал в эту клинику случайно, и такие важные минуты болезни не с ними он должен был переживать. А главное и страшное было то, что опухоль ни чуть не опала и ничуть не размягчилась от вчерашнего укола. И при мысли об этом холодело в животе. Отглоеду хорошо рассуждать о смерти, когда он выздоравливает.

Демкин гость, безголосый дородный мужчина, придерживая гортань от боли, несколько раз пытался то вступить и сказать что-то свое, то прервать неприятный спор, но шепота его не слышали, а сказать громче он был бессилен и только накладывал два пальца на гортань, чтобы ослабить боль и помочь звуку. Болезни языка и горла, неспособность к речи как-то особенно угнетают нас, все лицо становится лишь отпечатком этой угнетенности. Тогда он пробовал остановить спорящих широкими взмахами рук, а теперь, при тихом голосе, его стало слышней, да он и по проходу выдвинулся.

— Товарищи! Товарищи! — сипел он, и вчуже становилось больно за его горло. — Не надо этой мрачности! Мы и так убиты нашими болезнями! Вот вы, товарищ! — он шел по проходу и почти умоляюще протягивал одну руку (вторая была на горле) к возвышенно сидевшему растрепанному Костоглотову, как к божеству. — Вы так интересно начали о березовом грибе. Продолжайте, пожалуйста!

— Давай, Олег, о березовом! Что ты начал? — просил Сибгатов.

И бронзовый Ни, с тяжестью ворочая языком, от которого часть отвалилась в прежнем лечении, а остальное теперь распухло, неразборчиво просил о том же.

И другие просили.

Костоглотов ощущал недобрую легкость. Столько лет он привык перед в о л ь н ы м и помалкивать, руки держать назад, а голову опущенной, что это вошло в него как природный признак, как сутулость от рождения, от чего он не вовсе отстал и за год жизни в ссылке. А руки его на прогулке по аллеям медгородка и сейчас легче и проще всего складывались позади. Но вот вольные, которым столько лет запрещалось разговаривать с ними как с равными, вообще всерьез обзуждать что-нибудь как с человеческим существом, а горше

того — пожать ему руку или принять от него письмо, — эти вольные теперь, ничего не подозревая, сидели перед ним, развязно уютившимся на подоконнике и учительствующим, — и ждали опоры своим надеждам. И за собой замечал теперь Олег, что тоже не противопоставлял себя им, как привык, а в общей беде соединял себя с ними.

Особенно вот от этого он отвык — от выступления сразу перед многими, как вообще от всяких собраний, заседаний, митингов и вдруг сразу стал оратором. Это было Костоглотову дико, в каком-то забавном сне. Но, как по льду, с разгоном уже нельзя остановиться, а летишь — что будет, так и он с веселого разгона своего выздоровления, нечаянного, но, кажется, выздоровления, продолжал нестись.

— Друзья! — говорил он непривычно многословно. — Это удивительная история. Мне рассказал ее один больной, приходивший на проверку, когда я еще ждал приема сюда. И я тогда же, ничем не рискуя, написал открытку с обратным адресом диспансера. И вот сегодня уже пришел ответ! Двенадцать дней прошло — и ответ. И доктор Масленников еще извиняется передо мной за задержку, потому что, оказывается, отвечает в среднем на десять писем в день. А меньше, чем за полчаса, толкового письма не напишешь! Так он пять часов в день одни письма пишет! И ничего за это не получает!

— Наоборот, на марки четыре рубля в день тратит, — вставил Дема.

— Да. Это в день — четыре рубля. А в месяц, значит, сто двадцать! И это не его обязанность, не служба его, это просто его доброе дело. Или как надо сказать? — Костоглотов злопамятно обернулся к Русанову. — *Гуманное*, да?

Но Павел Николаевич дочитывал бюджетный доклад в газете и притворился, что не слышит.

— Нет штатов у него никаких, помощников, секретарей. Это все — во внеслужебное время. И славы — тоже ему за то никакой! Ведь нам, больным, врач — как поромщик; нужен на час, а там — не знай нас. И кого он вылечит — тот письмо выбросит. В конце письма он жалуется, что больные, особенно, кому помогает, перестают ему писать. Не пишут о принятых дозах, о результатах. И еще он же меня просит, чтоб я ему ответил аккуратно! Когда мы должны ему в ноги поклониться!

Костоглотов внутренне уверял себя, что бескорыстие и трудолюбие Масленникова трогают его теплотой, хочется говорить о нем и хвалить. Значит, сам он не настолько испорчен.

Но уже испорчен настолько, что не мог бы, как Масленников, иссильваться для других день ото дня.

— Но ты по порядку, Олег! — просил Сибгатов со слабой улыбкой надежды.

Как ему хотелось вылечиться! — вопреки удручающему, многомесячному, многолетнему и уже явно безнадежному лечению — вдруг вылечиться внезапно и окончательно! Заживить спину, выпрямиться, пойти твердым шагом, чувствуя себя мужчиной-молодцом! Здравствуйте, Людмила Афанасьевна! А я — здоров!

Как всем им хотелось узнать о таком враче-чудодее, о таком лекарстве, не известном здешним врачам! Они могли признаваться, что верят, или отрицать, но все они до одного в глубине души верили, что такой врач, или такой травник, или такая старуха-бабка где-то живет, и только надо узнать — где, получить это лекарство и они спасены.

Да не могла же, не могла же их жизнь быть уже обреченной!

Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденствуем, но если жизнь так заклинится, так сплющится, что только чудо может нас спасти, — мы в это единственное, исключительное чудо — верим!

И Костоглотов, сливаясь с жадным запросом, с которым все товарищи его насторожились и слушали, стал говорить распаленно, даже более веря своим словам сейчас, чем верил письму, когда читал его про себя.

— Если с самого начала, Шараф, то вот. Про доктора Масленникова тот прежний больной рассказал мне, что это старый земский врач Александровского уезда, под Москвой. Что он десятки лет — так раньше это было принято, лечил в одной и той же больнице. И вот заметил, что, хотя в медицинской литературе все больше пишут о раке, у него среди больных крестьян рака не бывает. Отчего б это?..

(Да, отчего б это?! Кто из нас с детства не вздрагивает от Тайнственного? От прикосновения к этой непроницаемой, но податливой стене, через которую все же — нет-нет, да проступит то как будто чье-то плечо, то так будто чье-то бедро. И в нашей каждодневной, открытой, рассудочной жизни, где нет ничему тайнственному места, оно вдруг да блеснет нам: я здесь! Не забывай!)

— ...Стал он исследовать, стал он исследовать, — повторял Костоглотов, обычно ничего не повторяющий, а сейчас — находящийся в этом удовольствии, — и обнаружил такую вещь: что, экономя деньги на чай, мужики во всей этой местности

заваривали не чай, а чагу, иначе называется березовый гриб.

— Так подберезовик, — перебил Поддуев. Даже сквозь то отчаяние, с которым он себя согласил и в котором замкнулся последние дни, просветило ему такое простое, такое доступное средство.

Тут все кругом были люди южные и не то что подберезовика, но и березы самой иные в жизни не видали, тем более вообразить не могли, о чем толковал Костоглотов.

— Нет, Ефрем, не подберезовик. Вообще, это даже не березовый гриб, а березовый рак. Если ты помнишь, бывают на старых березах такие... наплывы их зовут, уродливые такие наросты — хребтовидные, сверху черные, а внутри — темно-коричневые.

— Так трутовица? — добивался Ефрем. — На нее огонь высекали раньше!

— Ну, может быть. Так вот Сергею Никитичу Масленникову и пришло в голову: не этой ли самой чагой русские мужики уже несколько веков лечатся от рака, сами того не зная.

— То-есть, совершают профилактику? — кивнул молодой геолог. Не давали ему весь вечер читать, однако, разговор того стоил.

— Но догадаться было мало, вы понимаете? Надо было все проверить. Надо было многие-многие годы еще наблюдать за теми, кто этот самодельный чай пьет и кто не пьет. И еще — поить тех, у кого появляются опухоли, а ведь это взять на себя не лечить их другими средствами. И угадать, при какой температуре заваривать и в какой дозе, кипятить или не кипятить, и по сколько стаканов пить, и не будет ли вредных последствий, и какой опухоли помогает больше, а какой меньше. На все это ушли...

— Ну, а теперь? Теперь? — волновался Сибгатов.

Дема думал: неужели и от ноги может помочь? Ногу — неужели спасет?

— А теперь? Вот он и на письма отвечает. Вот пишет мне, как лечиться.

— И у вас есть адрес? — жадно спросил безголосый, все придерживая рукой сипящее горло и уже вытягивая из кармана курточки блокнот с авторучкой. — И написан способ употребления? А от опухоли гортани помогает, он не пишет?

Как ни хотел Павел Николаевич выдержать характер и наказать соседа полным презрением, но упустить такой рассказ, такой случай, было нельзя. Уже не мог он вникать дальше в смысл и цифры проекта государственного бюджета на

1955 год, представленный сессии Верховного Совета, уже явно опустил газету и постепенно повернулся к Оглоеду лицом, не скрывая своей надежды, что это простое народное русское средство вылечит и его, сына русского народа. Безо всякой уже враждебности, чтобы не раздражать Оглоеда, но и напоминая все же, Павел Николаевич спросил:

— А — официально этот способ признан? Он апробирован в какой-нибудь инстанции?

Костоглотов сверху, со своего подоконника, усмехнулся:

— Вот насчет инстанции не знаю. Письмо, — он потрепал в воздухе маленьким желтоватым листиком, исписанным зелеными чернилами, — письмо деловое: как толочь, как разводить. Но, думаю, что если б это прошло инстанции, так нам бы уже сестры разносили такой напиток. На лестнице бы бочка стояла. Не надо было бы писать в Александров.

— Александров, — уже записал безголосый. — А, какое почтовое отделение? Улица? — он быстро управлялся.

Ахмаджан тоже слушал с интересом, еще успевая тихо переводить самое главное Мурсалимову и Егенбердиеву. Самому-то Ахмаджану этот березовый гриб не был нужен, потому что он выздоравливал. Но вот чего он не понимал:

— Если такой гриб хороший — почему врачи на вооружение не берут? Почему не вносят в свой устав?

— Это долгий путь, Ахмаджан. Одни люди не верят, другие не хотят переучиваться и поэтому мешают, третьи мешают, чтоб свое средство продвинуть. А нам — выбирать не приходится.

Костоглотов ответил Русанову, ответил Ахмаджану, а безголосому не ответил — не дал ему адреса. Он это сделал незаметно, будто недослышал, не успел, а на самом деле он не хотел дать адрес. Потому не хотел, что привязчивое было что-то в этом безголосом, хотя и очень почтенном — с фигурой и головой директора банка, а для маленькой южно-американской страны — даже и премьер-министра. И было жаль Олегу честного старого Масленникова, не досыпающего над письмами незнакомых людей, — закидает его безголосый вопросами. А с другой стороны — нельзя было не сжалиться над этим сипящим горлом, потерявшим человеческую звонкость, которой совсем мы не дорожим, имея. А еще с третьей стороны, сумел же Костоглотов болеть как специалист, быть больным, как преданный своей болезни, и вот уже патологическую анатомию почитал, и на всякий вопрос добился разъяснений от Гангарт и Донцовой, и вот уже от Масленникова получил ответ. Почему же он столько лет лишенный всяких прав, должен был учить этих свободных людей изворачивать-

ся под навалившейся глыбой? Там, где складывался его характер, закон был: «нашел — не сказывай, облупишь — не показывай». Если все кинутся Масленникову писать, то уж Костоглотову второй раз ответа не дожидаться.

А все это было — не размышление, лишь один поворот подбородка со шрамом от Русанова к Ахмаджану мимо безголосого.

— А способ употребления он пишет? — спросил геолог. Карандаш и бумага без того были перед ним, так читал он книгу.

— Способ употребления — пожалуйста, запасайтесь карандашами, диктую, — объявил Костоглотов.

Засуетились, спрашивали друг у друга карандаша и листик бумажки. У Павла Николаевича не оказалось ничего (да дома-то у него была авторучка со скрытым пером, нового фасона!), и ему дал карандаш Демка. И Сибгатов, и Федерату, и Ефрем, и Ни захотели писать. И когда собрались, Костоглотов медленно стал диктовать из письма, еще разясняя, как чагу высушивать не до конца, как тереть, какой водой заваривать, как настаивать, отцеживать и по сколько пить.

Выводили строчки, кто быстрые, кто неумелые, просили повторить и стало особенно тепло и дружно в палате. С такой нелюбовью они иногда отвечали друг другу — а что было им делить? Один у них был враг — смерть, и что может разделить на земле человеческие существа, если против всех их единой установлена смерть.

Окончив записывать, Дема сказал грубоватым голосом и медленно, как не по возрасту он говорил:

— Да... Но откуда же березу брать, когда ее нет?..

Вздохнули. Перед ними, давно уехавшими из России (кто и добровольно) или даже никогда не бывавшими там, прошло видение этой непритязательной, умеренной, не прожженной солнцем страны, то в завесе легкого грибного дождика, то в весенних половодьях и увязистых полевых и лесных дорогах, тихой стороны, где простое лесное дерево так служит и так нужно человеку. Люди, живущие в той стране, не всегда понимают свою родину, им хочется ярко-синего моря и бананов, а вон оно, что нужно человеку: черный, уродливый нарост на беленькой березе, ее болезнь, ее опухоль.

Только Мурсалимов с Егенбердиевым понимали про себя так, что и здесь — в степи и в горах — обязательно есть то, что нужно им, потому что в каждом месте земли все предусмотрено для человека, лишь надо знать и уметь.

— Кого-то надо просить — собрать, прислать, — ответил Демке геолог. Кажется, ему приглянулась эта чага.

Самому Костоглову, который все это нашел и расписал, однако, некого было просить в России искать гриб. Одни уже умерли, другие рассеяны, к третьим — неловко обратиться, четвертые горожане куцые, ни той березы не найдут, ни тем более чаги на ней. Он сам не знал бы сейчас радости большей: как собака уходит спасаться искать неведомую траву, так пойти на целые месяцы в леса, ломать эту чагу, крошить, у костров заваривать, пить и выздороветь, подобно животному. Целые месяцы ходить по лесу и не знать другой заботы, как выздоравливать.

Но запрещен ему был путь в Россию.

А другие тут, кому он был доступен, не научены были мудрости жизненных жертв — уменью все стянуть с себя, кроме главного. Им виделись препятствия, где их не было: как получить бюллетень или отпуск для таких поисков? Как нарушить уклад жизни и расстаться с семьей? Где денег достать? Как одеться для такого путешествия и что взять с собой? На какой станции сойти, и где потом дальше узнать все?

Прихлопывая письмом, Костоглов еще сказал:

— Он упоминает здесь, что есть так называемые заготовители, просто предприимчивые люди, которые собирают чагу, подсушивают и высылают наложенным платежом. Но только дорого берут — пятнадцать рублей за килограмм, а в месяц надо шесть килограмм.

— Да какое ж они имеют право? — возмутился Павел Николаевич, и лицо его стало таким начальственно-строгим, что любой заготовитель струсил бы перед ним и даже белье бы испортил. — Какую ж они имеют совесть драть такие деньги за то, что от природы достается даром?

— Не киричи! — шикнул на него Ефрем. (Он особенно противно коверкал слова — не то нарочно, не то язык так выговаривал). — Думаешь — подошел да взял. Это по лесу с мешком да с топором надо ходить. Зимой на лыжах.

— Но не по пятнадцать же рублей килограмм, спекулянты проклятые! — никак не мог уступить Русанов, и снова проявись на его лице красные пятна.

Вопрос был слишком принципиальный. С годами у Русанова все определенной неколебимей складывалось, что все наши недочеты, недоработки, недоделки, недоборы — все они проистекали от спекуляции. От мелкой спекуляции, как продажа какими-то непроверенными личностями на улицах зеленого лука, редиски и цветов, какими-то бабами на базаре яиц и молока, на станциях — ряженки, яблок, шерстяных носков и даже жареной рыбы. И от крупной спекуляции, когда с государственных складов гнали куда-то по «левой» грузовики.

И если обе эти спекуляции вырвать с корнем, — все быстро у нас выправится, и успехи будут еще более поразительными. Не было ничего дурного, если человек укреплял свое материальное положение при помощи высокой государственной зарплаты и высокой пенсии. (Павел Николаевич и сам-то мечтал о персональной). В этом случае и автомобиль, и дача, и небольшой особнячек были трудовыми.

Но той же заводской марки автомобиль и того же стандартного проекта дача приобретали совсем другое — преступное — содержание, если были куплены за счет спекуляции. И Павел Николаевич мечтал, именно м е ч т а л о введении публичных казней для спекулянтов. Публичные казни могли бы быстро и уже до конца оздоровить наше общество.

— Ну, хорошо, — рассердился и Ефрем. — Не киричи, а сам поезжай и организуй там заготовку. Хочешь — государственную. Хочешь — кооперативную. А дорого пятнадцать рублей — не заказывай.

Это-то слабое место Русанов понимал. Он ненавидел спекулянтов, но сейчас, пока это новое лекарство будет апробировано Академией Медицинских Наук, и пока кооперация среднерусских областей организует бесперебойную заготовку — опухоль Павла Николаевича не ждала.

Безголовый новичок с блокнотом, как корреспондент влиятельной газеты, лез на койку Костоглотова и шепотом добивался:

— А адресов заготовителей?.. а адресов заготовителей в письме нет?

И Павел Николаевич тоже приготовился записать адреса. Но Костоглотов почему-то не отвечал. Был в письме хоть один адрес или не был, — только он не отвечал, а слез с подоконника и стал шарить под кроватью за сапогами. Вопреки всем больничным запретам, он утаил их и держал для прогулок.

А Дема спрятал в тумбочку рецепт, и, ничего больше не добываясь, укладывал свою ногу на койку поосторожнее. Таких больших денег у него не было и быть не могло.

Помогала береза, да не всем.

Русанову было просто неудобно, что после стычки с Оглоедом — уже не первой стычки за три дня — он теперь так явно заинтересован рассказом и вот — зависит от адреса. И чтоб как-то умаслить Оглоеда, что ли, не умышленно, а невольно выдвигая то, что объединяло их, Павел Николаевич сказал вполне искренне:

— Да! Что может быть на свете хуже... (рака? но у него был не рак!) — ...этих ...онкологических ...и вообще рака?

Но Костоглотова ничуть не тронула эта доверительность

старшего и по возрасту, и по положению, и по опыту человека. Обматывая ногу рыжей портянкой, сохнувшей у него в обвой голенища и натягивая отвратительный истрепанный кирзовый сапог с грубыми латками на сгибах, он ляпнул:

— Что хуже рака? — Проказа!

Тяжелое грозное слово своими сильными звуками прозвучало в комнате, как залп.

Павел Николаевич миролюбиво поморщился:

— Ну, как сказать? А почему, собственно, хуже? Процесс идет медленней.

Костоглотов уставился темным недоброежелательным взглядом в светлые очки и светлые глаза Павла Николаевича.

— Хуже тем, что вас все еще живого исключают из мира. Отрывают от родных, сажают за проволоку. Вы думаете, это легче, чем опухоль?

Павлу Николаевичу не по себе стало в такой незащищенной близости от темно-горящего взгляда этого неотесанного неприличного человека.

— Ну, я хочу сказать — вообще эти проклятые болезни...

Любой интеллигентный человек тут понял бы, что надо же сделать шаг навстречу. Но Оглоед ничего этого понять не мог. Он не оценил тактичности Павла Николаевича. Уже вставший во всю свою долговязность и надев грязно-серый бумазейный, просторный бабий халат, который почти спускался до сапог и был ему пальто для прогулок, он с самодовольством объявил, думая, что у него получается учено:

— Один философ сказал: если бы человек не болел, он не знал бы себе границ.

Из кармана халата он вынул свернутый армейский пояс в четыре пальца шириной с пряжкой — пятиконечной звездой, опоясав им запахнутый бабий халат, остерегаясь только перетянуть место опухоли. И, разминая жалкую дешевую папироску-гвоздик — из тех, что гаснут, не догорев, — пошел к выходу.

Интервьюер с сипящим горлом отступал перед Костоглотовым по проходу между койками и, несмотря на всю свою банковско-министерскую наружность, так умоляюще спрашивал, будто Костоглотов был прославленное светило онкологии, но навсегда уходил из этого здания:

— А скажите, примерно, в скольких случаях из ста опухоль горла оказывается раком?

Стыдно смеяться над болезнью и горем, но и болезнь и горе тоже должны быть так переносимы, чтобы не вызвать смеха. Костоглотов посмотрел в потерянное перепуганное лицо этого человека, так смешно мельтешившего сегодня по

палате, а до этой опухоли такого, наверно, самодовлеющего. Даже вполне понятная манера придерживать пальцами большую гортань при разговоре выглядела у него почему-то смешно.

— В тридцати четырех, — улыбнулся ему Костоглотов, посторонясь.

Сам-то он не слишком ли раскудахтался сегодня? Не сказал ли чего лишнего, чего говорить не положено?

Беспокойный интервьюер, однако, не отстал от него, он поспешил за Олегом вниз, по лестнице, и, переклоняясь из-за своей дородности, еще заговаривал, нахрипывал ему через плечо:

— А как вы думаете, товарищ, — если опухоль моя не болит: это к лучшему — или к худшему? Это о чем свидетельствует?

Утомительные и беззащитные люди.

— Кто вы? — спросил Костоглотов, останавливаясь.

— Лектор, — большеухий с серым холеным зачесом смотрел на Костоглотову с надеждой, как на врача.

— А чего лектор? По какой специальности?

— Философ, — опоминаясь и приосаниваясь, ответил директор банка. Уже он переморщился и простил сегодня Костоглотову его неуместные и неловкие цитаты из философов прошлого. Уж он не упрекал его, но нужны ему были адреса заготовителей.

— Лектор — и горло! — Костоглотов pokrutil головой. Он ничуть не раскаивался, что там, в палате, не объявил вслух адресов заготовителей. По понятиям среды, как волочий стан, протягивавшей его через себя семь лет, так мог поступить только дешевый фрайер: все бросятся писать этим заготовителям, и цены вздуются, и чаги не получишь. Но по одиночке хорошим людям он обязан был дать. Этому геологу, с которым Олег еще и десяти слов не сказал, он уже знал, что даст, потому что очень ему нравилась его морда, и как он сказал в защиту кладбищ. И Демке даст, но у Демки денег нет. (Да и у самого Олега их нет, выкупить-то чагу не на что). И Федерату можно дать, и Ни, и Сибгатову — как товарищам по несчастью. Но пусть каждый попросит отдельно, а не спросит — значит, мимо. А вот этот лектор-философ, представлялось Олегу, — вздорный человек, и что он там в своих лекциях наворачивает? Может, только мозги мутит?.. И к чему вся его философия, если он так растерялся от болезни???

Но надо ж было сойтись, чтоб именно горло!

— Пишите адрес заготовителя! — скомандовал Костоглотов. — Только для вас!

Философ с благодарной поспешностью наклонился писать.

Продиктовав, Олег оторвался от него и скорей, пока еще не заперли внешнюю дверь, вышел на прогулку.

На крыльце, за дверью не было никого.

Олег счастливо вздохнул сырым холодным неподвижным воздухом и, не успевая им прочиститься, тут же зажег папироску, без которой все равно не хватало до полного счастья. (Хотя теперь уже не только Донцова, но и Масленников нашел в письме место упомянуть, что курить надо бросить).

Было совсем безветрено и не морозно. В одном оконном свете видна была близкая лужа, вода в ней чернела безо льда. Было только пятое февраля, а уже весна — непривычно. Туман — не туман, легкая мглица висела в воздухе — настолько легкая, что не застилала, а лишь смягчала, делала не такими резкими дальние светы фонарей и окон.

Слева от Олега тесно уходили в высоту, выше крыши, четыре пирамидальных тополя, как четыре брата. С другой стороны стоял тополь одинокий, но раскидистый и в рост этим четверем. За ним сразу густели другие деревья, шел клин парка.

Неогражденное каменное крыльцо тринадцатого корпуса спускалось несколькими ступеньками к покато́й асфальтовой аллее, ограниченной с боков кустами живой изгороди невпродер. Все это было без листьев сейчас, но густотой заявляющее о жизни.

Олег вышел гулять — ходить по аллеям парка, ощущая с каждым поступком и размином ноги ее радость твердо идти, ее радость быть живой ногой неумершего человека. Но вид с крыльца остановил его, и он докуривал тут.

Мягче светились нечастые фонари и окна противоположных корпусов. Уже никто почти не ходил по аллеям. И когда не было грохота сзади от близкой тут железной дороги, сюда достигал ровный шумок реки, быстрой и горной, которая билась и пенилась внизу, зас ледующими корпусами, под обрывом.

А еще дальше, через обрыв, через реку, был другой парк — городской, и из того ли парка (хотя ведь холодно), или из открытых окон клуба доносилась танцевальная музыка духового оркестра. Была суббота — и вот танцевали... Кто-то танцевал...

Олег был возбужден — тем, что так много говорил и его слушали. Его перехватило и обвило ощущение внезапно вернувшейся жизни, с которой еще две недели назад он считал себя разочтенным навсегда. Правда, жизнь эта не обещала

ему ничего того, что называли хорошим и о чем колотились люди этого большого города: ни квартиры, ни имущества, ни общественного успеха, ни денег — но другие самосущие радости, которых он не разучился ценить: право переступить по земле, не ожидая команды; право побыть одному; право смотреть на звезды, не заслепленные фонарями зоны; право тушить на ночь свет и спать в темноте; право бросать письма в почтовый ящик; право отдыхать в воскресенье; право купаться в реке. Да, много, много было еще таких прав.

И среди них — право разговаривать с женщинами.

Все эти чудесные неисчислимые права возвращало ему выздоровление!

И он стоял, курил и наслаждался.

Доносилась эта музыка из парка, Олег слышал ее — но и не ее, а как будто четвертую симфонию Чайковского, звучащую в нем самом, — беспокойное трудное начало этой симфонии, одну удивительную мелодию из этого начала. Ту мелодию (Олег истолковывал ее по своему, может быть, надо было понимать не так), — где герой, то ли вернувшись к жизни, то ли был слепым и вот — прозревающий, как будто нащупывает, скользит рукою по предметам или по дороговому лицу — ощупывает и еще боится верить своему счастью, что предметы эти вправду есть, что глаза его начинают видеть.

12.

Утром в воскресенье, торопливо одеваясь на работу, Зоя вспомнила, что Костоглотов просил непременно надеть на следующее дежурство то же самое серо-золотенькое платье, ворот которого за халатом он видел вечером, а хотел взглянуть при дневном свете. Бескорыстные просьбы бывает приятно выполнять. Это платье подходило ей сегодня, потому что было полупраздничное, а она днем надеялась побездельничать да и ждала, что Костоглотов придет ее развлекать.

И наспеху переменив намерение, она надела заказанное платье, несколькими ударами ладони надушила его, начесала челку, но время уже было последнее, она натягивала пальто в дверях, и бабушка еле успела сунуть ей завтрак в карман.

Было прохладное, но совсем уже не зимнее, сыроватое утро. В России в такую погоду выходят в плащах. Здесь же, на юге, другие представления о том, что холодно и жарко: в жару еще ходят в шерстяных костюмах, пальто стараются

раньше надеть и позже снять, а у кого есть шуба — ждут не дождутся хоть нескольких морозных дней.

За углом Зоя сразу увидела свой трамвай, квартал бежала за ним, вскочила последняя и, с задышкой, красная осталась на задней площадке, где обвевало. Трамваи в городе все были медленные, громкие, на поворотах надрывно визжали о рельсы; все без автоматических дверей.

И задышка и даже колотье в груди были приятны в молодом теле, потому что проходили сразу — и еще полней чувствовалось здоровье и праздничное настроение.

Пока в институте каникулы, одна клиника — три с половиной дежурства в неделю — совсем ей казалось легко, отдых. Конечно, еще легче было бы без дежурства, но Зоя уже привыкла к двойной тяжести: второй год она училась и работала. Практика в клинике была небогатая, работала Зоя не из-за практики, а из-за денег: бабушкиной пенсии и на один хлеб не хватало, Зоина стипендия пролетала враз, отец не присылал никогда ничего, и Зоя не просила, у такого отца она не хотела одолжаться.

Эти первые два дня каникул, после прошлого ночного дежурства, Зоя не лежбечничала, она с детства не привыкла. Прежде всего она села шить себе к весне блузку из крепжоржета, купленную еще в декабрьскую получку (бабушка всегда говорила: «Готовь сани летом, а телегу зимой», и по той же пословице в магазинах лучшие летние товары можно было купить только зимой). Шила она на старом бабушкином «Зингере» (дотацили из Смоленска), а приемы шитья шли первые тоже от бабушки, но они были старомодны, и Зоя, что могла, быстрым глазом перехватывала у соседок, у знакомых, у тех, кто учился на курсах кройки и шитья, на которые у самой Зои времени не было никак. Блузки она в эти два дня не дошила, но зато обошла несколько мастерских химчистки и пристроила свое старое летнее пальто. Еще она ездила на рынок за картофелем и овощами, торговалась там, как жмот, и привезла в двух руках две тяжелых сумки (очередь в магазинах выстаивала бабушка, но тяжелого носить она не могла). И еще сходила в баню. И только просто полежать, почитать у нее времени не осталось. А вчера вечером с однокурсницей Ритой они ходили в дом культуры на танцы.

Зое хотелось бы чего-нибудь поздоровей и посвежей, чем эти клубы. Но не было таких обычаев, домов, вечеров, где можно было бы еще знакомиться с молодыми людьми, кроме клубов. На их курсе и на факультете девчонок много было русских, а мальчиков почти не было. И потому на институтские вечера не тянуло.

Этот дом культуры, куда они пошли с Ритой, был просторный, чистый, хорошо натопленный, мраморные колонны и лестница, высоченные зеркала с бронзовыми обкладками — видишь себя издали-издали, когда идешь или танцуешь, и очень дорогие удобные кресла (только их держали под чехлами и запрещали на них садиться). Однако, с новогоднего вечера Зоя там не была, ее обидели там очень. Был бал-маскарад с премиями за лучшие костюмы, и Зоя сама себе сшила костюм обезьяны с великолепным хвостом. Все у нее было продумано — и прическа, и легкий грим, и соотношение цветов, все это было смешно и красиво, и почти верная была первая премия, хотя много конкурентов. Но перед самой раздачей призов какие-то грубые парни ножом отсекали ее хвост и из рук в руки передали и спрятали. И Зоя заплакала — не от тупости этих парней, а от того, что все вокруг стали смеяться, найдя выходку остроумной. Без хвоста костюм много потерял, да Зоя еще и раскисла — и никакой премии не получила.

И вчера, еще сердясь на клуб, она вошла в него с оскорбленным чувством. Но никто и ничто не напомнили ей случай с обезьяной. Народ был сборный — и студенты из разных институтов, и заводские. Зое и Рите не дали ни танца протанцевать друг с другом, разбили сейчас же, и три часа подряд они славно вертелись, качались и топтались под духовой оркестр. Тело просило этой разрядки, этих поворотов и движений, и телу приятно было то, что главное в танцах: открытое разрешенное прижатье. А говорили все кавалеры очень мало: если шутили, то на Зоин вкус, глуповато. Потом Коля конструктор-техник, пошел ее провожать. По дороге говорили об индийских кинофильмах, о плаванье; о чем-нибудь серьезном показалось бы смешно. Добрались до парадного, где темней и там целовались, а больше всего досталось Зоиним грудям, никому никогда не дающим покоя. Уж как он их обнимал! И пробовал другие пути подобраться, Зое было приятно, но вместе с тем возникло холодноватое ощущение, что она немного теряет время, что в воскресенье рано вставать, — и она отправила его, и быстренько по старой лестнице взбежала наверх.

Среди Зоиных подруг, а медичек особенно, была распространена та точка зрения, что от жизни надо спешить б р а т ь и как можно раньше, и как можно полней. При таком общем потоке убежденности оставаться на первом, на втором, наконец на третьем курсе чем-то вроде старой девы, с отличным знанием одной лишь теории, было совершенно невозможно. И Зоя прошла, прошла несколько раз с разными ребятами все эти степени приближения, когда разрешаешь больше и боль-

ше, а захват, и власть, и те проказливые минуты, когда хоть дом бомби — нельзя было бы изменить положение; и те успокоенные вялые минуты, когда подбираются с пола и со ступьев разбросанные вещи одежды, которые никак нельзя было бы видеть им обоим вместе, а сейчас ничуть не удивительно, что они видят их оба и ты деловито одеваешься при нем.

И это, действительно, оказалось сильным ощущением, и Зоя к третьему курсу миновала разряд старых дев и — и все-таки оказалось это не т е м. Нехватало во всем этом устойчивого сознательного продолжения, дающего устояние в жизни и саму жизнь.

Зое было только двадцать три года, однако, она уже порядочно видала и запомнила: долгую умоисступляющую эвакуацию из Смоленска сперва теплушками, потом баржей, потом опять теплушками; и почему-то особенно соседа по теплушке, который веревочкой отмерял полоску каждому на нарах, и доказывал, что Зойка заняла два лишних сантиметра; голодную, напряженную жизнь здесь в годы войны, когда только и было разговоров, что о карточках и о ценах на черном рынке; когда дядя Федя тайком воровал из тумбочки ее, Зоину, дольку хлеба; а теперь, в клинике, — эти злонавязчивые раковые страдания, гиблые жизни, унылые рассказы больных и слезы.

И перед всем этим прижимания, обнимания и дальше — были только сладкими капельками в соленом море жизни. До конца напитаться ими было нельзя.

Значило ли это, что надо непременно выходить замуж? Что счастье — в замужестве. Молодые люди, с которыми она знакомилась, танцевала и гуляла, все как один выявляли намерение — погреться, получить удовольствие и унести ноги. Между собой они говорили: «Я бы женился, да за один, за два вечера всегда могу найти д р у г а. Зачем же жениться?».

Зачем им, в самом деле, жениться, когда женщина стала такой доступной. Как при большом привозе на базар невозможно просить за помидоры вдвое, они сгниют, — невозможно становилось быть неприступной, когда все вокруг уступали.

Не помогла тут и регистрация, этому учил опыт Зоинной сменщицы медсестры украинки Марии: Мария доверилась регистрации, но через неделю муж все равно ее бросил, уехал и канул. И она семь лет воспитывала ребенка одна, да еще считалась замужем.

Потому на вечеринках с вином, если дни у нее подходили опасные, Зоя держалась с оглядкой, как сапер между зарытых мин.

И ближе был у Зои пример, чем Мария: Зоя видала дурную жизнь собственного отца и матери, как они то ссорились,

то мирились, то разъезжались в разные города, то опять съезжались и так всю жизнь мучили друг друга. Повторить ошибку матери было для Зои все равно, что выпить серной кислоты.

Это был тот случай, когда не помогала никакая регистрация.

В своем теле, в соотношении его частей, и в своем характере тоже, и в своем понимании всей жизни целиком, Зоя ощущала равновесие и гармонию. И только в духе этой гармонии, обязательно так, могло состояться всякое расширение, распространение ее жизни.

И тот, кто в паузах между проползанием рук по ее телу говорил ей неумные, пошлые вещи или почти повторял из кинофильмов, как вчерашний Коля, уже сразу разрушал гармонию и не мог ей по-настоящему нравиться.

Так, потряхиваемая трамваем, на задней площадке, где кондукторша громко обличала какого-то молодого человека, не купившего билет, (а он слушал и не покупал), Зоя достояла до конца. Трамвай начал делать круг, по другую сторону круга уже толпились, его ожидая. Соскочил на ходу стыдливый молодой человек. Соскочил пацаненок. И Зоя ловко соскочила на ходу, потому что отсюда было короче.

И была уже одна минута девятого, и Зоя припустилась бежать по извилистой асфальтовой дорожке медгородка. Как сестре бежать ей было нельзя, но как студентке — вполне простительно.

Пока она добежала до ракового корпуса, пальто сняла, халат надела и поднялась наверх — было уже десять минут девятого и не сдобровать бы ей, если б дежурство сдавала Олимпиада Владиславовна или Мария. Мария б тоже ей с недобрим выражением выговорила за десять минут как за полсмены. Но, к счастью, дежурил перед ней студент же Тургун, каракалпак, который и вообще был снисходителен, а к ней особенно. Он хотел в наказание хлопнуть ее пониже спины, но она не далась, оба смеялись и она же еще сама подтолкнула его по лестнице.

Студент — студент, но как национальный кадр, он уже получил назначение главврачом сельской больницы, и так неослидно мог вести себя только последние вольные месяцы.

Осталась Зое от Тургуна тетрадь назначений да еще особое задание от старшей сестры Миты. В воскресенье не было обходов, сокращались процедуры, не было больших после трансфузии, добавлялась правда, забота, чтобы родственники не лезли в палаты без разрешения дежурного врача, — и вот Мита переключивалась на дежурного днем в воскресенье часть

своей бесконечной статистической работы, которую она не могла успеть сделать.

Сегодня это была обработка толстой пачки больничных карт за декабрь минувшего 1954 года. Вытянув кругло губы, как бы для свиста, Зоя со щелчком пропускала пальцем по углам этих карточек, соображая, сколько ж их тут, и останется ли время ей повышивать, — как почувствовала рядом высокую тень. Зоя неувидленно повернула голову (голову можно поворачивать очень по-разному) и увидела Костоглотова. Он был чисто выбритый, почти причесан, и только шрам на подбородке как всегда напоминал о разбойном происхождении.

— Доброе утро, Зоенька, — сказал он совсем по-джентльменски.

— Доброе утро, — качнула она головой, будто чем-то недовольная или в чем-то сомневалась, а на самом деле — просто так.

Он смотрел на нее темно-карими глазами:

— Но я не вижу — выполнили вы мою просьбу или нет?

— Какую просьбу? — с удивлением нахмурилась Зоя (это у нее всегда хорошо получалось).

— Вы не помните? А я на эту просьбу — загадал.

— Вы брали у меня патанатомию — вот это я хорошо помню.

— И я вам ее сейчас верну. Спасибо.

— Вы разобрались?

— Мне кажется — что нужно, все понял.

— Я принесла вам вред? — без игры спросила Зоя. — Я раскаиваюсь.

— Нет-нет, Зоенька! — в виде возражения он чуть коснулся ее руки. — Наоборот, эта книга меня подбодрила. Вы просто золотце, что дали. Но... — он смотрел на ее шею — ...верхнюю пуговичку халата — расстегните, пожалуйста.

— За-чем?? — сильно удивилась Зоя (это у нее тоже очень хорошо получилось). — Мне не жарко!

— Наоборот, вы — вся красная.

— Да, в самом деле, — рассмеялась она добродушно, ей и действительно хотелось отложить халат, она еще не отпыталась от бега и возни с Тургуном. И она отложила.

Засветились золотинки в сером...

Костоглотов посмотрел увеличенными глазами и сказал почти без голоса:

— Вот хорошо. Спасибо. Потом покажете больше?

— Смотря, что вы загадали.

— Я скажу, только позже, ладно? Мы же сегодня побудем вместе?

Зоя обвела глазами кругообразно, как кукла.

— Только если вы придете мне помогать. Я потому и запарилась, что у меня сегодня много работы.

— Если колоть живых людей иглами — я не помощник.

— А если заниматься медстатистикой? Наводить тень на плетень?

— Статистику я уважаю. Когда она не засекречена.

— Так приходите после завтрака, — улыбнулась ему Зоя авансом за помощь.

Уже разносили по палатам завтрак.

Еще в пятницу утром, сменяясь с дежурства, заинтересованная ночным разговором, Зоя пошла и посмотрела карточку Костоглотова в регистратуре.

Оказалось, что звали его Олег Филимонович (тяжеловесное отчество было подстать неприятной фамилии, а имя несколько смягчало). Он был рождения 1920 года и при своих полных тридцати четырех годах действительно неженат, что довольно-таки невероятно, и действительно жил в каком-то Уш-Тереке. Родственников у него не было никаких (в онкодиспансере обязательно записывали имена родственников). По специальности он был топограф, а работал землеустроителем.

От всего этого не яснее стало, а только темней.

Сегодня же в тетради назначений она прочла, что с пятницы ему стали делать ежедневно инъекции синестрола по два кубика внутримышечно.

Это должен был делать вечерний дежурный, значит сегодня — не она. Но Зоя покрутила вытянутыми круглыми губами, как рыльцем.

После завтрака Костоглотов принес учебник патанатомии и пришел помогать, но теперь Зоя бегала по палатам и разносила лекарства, которые надо было пить и глотать три и четыре раза в день.

Наконец, они сели за ее столик. Зоя достала большой лист для черновой разграфки, куда надо было палочками переносить все сведения, стала объяснять (она и сама уже подзабыла, как тут надо) и графить; прикладывая большую желоватую линейку.

Вообще-то Зоя знала цену таким «помощникам» — молодым людям и холостым мужчинам (да и женатым тоже): всякая такая помощь превращалась в зубоскальство, шуточки, ухаживание и ошибки в ведомости. Но Зоя шла на эти ошибки, потому что самое неизобретательное ухаживание все-таки всегда интереснее самой глубокомысленной ведомости.

Зоя не против была продолжить сегодня игру, украшающую часы дежурства.

Тем более ее изумило, что Костоглотов сразу оставил всякие особые поглядывания, и особый тон, быстро понял, что и как надо, и даже ей возвратно объяснил, — и углубился в карточки, стал вычитывать нужное, а она ставила палочки в графы большой ведомости. «Неврблостома, — диктовал он, — ...гипернефрома ...саркома полости носа ...опухоль спинного мозга...». И что было ему непонятно — обязательно спрашивал.

Надо было подсчитать, сколько за это время прошло каждого типа опухоли — отдельно у мужчин, отдельно у женщин, отдельно по возрастным десятилетиям. Так же надо было обработать типы примененных лечений и объемы их. И опять-таки по всем разделам надо было провести пять возможных исходов: выздоровление, улучшение, без изменения, ухудшение и смерть. За этими пятью исходами Зоин помощник стал следить особенно внимательно. Сразу замечалось, что почти нет полных выздоровлений, но и смертей тоже немного.

— Я вижу, здесь умирать не дают, выписывают во-время, — сказал Костоглотов.

— Ну, а как же быть, Олег, посудите сами (Олегом она звала его в награду за работу. Он заметил, сразу взглянул быстро). — Если видно, что помочь ему нельзя, ему осталось только дожить последние недели или месяцы, — зачем держать за ним койку? На койки очередь, ждут те, кого можно вылечить. И потом инкурабельные больные...

— Ин — какие?

— Неизлечимые... Очень плохо своим видом действуют и разговорами на тех, кого можно вылечить.

Вот Олег сел за столик сестры — и как бы шагнул в общественном положении и осознании мира. Уже тот «он», которому нельзя помочь, тот «он», за которым не следует держать койку, те инкурабельные больные — все это был не он, Костоглотов. А с ним, Костоглотовым, уже так разговаривали, будто он не мог умереть, будто он был вполне курабельный. Этот прыжок из состояния в состояние, совершаемый так незаслуженно, по капризу внезапных обстоятельств, смутно напомнил ему что-то, но он сейчас не додумывал.

— Да, это все логично. Но вот списали Азовкина. А вчера при мне выписали *casus inoperabilis*, ничего ему не объяснив, ничего не сказав — и было ощущение, что я тоже участвую в обмане.

Он сидел к Зое сейчас не той стороной, где шрам, и лицо его выглядело совсем не жестоким.

Слаженно, в тех же дружеских отношениях, они работали дальше и прежде обеда кончили все.

Еще, правда, оставила Мита и вторую работу: переписывать лабораторные анализы на темпеартурные листы больных, чтоб меньше было листов и легче подклеивать к истории болезни. Но жирно было бы ей это все в одно воскресенье, и Зоя сказала:

— Ну, большое вам, большое спасибо, Олег Филимонович.

— Нет уж! как начали, пожалуйста: Олег!

— Теперь после обеда вы отдохнете...

— Я никогда не отдыхаю!

— Но ведь вы же больной.

— Вот странно, Зоенька, вы только по лестнице поднимаетесь на дежурство, а я уже совершенно здоров!

Он смотрел на нее как на золотисто румяный пирожок, и сам при этом выглядел вполне здоровым.

— Ну, хорошо, — уступила Зоя без труда. (Ей так и хотелось). — На этот раз приму вас в гостиной.

И кивнула на комнату врачебных заседаний.

Но после обеда она опять разносила лекарства, и были срочные дела в большой женской. По противоположности с ущербностью и болезнями, окружавшими ее здесь, Зоя вслушивалась в себя, как сама она была чиста и здорова до последнего ноготочка и кожной клеточки. С особенной радостью она ощущала свои дружные тугоподхваченные груди и как они наливались тяжестью, когда она наклонялась над койками больных, и как они подрагивали, когда она быстро шла.

Наконец, дела проредились. Зоя велела санитарке сидеть тут у стола, не пускать посещающих в палаты и позвать ее, если что. Она прихватила вышивание, и Олег пошел за ней в комнату врачей.

Это была светлая угловая комната с тремя окнами. Не то, чтобы она была обставлена со свободным вкусом — и рука бухгалтера, и рука главного врача ясно чувствовались: два стоявших дивана были не какие-нибудь откидные, а совершенно официальные с отвесными спинками, ломавшими шею, и зеркалами в спинках, куда можно было посмотретья разве только жирафе. И столы стояли по удручающему учрежденческому уставу: председательский массивный письменный стол, покрытый толстым органическим стеклом, и поперек ему, обязательной буквой «Т», — длинный стол для заседающих. Но этот последний стол был застелен как бы на самарканд-

ский вкус, небесно-голубой плюшевой скатертью, и небесный цвет этой скатерти сразу овеселял комнату. И еще удобные креслица, не попавшие к столу, стояли прихотливой группой, и это тоже делало комнату приятной.

Ничто не напоминало тут больницу, кроме стенной газеты «Онколог», выпущенной к седьмому ноября.

Зоя и Олег сели в удобные кресла в самой светлой части комнаты, где на подставках стояли вазоны с агавами, а за цельным большим стеклом главного окна ветвились отростья дуба, тянувшиеся еще выше, за второй этаж.

Олег не просто сел — он всем телом испытывал удобство этого кресла, как хорошо выгибается на нем спина и как плавно шея и голова еще могут быть откинуты дальше.

— Что за роскошь? — сказал он. — Я не попираю такой роскоши... наверно, лет пятнадцать.

(Если уж ему так нравится кресло, почему он себе такого не купил?).

— Итак — что вы загадали? — спросила Зоя с тем поворотом головы и тем выражением глаз, которые для этого подходили.

Сейчас, когда они уединились в этой комнате и сели в эти кресла с единственной целью разговаривать, — от одного слова, от тона, от взгляда зависело, пойдет ли разговор скользяще-порхающий или тот, который поднимает пласты. Зоя вполне была готова и к первому, но пришла она сюда, предчувствуя второй.

И Олег не обманул. Со спинки кресла, не отрывая головы, он сказал торжественно, — в окно, выше нее.

— Я загадал... Поедет ли одна девушка с золотой челкой к... к нам на целину.

И лишь теперь посмотрел на нее.

Зоя выдержала взгляд.

— Но, что ждет эту девушку?

Олег вздохнул.

— Да, я вам уже рассказывал. Веселого мало. Водопровода нет. Утюг на древесном угле. Лампа керосиновая. Пока мокро — грязь, как просохнет — пыль. Хорошего никогда ничего не наденешь.

Он не упускал перечислить ничего дурного — будто для того, чтобы не дать ей возможности пообещать! Если нельзя никогда хорошо одеться, то действительно — что это за жизнь? Но, как ни удобно жить в большом городе, знала Зоя, что жить не с городом, а с сердцем. И хотелось ей прежде не тот поселок представить, а этого человека понять.

— Я не пойму — что в а с там держит?

Олег рассмеялся:

— Министерство внутренних дел! — что!

Он все так же лежал головой на спинке, наслаждаясь.

Зоя нахмурилась.

— Я — так и заподозрела. Но, позвольте, — вы же не чечен? Не калмык?

— Да стопроцентный русак! Могу я иметь черные волосы?

И поправил их.

Зоя пожалала плечами:

— Но тогда — почему ж вас?..

Олег вздохнул:

— Эх, до чего же несведущая растет молодежь! Мы росли — понятия не имели об уголовном кодексе, и что там есть за статьи, пункты, и как их можно толковать р а с ш и р и т е л ь н о. А вы живете здесь, в центре этого всего края, и даже не знаете элементарного различия между ссыльно-поселенцами и административно-ссылными.

— А какая ж?

— Я — административно-ссылный. Я сослан не по национальному признаку, а — л и ч н о, как Олег Филимонович Костоглов, понимаете? — он рассмеялся, — «л и ч н ы й почетный гражданин», которому не место среди честных граждан.

И блеснул на нее темными глазами.

Но она не испугалась. То-есть испугалась, но как-то поправимо.

— И... На сколько же вы сосланы? — тихо спросила она.

— Н а в е ч н о! — громыхнул он, как хлопушкой ударил.

У нее даже в ушах зазвенело.

— Пожизненно? — переспросила она полупшепотом.

— Нет, именно н а в е ч н о! — настаивал Костоглов. — В бумаге было написано именно н а в е ч н о. Если пожизненно — так хоть гроб можно оттуда потм вывезти, а уж навечно — наверно, и гроба нельзя. Солнце потухнет — все равно нельзя, вечность-то длинней.

Вот теперь действительно сердце ее сжалось. Все неспроста — и шрам этот, и вид у него бывает жестокий. Он, может быть, убийца, страшный человек, он может быть тут ее и задушит, не дорого возьмет, а она так опрометчиво уединилась с ним!...

Но все же Зоя удержалась от желания повернуть кресло так, чтобы в случае чего легче бежать. Она только отложила вышивание (она к нему еще не притронулась). И глядя

смело на Костоглотов, который не напрягся, не разволновался, а попрежнему удобно устроен был в кресле, спросила, волнуясь сама:

— Если вам тяжело — то вы не говорите мне. А если можете, скажите: такой ужасный приговор — за что?

Но Костоглотов не только не был удручен сознанием преступления, а с совершенно беззаботной улыбкой ответил:

— Никакого приговора, Зоенька, не было. Вечную ссылку я получил — по н а р я д у.

— По... наряду??..

— Да, так называется. Что-то вроде фактуры. Как с базы на склад выписывают: мешков столько-то, боченков столько-то... Исползованная тара...

Зоя взялась за голову:

— И это — всех так?

— Нет, нельзя сказать, чтобы всех. Чистый десятый пункт — не посылают, а десятый с одиннадцатым — уже посылают.

— А что такое одиннадцатый?

— Одиннадцатый? — Костоглотов подумал. — Зоенька, я вам что-то много рассказываю, вы с этим материальцем дальше поосторожней, а то можете подзаработать тоже. У меня был основной приговор — по десятому пункту, семь лет. Уж кому давали меньше восьми лет — поверьте, это значит — совсем ничего не было, просто из воздуха дело сплетено. Но был и одиннадцатый, а одиннадцатый, значит — г р у п п о в о е дело. Сам по себе одиннадцатый пункт срока, как бы, не увеличивает, — но раз была нас группа, вот и разослали по вечным ссылкам. Чтобы мы на старом месте никогда опять не собирались. Теперь — понятно?

Нет, ей было еще совсем ничего не понятно.

— Так это была... — она смягчила, — ну, как говорится, — шайка?

И вдруг Костоглотов звонко расхохотался. И оборвал и насупился также вдруг.

— А здорово получилось. Как и моего следователя, вас не удовлетворило слово «группа». Он тоже любил называть нас — ш а й к а. Да, нас была шайка — шайка студентов и студенток первого курса. — Он грозно посмотрел. — Я понимаю, что здесь курить нельзя, преступно, но все-таки закурю, ладно? Мы собирались, ухаживали за девочками, танцевали, а мальчики еще разговаривали о политике. И о... С а м о м. Нас, понимаете ли, не устраивало то, что мы видели. Мы, так сказать, не были в восторге. Двое из нас воевали

и как-то ожидали после войны чего-то другого. В мае перед экзаменами — всех нас загребли, и девочек тоже.

Зоя ощущала смятение... Она опять взяла в руки вышивание. С одной стороны, он говорил опасные вещи, которые не только не следовало никому повторять, но даже слушать, но даже держать открытыми ушные раковины. А с другой стороны, было огромное облегчение, что они никого не заманивали в темные переулки, не убивали.

Она глотнула.

— Я не поминаю... вы все-таки — д е л а л и-то что?

— Как что? — он затягивался и выпускал дым. Какой он был большой, такая маленькая была папироска. — Я же вам говорил: учились. Пили вино, если позволяла стипендия. Ходили по вечеринкам. И вот девчонок замели вместе с нами. И дали им по пять лет. — Он посмотрел на нее пристально. — Вы — на себе это вообразите. Вот вас берут перед экзаменами второго семестра — и в мешок.

Зоя отложила вышивание.

Все страшное, что она предчувствовала услышать от него, оказалось, с одной стороны, даже не страшным, а каким-то детским.

— Ну, а вам, мальчикам, — зачем это все нужно было?

— Что? — не понял Олег.

— Ну, вот это... быть недовольными... Чего-то вам ожидать...

— Ах, в самом деле! Ну, да, в самом деле! — покорно рассмеялся Олег. — Мне это в голову не приходило. Вы опять сошлись с моим следователем, Зоенька. Он говорил то же самое. Креслице вот хорошее! На койке так не посидишь.

Олег опять устроился со всем удобством и, покуривая, смотрел, прищурившись, в большое окно с цельным стеклом.

Хотя шло к вечеру, но пасмурный ровный денек не темнел, а светлел. Все растягивался и редел облачный слой на западе, куда и выходила как-раз эта комната углом.

Вот только теперь Зоя по-серьезному взялась вышивать — и так с удовольствием делала стежки. И они молчали. Олег не хвалил ее за вышивание, как прошлый раз.

— И что ж... ваша девушка? Тоже была там? — спросила Зоя, не поднимая головы от работы.

— Д-да... сказал Олег, не сразу пройдя это «д», не то думая о другом.

— А где ж она теперь?

— Теперь? На Енисее.

Зоя быстро взглянула.

— Так вы просто не можете с ней соединиться?

— И не пытаюсь, — безучастно говорил он.

Зоя смотрела на него, а он — в окно. Но, почему же он тогда не женится здесь, у себя?

— А что это очень трудно, — соединиться? — придумала она спросить.

— Для нерегистрированных почти невозможно, — рассеянно сказал он. — Но дело в том, что — незачем.

— А у вас карточки ее нет с собой?

— Карточки? — удивился он. — Заключенным карточек иметь не положено. Рвут.

— Ну, а какая она была из себя?

Олег улыбнулся, прижмурился.

— Спускались волосы до плеч, а на концах — р-раз, и заворачивались кверху. В глазах, вот как в ваших всегда на-смешечка, а у нее всегда — немножко грусть. Неужели уж человек так предчувствует свою судьбу, а?

— Вы в лагере вместе были?

— Не-т.

— Так, когда же вы с ней расстались?

— За пять минут до моего ареста... Ну, то-есть, май ведь был, мы долго у нее в садике сидели. Уже во втором часу ночи я с ней простился и пошел — и через квартал меня взяли. Прямо, машина на углу стояла.

— А ее?

— Через ночь.

— И больше никогда не виделись?

— Еще один раз виделись. На очной ставке. Я уже острижен был. Ждали, что мы будем давать друг на друга показания. Мы — не дали.

Он вертел окурок, не зная, куда его деть.

— Да вон туда, — показала она на сверкающую чистую пепельницу председательского места.

А облачка на западе все растягивало, и уже нежно-желтое солнышко почти распеленилось. И даже закоренелое упрямое лицо Олега смягчилось в нем.

— Но почему же вы теперь-то?! — сочувствовала Зоя.

— Зоя! — сказал Олег твердо, но остановился подумать: — Вы сколько-нибудь представляете, — что ждет в лагере девушку, если она хороша собой. Если ее где-нибудь по дороге в общем вагоне не изнасилуют блатные — впрочем, они всегда успеют это сделать и в лагере, — в первый же вечер лагерные дармоеды, какие-нибудь кобели нарядчики, пайкодатчики подстроят так, что ее поведут голую в баню мимо них... И тут же она будет назначена — кому. И уже со следующего утра ей будет предложено: жить с таким-то и иметь

работу в чистом теплом месте. Ну, а если откажется — ее постараются так загнать, чтоб она сама приползла проситься. — Он закрыл глаза. — Она — не умерла, она осталась в живых, благополучно кончила срок. Я ее за это не виню, я понимаю. Но и... все. И она понимает.

Молчали. Солнце проступило в полную ясность, и весь мир сразу повеселел и осветился. Черными и яркими проступили деревья сквера, а здесь, в комнате вспыхнула голубая скатерть и зазолотились волосы Зои.

— ...Одна из наших девушек кончила с собой... Еще одна жива... Трех ребят уже нет... Про двоих не знаю...

Он свесился с кресла набок, покачался и прочел:

«Тот ураган прошел... Нас мало уцелело...

На переключке дружбы многих нет...».

И сидел так, вывернутый, глядя в пол. В какую только сторону не торчали и не закручивались волосы у него на тмени! Их надо было два раза в день мочить и приглаживать, мочить и приглаживать.

Он молчал, но все, что Зоя хотела слышать, — она уже слышала. Во всем главном он уже объяснился: он был прикован к своей ссылке — но не за убийство; он не был женат — но не из-за пороков; через столько лет он нежно говорил о своей бывшей невесте — и, видимо, был способен к настоящему чувству.

Он молчал, и она молчала, поглядывая то на вышивание, то на него. Ничего в нем не было хоть сколько-нибудь красивого, но и безобразного сейчас она не находила.

Как говорит бабушка: — «Тебе не красивого надо, тебе хорошего надо». Устойчивость и силу после всего перенесенного — вот это Зоя ясно ощущала в нем, силу проверенную, которую она не встречала в свих мальчишках.

Она делала стежки и вдруг почувствовала его рассматривающий взгляд.

Исподлобья глянула навстречу.

Он стал говорить очень выразительно, все время втягивая ее своим взглядом:

— К о г о позвать мне?.. С к е м мне поделиться той грустной радостью, что я остался жив?

— Но вот вы уже поделились! — шепотом сказала она, улыбаясь ему глазами и губами.

Губы у нее были не розовые, но как будто и не накрашенные. Они были между алым и оранжевым — огневатые, цвета светлого огня.

Нежное желтое предвечернее солнце оживляло нездо-

ровый цвет и его худого больного лица. В этом теплом свете казалось, что он не умрет, он выживет.

Олег тряхнул головой, как после печальной песни гитарист переходит на веселую:

— Эх, Зоенька! Устройте уж мне праздник до конца! Надоели мне эти белые халаты. Покажите мне не медсестру, а городскую, красивую девушку! Ведь в Уш-Тереке мне такой не повидать.

— Но откуда же я вам возьму красивую девушку? — плутовала Зоя.

— Только снимите халат на минутку. — И — пройдите!

И он отъехал на кресле, показывая, где ей надо пройти.

— Но я ж на работе, — еще возражала она. — Я не имею права...

То ли они слишком много проговорили о мрачном, то ли закатное солнце так весело трещало лучами в комнате, но Зоя почувствовала тот толчок, тот прилив, что это сделать можно и выйдет хорошо.

Она откинула вышиванье, вспрыгнула с кресла, как девочка, и уже расстегивала пуговицы, чуть наклонясь вперед, торопясь, будто собираясь не пройти, а пробежаться.

— Да тyani-те же! — бросила она ему одну руку, как не свою.

Он потянул — и рукав стащился.

— Вторую! — танцевальным движением через спину обернулась она, и он стащил второй рукав, халат остался у него на коленях, а она — пошла по комнате. Она пошла как манекенщица — вмеру нагибаясь и вмеру прямо, то поводя руками на ходу, то приподнимая их.

Она так прошла несколько шагов, оттуда обернулась и замерла — с отведенными руками.

Олег держал халат Зои у груди, как обнял, смотрел же на нее распяленными глазами.

— Bravo! — прогудел он. — Великолепно!

Что-то было даже в свечении голубой скатерти — этой узбекской неисчерпаемой голубизны, вспыхнувшей от солнца, что происходили в нем вчерашние мелодии узнавания, прозревания. К нему возвращались все непутевые, запутанные, не возвышенные желания. И радость мягкой мебели, и радость уютной комнаты — после тысячи лет неустроенного, ободранного, бесприклонного житья. И радость смотреть на Зою, не просто любоваться ею, но умноженная радость, что он любит ее не безучастно, а посягательно. Он, умирающий полмесяца назад!

Зоя победно певельнула огневатыми губами и с лукаво-влажным выражением, будто зная еще какую-то тайну, — прошла ту же дорожку в обратную сторону — до окна. И еще раз обернувшись к нему, стала так.

Он не поднялся, сидел, но снизу вверх черною метелкою головы тянулся к ней.

По каким-то признакам, — их воспринимаешь, а не назывешь, в Зое чувствовалась сила — не та, которая нужна, чтобы перетаскивать шкафы, но другая, требующая встречной силы же. И Олег радовался, что, кажется, он может этот вызов принять, кажется, он способен померяться с ней.

Все страсти жизни возвращались в выздоравливающее тело! Все! Все!

— Зо-я! — нараспев сказал Олег. — Зо-я! А как вы понимаете свое имя?

— Зоя — это жизнь! — ответила она четко, как лозунг. Она любила это объяснять. Она стояла, заломив руки к подоконнику, за спину — и вся чуть набок, перенеся тяжесть на одну ногу.

— А к зоо? — К зоо-предкам вы не чувствуете иногда своей близости?

Она рассмеялась в тон ему:

— Все мы им немножечко близки. Добываем пищу, кормим детенышей. Разве это так плохо?

И тут бы, наверно, ей остановиться! Она же, возбужденная таким неотрывным, таким поглощающим восхищением, какого не встречала от городских молодых людей, каждую субботу без труда обнимающих девушек хоть на танцах, — она еще выбросила обе руки, и прищелкивая обеими, всем корпусом завияляла, как это полагалось при исполнении модной песенки из индийского фильма:

— А-ва-рай-я-я-я! А-ва-рай-я-я-я!

Но Олег вдруг помрачнел и попросил:

— Не надо! Этой песни — не надо, Зоя.

Мгновенно она приняла благопристойный вид, как будто не пела и не извивалась только-что.

— Это — из «Бродяги», — сказала она. — Вы не видели?

— Видел.

— Замечательный фильм. Я два раза была! — (Она была четыре раза, но постеснялась почему-то выговорить). — А вам не нравится? Ведь у Бродяги — ваша судьба.

— Только не моя, — морщился Олег.

Он не возвратился к прежнему светлому выражению, и

уже желтое солнышко не теплило его, и видно было, как же он все-таки болен.

— Но он тоже вернулся из тюрьмы. И вся жизнь разрушена.

— Это все фокусы. Он — типичный блатарь. Урка.

Зоя протянула руку за халатом.

Олег встал, расправил халат и подал ей надеть.

— А вы их не любите? — Она поблагодарила кивком и теперь застегивалась.

— Я их ненавижу. — Он смотрел мимо нее, жестоко, и челюсть у него чуть-чуть сдвинулась, в каком-то неприятном движении. — Это хищные твари, паразиты, живущие только за счет других. У нас тридцать лет звонили, что они перековываются, что они «социально-близкие», а у них принцип тот, что был у Гитлера: тебя не... тут у них ругательные слова, и очень хлестко звучит, но принцип тот же: тебя не бьют — сиди смирно, жди очереди; раздевают соседей, не тебя — сиди смирно, жди очереди. Они охотно топчут того, кто уже лежит, и тут же нагло рядятся в романтические плащи, а мы помогаем им создавать легенды, а песни их даже вот прорываются на экран.

— Какие же легенды? — теперь смотрела вверх она, и как будто провинилась в чем-то?

— Это — сто лет рассказывать. Ну, — одну легенду, если хотите. — Они рядом теперь стояли у окна. Олег без всякой связи со своими словами повелительно взял ее за локти и говорил как младшенькой. — Выдавая себя за благородных разбойников, блатные всегда гордятся, что не грабят нищих и не трогают у арестантов с в я т о г о к о с т ы л я — то есть не отбирают последней тюремной пайки, а воруют лишь все остальные. Но в сорок седьмом году на красноярской пересылке в нашей камере не было ни одного б о б р а — то есть, не у кого было ничего отнять. Блатных было чуть не полкамеры. Они проголодались — и весь сахар, и весь хлеб стали забирать себе. А состав камеры был довольно оригинальный: полкамеры урок, полкамеры японцев, а русских — нас двое — политических, я и еще один полярный летчик известный, его именем так и продолжал называться остров в Ледовитом океане, а сам он сидел. Так урки бессовестно брали у японцев и у нас все начисто дня три. И вот японцы, ведь их не поймешь, договорились, ночью бесшумно поднялись, сорвали доски с нар и с криком «банзай!» бросились гвоздить урок! Как они их замечательно били! — Это надо было посмотреть!

— И вас?

— Нас-то за что? Мы у них хлеба не отбирали. Мы в

эту ночь были нейтральны, но переживали во славу японского оружия. И на утро восстановился порядок: и хлеб, и сахар мы стали получать сполна. Но вот что сделала администрация тюрьмы: она половину японцев от нас забрала, а в нашу камеру к битым уркам посадила еще небитых. И теперь урки бросились бить японцев — с перевесом в числе, да ведь у них и ножи, у них все есть. Били они их бесчеловечно, на-смерть, — и вот тут мы с летчиком не выдержали и ввязались за японцев.

— Против русских?

Олег отпустил ее локти и стал выпрямленный. Чуть повел челюстью с боку на бок:

— Блатарей — я не считаю за русских.

Он поднял руку и провел пальцами по шраму, будто протирая его — от подбородка по низу щеки и на шею:

— Вот так меня и резанули.

13.

Нисколько не спала и не размягчилась опухоль Павла Николаевича и с субботы на воскресенье. Он понял это, еще не поднявшись на постели. Разбудил его рано старый узбек, под утро и все утро противно каплявший над ухом.

За окном пробелился пасмурный неподвижный день, как вчера, как позавчера, еще больше нагнетая тоску. Казахчабан с утра и пораньше сел с подкрепленными ногами на кровати и бессмысленно сидел, как пень. Сегодня не ожидалось врачи, никого не должны были звать на рентген или на перевязки, и он, пожалуй, до вечера мог так высидеть. Зловещий Ефрем опять уперся в заупокойного своего Толстого; иногда он поднимался топтать проход, трясая кровати, но уже хорошо, что к Павлу Николаевичу больше не цеплялся, и ни к кому вообще.

Оглоед как ушел, так целый день его в палате и не было. Геолог, приятный, воспитанный молодой человек, читал свою геологию, никому не мешал. И остальные в палате держали себя тихо.

Подбадривало Павла Николаевича, что придет жена. Конечно, ничем реальным она не могла ему помочь, но сколько значило излиться ей: как ему плохо; как ничуть не помог укол; какие противные люди в палате. Посочувствует — и то легче. И попросить ее принести какую-нибудь книжку и себе — бодрую современную книжку. И авторучку — чтобы

не попадать так смешно, как вчера, у пацана карандаш одолжил записывать рецепт. Да, и главное же наказать о грибе, о березовом грибе.

В конце-концов — не все потеряно: лекарства не помогут — есть вот разные средства. Самое главное — чувствовать себя Человеком с большой буквы. Быть оптимистом.

Понемногу-понемногу, а приживался Павел Николаевич и здесь. После завтрака он дочитывал во вчерашней газете бюджетный доклад Зверева. А тут без задержки принесли и сегодняшнюю. Принял ее Демка, но Павел Николаевич велел передать себе и сразу же с удовлетворением нашел и прочел о падении правительства Мендес-Франса (не строй козней! не навязывай парижских соглашений!), в запасе заметил себе большую статью Эренбурга (общественное значение которого ценил с годов войны, несмотря на некоторые его вывихи, вовремя исправленные центральной прессой) — и погрузился в статью о претворении в жизнь решения январского Пленума о крутом увеличении производства продуктов животноводства.

Так Павел Николаевич коротал день, пока объявила санитарка, что к Русанову пришла жена. Вообще, к лежащим больным родственников допускали в палату, но у Павла Николаевича не было сейчас сил идти доказывать, что он — лежащий, да и самому приятней было бы уйти в вестибюль от этих унылых, упавших духом людей. И, обмотав теплым шарфиком шею, Русанов пошел вниз.

Не всякому за год до серебряной свадьбы остается так мила жена, как была Капа Павлу Николаевичу. Ему действительно за всю жизнь не было человека ближе, ни с кем ему не было так хорошо порадоваться успехам и обдумать беду. Капа была верный друг, очень энергичная женщина и умная («у нее с е л ь с о в е т работает!» — всегда хвастался Павел Николаевич друзьям). Павел Николаевич никогда не испытывал потребности ей изменять, и она ему не изменяла. Это неправда, что переходя выше в общественном положении муж начинает стыдиться своей молодости. Далеко они поднялись с того уровня, на котором женились (она была работница из этой самой макаронной фабрики, где в тестомесильном цехе сперва работали он и она, но еще до женитьбы на ней поднялся в фабзавком, и работал по технике безопасности, и по комсомольской линии был брошен на укрепление аппарата совторгслужащих, и еще год был директором фабрично-заводской девятилетки) — но не расщепились за это время их интересы, не перекрасились пролетарские симпатии. И на праздниках, немного выпив, если публика за столом была

простая, Русановы любили вспомнить свое фабричное прошлое и дружно спеть старую песню рабочую «Кирпичики».

Сейчас в вестибюле Капа своей широкой фигурой, и чернобуркой, и ридикюлем величиной с портфель, и хозяйственной сумкой с продуктами заняла добрых три места на скамье в самом теплом углу. Она встала поцеловать мужа теплыми мягкими губами и посадила его на отвернутую полу пубы, чтобы ему было теплей. Тут письмо есть, — сказала она, подергивая углом губы, и по этому знакомому подергиванию Павел Николаевич сразу заключил, что письмо неприятное. Во всем человек хладнокровный и рассудительный, вот с этой только бабьей манерой Капа никогда не могла расстаться: если что новое — хорошее ли, плохое, обязательно ляпнуть с порога.

— Ну, хорошо, — обиделся Павел Николаевич, — добивай меня, добивай! Если это важней — добивай!

Но, ляпнув, Капа уже разрядилась и могла теперь разговаривать, как человек:

— Да нет же, нет, ерунда! — раскаивалась она. — Ну, как ты? Ну, как ты, Пасик? Об укуле я все знаю, я ведь и в пятницу звонила старшей сестре, и вчера утром. Если бы было что плохое — я бы сразу примчалась. Но мне сказали — очень хорошо прошел, да?

— Укол прошел очень хорошо, — довольный своей стойкостью, подтвердил Павел Николаевич. — Но обстановочка, Капелька... Обстановочка! — и сразу все здешнее, обидное и горькое, начиная с Ефрема и Оглоеда, представилось ему разом, и не умея выбрать первую жалобу, он сказал с болью: — Хоть бы уборной пользоваться отдельной от людей! Страдаю! Какая здесь уборная! Кабины не огорожены! Все на виду.

(Пользование общей баней и общей уборной неизбежно подрывает авторитет работника. По месту службы Русанов ходил на другой этаж, не в уборную общего доступа).

Понимая, как тяжело он попал и что ему надо выговориться, Капа не прерывала его жалоб, а наводила на новые, и так постепенно он их все высказывал до самой безответной и безвыходной — «за что врачам деньги платят?». Она подробно расспросила его о самочувствии во время укула и после укула, об ощущениях опухоли, и, раскрыв шарфик, смотрела на опухоль, и даже сказала, что по ее мнению опухоль чуть-чуть стала меньше.

Она не стала меньше, Павел Николаевич знал, но все же приятно ему было услышать, что может быть — и меньше.

— Во всяком случае не больше, а?

— Нет, только не больше! Конечно, не больше! — уверена была Капа.

— Хоть расти бы перестала! — сказал, как попросил, Павел Николаевич и голос его был на слезе. — Хоть бы расти перестала! А то если б неделю еще так поросла — и что же?.. и...

Нет, выговорить это слово, заглянуть туда, в черную пропасть, он не мог. Но до чего ж он был несчастен и до чего это было все опасно!

— Теперь укол завтра. Потом в среду. Ну, а если не поможет? Что ж делать?

— Тогда в Москву! — решительно говорила Капа. — Давай так: если еще два укола не помогут, то — на самолет и в Москву. Ты ведь в пятницу позвонил, а потом сам отменил, а я уж звонила Шендяпиным и ездила к Алымовым, а Алымов сам звонил в Москву и оказывается до недавнего времени твою болезнь только в Москве и лечили, всех отправляли туда, а это они, видишь ли, в порядке роста местных кадров взялись лечить тут. Вообще, все-таки врачи — отвратительная публика! Какое они имеют право рассуждать о производственных достижениях, когда у них в обработке находится живой человек? Ненавижу я врачей, как хочешь!

— Да, да! — С горечью согласился Павел Николаевич. — Да! Я уж это им тут высказал!

— И учителей еще ненавижу! Сколько с ними намучилась из-за Майки! А из-за Лаврика?..

Павел Николаевич протер очки.

— Еще понятно было в мое время, когда я был директором. Тогда педагоги были все враждебны, все не наши, и прямая задача стояла — обуздать их. Но сейчас-то, сейчас мы можем с них потребовать?..

— Да, так слушай! Поэтому большой сложности отправить тебя в Москву нет, дорожка еще не забыта, можно найти основания. К тому же Алымов договорился, что там договорятся — и тебя поместят в очень неплохое место. А?.. Подождем третьего укола?

Так определенно они спланировали — и на душе Павла Николаевича посветлело. Только не покорное ожидание в этой затхлой дыре! Русановы были всю жизнь — люди действия, люди инициативы, и только в инициативе наступало их душевное равновесие.

Торопиться сегодня им было некуда, и счастье Павла Николаевича состояло в том, чтобы дольше сидеть здесь с женой, а не идти в палату. Он зяб немного, потому что часто отворялась наружная дверь, — и Капиталина Матвеевна вы-

тянула с плеч своих из под пальто шаль, и укутала его. И соседи по скамье у них попались тоже интеллигентные, чистые люди. И так можно было посидеть подольше.

Медленным перебором они обсуждали разные вопросы жизни, прерванные болезнью Павла Николаевича. Лишь того главного избегали они, что над ними висело: худого исхода болезни. Против этого исхода они не могли выдвинуть никаких планов, никаких действий, никаких объяснений. К этому исходу они никак не были готовы — и уж по тому одному невозможен был такой исход. (Правда, у жены мелькали кое-когда мысли, имущественные и квартирные предположения на случай смерти мужа, но оба они настолько были воспитаны в духе оптимизма, что лучше было все эти дела оставить в запутанном состоянии, чем угнетать себя их предварительным разбором или каким-нибудь упадочническим заещанием).

Они говорили о звонках, вопросах, пожеланиях сотрудников из Промышленного Управления, куда Павел Николаевич перешел из заводской спецчасти в позапрошлом году. (Не сам он, конечно, вел промышленные вопросы, потому что у него не было такого узкого уклона, их согласовывали инженеры и экономисты, а уж за ними самими осуществлял спецконтроль Русанов). Работники все его любили, и теперь приятно было узнать, как о нем беспокоятся.

Говорили и о его расчетах на пенсию. Как-то получилось, что несмотря на долгую безупречную службу на видных местах, в отделах кадров и спецчастях, он, очевидно, не мог получить мечту своей жизни — персональную пенсию. И даже выгодной ведомственной пенсии — льготной по сумме и по начальным срокам, он тоже мог не получить, — из-за того, что в 39-м году не решился, как звали его, надеть военную форму. Жаль, а может быть, по неустойчивой обстановке двух последних лет и не жаль. Может быть, покой дороже.

Они коснулись и общего желания людей жить лучше, все ясней проявляющегося в последние годы — и в одежде, и в обстановке, и в отделке квартир. И тут Капитолина Матвеевна высказала, что если лечение будет успешное, но растянется, как их предупредили, месяца на полтора-два, то было бы удобно за это время произвести в их квартире некоторый ремонт. Одну трубу в ванной давно нужно было передвинуть, а в кухне перенести раковину, а в уборной надо стены обложить плиткой, в столовой же и в комнатах Павла Николаевича совершенно необходимо освежить покраской стены: колер сменить (уж она смотрела колера) и обязательно сделать золотой накат, это теперь модно. Против всего этого Па-

вел Николаевич не возражал, но сразу же встал досадный вопрос о том, что хотя рабочие будут присланы по государственному наряду и по нему получают зарплату, но обязательно будут вымогать — не просить, а именно вымогать — доплату от «хозяев». Не то, что денег было жалко, (впрочем, было жалко и их!), но гораздо важнее и обиднее высилась перед Павлом Николаевичем принципиальная сторона: **з а ч т о?** Почему сам он получал законную зарплату и премии, и никаких больше чаевых и добавочных не просил? А эти бессовестные работяги хотели получить деньги сверх денег? Уступка здесь была принципиальная, недопустимая уступка всему миру стихийного и мелкобуржуазного. Павел Николаевич волновался всякий раз, когда заходило об этом:

— Скажи, Капа, но почему они так небрежны к рабочей чести? Почему мы, когда работали на макаронной фабрике, не выставляли никаких условий и никакой «лапы» не требовали с мастера? Да могло ли это нам в голову прийти?.. Так ни за что мы не должны их развращать! Чем это не взятки?

Капа вполне была с ним согласна, но тут же привела соображение, что если им не заплатить, не «выставить» в начале и в середине, то они обязательно отомстят, сделают что-нибудь плохое и потом сам расскаешься.

— Один полковник в отставке, мне рассказывали, твердо стоял, сказал — не доплачу ни копейки! Так рабочие заложили ему в сток ванной дохлую крысу — и вода плохо сходила, и воню несло.

Так ничего они с ремонтом не договорились. Сложна жизнь, очень уж сложна, до чего ни тронься.

Говорили о Юре. Старший сын, он вырос, однако, слишком тиховат, не защищенный какой-то, нет в нем русановской жизненной хватки. Сделали ему юридическую специальность и хорошо устроили после института, но, надо признаться, он не для этой работы. Ни положения своего утвердить, ни завести хорошие знакомства — ничего он этого не умеет. Вероятно сейчас, в командировке, наделает ошибок. Павел Николаевич очень беспокоился. А Калитолина Матвеевна беспокоилась насчет женитьбы. Машину водить ему навязал папа, квартиру отдельную тоже будет доставать папа — но как доглядеть и подправить его с женитьбой, чтоб он не ошибся? Ведь он такой бесхитростный, его охмурит какая-нибудь ткачиха с комбината, ну положим с ткачихой ему негде встретиться, в таких местах он не бывает, но вот теперь в командировке? А этот легкий шаг безрассудного регистрации — ведь он губит жизнь не одного молодого человека, но усилия всей семьи, усилия десятилетий! Как Шендяпи-

ных дочка в мединституте чуть не вышла за своего однокурсника, а он — из деревни, мать его — простая колхозница, и надо себе представить квартиру Шендяпиных, их обстановку, и какие ответственные люди у них бывают в гостях — и вдруг бы за столом эта старушка в белом платочке, без паспорта — свекровь! Черт его знает... Спасибо, удалось опорочить жениха по общественной линии, спасли дочь.

Другое дело — Авиета, Ава, Алла. Авиета — жемчужина русановской семьи. Отец и мать не припоминают, когда она доставляла огорчения и заботы, ну, кроме школьного озорничанья. Ава — и красавица, и разумница, и энергичная, очень правильно понимает и берет жизнь. Можно не проверять ее, не беспокоиться — она не сделает ошибочного шага ни в малом, ни в большом. Только вот за имя она обижается на родителей: не надо, мол, было фокусничать, называйте теперь просто Аллой. Но в паспорте — Авиета Павловна. Да ведь и красиво. Каникулы кончаются, в среду она прилетает из Москвы и примчится к больному обязательно.

С именами — горе: требования жизни меняются, а имена остаются навсегда. Вот уже и Лаврик обижается на имя. Сейчас то в школе Лаврик и Лаврик, никто над ним не зубоскалит, но в этом году получать паспорт, и что ж там будет написано? Лаврентий Павлович. Когда-то с умыслом так и рассчитали родители: пусть носит имя министра, негибаемого сталинского соратника, и во всем походит на него. Но вот уж второй год, как сказать «Лаврентий Павлович» вслух, пожалуй поостережешься. Одно выручает — что Лаврик рвется в военное училище, а в армии по имени-отчеству звать не будут.

А так, если шепотком спросить: зачем все это делалось? Среди Шендяпиных тоже думают, но чужим не высказывают: даже если предположить, что Берия оказался двурушник, и буржуазный националист, и стремился к власти, — ну хорошо, ну судите его, ну расстреляйте его закрытым порядком, но зачем же объявлять об этом простому народу? Зачем колебать его веру? Зачем вызывать сомнения? В конце концов можно было бы спустить до определенного уровня закрытое письмо, там все объяснить, а по газетам пусть считается, что умер от инфаркта. И похоронить с почетом.

И о Майке, самой младшей, говорили. В этом году полиняли все Майкины пятерки, и не только она уж не отличница, и с доски почета сняли, но даже и четверок у нее немного. А все из-за перехода в пятый класс. В начальных классах была у нее все время одна учительница, знала ее, и родителей знала — и Майя училась велчкомленно. А в этом году у нее двад-

цать учителей-предметников, придет на один урок в неделю, он их и в лицо не знает, жмет свой учебный план, а о том, какая травма наносится ребенку, как калечится его характер — разве об этом он думает? Но Капитолина Матвеевна не пожалеет сил, а через родительский комитет наведет в этой школе порядок. Хотя порядок подрывается этой новой реформой — зачем опять смешанное обучение? Зачем же отказываться от строго раздельного? — одного из лучших достижений зрелой советской педагогики.

Так говорили они обо всем — обо всем, не один час, но — вяло шли их языки, и разговоры эти, скрывая от другого, каждый ощущал как не деловое. Все опущено было в Павле Николаевиче внутри, не верилось в реальность людей и событий, которые они обсуждали, и делать ничего не хотелось, и даже лучше всего сейчас было бы лечь, опухоль приложить к подушке и укрыться.

А Капитолина Матвеевна весь разговор вела через силу потому, что ридикюль прожигало ей письмо, полученное сегодня утром из К* от брата Миная. В К* Русановы жили до войны, там прошла их молодость, там они женились, и все дети родились там. Но во время войны они эвакуировались сюда, в К* не вернулись, квартиру же сумели передать брату.

Она понимала, что мужу сейчас не до таких известий, но и известие-то было такое, что им не поделишься с простой хорошей знакомой. Во всем городе у них не было ни одного человека, кому б это можно было рассказать с объяснением всего смысла. Наконец, во всем утешая мужа, и сама ж она нуждалась в поддержке! Она не могла жить дома одна с этим неразделенным известием. Из детей только, может быть, только Авиете можно было все рассказать и объяснить. Юре — ни за что. Но и для этого надо было посоветоваться с мужем.

А он, чем больше сидел с нею здесь, тем более томел, и все невозможнее казалось поговорить с ним именно о главном.

Подходило время ей так и так уезжать, и из хозяйственной сумки она стала вынимать и показывать мужу, что привезла ему кушать. Рукава ее шубы так уширены были манжетами из чернобурки, что едва входили в раззявленную пасть сумки.

И тут-то, увидев продукты (которых и в тумбочке у него оставалось довольно), Павел Николаевич вспомнил другое, что было ему важнее всякой еды и питья, и с чего сегодня и надо было начинать — вспомнил чагу, березовый гриб! И, оживившись, он стал рассказывать жене об этом чуде, об этом письме, и об этом докторе (может — и шарлатане), и о

том, что надо сейчас придумать, кому написать, кто наберет им в России этого гриба.

— Ведь там у нас, вокруг К* березы сколько угодно. Что же стоит Минаю мне это организовать?! Напиши Минаю сейчас же! Да и еще кому-нибудь, есть же старые друзья, пусть позаботятся! Пусть все знают, в каком я положении!

Ну, он сам заговорил о Минае и о К*! И теперь, лишь письма самого не доставая, потому что брат писал в каких-то мрачных выражениях, а только отгибая и отпуская шелкающий клапаном замок ридикюля, Капа сказала:

— Ты знаешь, Папа, трезвонить ли о себе в К* — это надо подумать... Минька пищет... Ну, может это еще неправда... Что появился у них в городе... Родичев... И будто бы ре-а-би-ли-тирован... Может это быть, а?

Пока она выговаривала это мерзкое длинное слово «ре-а-би-ли-ти-ро-ван» и смотрела на замок ридикюля, уже склоняясь достать и письмо — она пропустила то мгновение, что Папа стал белей беляя.

— Что ты?? — вскрикнула она, пугаясь больше, чем была напугана этим письмом сама. — Что ты?!

Он был откинут к спинке и женским движением стягивал на себя ее шаль.

— Да еще может нет! — она спохватилась сильными руками взять его за плечи, в одной руке так и держа ридикюль, будто стараясь навесить ему на плечо. — Еще может нет! Минька сам его не видел. Но — люди говорят...

Бледность Павла Николаевича постепенно сходила, но он весь ослабел — в поясе, в плечах, и ослабели его руки, а голову так и выворачивала на бок опухоль.

— Зачем ты мне сказала? — несчастным, очень слабым голосом произнес он. — Неужели у меня мало горя? Неужели у меня мало горя?.. — и он дважды произвел без слез плачущее вздрагивание грудью и головой.

— Ну, прости меня, Пашенька! Ну, прости меня, Пасик! — она держала его за плечи, а сама тоже трясла и трясла своей завитой львиной прической медного цвета. — Но ведь и я теряю голову! И неужели он теперь может отнять у Миная комнату? Нет, вообще. К чему это идет? Ты помнишь, мы уже слышали два таких случая?

— Да причем тут комната, будь она проклята, пусть забирает, — плачущим шепотом ответил он ей.

— Ну как проклята? А каково сейчас Минаю стесниться?

— Да ты о муже думай! Ты думай — я как?.. А про Гузуна он не пищет?

— Про Гузуна нет... А если они все теперь начнут возвращаться — что ж это будет?

— Откуда я знаю! — приглушенным голосом отвечал муж. — Какое ж они п р а в о имеют теперь их выпускать?.. Как же можно так безжалостно травмировать людей?..

14.

Так ждал Русанов хоть на этом свидании приободриться, а получилось во много тошней, лучше б Капа совсем и не приезжала. Он поднимался по лестнице, шатаясь, вцепясь в перила, чувствуя, как все больше его разбирает озноб. Капа не могла провожать его наверх одетая — бездельница-санитарка специально стоояла и не пускала, так ее Капа и погнала проводить Павла Николаевича до палаты и отнести сумку с продуктами. За дежурным столиком лупоглазая эта сестра Зоя, которая почему-то понравилась Русанову в первый вечер, теперь, загородясь ведомостями, сидела и кокетничала с неотесанным Оглоедом, мало думая о больных. Русанов попросил у нее аспирин, она тут же заученно-бойко ответила, что аспирин только вечером. Но все ж дала померить температуру. И потом что-то ему принесла.

Сами собой поменялись продукты. Павел Николаевич лег, как мечтал: опухоль — в подушку (еще удивительно, что здесь были мягкие подушки, не пришлось везти из дому свою), и накрылся с головой.

В нем так замотались, заколотились, огнем налились мысли, что все остальное тело его стало бесчувственным, как от наркоза, и он уже не слышал глупых комнатных разговоров, и потрясываясь вместе с половицами от ходьбы Ефрема, не чувствовал этой ходьбы. И не видел он, что день разгулялся, перед заходом где-то проглянуло солнце, только не с их стороны здания. И полета часов он не замечал. Он засыпал, может быть от лекарства, и просыпался. Как-то проснулся уже при электрическом свете, и опять заснул. И опять проснулся среди ночи, в темноте и тишине.

И почувствовал, что сна больше нет, отпала благодетельная пелена. А страх — весь тут и вцепился в нижнюю середину груди и тут сжимал.

И разные-разные-разные мысли стали напирать и раскручиваться: в голове Русанова, в комнате и дальше, во всей просторной темноте.

Даже никакие не мысли, а просто — он боялся. Просто

— боялся. Боялся, что Родичев вдруг вот завтра утром прорвется через сестер, через санитарок, бросится сюда и начнет его бить. Не правосудия, не суда общественности, не позора боялся Русанов, а просто, что его будут бить. Его били всего один раз в жизни — в школе, в его последнем шестом классе: поджидали вечером у выхода, пришли «получать», и ножей ни у кого не было, но на всю жизнь осталось это ужасное ощущение — со всех сторон тебя встречающих костистых жестоких кулаков.

Как покойник представляется нам потом долгие годы таким, каким мы последний раз видели его юношей, если даже за это время он должен был стать стариком, так и Родичев, который через восемнадцать лет должен бы был вернуться инвалидом, может быть глухим, может быть скрюченным, — виделся сейчас Русанову тем прежним загорелым здоровяком, с гантелями и гирей, на их общем длинном балконе в его последнее перед арестом воскресенье. Уже был написан Русановым вместе с Капой материал на него, и отнесен, и подан, а Родичев, голый до пояса, подозвал его:

— Пашка! Иди сюда! Ну-ка пощупай бицепсы. Да не брезгуй, жми! Понял теперь, что значит инженер новой формации? Мы не рахитики, какие-нибудь там Эдуарды Христовичи, мы — люди гармонические. А ты вот хиловатый стал, засыхаешь за кожаной дверью. Иди к нам на завод, в цех устрою, а? Не хочешь?.. Ха-га!..

Захохотал и пошел мыться, напевая:

«Мы кузнецы, и дух наш молод».

Вот этого-то здоровяка Русанов и представлял сейчас врывающимся сюда, в палату, с кулаками. И не мог стряхнуть с себя ложный образ.

С Родичевым они были когда-то друзьями, в одной комсомольской ячейке, эту квартиру получали вместе от фабрики. Потом Родичев пошел по линии рабфака и института, а Русанов — по линии профсоюза и по анкетному хозяйству.

Сначала начали не ладить жены, потом и сами они, Родичев часто разговаривал с Русановым в оскорбительном тоне. А тут еще Русановым стало и тесно жить — двое детей, одна комната. Ну, да все сошлось, и погорячились, конечно, и дал на него Павел Николаевич такой материал: что в частном разговоре с ним Родичев одобрительно высказывался о деятельности разгромленной Промпартии и предполагал у себя на заводе сколотить группу вредителей, только Русанов очень просил, чтоб имя его нигде не фигурировало в деле, и чтобы не было очной ставки: его страх обнимал при мысли о такой

встрече. Но следователь гарантировал, что по закону и не требуется открывать Русанова, и не обязательна очная ставка — достаточно будет признания самого обвиняемого. Даже первоначальное Русановское заявление можно не подписывать в том следственном деле, так что обвиняемый, подписывая 206-ю статью, нигде не встретит фамилии своего соседа по квартире.

И так бы все гладко прошло, если бы не Гузун — секретарь заводского парткома. Ему из органов пришла выписка, что Родичев — враг народа, на предмет исключения его из партии первичной ячейкой. Но Гузун уперся и стал шуметь, что Родичев — наш парень, и пусть ему дадут подробные материалы. На свою голову и нашумел, через два дня в ночь арестовали и его, а на третье утро благополучно исключили и Родичева и Гузуна — как членов одной контрреволюционной подпольной организации.

Но Русанова теперь прокололо то, что за эти два дня пока Гузуна уламывали, ему все-таки вынуждены были сказать, что материал поступил от Русанова: значит, встретившись с Родичевым т а м (а раз они пошли по одному делу, так могли в конце концов и встретиться), Гузун скажет Родичеву — и вот почему Русанов так опасался теперь этого зловещего возврата, этого воскрешения из мертвых, которого никогда нельзя было вообразить.

Хотя, конечно, и жена Родичева могла догадаться, только живали она? Капа так намечала: как только Родичева арестуют, так Катьку Родичеву сейчас же выселить, и захватить всю квартиру, и балкон тогда будет весь их. (Теперь смешно, что комната в восемнадцать метров и квартира без газа могла иметь такое значение). Операция эта с комнатой была уже вся согласована и пришли Катьку выселять, но она выкинула номер — заявила, что беременна. Настояли проверить — принесла справку. Точно! Как предвидела: по закону беременную выселять нельзя. И только к следующей зиме ее выселили, а длинные месяцы пришлось терпеть и жить с ней бок-о-бок, пока она носила, пока родила и еще до конца декретного. Ну, правда, теперь ей Капа пикнуть не давала на кухне, и Аве уже шел пятый год, она очень смешно ее дразнила и плевала в кастрюли.

Страх? Сейчас, лежа на спине, в темноте посапывающей и похрапывающей палаты (лишь легкий отсвет настольной лампы сестры из вестибюля достигал сюда через стеклянную матовую дверь) Русанов бессонным ясным умом пытался разобраться, почему его так взбалмошили тени Родичева и Гузуна и испугался ли бы он, если бы вернулся кто-то из дру-

гих, чью виновность он тоже помог установить: тот же Эдуард Христофорович, случайно помянутый Родичевым, инженер буржуазного воспитания, назвавший Павла при рабочих дураком и проходимцем (а сам потом признался, что мечтал реставрировать капитализм); та стенографистка, которая оказалась виновна в искажении речи важного начальника, покровителя Павла Николаевича, а начальник в речи эти слова совсем не так говорил; тот неподатливый бухгалтер (еще к тому ж оказался и сыном священника, и скрутили его в одну минуту); жена и муж Ельчанские... да мало ли?..

Ведь никого ж из них Павел Николаевич не боялся, он все смелее и откровеннее помогал устанавливать вину, даже два раза он ходил на очные ставки, там повышал голос и изобличал. Да тогда и не считалось вовсе, что здесь чего-то надо стыдиться! Все лгуны, клеветники, слишком смелые любители самокритики или слишком заумные интеллигентки — исчезли, заткнулись, притаились, а люди принципиальные, устойчивые, преданные, друзья Русанова и сам он, ходили с достоинством поднятой головой.

И вот теперь какое-то новое, мутное, нездоровое время, что этих прежних своих лучших гражданских поступков надо стыдиться? Или даже за себя бояться?

Бояться! Какая чушь. Да всю жизнь свою перебирая, Русанов не мог упрекнуть себя в трусости. Ему не приходилось бояться! Может он не был какой-нибудь особо-храбрый человек, но и случая такого не припоминалось, чтобы проявил трусость. Нет оснований предполагать, что он испугался бы на фронте — просто на фронт его не взяли как ценного опытного работника. Нельзя утверждать, что он растерялся бы под бомбежкой или в пожаре, — но из К* они уехали до бомбежек, и в пожар он не попадал никогда. Так же никогда он не боялся правосудия и закона, потому что законы он не нарушал и правосудие всегда защищало его и поддерживало. И не боялся он разоблачений общественности — потому что общественность тоже была всегда за него. И в областной газете не могла бы появиться неприличная заметка против Русанова, потому что или Кузьма Фотеевич или Нил Прокофьевич всегда бы ее остановили. А центральная газета не могла бы до Русанова опуститься. Так и прессы он тоже никогда не боялся.

И пересекая Черное море на пароходе, он несколько не боялся морской глубины. А боялся ли он высоты — нельзя сказать, потому что он не был пустоголов, чтобы лазить на горы или на скалы, а по роду своей работы не монтировал мостов.

Род работы Русанова в течение уже многих лет, едва ли не двадцати, был — анкетное хозяйство. Должность эта в разных учреждениях называлась по-разному, но суть была всегда одна. Только неучи, да несведущие посторонние люди не знают, какая это ажурная тонкая работа, сколько она требует таланта. Это — поэзия, до которой еще до сих пор не добрались поэты. Каждый человек на жизненном пути заполняет немалое число анкет, и в каждой анкете — неизвестное число вопросов. Ответ одного человека на один вопрос одной анкеты — это уже ниточка, навсегда протянувшаяся от человека в местный центр анкетного хозяйства. От каждого человека протянуты таким образом сотни ниточек, а всего их сходится многие миллионы, и если б ниточки эти стали видны, то все небо мы видели бы в паутине, а если бы они стали материально-упруги, то и автобусы, и трамваи, и сами люди потеряли бы возможность двигаться, и ветер не мог бы вдоль улицы пронести клочков газеты или осенних листьев. Но они не видимы, и не материальны, а однако чувствуются человеком постоянно. Дело в том, что так называемые кристалльные анкеты — это как абсолютная истина, как идеал, они почти не достижимы. На каждого живого человека всегда можно записать что-нибудь отрицательное и подозрительное, каждый человек в чем-нибудь виноват или что-нибудь утаивает, если разобраться дотошно.

Из постоянного ощущения незримых ниточек естественно рождается у людей и уважение к тем людям, кто ведет это сложнейшее анкетное хозяйство, авторитет таких лиц.

Пользуясь еще одним сравнением, уже музыкальным, Русанов, благодаря своему особому положению, обладал как бы набором дощечек ксилофона и мог по выбору, по желанию, по соображениям необходимости ударять по любой из дощечек. Хотя все они были равно деревянные, но голос был у каждой свой.

Были дощечки, то-есть приемы, самого нежного осторожного действия. Например, желая какому-нибудь товарищу передать, что он им недоволен, или просто предупредить, немного поставить на место, Русанов умел особыми ладами здороваться. Когда тот человек здоровался (разумеется первый), Павел Николаевич мог ответить деловито, но не улыбнуться; а мог, сдвинув брови в сторону (это он отрабатывал в рабочем кабинете перед зеркалом) чуть-чуть замедлить ответ — как будто он сомневался, надо ли, собственно, с этим человеком здороваться, достоин ли тот — и уже после этого поздороваться (опять же: или с полным поворотом головы, или с неполным, или вовсе не поворачивая). Такая малень-

кая задержка всегда имеет, однако, значительный эффект. В голове работника, который был приветствован с такой заминкой или холодком, начинались деятельные поиски тех грехов, в которых этот работник мог быть виноват. И, поселив сомнения, заминка удерживала его, может быть, от неверного поступка, на грани которого работник уже был, но Павел Николаевич лишь с опозданием получил бы об этом сведения.

Более сильным средством было, встретив человека (или позвонив ему по телефону, или даже специально вызвав его), сказать ему: «Зайдите, пожалуйста, ко мне завтра в десять часов утра». — «А сейчас нельзя?» — обязательно спросит человек, потому что ему хочется скорее выяснить, зачем его вызывают, и скорее исчерпать разговор. — «Нет, сейчас нельзя», — мягко, но строго скажет Русанов. Он не скажет, что занят другим делом или идет на совещание, нет, он ни за что не даст ясной простой причины, чтобы успокоить вызванного (в том-то и состоит прием), он так выговорит это «сейчас нельзя», чтобы сюда поместилось много серьезных значений — и не все из них благоприятные. — «А по какому вопросу?» — может быть осмелится спросить или по крайней неопытности спросит работник. — «Завтра и узнаете», — бархатисто обойдет этот нетактичный вопрос Павел Николаевич. Но до десяти часов завтрашнего дня — сколько времени! Сколько событий! Работнику надо еще кончить рабочий день, ехать домой, разговаривать с семьей, может быть идти в кино или на родительское собрание в школу, и еще потом спать (кто заснет, а кто и нет), и еще потом утром давиться завтраком и все время будет сверлить и грызть работника этот вопрос: «А зачем он меня вызывает?» За эти долгие часы работник во многом раскается, во многом опасется и даст себе зарок не задирать на собраниях начальство. А уж когда он придет — может и дела никакого не окажется, надо проверить дату рождения или номер диплома.

Так, подобно дощечкам ксилофона, способы нарастали по своему деревянному голосу и наконец самым сухим и резким было: «Сергей Сергеевич (это — директор всего предприятия, местный Хозяин) просил вас к такому-то числу заполнить вот эту анкету». И работнику протягивалась анкета — но не просто анкета, а из всех анкет и форм, хранящихся в шкафу Русанова, самая полная и самая неприятная — ну, например та, которая для засекречивания. Работник-то, может быть, совсем и не засекречивается, и Сергей Сергеевич вовсе о том не знает, но кто ж пойдет проверять, когда Сергея Сергеевича самого бояться, как огня? — Работник берет анкеты и еще делает бодрый вид, а на самом деле, если что-нибудь

он только скрывал от анкетного центра — уже все внутри у него скребет. Потому что в этой анкете ничего не укрыть. Это — отличная анкета. Это — лучшая из анкет.

Именно с помощью такой анкеты Русанову удалось добиться разводов нескольких женщин, мужа которых находились в заключении по 58-й статье. Уж как эти женщины заметали следы, посылали посылки не от своего имени, не из этого города или вовсе не посылали — в этой анкете слишком строго стоял частокोल вопросов и лгать дальше было нельзя. И один только был пропуск в частоколе: окончательный развод перед законом. К тому же его процедура была облегчена: суд не спрашивал от заключенных согласия на развод и не извещал их о совершенном разводе. Русанову важно было только чтобы развод совершился, чтобы грязные лапы преступника не стягивали еще не погибшую женщину с общей гражданской дороги. А анкеты эти куда и не шли. И Сергею Сергеевичу показывались только разве в виде анекдота.

Поэзия работы была в этом ощущении, что ты полностью держишь в руках человека, еще по сути даже на него и не надавив.

Обособленное, загадочное, полупотустороннее положение Русанова в общем ходе производства давало ему и удовлетворяло его глубоким знанием истинных процессов жизни. Жизнь, которая была видна всем (производство, совещания, многотиражка, месткомовские объявления на вахте, заявления на получение, столовая, клуб) — не была настоящая, а только казалась такой непосвященным. Истинное положение жизни решалось без крикливости, спокойно, в тихих кабинетах между двумя-тремя понимающими друг друга людьми или телефонным ласковым звонком. Еще струилась истинная жизнь в тайных бумагах, в глубинах портфелей Русанова и его сотрудников, и долго молча могла ходить за человеком — и только внезапно на мгновение обнажалась, высовывала из подземного царства огнедышащую пасть, отрывала голову жертве или огнем плевала в нее — и опять скрывалась неизвестно куда. И на поверхности оставалось все то же: клуб, столовая, заявления на получение, многотиражка, производство, и только не хватало среди проходивших вахту — уволенного, отчисленного, изъятого.

Соответственно роду тонкой поэтически-политической работы бывало оборудовано и рабочее место Русанова. Это всегда была уединенная комната с дверью, сперва обитой кожей и блестящими обойными гвоздями, а потом, по мере того, как богатели общество, еще и огражденная входным предохра-

нительным ящиком, темным тамбуром. Этот тамбур — как будто и простое изобретение, совсем нехитрая штука: не больше метра в глубину, и лишь секунду-две мешкает посетитель, закрывая за собой первую дверь, и еще не открыв вторую. Но и эти секунды перед решающим разговором он как бы попадает в короткое заключение: нет ему света, и воздуха нет, и он чувствует все свое ничтожество перед тем, к кому сейчас входит. И если была у него дерзость, своеумудрие — то здесь, в тамбуре, он расстанется с ними.

Естественно, что и по нескольку человек сразу к Павлу Николаевичу никогда не вваливались, а только впускали по одиночке, кто был вызван или получил по телефону разрешение прийти.

Такое оборудование рабочего места и такой порядок допуска очень способствовал вдумчивому и регулярному выполнению обязанностей в русановском отделе. Без предохранительного тамбура Павел Николаевич бы страдал.

Разумеется, по диалектической взаимосвязи всех явлений действительности, образ поведения Павла Николаевича на работе не мог оставаться без влияния на его образ жизни вообще. Постепенно, с годами, у него и у Капитолины Матвеевны развилась неприязнь к людскому кишению, тесноте, толпе. У них стал вызывать отвращение трамвай, троллейбус, автобус, потому что там всегда толкали, могли оскорбить, лезли туда строительные и другие рабочие в своих грязных спецовках и могли обтереть о твое платье этот мазут или эту известку. И еще там укоренилась противная панибратская манера хлопать по плечу — просить передать на билет или сдачу, и нужно было услужить и передать, и так без конца. Ходить же по городу пешком было и далеко, и слишком простецки, не по занимаемой должности, да и с пешеходами тем более всегда можно было напороться на неожиданность. Так Русановы постепенно перешли в автомобиль — служебный, такси, а потом и свой. На железных дорогах нечего и говорить, что не только общие, но и плацкартные вагоны стали несносны: в них перлились и в полушубках, и с ведрами и с мешками. Поэтому-то Русановы ездили только в купированных и мягких вагонах. Разумеется, и в гостиницах для Русанова всегда бронировали номер, чтоб ему не очутиться на койке в общей комнате. Разумеется и в санатории Русановы ездили не во всякие, а в такие, где человека уважают и создают ему условия, где и пляж санаторных и аллеи отдыха отгорожены от общей публики. И когда Капитолине Матвеевне врачи назначили больше ходить, то ей абсолютно негде было ходить, кроме как в таком санатории среди равных. Сохра-

няя русскую душу и в принципе любя народные гуляния, Русановы стали предпочитать более чистые и более безопасные гуляния руководства.

Русановы любили народ — свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ.

Но с годами они все больше терпеть не могли — населения. Этого строптивного, вечно уклоняющегося, упирающегося да еще чего-то требующего себе населения.

И так они стали остерегаться плохо одетых, дерзких, а иногда и подвыпивших людей, каких можно было встретить в электричке, около пивных ларьков, на автобусных и железнодорожных станциях. Плохо одетый человек всегда опасен, потому что он плохо чувствует свою ответственность, да вероятно ему и мало что терять, иначе он был бы одет хорошо. Конечно, милиция и закон защищают Русанова от плохо одетого человека, но эта защита придет неизбежно с опозданием, она придет, чтобы наказать негодяя уже потом, а столкнувшись с ним лицом к лицу Павел Николаевич по сути незащищен — и ни положение, ни заслуги никак не защитят, а тот может и оскорбить беспричинно, и выругать матерно, и ударить кулаком в лицо ни за что, ни про что, и испортить костюм или даже силою его снять.

И вот, ничего на свете не боясь, Русанов стал испытывать вполне нормальную оправданную боязнь перед распущенными полупьяными людьми, а точнее — перед прямым ударом кулаком в лицо.

Потому так взволновало его сперва и известие о возврате Родичева: Русанов представил, что Родичев первым долгом двинет кулаком в лицо. Не то, чтобы он или Гузун стали действовать по закону: по закону они, пожалуй, до Русанова не доберутся, и никаких претензий иметь не могут, не должны. Но что, если они сохранились здоровыми мужиками и захотят, вульгарно говоря, набить морду?

Вот этот-то страх Павел Николаевич и должен был в себе преодолеть, погасить, как волевой сознательный человек новой формации.

Да прежде всего это — пустое воображение. Еще, может быть, никакого Родичева нет, и дай Бог, чтоб он не вернулся. Все эти разговорчики о в о з в р а т а х вполне могут быть легендами, потому что в ходе крупных событий, прикасаясь к ним, Павел Николаевич пока не ощущал тех признаков, которые могли бы предвещать новый характер жизни.

Потом, если даже Родичев действительно вернулся, то в К*, а не сюда. И ему сейчас не до того, чтобы искать Русанова, а самому надо оглядываться, как бы его из К* не выпер-

ли снова. Так что зря был первый невольный испуг Павла Николаевича.

А если он и начнет искать, то не сразу же найдет ни точку сюда. И сюда поезд идет трое суток через восемь областей. И, даже доехав сюда, он во всяком случае явится домой, а не в больницу. А в больнице Павел Николаевич как раз в полной безопасности.

В безопасности!.. Смешно... С этой опухолью — и в безопасности. Лучше умереть, чем бояться каждого возврата. Какое это безумие! — возвращать их! Зачем? Они там привыкли, они там смирились — зачем же пускать их сюда, баламутить людям жизнь?..

Кажется, все-таки, Павел Николаевич перегорел и готов был ко сну. Надо было постараться заснуть.

Но ему требовалось выйти — самая неприятная процедура в клинике.

Осторожно поворачиваясь, осторожно двигаясь — а опухоль железным кулаком сидела у него на шее и давила — он выбрался из закатистой кровати, надел пижаму, шлепанцы, очки, и пошел, тихо шаркая.

За столом бодрствовала строгая черная Мария и чутко повернулась на его шарканье.

У начала лестницы в кровати какой-то новичок, грек с большим чубом, терзался и стонал. Лежать он не мог, сидел и бессонными глазами ужаса проводил Павла Николаевича.

На средней площадке маленький, еще причесанный, желтый-прежелтый, полусидел на двух подмощенных подушках и дышал из кислородной подушки плащ-палаточного материала. У него на тумбочке лежали апельсины, печенье, рахат-лукум, стоял кефир, но все это было ему безразлично — простой бесплотный чистый воздух не входил в его легкие, сколько нужно.

В нижнем коридоре еще стояли койки с больными. Одни спали. Старуха восточного вида с растрепавшимися космами раскидалась в муке по подушке.

Потом он миновал маленькую коморку, где на один и тот же короткий нечистый диванчик клали всех, не разбирая, для клизм.

И, наконец, набрав воздуха и стараясь его удержать, Павел Николаевич вступил в уборную. В этой уборной, без кабин и даже без унитазов, он особенно чувствовал себя неотгороженным, приниженным к праху. Санитарки убирали здесь много раз в день, но не успевали и всегда были свежи следы или рвоты, или крови, или пакости. Ведь этой уборной пользовались дикари, не привыкшие к удобствам, и больные,

доведенные до края. Надо бы попасть к главному врачу и добиться для себя разрешения ходить во врачебную уборную.

Но эту деловую мысль Павел Николаевич сформулировал как-то вяло.

Он опять пошел мимо клизменной кабинки, мимо растрепанной казашки, мимо спящих в коридоре.

Мимо обреченного с кислородной подушкой.

А наверху грек прохрипел ему страшным шепотом:

— Слушай, браток! А тут — всех вылечивают? Или умирают тоже?

Русанов дико посмотрел на него — и при этом движении остро почувствовал, что уже не может отдельно поворачивать головой, что должен, как Ефрем, поворачиваться всем корпусом. Страшная прилепина на шее давила ему вверх на челюсть и вниз, на ключицу.

Он поспешил к себе.

О чем он думал?!.. Кого он еще боялся!.. На кого надеялся?..

Тут, между челюстью и ключицей, была судьба его.

Его правосудие.

И перед этим правосудием он не знал знакомств, заслуг, защиты.

15.

— А тебе сколько лет?

— Двадцать шесть.

— Ох, порядочно!

— А тебе?

— Мне шестнадцать. Ну, как в шестнадцать лет ногу отдавать, ты подумай?

— А по какое место хотят?

— Да по колено — точно, они меньше не берут, уж я тут видел. А чаще — с запасом. Вот так... Будет культия болтаться....

— Протез сделаешь. Ты чем вообще заниматься собираешься?

— Да я мечтаю в университет.

— На какой факультет?

— Да или филологический, или исторический.

— А конкурс пройдешь?

— Думаю, что да. Я — никогда не волнуюсь. Спокойный очень.

— Ну, и хорошо. И чем же протез тебе будет мешать? И учиться будешь, и работать. Даже еще усидчивей. В науке больше сделаешь.

— А вообще жизнь?

— А кроме науки — что вообще?

— Ну, там...

— Жениться?

— Да хотя бы...

— Найде-опш! На всякое дерево птичка садится!... А какая альтернатива?

— Что?

— Или нога или жизнь?

— Да — на авось. А может — само пройдет!

— Нет, Дема, на авось мостов не строят. От авоськи только авоська осталась. Рассчитывать на такую удачу в рамках разумного нельзя. Тебе опухоль называют как-нибудь?

— Да вроде «Эс-а».

— Эс-а? Тогда надо оперировать.

— А что, знаешь?

— Знаю. Мне бы вот сейчас сказали отдать ногу — и то я б отдал. Хотя моей жизни весь смысл — только в движении — пешком и на коне, а автомобили там не ходят.

— А что? Уже не предлагают?

— Нет.

— Пропустил??

— Да как тебе сказать... Не то, чтобы пропустил... Ну, отчасти и пропустил. В поле завертелся. Надо было месяца три назад приехать, а я работы бросить не хотел. А от ходьбы, от езды хуже натиралось, мокло, гной прорывался. А прорвется — легче, опять работать хочется. Думаю — еще подожду. Мне и сейчас так трет, что лучше бы брючину одну срезать или голым сидеть.

— А не перевязывают?

— Нет.

— А покажи, можно?

— Посмотри.

.

— У-у-у-у-у, какая... Да темная.

— Она от природы темная. Здесь у меня от рождения было большое родимое пятно. Вот оно и переродилось.

— А это что такое?

— А это вот три свища остались от трех прорывов.... В общем, Демка, у меня опухоль совсем другая, чем у тебя. У меня — меланобластома. Эта сволочь не падит. Как правило — восемь месяцев — и с копыт.

— А откуда ты знаешь?

— Еще досюда книжку прочел. Прочел — тогда и схватился. Но дело в том, что если бы я и раньше приехал — все равно б они оперировать не взялись. Меланобластома такая гадина, что только тронь ножом — и сейчас же дает метастазы. Она тоже хочет жить, по-своему, понимаешь? Что я за эти месяцы пропустил — это в паху появилось.

— А что Людмила Афанасьевна говорит? Она тебя в субботу вызывала?

— А вот она говорит, что надо попробовать достать такое коллоидное золото. Если его достать, то в паху, может быть, останоят, а на ногу приглушат рентгеном, — и так оттянут...

— Вылечат?

— Нет, Демка, вылечить меня уже нельзя. От меланобластомы вообще не вылечиваются. Таких выздоровевших нет. А мне? Отнять ногу — мало, а выше — где ж резать? Сейчас идет вопрос — как оттянуть? И сколько я выигрываю: месяцы или годы?

— То-есть... что же? Ты, значит?..

— Да. Я — значит. Я уже, Демка, это принял. Но не тот живет больше, кто живет дольше. Для меня весь вопрос сейчас — что я успею сделать. Надо же что-то успеть сделать на земле! Мне нужно три года! Если б мне дали три года, ничего больше не прошу! Но эти три года мне не в клинике надо лежать, а быть в поле.

Они тихо совсем разговаривали на койке Вадима Зацырко у окна. Весь разговор их слышать мог бы по соседству только Ефрем, но он с утра лежал бесчувственным чурбаном и глаз не сводил с одного потолка. Еще Русанов, наверно, слышал; он несколько раз с симпатией взглянул на Зацырко.

— А что ж ты сможешь сделать? — хмурился Демка.

— Ну, попробуй понять. Я проверяю сейчас новую очень спорную идею — большие ученые в центре в нее почти не верят, что залежи полиметаллических руд можно обнаружить по радиоактивным водам. «Радиоактивные» знаешь, что такое?.. Тут тысяча аргументов, но на бумаге можно все, что угодно, и защитить и отвергнуть. А я чувствую, вот чувствую, что могу доказать это все на деле. Но для этого надо все время быть в поле, и конкретно найти руды по водам, больше ни по чему. И желательно — с повторением. А работа — есть работа, на что силы не уходят? Вот, например, вакуум-насоса нет, и центробежный, чтоб запустить, надо воздух вытянуть. Чем? Ртом! И нахлебался радиоактивной

воды. Да и запросто мы ее пьем. Киргизы-рабочие говорят: наши отцы тут не пили, и мы пить не будем. А мы, русские пьем. Да имея меланобластому — что мне бояться радиоактивности? Как раз мне-то и работать.

— Ну, и дурак! — проговорил Ефрем, не поворачиваясь, невыразительным скрипучим голосом. Он, значит, все слышал.

— Умирать будешь — зачем тебе геология? Она тебе не поможет. Задумался бы лучше — чем люди живы?

У Вадима неподвижно хранилась нога, но собственная голова его легко повернулась на гибкой свободной шее. Он готовно блеснул черными живыми глазами, чуть дрогнули его мягкие изгибистые губы, и он ответил, не обидевшись нисколько:

— А я как раз знаю. Творчеством! И очень помогает. Ни пить, ни есть не надо.

И мелко постукал граненым пластмассовым автокарандашом между зубами, следя, насколько он понят.

— Ты вот эту книжицу прочти, удивись! — все так же не ворочая корпуса и не видя Зацырко, постукал Поддубов корявым ногтем по синенькой.

— А я уже смотрел, — с большой быстротой успевал отвечать Вадим. — Не для нашего века. Слишком бесформенно, неэнергично. А по нашему: работать больше! И не в свой карман. Вот и все.

Русанов встрепенулся, приветливо сверкнул очами и громко спросил:

— Скажите, молодой человек, вы — коммунист?

С той же готовностью и простотой Вадим перевел глаза на Русанова.

— Да, — мягко сказал он.

— Я был уверен! — торжественно возгласил Русанов и поднял палец.

Он очень был похож на преподавателя.

Вадим шлепнул Демку по плечу:

— Ну, иди к себе. Работать надо.

И наклонился над «Геохимическими методами», где лежал у него небольшой листик с мелкими выписками и крупными восклицательными и вопросительными знаками.

Он читал, а граненый черный автокарандаш в его пальцах чуть двигался.

Он весь читал, и уже как бы его здесь не было, но, ободренный его поддержкой, Павел Николаевич хотел еще больше подбодриться перед вторым уколom и решил теперь доломать Ефрема, чтоб тот не нагонял здесь и дальше тоски.

И от стены к стене глядя на него прямо, он стал ему договаривать:

— Товарищ дает вам хороший урок, товарищ Поддуев. Нельзя так поддаваться болезни. И нельзя поддаваться первой поповской книжечке. Вы практически играете на руку... — Он хотел сказать «врагам», в обычной жизни всегда можно было указать врагов, но здесь, на больничных койках, кто ж был их враг?.. — Надо уметь видеть глубину жизни. И прежде всего природу подвига. А что движет людьми в производственном подвиге? Или в подвигах Отечественной войны? Или, например, войны Гражданской? Голодные, необутые, не одетые, безоружные...

Странно неподвижен был сегодня Ефрем: он не только не вылезал топать по проходу, но он как бы совсем утратил многие из своих обычных движений. Прежде он берег только шею и неохотно поворачивал туловищем при голове, сегодня же он ни ногой не пошевельнул, ни рукой, только вот по книжке постучал пальцем. Его уговаривали позавтракать, он ответил: «не наелся — не налижешься». Он до завтрака и после завтрака лежал так неподвижно, что если б иногда не моргал, можно было подумать, что его спяло окостенение.

А глаза были открыты.

Глаза были открыты, и как раз чтобы видеть Русанова ему не надо было ничуть поворачиваться. Его-то, белорылого, одного он и видел кроме потолка и стены.

И он слышал, что разъяснял ему Русанов. И губы его шевельнулись, раздался все тот же недоброжелательный голос, только еще менее вятно разделяя слова:

— А что — Гражданская? Ты воевал, что ль, в Гражданскую?

Павел Николаевич вздохнул:

— Мы с вами, товарищ Поддуев, еще по возрасту не могли тогда воевать.

Ефрем потянул носом.

— Не знаю, чего ты не воевал. Я воевал.

Павел Николаевич интеллигентно поднял брови за очками:

— Как же это могло быть?

— Очень просто, — медленно говорил Ефрем, отдыхая между фразами. — Наган взял и воевал. Забавно... Не я один.

— Где же это вы так воевали?

— Под Ижевском. Учредилку били. Я ижевских сам семерых застрелил. И сейчас помню.

Да, он, кажется, всех семерых, взрослых, мог вспомнить

сейчас; где и кого уложил, пацан, на улицах мятежного города.

Что-то еще ему очкарик объяснял, но у Ефрема сегодня будто уши залегали, и он не надолго выныривал что-нибудь слышать.

Как он открыл на рассвете глаза и увидел над собой кусок голого белого потолка, так вступил в него толчком, вошел с неприкрытостью, а без всякого повода, один давний ничтожный и совсем забытый случай.

Был день в ноябре, уже после войны. Шел снег и тут же подтаивал, а на выброшенной из траншеи более теплой земле таял начисто. Копали под газопровод, и проектная глубина была метр восемьдесят. Поддуев прошел там мимо и видел, что глубины нужной еще нет. Но явился бригадир и нагло уверял, что по всей длине уже полный профиль. «Чего, мерить пойдем? Тебе и хуже будет». Поддуев взял мерный шест, где у него через каждые десять сантиметров была выжжена поперечная черная полоска, каждая пятая длинней, и они пошли мерить, увязая в размокшей, раскисшей глине, он — сапогами, бригадир — ботинками. В одном месте померили — метр семьдесят, пошли дальше. Тут копали трое: один длинный тощий мужик, черно заросший по лицу; один — бывший военный, еще в фуражке, хоть и звездочка была с нее давно содрана, и лакированный ободок, и лакированный козырек, а малиновый околыш был весь в извести и глине; третий же, молоденький, был в кепочке и городском пальтишке (в те годы с обмундированием было трудно, и им казенного не выдали), да еще пальтишке спитом на него, наверно, когда он был школьником, коротком, тесном, изношенном. (Это его пальтишко Ефрем, кажется, только сейчас в первый раз так ясно увидел). Первые два еще ковырялись, взмахивая наверх лопатами, хотя размокшая глина не отлипала от железа, а этот третий, птенец, стоял, грудью опершись на лопату, как будто проткнутый ею, свисая с нее как чучело, белое от снега, и руки собрав в рукавишки. На руки им ничего не выдали, на ногах же у военного были сапоги, а те двое — в чунях из автомобильных покрышек. «Чего стоишь разиней? — крикнул на малого бригадир. — За штрафным пайком? Будет!». Малой только вздохнул и опал, и еще будто глубже вошел ему черенок в грудь. Бригадир тогда съездил его по шее, тот отряхнулся, взялся тыкать лопатой.

Стали мерить. Земля была набросана с двух сторон вплоть к траншее, и чтоб верхнюю зарубку верно заметить на глаз, надо было наклониться туда сильно. Военный стал будто помогать, а на самом деле клонил рейку вбок, выгадывая

лишних десять сантиметров. Поддуев матюгнулся на него, поставил рейку ровно, и явно получилось метр шестьдесят пять.

— Слушай, гражданин начальник, — попросил тогда военный тихо. — Эти последние сантиметры ты нам прости. Нам их не взять. Курсан пустой, сил нет. И погода — видишь...

— А я за вас на скамью, да? Еще чего придумали! Есть проект. И чтобы откосы ровные были, а не желобок посредине.

Пока Поддуев разогнулся, выбрал наверх рейку и вытянул ноги из глины, они все трое задрали к нему лица — одно чернобородое, другое как у загнанной борзой, третье в пушке, никогда не бритое, и падал снег на их лица как неживые, а они смотрели на него вверх. И малой разорвал губы, сказал:

— Ничего. И ты будешь умирать, десятник!

А Поддуев не писал записку посадить их в карцер — только оформил точно, что они заработали, чтоб не брать себе на шею их лихо. И уж если вспоминать, так были случаи покрутей. И с тех пор прошло десять лет, Поддуев уже не работал в лагерях, бригадир тот освободился, тот газопровод клал временно, и может, он уже газу не подает, и трубы пошли на другое, — а вот осталось, вынырнуло сегодня и первым звуком дня вступило в ухо:

— И ты будешь умирать, десятник!

И ничем таким, что весит, Ефрем не мог от этого загордиться. Что он еще жить хочет? И малой хотел. Что у Ефрема сильная воля? Что он понял новое что-то и хотел бы иначе жить? Болезнь этого не слушает, у нее свой п р о е к т.

Вот эта книжечка синяя с золотым росчерком, четвертую ночь ночевавшая у Ефрема под матрацем, напечатала что-то про индусов, как они верят, что умираем мы не целиком, а душа наша переселяется в животных или других людей. Такой проект нравился сейчас Поддуеву: хоть что-нибудь свое бы вынести, не дать ему накрыться. Хоть что-нибудь свое пронести бы через смерть.

Только не верил он в это переселение душ, ни на поросчатый нос.

Стреляло ему от шеи в голову, стреляло не переставая, да как-то ровно стало бить, на четыре удара. И четыре удара втолакивали ему: Умер. — Ефрем. — Поддуев. — Точка. Умер. — Ефрем. — Поддуев. — Точка.

И так без конца. И сам про себя он стал эти слова повторять. И чем больше повторял, тем как будто сам отделился от Ефрема Поддуева, обреченного умереть. И привыкал к его смерти, как к смерти соседа. А то, что в нем раз-

мышляло о смерти Ефрема Поддугева, соседа, — вот это, вроде, умереть бы было не должно.

А Поддугеву, соседу? Ему спасенья как будто и не оставалось. Разве только если бы березовую трутовицу пить? Но написано ж в письме, что пить ее надо год, не прерываясь. Для этого надо высушенной трутовицы пуда два, а мокрой — четыре. А посылка это будет, значит, восемь. И еще, чтоб трутовица не залеживалась, была бы недавно с дерева. Так не чохом все посылки, а в разрядочку, в месяц раз. Кто же эти посылки будет ему собирать ко времени да присылать? Оттуда, из России?

Это надо, чтоб свой человек, родной.

Много-много людей перешло через Ефрема за жизнь, и ни один из них не зацепился как родной.

Это бы первая женка его Амина могла бы собирать — присылать. Туда, за Урал, некому и написать, кроме как только ей. А она напишет: «Подыхай под забором, старый кобель!» И будет права.

Права по тому, как это принято. А вот по этой синей книжечке не права. По книжечке выходит, что Амина должна его пожалеть, и даже любить — не как мужа, но как просто страдающего человека. И посылки с трутовицей — слать.

Книга-то получалась очень правильная, если бы все сразу стали по ней жить...

Тут наплыло Ефрему в отлежные уши, как геолог говорил, что живет для работы. Ефрем ему по книжечке ногтем и постукал.

А потом опять, не видя и не слыша, он погрузился в свое. И опять ему стреляло в голову.

И если бы только не донимала его эта стрельба, так легче и приятней всего ему было бы сейчас не двигаться, не лечиться, не есть, не разговаривать, не слышать, не видеть.

А просто — перестать быть.

Но трясли его за ногу и за локоть, это Ахмаджан помогал, а девка из хирургической оказывается давно над ним стояла и звала на перевязку.

И вот Ефрему надо было за чем-то ненужным подняться. Шести пудам своего тела надо было передать эту волю — встать: напрячься ногам, рукам, спине, и из покоя, куда стали погружаться кости, оброщенные мясом, заставить их сочленения работать, их тяжесть — подняться, составить столб, облачить его в курточку и понести столб коридорами и лестницей для бесполезного мучения — для размотки и потом замотки десятков метров бинтов.

Это было все долго, больно и в каком-то сером шумке.

Кроме Евгении Устиновны были еще два хирурга, которые сами почему-то операций никогда не делали и она им что-то толковала, показывала, и Ефрему говорила, а он ей не отвечал.

Он чувствовал так, что говорить им уже не о чем. Безразличный серый шумок обволакивал все речи.

Его обмотали белым обручем мощнее прежнего и так он вернулся в палату. То, что его обматывало, уже было больше его головы — и только верх настоящей головы высывался из обруча.

Тут ему встретился Костоготов. Он шел, достав кисет с махоркой.

— Ну что решили?

Ефрем подумал: а что, правда, решили? И хотя в перевязочной он как будто ни во что не вникал, но сейчас понял и ответил ясно:

— Удаvisь где хочешь, только не в нашем дворе.

Федерау со страхом смотрел на чудовищную шею, которая, может, ждала и его, и спросил:

— Выписывают?

И только этот вопрос объяснил Ефрему, что нельзя ему опять лечь в постель, как он хотел, а надо собираться к выписке.

А потом, когда и наклониться нельзя, — переодеваться в свои обычные вещи.

А потом через силу передвигать столб тела по улицам города.

И ему нестерпимо представилось, что еще это он должен напрягаться делать, неизвестно зачем и для кого.

Костоготов смотрел на него не с жалостью, а — с солдатским сочувствием: эта пуля твоя оказалась, а следующая, может, моя. Он не знал прошлой жизни Ефрема, не дружил с ним и в палате, а прямота его ему нравилась, и это был далеко не самый плохой человек из встречавшихся Олегу в жизни.

— Ну, держи, Ефрем! — размахнул он рукой.

Ефрем, приняв пожатие, оскалился!

— Родится — вертится, растет — бесится, помрет — туда дорога.

Олег повернулся идти курить, но в дверь вошла лаборантка, разносившая газеты, и по близости протянула ему. Костоготов принял, развернул, но доглядел Русанов и громко, с обидой, выговорил лаборантке, еще не успевшей ушмыгнуть:

— Послушайте! Послушайте! Но ведь я же ясно просил давать газету первому мне!

Настоящая боль была в его голосе, но Костоглотов не пожалел его, а только отгавкнулся:

— А почему это вам первому?

— Ну, как почему? Как почему? — вслух страдал Павел Николаевич, страдая от неоспоримости, ясной видимости своего права, но невозможности защитить его словами.

Он испытывал не что иное, как ревность, если кто-нибудь другой до него непосвященными пальцами разворачивал свежую газету. Никто из них тут не мог бы понять в газете того, что понимал Павел Николаевич. Он понимал газету как открыто распространяемую, а на самом деле зашифрованную инструкцию, где нельзя было высказать всего прямо, но где знающему умелому человеку можно было по разным мелким признакам, по расположению статей, по тому, что не указано и опущено, — составить верное понятие о новейшем направлении. И именно поэтому Русанов должен был читать газету первый.

Но высказать-то это было здесь нельзя! И Павел Николаевич только пожаловался:

— Мне ведь укол сейчас будут делать. Я до укола хочу посмотреть.

— Укол? — Оглоед смягчился. — Се-час...

Он досматривал газету впробежь, материалы сессии и отнесенные ими другие сообщения. Он и шел-то курить. Он уже зашуршал было газетой, чтоб ее отдать — и вдруг заметил что-то, влез в газету — и почти сразу стал настороженным голосом выговаривать одно и то же длинное слово, будто протирал его между языком и небом:

— Ин-те-рес-нень-ко... Ин-те-рес-нень-ко...

Четыре глухих бетховенских удара судьбы громыхнули у него над головой, — но никто не слышал в палате, может и не услышит — и что другое он мог выразить вслух?

— Да что такое? — взволновался Русанов вовсе. — Да дайте же сюда газету!

Костоглотов не потянулся никому ничего показывать. И Русанову он ничего не ответил. Он соединил газетные листы, еще сложил газету вдвое и вчетверо, как она была, но со своими шестью страницами она не легла точно в прежние сгибы, а пузырилась. И сделав шаг к Русанову (а тот к нему), передал газету. И тут же, не выходя, растянул свой шелковый кисет и стал дрожащими руками сворачивать махорочную газетную цыгарку.

И дрожащими руками разворачивал газету Павел Ни-

колаевич. Это «интересненько» Костоглотова пришлось ему как нож между ребрами. Что это могло быть Оглоедову «интересненько»?

Умело и делово, он быстро проходил глазами по заголовкам, по материалам сессии и вдруг, и вдруг... Как? Как?..

Совсем не крупно набранный, совсем незначительный для тех, кто не понимает, со страницы кричал! кричал! небывалый! невозможный указ! — о полной смене Верховного Суда! Верховного Суда Союза!

Как?! Матулевич, заместитель Ульриха?! Дотистов? Павленко? И Клопов?! — сколько стоит Верховный Суд, столько был в нем и Клопов! И Клопова — сняли!.. Да кто же будет беречь кадры?.. Совершенно новые какие-то имена... Всех, кто вершил правосудие четверть столетия — одним ударом!

Это не могла быть случайность!

Это был шаг истории...

Испарина выступила у Павла Николаевича. Только сегодня к утру он успокоил себя, что все страхи — пусты, и вот...

— Вам укол.

— Что?? — безумно вскинулся он.

Доктор Гангарт стояла перед ним со шприцем.

— Обнажите руку, Русанов. Вам укол.

16.

Он полз. Он полз какой-то бетонной трубой — не трубой, а тоннелем, что ли, а из боков торчала незаделанная арматура и за нее он цеплялся иногда и как раз правой стеной шеи, больной. Он полз на груди и больше всего ощущая тяжесть тела, прижимающего его к земле. Эта тяжесть была гораздо больше, чем вес его тела, он не привык к такой тяжести, его просто плющило. Он думал сперва, что это бетон сверху придавливает — нет, это такое тяжелое было его тело. Он ощущал его и тащил его, как мешок железного лома. Он подумал, что с такой тяжестью и на ноги, пожалуй, не встанет, но главное дело — выползти из этого прохода, хоть вздохнуть, хоть на свет посмотреть. А проход не кончался, не кончался.

Тут чей-то голос, — но без голоса, а передавая одни мысли, скомандовал ему ползти вбок. Как же я туда поползу,

если там стена? — подумал он. Но с такой тяжестью, с какой плющилось его тело, ему была и неотвратимая команда ползти вбок. Он закричал и пополз — и правда, так же и полз, как и раньше прямо. Только он приноровился сюда — дана была ему команда ползти в другой бок. Он застонал, стал двигаться туда. Все было одинаково тяжело, а ни света, ни конца не проглядывало. Тот же внятный голос велел ему заворачивать вправо, да побыстрей. Он заработал локтями и ступнями, и хотя справа была непроницаемая стена — а полз, и как будто получалось. И тут было ему веление забрать влево и тоже быстро — и уже не сомневаясь и не думая, он заработал локтями влево — и пошло. Все время он цеплялся шеей, а в голову отдавалось. Так тяжело он еще никогда не попадал в жизни, и обидней всего будет, если он так и умрет здесь, не доползя.

Но вдруг polegали его ноги — стали легкие, как будто их воздухом надули, и стали ноги подниматься, а грудью и головой он был попрежнему прижат к земле. Он прислушался — команды ему никакой не было. И тогда он придумал, что вот так можно и выбраться: пусть ноги поднимутся из трубы, а он за ними назад поползет, и выползет. И действительно, он стал пятиться и, вынимаясь на руках — откуда сила бзялась? — стал лезть вслед за ногами назад, через дыру. Дыра была узкая, но главное — вся кровь прилила в голову, и он думал, что так тут и умрет, голова разорвется. Но еще немножко руками оттолкнулся от стенок — обдирало его со всех сторон — и все-таки вылез.

И оказался на трубе, среди какого-то строительства, только безлюдного, очевидно рабочий день кончился. Вокруг была грязная топкая земля. Он сел на трубе передохнуть — и увидел, что рядом сидит девушка в рабочей испачканной одежде, а с головой неприкрытой, соломенные волосы распущены, и ни одного гребня, ни шпильки. Девушка не смотрела на него, просто так сидела, но ждала от него вопроса, он знал. Он сперва испугался, а потом понял, что она его боится еще больше. Ему совсем было не до разговоров, но она так ждала вопроса, что он спросил:

— Девушка, а где твоя мать?

— Не знаю, — ответила девушка, смотрела себе под ноги и ногти кусала.

— Ну, как не знаешь? — он начинал сердиться. — Ты должна знать. И ты должна откровенно сказать. И написать все как есть... Что ты молчишь? Я еще раз спрашиваю — где твоя мать?

— А я у вас хочу спросить, — взглянула девушка.

Она взглянула — и глаза ее были водянистые. И его сразу пробрало, и он несколько раз догадался, но не одно за другим, а сразу все несколько раз. Он догадался, что это — дочь пресовщицы Груши, посаженной за болтовню против Вождя Народа. И что эта дочь принесла ему неправильную анкету, скрыла, и он вызывал ее и грозил судить за неправильную анкету, и тогда она отравилась. Она отравилась, но сейчас-то по волосам и глазам он догадался, что она утопилась. И еще догадался, что если она утопилась, а он сидит с ней рядом — так он тоже умер. И его всего проняла испарина. Он вытер испарину, а ей сказал:

— Ну и жарница! А где б воды выпить, ты не знаешь?

— Вон, — кивнула девушка.

Она показала ему на какое-то корыто или ящик, наполненный застоявшейся дождевой водой вперемежку с зеленоватой глиной. И тут он еще раз догадался, что вот этой-то воды она тогда и наглоталась, а теперь хочет, чтоб и он захлебнулся. Но если так она хочет, значит, он еще жив?

— Вот что, — схитрил он, чтоб от нее отделаться. — Ты сходи и позови мне сюда прораба. И пусть он для меня сапоги захватит, а то как же я пойду?

Девушка кивнула, соскочила с трубы и похлопала по лужам, такой же простоволосой неряхой, а в комбинезоне и в сапогах, как ходят девушки на строительствах.

Ему же так пить хотелось, что он решил выпить и из этого корыта. Если немножко выпить, так ничего. Он слез и с удивлением заметил, что по грязи ничуть не скользит: земля под ногами была какая-то неопределенная. И все вокруг было неопределенное, не было ничего видно вдаль. Он мог бы и так идти, но вдруг испугался, что потерял важную бумагу. Проверил карманы — все сразу карманы, и еще быстрее, чем управлялись руки, понял, что — да, потерял.

Он испугался сразу, очень испугался, потому что по теперешним временам таких бумаг людям читать не надо. Могут быть большие для него неприятности. И сразу он понял, где потерял — когда вылезал из трубы. И он быстро пошел назад. Но не находил этого места. Совсем он не узнавал места. И трубы никакой не было. Зато ходили туда-сюда рабочие. И это было хуже всего: они могли найти!

Рабочие были все незнакомые, молодые. Какой-то парень в брезентовой куртке сварщика, с крылышками на плечах остановился и смотрел на него. Зачем он так смотрел? Может, он нашел?

— Слушай, парень, у тебя спичек нет? — спросил Русанов.

— Ты же не куришь, — ответил сварщик.

(Все знают! Откуда знают?).

— Мне для другого спички нужны.

— А для чего для другого? — присматривался сварщик.

И действительно, как глупо он ответил! Это же типичный ответ диверсанта. Могут его задержать — а тем временем найдется бумага. А спички ему вот для чего — чтобы сжечь ту бумагу.

А парень ближе, ближе к нему подходил. — Русанов очень перепугался, предчувствуя. Парень заглянул глазами в глаза и сказал четко, отдельно:

— Судя по тому, что Ельчанская как бы завещала мне свою дочь, я заключаю, что она чувствует себя виноватой и ждет ареста.

Русанов задрожал в перезнобе:

— А вы откуда знаете?

(Это он так спросил, а понятно было, что парень только что прочел его донесение: слово в слово было оттуда!).

Но сварщик ничего не ответил и пошел своей дорогой. И Русанов заметался! Ясно было, что где-то тут близко лежит его донесение, и надо найти скорей, скорей!

И он кидался между какими-то стенами, заворачивал за углы, сердце выскакивало вперед, а ноги не успевали, ноги совсем медленно двигались, отчаяние! Но вот он уже увидел бумажку! Он так сразу и подумал, что это она. Он хотел бежать к ней, но ноги совсем не шли. Тогда он опустился на четвереньки и главные толчки давая руками, пошел к бумаге. Только бы кто-нибудь не захватил раньше! Только бы не опередили, не выхватили! ближе, ближе... И, наконец, он схватил бумагу! Она!! Но даже в пальцах уже не было сил рвать, и он лег ничком отдохнуть, а ее поджал под себя.

И тут кто-то тронул его за плечо. Он решил не оборачиваться и не выпускать из-под себя бумаги. Но его трогали мягко, это женская была рука, и Русанов догадался, что это была сама Ельчанская.

— Друг мой! — мягко спросила она, наверно наклонясь к самому его уху. — А, друг мой! Скажите, где моя дочь? Куда вы ее дели?

— Она в хорошем месте, Елена Федоровна, не беспокойтесь! — ответил Русанов, но голову к ней не повернул.

— А в каком месте?

— В детприемнике.

— А в каком детприемнике? — Она не допрашивала, ее голос звучал печально.

— Вот не скажу, право. — Уж он искренне хотел ей

ответить, но сам не знал: не он сдавал, а из того места могли переслать.

— А — под моей фамилией? — почти нежно звучали ее вопросы за плечом.

— Нет, — посочувствовал Русанов. — Такой уж порядок: фамилию меняют. Я не причем, такой порядок.

Он лежал и вспоминал, что Ельчанских обоих он почти даже любил. Он никакого не имел против них зла. И если пришлось написать на старика, то лишь потому, что просил Чухненко, которому Ельчанский мешал работать. И после посадки мужа Русанов искренне заботился о жене и дочери, и тогда, ожидая ареста, она поручила ему дочь. Но как вышло, что он и на нее написал, — он не мог вспомнить.

Теперь он обернулся с земли посмотреть на нее, но ее не было, совсем не было (да ведь она же и умерла, как она могла быть?), а вместо этого сильно кольнуло ему в шее, в правой стороне. И он выровнял голову и продолжал лежать. Ему надо было отдохнуть — он так устал, как никогда не уставал! Все тело ему ломало.

Это был какой-то шахтный проход, где он лежал, штольня, но глаза его привыкли к темноте, и он заметил рядом с собой на земле, засыпанный мелким антрацитом, телефонный аппарат. Вот это его очень удивило — откуда здесь мог взяться городской аппарат? И неужели он подключен? Тогда можно позвонить, чтобы принесли ему попить. И вообще бы взяли его в больницу.

Он снял трубку, но вместо гудка услышал бодрый деловой голос:

— Товарищ Русанов?

— Да, да, — живо подобрался Русанов (как-то сразу чувствовалось, что этот голос — сверху, а не снизу).

— Зайдите в Верховный Суд.

— В Верховный Суд? Есть! Сейчас! Хорошо! — и уже клал трубку, но опомнился: — Да, простите, в какой Верховный Суд — старый или новый?

— Новый, — ответили ему холодно. — Поторопитесь. — И положили трубку.

И он все вспомнил о смене Суда! — и проклял себя, что сам первый взял трубку. Матулевича не было... Клопова не было!.. Да и Берии не было! — Ну, времена!

Однако, надо были идти. Сам бы он не имел сил встать, но потому что вызывали — надо было подняться. Он напрягся четырьмя конечностями, привставая, и падал, как теленок, еще не научившийся ходить. Правда, ему не назначили точного времени, но сказали: «Поторопитесь!» Наконец, держась

за стенку, он стал на ноги. И так побрел на расслабленных неуверенных ногах, все время держась за стенку. Почему-то и шея болела справа.

Он шел и думал: неужели его будут судить? Неужели возможна такая жестокость: по прошествии стольких лет его судить? Ах, эта смена Суда! Ах, не к добру!

Ну, что ж, при всем его уважении к Высшей Судебной Инстанции ему ничего не остается, как защищаться и там. Он осмелится защищаться!

Вот что он им скажет: не я осуждал! и следствия вел тоже не я! Я только сигнализировал о подозрениях. Если в коммунальной уборной я нахожу клочок газеты с разорванным портретом Вождя — моя обязанность этот клочок принести и сигнализировать. А следствие на то и поставлено, чтобы проверить! Может быть, это случайность, может быть, это не так. Следствие для того и поставлено, чтобы выяснить истину! А я только исполнял простой гражданский долг.

Вот что он им скажет: все эти годы важно было оздоровить общество! Морально оздоровить А это невозможно без чистки общества. А чистка невозможна без тех, кто не брезгует совком.

Чем больше в нем разворачивались аргументы, тем больше он накалялся, как он им сейчас выскажет. Он даже хотел теперь скорей дойти, чтоб его скорей вызвали, и он им просто выкрикнет:

«Не я один это делал! Почему вы судите именно меня? А кто этого не делал? А как бы он на посту удержался, если бы не помог ал??! Гузун? Так и сам сел!»

Он напрягся, будто уже кричал — но заметил, что не кричит совсем, а только надулось горло. И болело.

Он шел уже будто не по штольне, а просто по коридору, а сзади его окликнули:

— Пашка! Ты что — больной? Чего это еле тащишься?

Он подбодрился и, кажется, пошел, как здоровый. Он обернулся, кто ж это его окликал — это был Звейнек, в юнгштурме с португеей.

— А ты куда, Ян? — спросил Павел и удивился. почему тот такой молодой. То-есть, он и был молодой, но сколько же с тех пор прошло?

— Как куда? Куда и ты, на комиссию.

— На какую ж комиссию? — стал спрашивать Павел. Ведь он был вызван в какое-то другое место, но уже не мог вспомнить — в какое.

И он подтянулся к шагу Звейнека и пошел с ним бодро,

быстро, молодо. И почувствовал, что ему еще нет двадцати, что он холостой парень.

Они стали проходить большое служебное помещение, где за многими канцелярскими столами сидела интеллигенция — старые бухгалтеры с бородами, как у попов и с галстуками: инженеры с молоточками в петлицах; пожилые дамы, как барыни: и машинистки молоденькие, накрашенные, в юбках выше колен. Как только они со Звейнеком вошли, четко выстукивая в четыре сапога, так все эти человек тридцать обернулись к ним, некоторые привстали, другие кланялись сидя, — и все вращали головами за ними, пока они шли, и на лицах у всех был испуг, а Павлу с Яном это льстило.

Они зашли в следующую комнату и здоровались с другими членами комиссии и рассаживались за столом под красной скатертью.

— Ну, запускайте! — распорядился Венька, председатель.

Запустили. Первая вошла тетя Груша из прессового цеха.

— Тетя Груша, а ты чего? — удивился Венька. — Ведь мы — аппарат чистим, а ты чего? Ты в аппарат, что ли, пролезла?

И все расхохотались.

— Да нет видишь, — не робела тетя Груша. — У меня дочка подрастает, надо бы дочку в садик устроить, а?

— Хорошо, тетя Груша! — крикнул Павел. — Пиши заявление, устроим. Дочку устроим. А сейчас не мешай, мы интеллигенцию чистить будем!

И потянулся налить себе воды из графина — но графин оказался пустой. Тогда он кивнул соседу, чтобы передали ему графин с того конца стола. Передали, но и он был пустой.

А пить хотелось так, что все горло жгло.

— Пить! — попросил он. — Пить!

— Сейчас, — сказала доктор Гангарт, — сейчас принесут воды. Русанов открыл глаза. Она сидела около него на постели.

— У меня в тумбочке компот, — слабо произнес Павел Николаевич. Его знобило, ломало, и в голове стучало тяжело.

— Ну, компота вам нальем, — улыбнулась Гангарт тоненькими губами. Она сама открыла тумбочку, доставая бутылку компота и стакан.

В окнах угадывался вечерний солнечный свет.

Павел Николаевич покосился, как Гангарт наливает ему компот. Чтоб чего-нибудь не подсыпала.

Кисло-сладкий компот был пронизывающе приятный. Па-

вел Николаевич с подушки из рук Гангарт выцедил весь стакан.

— Сегодня плохо мне было, — пожаловался он.

— Нет, вы ничего перенеесли, — не согласилась Гангарт. — Просто мы сегодня увеличили вам дозу.

Новое подозрение кольнуло Русанова.

— И что, каждый раз будете увеличивать?

— Теперь все время будет такая. Вы привыкнете, вам будет легче.

— А Верховный?.. — начал он и подрезался.

Он уже путал, о чем в бреду, о чем наяву.

17.

Вера Корнильевна беспокоилась, как Русанов перенесет полную дозу, за день навевывалась несколько раз и задержалась после конца работы. Она могла бы так часто не приходить, если бы дежурила Олимпиада Владиславовна, как было по графику, но ее все-таки взяли на курсы профказначеев, вместо нее сегодня днем дежурил Тургун, а он был слишком беспечен.

Русанов перенес укол тяжело, однако, в допустимых пределах. Вслед за уколом он получил снотворное и не просыпался, но беспокойно ворочался, дергался, стонал. Всякий раз Вера Корнильевна оставалась понаблюдать за ним и слушала его пульс. Он корчился и снова вытягивал ноги. Лицо его было красноватое, взмокшее. Без очков да еще на подушке голова его не имела строгого начальственного вида. Редкие белые волосики, уцелевшие от облысения, были жалко разлизаны по темени.

Но столько раз ходя в палату, Вера Корнильевна заодно делала и другие дела. Выписывался Поддуев, который считался старостой палаты, и хотя должность эта существовала ни для чего, однако, полагалась. И от койки Русанова перейдя по соседству к следующей, Вера Корнильевна объявила:

— Костоглотов. С сегодняшнего дня вы назначаетесь старостой палаты.

Костоглотов лежал поверх одеяла одетый и читал газету. (Уж второй раз Гангарт приходила, а он все читал газету). Всегда ожидая от него какого-нибудь выпада, Гангарт сопровождала свою фразу легкой улыбкой, как бы объясняя, что и сама понимает, что все это ни к чему. Костоглотов поднял от газеты веселое лицо и, не зная, как лучше выразить

свое уважение к врачу, подтянул к себе слишком вытянутые по кровати длинные ноги. Вид его был очень благожелательный, а сказал он:

— Вера Корнильевна! Вы хотите нанести мне непоправимый моральный урон. Никакой администратор не свободен от ошибок, а иногда еще впадает в соблазн власти. Поэтому после многолетних размышлений я дал себе обет никогда больше не занимать административных должностей.

— А вы занимали? И высокие? — Она входила в забаву разговора с ним.

— Самая высокая была помкомвзвода. Но фактически даже еще выше. Моего командира взвода за полную тупость и неспособность отправили на курсы усовершенствования, откуда он должен был выйти не ниже, как командиром батареи — но уже не к нам в дивизион. А другого офицера, которого вместо него прислали, сразу пристегнули к политотделу сверх штата. Комдив мой не возражал, потому что я приличный был топограф и ребята меня слушались. И так я в звании старшего сержанта два года был исполняющим обязанности комвзвода — от Ельца до Франкфурта-на-Одере. И кстати, это были лучшие годы моей жизни, как ни смешно.

Все-таки и с поджатыми ногами получалось невежливо, он опустил их на пол.

— Ну вот видите, — улыбка расположения не сходила с лица Гангарт и когда она слушала его и когда сама говорила. — Зачем же вы отказываетесь? Вам опять будет хорошо.

— Славенькая логика! А демократия? Вы же попираете принципы демократии: палата меня не выбирала, избиратели не знают даже моей биографии... Кстати, и вы не знаете...

— Ну что ж, расскажите.

Она вообще не громко говорила, и он снизил голос для нее одной. Русанов спал, Зацырко читал, койка Поддуева была пуста, — их почти и не слышали.

— Это очень долго. И потом я смущен, что я сижу, а вы стоите. Так же не разговаривают с женщинами. Но если я, как солдат, встану сейчас в проходе, будет еще глупей. Вы присядьте на мою койку, пожалуйста.

— Вообще-то мне идти надо, — сказала она. И села на краешек.

— Видите, Вера Корнильевна, за приверженность демократии я больше всего в жизни пострадал. Я пытался насаждать демократию в армии — т. е., был дерзок с начальством. За это меня в 39-м не послали в училище, оставив рядовым. А в 40-м уже доехал до училища, так сдерзил и там,

и оттуда отчислили. И только в 41-м кой-как кончил курсы младших командиров на Дальнем Востоке. Честно говоря, очень досадно было мне, что я не офицер, все мои друзья пошли в офицеры. В молодости это как-то переживаешь. Но справедливость я ценил выше.

— У меня один близкий человек, — сказала Гангарт, глядя в одеяло, — тоже имел такую судьбу: очень развитой и рядовой.

Полпаузы, миг молчания, пролетел меж их головами, и она подняла глаза.

— Но вы и сегодня таким остались.

— То-есть: рядовым или развитым?

— Дерзким. Как, например, вы всегда разговариваете с врачами? Со мной особенно.

Она строго это спросила, но странная у нее это была строгость, вся пропитанная мягкостью, как все слова и движения Веры Гангарт. И не расплывчатой мягкостью, а какой-то мелодичной, построенной на гармонии.

— Я — с вами? Я с вами разговариваю исключительно почтительно. Это у меня высшая форма разговора, вы еще не знаете. А если вы имеете в виду первый день, так вы не представляете, в каких я был клещах. Еле-еле меня, умирающего, выпустили из области. Приехал сюда — тут вместо зимы дождь-проливняк, а у меня валенки подмышкой, а у нас же там морозяга. Шинель намокла, хоть отжимай. Валенки сдал в камеру хранения, сел в трамвай ехать в старый город, там у меня еще с фронта адрес моего солдата. А уж темно, весь трамвай отговаривает: не идите, зарежут! После амнистии 53-го года, когда всю пшану выпустили, никак ее опять не выловят. А я еще не был уверен, тут ли мой солдат, и улица такая, что никто ее не знает. Пошел по гостиницам. Такие красивые вестибюли в гостиницах, просто стыдно моими ногами входить, и кое-где даже места были, но вместо паспорта протяну я свое ссыльное удостоверение — «нельзя», «нельзя!» Ну что делать?

Умирать я готов был, но почему же под забором?

Иду прямо в милицию: «Слушайте, я в а ш. Устраивайте меня ночевать. Перемялись, говорят: «Идите в чайхану и ночуйте, мы там документов не проверяем». Но не нашел я чайханы, поехал опять на вокзал. Спать нельзя, милиционер ходит — гоняет. Утром — к вам в амбулаторию. Очередь. Посмотрели — сейчас же ложиться. Теперь двумя трамваями через весь город — в комендатуру. Так рабочий день по всему Советскому Союзу — а комендант ушел и наплевать. И никакой запиской он ссыльных не достаивает: может придет, мо-

жет нет. Тут я сообразил: если я ему удостоверение отдам — мне, пожалуй, валенок на вокзале не выдадут. Значит двумя трамваями опять на вокзал. Каждая поездка полтора часа.

— Что-то я у вас валенок не помню. Разве были?

— Не помните, потому что я тут же, на вокзале, эти валенки продал какому-то дядьке. Рассчитал, что эту зиму долежу в клинике, а до следующей не доживу. Теперь опять в комендатуру! — на одних трамваях червонец проездил. Там еще километр грязюкой переться, а ведь у меня боли, я еле иду. И всюду мешок свой тащу. Слава тебе, пришел комендант. Отдаю ему в залог разрешение моей областной комендатуры, показываю направление вашей амбулатории, отмечает: можно лечь. Теперь еду... не к вам еще, в центр. По афишам вижу, что идет «Спящая красавица».

— Ах вот как! Так вы еще по балетам? Ну, знала б не положила б! Не-ет!

— Вера Корнильевна, это — чудо. Перед смертью еще раз посмотреть балет! Да и без смерти я его в вечной ссылке никогда не увижу. Так нет же! черт! — заменили спектакль! Вместо «Спящей красавицы» пойдет «Агу-Валы».

Беззвучно смеясь, Гангарт качала головой. Да нет, вся эта затея умирающего с балетом ей, конечно, нравилась, очень нравилась.

— Что делать? В консерватории — фортепьянный концерт аспирантки. Но — далеко от вокзала, и угла лавки не захвачу. А дождь все лупит, все лупит! Один выход: ехать сдаваться вам. Приезжаю — «мест нет, придется несколько дней подождать». А больные говорят: тут и по неделе ждут. Где ждать? Что мне оставалось? Без лагерной хватки пропадешь. А тут вы еще бумажку из рук уносите, а?.. Как же я должен с вами разговаривать?

Теперь весело вспоминалось, обоим было смешно.

Он это все рассказывал без усилия мысли, а думал вот о чем: если она институт окончила в 45-ом году, то ей сейчас не меньше 31-го года, она ему почти ровесница. Почему же Вера Корнильевна кажется ему моложе двадцатитрехлетней Зой? — Не по лицу, а по повадке: по несмелости, по застыдчивости. В таких случаях бывает можно предположить, что она еще не... Что она... Внимательный взгляд может выделить таких женщин по неуловимым мелочам поведения. Но Гангарт замужем. Так почему же?..

А она смотрела на него и удивлялась, почему он вначале ей показался таким недоброжелательным и грубым. У него, правда, темный взгляд и жесткие складки, но он умеет смот-

реть и говорить очень дружелюбно и весело, вот как сейчас. Вернее у него всегда наготове и та, и другая манера, и он применяет их по необходимости.

— О балеринах и о валенках я теперь все усвоила, — улыбалась она. — Но — сапоги? Вы знаете, что ваши сапоги — это небывалое нарушение нашего режима.

И она сузила глаза.

— Опять режим, — скривился Костоглотов. — Но ведь прогулка даже в тюрьме положена. Я без прогулки не могу, я тогда не вылечусь. Вы ж не хотите лишить меня свежего воздуха?

Да, прогулку он любил. Он подолгу гулял сторонними одинокими аллеями медгородка, Гангарт видела. Выглядел он при этом необыкновенно. У кастелянши он выпросил себе дурно сшитый женский халат, которых мужчинам не давали, не хватало. Весь излишек этого халата он глубоко запахивал, перепоясывался широким армейским ремнем со звездной пряжкой, морщ халата сгонял под поясом с живота на бока, но полы халата все равно раздергивались — и в армейских сапогах, и без шапки, с косматой черной головой гулял крупными твердыми шагами, иногда медленными, иногда быстрыми, глядя на камни под собой, а дойдя до намеченного рубежа, всегда на нем поворачивался. И всегда он держал руки, сложенными за спиной. И всегда один, ни с кем.

— Вот на днях ожидается обход Низамутдина Бахрамовича, и знаете что будет, если он увидит ваши сапоги? Будет мне выговор в приказе.

Опять она не требовала, а просила, даже как бы жаловалась ему. Она сама удивлялась тому тону даже не равенства, а немного и подчинения, который установился между ними и которого у нее с больными никогда не бывало.

Костоглотов убеждая, тронул своей лапой ее руку:

— Вера Корнильевна! Стопроцентная гарантия, что он у меня их не найдет. И даже в вестибюле никогда в них не встретит.

— А на аллейке?

— А там он не узнает, что я — из его корпуса! Даже вот хотите, давайте для смеху напишем анонимный донос на меня, что у меня сапоги, и он с двумя санитарками придет здесь шарить — и никогда не найдут.

— А разве это хорошо — писать доносы? — она опять сузила глаза.

Еще вот: зачем она губы красила? Это было грубовато для нее, это нарушало ее тонкость. Он вздохнул.

— Да ведь пишут, Вера Корнильевна, как пишут! И

получается. Римляне говорили: *testis unus — testis nullus*, один свидетель — никакой не свидетель. А в двадцатом веке и один — лишний стал, и одного-то не надо.

Она увела глаза. Об этом трудно ведь было говорить.

— И куда ж вы их тогда спрячете?

— Сапоги? Да десятки способов, в зависимости от времени. Может быть в холодную печку кину, может быть, на веревочке за окно подвешу. Не беспокойтесь!

Нельзя было не засмеяться и не поверить, что он действительно вывернется.

— Но как вы умудрились не сдать их в первый день?

— Ну, уж это совсем просто. В той конуре, где переодевался, поставил за створку двери. Санитарка все остальное сгребла в мешок с биркой и унесла на центральный склад. Я из бани вышел, в газетку их обернул и понес.

Разговаривали о какой-то ерунде. Шел рабочий день, и почему она тут сидела? Русанов спокойно спал, потный, но спал, и рвоты не было. Гангарт еще раз подержала его пульс и уже было пошла, но тут же вспомнила, опять обернулась к Костоглову:

— Да, вы дополнительного еще не получаете?

— Никак нет, — наострился Костоглов.

— Значит с завтрашнего дня. В день два яйца, два стакана молока и пятьдесят грамм масла.

— Что-что? Могу ли я верить своим ушам? Да ведь меня никогда в жизни так не кормили!.. Впрочем, знаете, это справедливо. Ведь я за эту болезнь даже по бюллетеню не получу.

— Как это?

— Очень просто. Оказывается, я в профсоюзе еще не состою шести месяцев. И мне ничего не положено.

— Ай-я-яй! Как же это получилось?

— Отвык я просто от этой жизни. Приехал в ссылку — как я должен был догадаться, что надо скорей поступать в профсоюз?

С одной стороны такой ловкий, а с другой — такой неприспособленный. Этого дополнительного именно Гангарт ему добивалась, очень настойчиво, было не так легко... Но надо идти, так можно проговорить целый день.

Она подходила уже к двери, когда он с насмешкой уже крикнул:

— Подождите, да вы меня не как старосту подкупаете?.. Теперь я буду мучиться, что впал в коррупцию с первого дня!..

Гангарт ушла.

Но после обеда больных ей было неизбежно снова навещать Русанова. К этому времени она узнала, что ожидаемый обход главного врача будет именно завтра. Так появилось и новое дело в палатах — идти проверять тумбочки, потому что Низамутдин Бахрамович ревнивей всего следил, чтобы в тумбочках не было крошек, лишних продуктов, а в идеале и ничего, кроме казенного хлеба и сахара. И еще он проверял чистоту, — да с такой находчивостью, что и женщина бы не догадалась.

Поднявшись на второй этаж, Вера Корнильевна запрокинула голову и зорко смотрела по самым верхним местам их высоких помещений. И в углу над Сибгатовым ей повиделась паутина (стало больше света, на улице проглянуло солнце). Гангарт подозвала санитарку — это была Елизавета Анатольевна, почему-то именно на нее выпадали все авралы, объяснила, как надо сейчас мыть к завтрашнему дню, и показала на паутину.

Елизавета Анатольевна достала из халата очки, надела их, сказала:

— Представьте, вы совершенно правы. Какой ужас! — сняла очки, и уже в таком виде пошла за лестницей и щеткой. Убирала она всегда без очков.

Дальше Гангарт вошла в мужскую палату. Русанов был в том же положении, распаренный, но пульс снизился, а Костоглотов как раз надел сапоги и халат и собирался гулять. Вера Корнильевна объявила всей палате о завтрашнем важном обходе и просила самим просмотреть тумбочки прежде, чем Гангарт их тоже проверит.

— А вот мы начнем со старосты, — сказала она.

Начинать можно было бы и не со старосты, она не знала, почему пошла опять именно в этот угол.

Вся Вера Корнильевна была — два треугольника, поставленных вершина на вершину: снизу треугольник пошире, а сверху узкий. Перехват ее стана был до того узкий, что просто руки тянулись наложить пальцы и подкинуть ее. Но ничего подобного Костоглотов не сделал, а охотно растворил перед ней свою тумбочку:

— Пожалуйста.

— Ну-ка, разрешите, разрешите, — добиралась она. Он посторонился. Она села на его кровать у самой тумбочки и стала проверять.

Она сидела, а он стоял над ней сзади и хорошо видел теперь ее шею — из незащитных тонких линий, и волосы средней темности, положенные просто в узелок на затылок, без всякой претензии на моду.

Нет, надо было как-то освободиться от этого наплыва. Невозможно же, чтобы каждая милая женщина вызывала полное замутнение головы. Вот посидела с ним, поболтала, ушла — а он все эти часы думал о ней. А ей что? — она придет вечером домой, ее обнимет муж.

Надо было освобождаться! — но невозможно было и освободиться иначе, как через женщину же.

И он стоял и смотрел ей в затылок, в затылок, в затылок. Сзади воротник халата поднялся колпачком, и открылась кругленькая косточка — самая верхняя косточка спины. Пальцем бы ее обвести.

— Тумбочка, конечно, из самых безобразных в клинике, — комментировала тем временем Гангарт. — Крошки, промасленная бумага, тут же и махорка, и книги, и перчатки. Как вам не стыдно? Это вы все — все сегодня уберете.

А он смотрел ей в шею и молчал.

Она вытянула выдвижной верхний ящичек и тут, между мелочью, заметила небольшой флакон с бурой жидкостью, миллилитров на сорок. Флакон был туго заткнут, при нем была пластмассовая рюмочка, как в дорожных наборах и пипетка.

— А это что? Лекарство?

Костоглотов чуть свистнул.

— Так, пустяки.

— Что за лекарство? Мы вам такого не давали.

— Ну что ж, я не могу иметь своего?

— Пока вы лежите в нашей клинике и без нашего ведома — конечно нет!

— Ну, мне не удобно вам сказать... От мозолей.

Однако она вертела в пальцах безымянный ненадписанный флакон, пытаясь его открыть, чтобы понюхать, — и Костоглотов вмешался. Обе жестких горсти сразу он наложил на ее руки и отвел ту, которая хотела вытянуть пробку.

Вечное это сочетание рук, неизбежное продолжение разговора...

— Осторожно, — очень тихо предупредил он. — Это нужно уметь. Нельзя пролить на пальцы. И нюхать нельзя.

И мягко отобрал флакон.

В конце концов это выходило за границу всяких шуток!

— Что это? — нахмурилась Гангарт. — Сильное вещество?

Костоглотов опустил ее, сел рядом с ней и сказал деловито, совсем тихо:

— Очень. Это — иссык-кульский корень. Его нельзя нюхать ни в настойке, ни в сухом виде. Поэтому он так и за-

ткнут. Если корень перекладывать руками, а рук потом не помыть и, забывши, лизнуть — можно умереть.

Вера Корнильевна была испугана:

— И зачем он вам?

— Вот беда, — ворчал Костоглолов, — откопали вы на мою голову. Надо было мне его спрятать... Затем, что я им лечился и сейчас подлечиваюсь.

— Только для этого? — испытывала она его глазами. Сейчас она ничуть их не сужала. Сейчас она была врач и врач.

Она-то смотрела как врач, но глаза-то были светло-кофейные.

— Только, — честно сказал он.

— Или это вы... про запас? — все еще не верила она.

— Ну, если хотите, когда я ехал сюда — такая мысль у меня была. Чтоб лишнего не мучиться... Но боли прошли — это отпало. А лечиться я им продолжал.

— Тайком? Когда никто не видит?

— А что человеку делать, если не дают вольно жить? Везде режим?

— А по сколько капали?

— По ступенчатой схеме. От одной капли до десяти, от десяти до одной и десять дней перерыв. Сейчас как раз перерыв. А честно говоря, я не уверен, что боли упали у меня от одного рентгена. Может, и от корня тоже.

Они оба говорили приглушенно.

— Это на чем настойка?

— На водке.

— Вы сами делали?

— У-гм.

— И какая ж концентрация?

— Да какая... Дал мне охалку, говорит: вот это на три поллитра. Я и разделил.

— А весит-то сколько?

— А он не взвешивал. Он так на глазок принес.

— На глазок? Такой ядище! Это — аконитум! Подумайте сами!

— А что мне думать? — начал сердиться Костоглолов. — Вы бы попробовали умирать одна во всей вселенной, да когда комендатура за черту поселка не выпускает, вот тогда б и думали — аконитум! Да сколько весит! Мне эта пригоршня корня, знаете, сколько могла потянуть? Двадцать лет каторжных работ! За самовольную отлучку с места ссылки. А я поехал. За полтора ста километров. В горы. Живет там старик, Кременцов, борода академика Павлова. Из поселен-

цев начала века. Чистый знахарь! — сам корешок собирает, и сам дозы назначает. В собственной деревне над ним смеются, в своем отечестве нет пророка. А из Москвы и Ленинграда приезжают. Корреспондент «Правды» приезжал. Говорят, убедился. А сейчас слухи, что старика посадили. Потому что дураки какие-то развели на поллитра и открыто в кухне держали, а позвали на ноябрьские гостей, тем водки не хватило, они без хозяев выпили. Трое на смерть. А еще в одном доме дети отравились. А старик причем? Он преудреждал...

Но, заметив, что говорит против себя, Костоглотов замолк.

Гангарт волновалась:

— Так вот именно! Содержание сильно действующих веществ в общих палатах запрещено! Это исключается абсолютно! Возможен несчастный случай. Дайте-ка сюда флакончик!

— Нет, — уверенно отказался он.

— Дайте! — она гневно соединила брови и протянула руку к его сжатой руке.

Крепкие, много работавшие пальцы Костоглотова закрылись так, что и пузырька в них видно не было.

Он улыбнулся:

— Так у вас не выйдет.

Она расслабила брови.

— В конце концов я знаю, когда вы гуляете, и могу взять флакончик без вас.

— Хорошо, что предупредили, теперь запрячу.

— На веревочке за окно? Что ж мне остается, пойти заявить?

— Не верю. Вы же сами осудили сегодня доносы!

— Но вы же не оставляете мне никакого средства!

— И значит нужно доносить? Недостойно. Вы боитесь, что настойку выпьет вот товарищ Русанов? Я не допущу. Заверну и упакую. Но я буду уезжать от вас — ведь я опять начну корнем лечиться, а как же! А вы в него не верите?

— Совершенно! Это темные суеверия и игра со смертью. Я верю только в научные схемы, испытанные на практике! Так меня учили. И так думают все онкологи. Дайте сюда флакон.

Она все-таки пробовала разжать его верхний палец.

Он смотрел в ее рассерженные светло-кофейные глаза, и не только не хотелось спорить с ней, упорствовать, а с удовольствием он отдал бы ей этот пузырек, и всю даже тумбочку. Но поступиться убеждениями ему было трудно.

— Э-эх, святая наука! — вздохнул он. — Если бы это было все так безусловно, не опровергало само себя каждые десять лет. А во что должен верить я? В ваши уколы?

— Очень нужные! Очень важные для вашей жизни! Вам надо ж и з н ь спасти! — она выговорила это ему сейчас особенно настойчиво, и светлая вера была в ее глазах. — Не думайте, что вы выздоровели!

— Ну, а точнее! В чем их действие?

— А зачем вам точнее? Они вылечивают. Они не дают возникнуть метастазам. Точнее вы не поймете... Хорошо, тогда отдайте мне флакон, а я даю вам честное слово, что верну его, когда вы будете уезжать!

Они смотрели друг на друга.

Он прекомично выглядел — уже одетый для прогулки в бабий халат и перепоясанный ремнем со звездочкой.

Но до чего ж она настаивала! Шут с ним флаконом, не жалко и отдать, дома у него еще вдесятеро больше этого аконитума. Ведь беда в другом: вот милая женщина со светло-кофейными глазами. Такое светящееся лицо. С ней так приятно разговаривать. Но ведь никогда не возможно будет ее поцеловать. И когда он вернется в свою глушь, ему даже поверить будет нельзя, что он сидел рядом вот с такой светящейся женщиной, и она хотела его, Костоглотова, спасти во что бы то ни стало!

Но именно спасти она его и не может.

— Вам тоже я опасаясь отдать, — пошутил он. — У вас кто-нибудь дома выпьет.

(Кто? Кто выпьет дома?!.. Она жила одна. Но сказать сейчас это было неуместно, неприлично).

— Хорошо, давайте вничью. Давайте просто выльем.

Он рассмеялся. Ему жалко стало, что он так мало может для нее сделать.

— Ладно. Иду во двор и выливаю.

А все-таки губы она красила зря.

— Нет, уж, теперь я вам не верю. Теперь я должна сама присутствовать.

— Но вот идея! Зачем выливать? Лучше я отдам хорошему человеку, которого вы все-равно не спасете. А вдруг ему поможет?

— Кому это?

Костоглотов показал кивком на койку Вадима Зацырко и еще снизил голос:

— Ведь меланобластома?

— Вот теперь я окончательно убедилась, что надо выливать. Вы тут кого-нибудь отравите обязательно! Да как у вас

духу хватит дать тяжелобольному яд? А если он отравится? Вас не будет мучить совесть?

Она избегала как-нибудь его называть. За весь долгий разговор она не назвала его никак ни разу.

— Такой не отравится. Это стойкий парень.

— Нет-нет-нет! Пойдемте выливать!

— Просто я в ужасно хорошем настроении сегодня. Пойдемте, ладно.

И они пошли между коек и потом на лестницу.

— А вам не будет холодно?

— Нет, у меня кофточка поддета.

Вот она сказала: «кофточка поддета». Зачем она так сказала? Теперь хотелось посмотреть, какая кофточка, какого цвета. Но и этого он не увидит никогда.

Они вышли на крыльцо. День разгулялся, совсем был весенний, приедем не поверить, что только седьмое февраля. Светило солнце. Высоковетвенные тополя и низкий кустарник изгородей — все еще было голо, но и редкие были уже клочки снега в тени. Между деревьями лежала бурая и серая прилежшая прошлогодняя трава. Аллеи, плиты, камни, асфальт были влажны, еще не высохли. По скверу пло обычное оживленное движение — навстречу, в обгон, в перекрест по диагоналям. Шли врачи, сестры, санитарки, обслуга, амбулаторные больные и родственники клинических. В двух местах кто-то даже присел на скамьи. Там и здесь, в разных корпусах, уже были открыты первые окна.

Перед самым крыльцом тоже было странно выливать.

— Ну, вон туда пойдемте! — показал он на проход между раковым корпусом и ухогорлоносowym. Это было одно из его прогuloчных мест.

Они пошли рядом плитчатой дорожкой. Врачебная шапочка Гангарт, спитая по фасону пилотки, приходилась Костоглотову как раз по плечу.

Он покосился. Она шла вполне серьезно, как бы делать важное дело. Ему стало смешно.

— Скажите, как вас в школе звали? — вдруг спросил он.

Она быстро взглянула на него.

— Какое это имеет значение?

— Да никакого, конечно, а просто интересно.

Несколько шагов она прошла молча, чуть пристукивая по плитам. Ее газельи тонкие ноги он заметил еще в первый раз, когда лежал умирающий на полу, а она подошла.

— Вега, — сказала она.

(То-есть, и это была неправда. Не полная правда. Ее так в школе звали, но один только человек. Тот самый разви-

той, рядовой, который с войны не вернулся. Толчком, не зная почему, она вдруг доверила это имя другому).

Они вышли из тени в проход между корпусами — и солнце ударило в них, и здесь тянул ветерок.

— Вега? В честь звезды? Но вега — ослепительно белая.

Они остановились.

— А я — не ослепительная, — кивнула она. — Но я — Ве-ра Га-нгарт. Вот и все.

— В первый раз не она перед ним растерялась, а он перед ней.

— Я хотел сказать... — оправдывался он.

— Все понятно. Выливайте! — приказала она.

И не давала себе улыбнуться.

Костоглотов распатал плотно-загнанную пробку, осторожно вытянул ее, потом наклонился (это очень смешно было в его халате-юбке сверх сапог) и отвалил небольшой камешек из тех, что остались тут от прежнего мощения.

— Смотрите! А то скажете — я в карман перелил! — объявил он с корточек у ее ног.

Ее ноги, ноги ее газельи, он заметил еще в первый раз, в первый раз.

В сырую ямку на темную землю он вылил эту мутно-бурую чью-то смерть. Или мутно-бурое чье-то выздоровление.

— Можно закладывать? — спросил он.

Она смотрела сверху и улыбалась.

Было мальчишеское в этом выливании и закладывании камнем. Мальчишеское, но и похожее на клятву. На тайну.

— Ну, похвалите же меня, — поднялся он с корточек.

— Хвалю, — улыбнулась она. Но печально. — Гуляйте.

И пошла в корпус.

Он смотрел ей в белую спину. В два треугольника, верхний и нижний.

До чего ж стало волновать всякое женское внимание! За каждым словом он понимал больше, чем было. И после каждого поступка он ждал следующего.

— Вега! Ве-га! — вполголоса проговорил он, стараясь внушить издали. — Вернись, слышишь? Ну, обернись!

Но не внушилось. Она не обернулась.

Как велосипед, как колесо, раз покотившись, устойчивы только в движении, а без движения валятся, так и игра между женщиной и мужчиной, раз начавшись, способна существовать только в развитии. Если же сегодня нисколько не сдвинулась от вчера, игры уже нет.

Еле дождался Олег вечера вторника, когда Зоя должна была придти на ночное дежурство. Веселое расцветенное колесо их игры непременно должно было покатиться дальше, чем в первую ночь и чем в воскресенье днем. Все толчки к этому качению он ощущал в себе и предвидел в ней и, волнуясь, ждал Зою.

Сперва он вышел встречать ее в садик, зная по какой косо́й аллейке она должна была прийти, выкурил там две махорочных закрутки, но потом подумал, что в бабьем халате будет выглядеть глупо, не так, как хотел бы ей представиться. Да и темноло. И он пошел в корпус, снял халат, стянул сапоги и в пижаме — ничуть не менее смешной — стоял у низа лестницы. Его торчливые волосы были сегодня по возможности пригнетены.

Она появилась из врачебной раздевалки, опаздывая и спеша. Но кивнула бровями, увидев его, впрочем не с выражением удивления, а как бы отметив, что так и есть, правильно, тут она его и ждала, тут его и место, у низа лестницы.

Она не остановилась, и чтобы не отстать, он пошел с нею рядом, долгими ногами шагая через ступеньку. Ему это не было сейчас трудно.

— Ну, что новенького? — спросила она на ходу, как у адъютанта.

(Новенького! Смена Верховного Суда! — вот что было новенького. Но чтобы это понять — нужны были годы подготовки. И не это сейчас было Зое нужно.)

— Вам имя новенькое. Наконец, я понял, как вас зовут.

— Да? Как же? — а сама проворно перебирала по ступенькам.

— На ходу нельзя. Это слишком важно.

И вот они уже были наверху, и он отстал на последних ступеньках.

Вслед ей глядя, он отметил, что ноги ее толстоваты, тяжеловаты. К ее плотной фигурке они, впрочем подходили. И даже в этом был особый вкус. А все-таки, другое настроение, когда они легкие. Невесомые. Как у Веги.

Он сам себе удивлялся. Он никогда так не рассуждал, не смотрел, и считал это пошлым. Он никогда так не перебра-

сывался от женщины к женщине. Его дед назвал бы это — женобесием. Но сказано: ешь с голоду, люби с молоду. А Олег с молоду все пропустил. Теперь же как осеннее растение спешит вытянуть из земли последние соки, чтоб не жалеть о пропущенном лете, так и Олег в коротком возрасте жизни и уже на скате ее, уже конечно на скате — спешил видеть и спешил вбирать в себя женщин — и с такой стороны, как не мог бы им высказать вслух. Он острее других чувствовал что в женщинах есть, потому что много лет не видел их вообще и близко. И голосов их не слышал, забыл, как звучат.

Зоя приняла дежурство и сразу закружилась волчком — именно волчком кружилась около своего стола, списка процедур и шкафом медикаментов, а потом быстро неслась в какую-нибудь из дверей, но ведь и волчок так носится.

Олег следил и когда увидел, что у нее выдался маленький перемежек, был тут как тут.

— И больше ничего нового во всей клинике? — спрашивала Зоя, своим лакомым голоском, а сама кипятила шприцы на электрической плитке и вскрывала ампулы.

— О! В клинике было сегодня величайшее событие. Был обход Низамутдина Бахрамовича.

— Да-а? Как хорошо, что без меня!.. И что же? Он отнял ваши сапоги?

— Сапоги-то нет, но столкновение маленькое было.

— Какое же?

— Вообще это было величественно. Вошло сразу халатов пятнадцать — и заведующие отделениями, и старшие врачи, и младшие врачи, и каких я тут никогда не видел, — и главврач, как тигр, бросился к тумбочкам. Но у нас агентурные сведения были, и мы кое-какую подготовочку провели, ничем он не поживился. Нахмурился, очень недоволен. А тут как раз обо мне докладывали, и Людмила Афанасьевна допустила маленькую оплошность: вычитывая из моего дела...

— Какого дела?

— Ну, истории болезни, я всегда ошибаюсь... Назвала откуда первый диагноз и невольно выяснилось, что я из Казахстана.

«Как? — сказал Низамутдин. — Из другой республики. У нас нехватает коек, а мы должны чужих лечить? Сейчас же выписать!»

— А там в палате половина «чужих»!

— Ну, конечно, ну просто на меня попал. И тут Людмила Афанасьевна, я не ожидал, как квочка за цыпленка — так за меня взберишилась: «Это сложный научный случай!»

Он необходим нам для принципиальных выводов...» А у меня дурацкое положение: на днях же я сам с ней спорил и требовал выписки, она на меня кричала, а тут так заступается. Мне стоило сказать Низамутдину — «ага, ага!» — и к обеду меня тут уж не было б! И вас бы я уже не видел...

— Так это вы из-за меня не сказали «ага, ага?».

— А что вы думаете? — поглушел голос Костоглотова. — Вы мне адреса своего не оставили. Как бы я вас искал?

Но она возилась и нельзя было понять, насколько поверила.

— Что ж Людмилу Афанасьевну подводить? — опять громче рассказывал он, — сижу, как чурбан, молчу. А Низамутдин: «Я сейчас пойду в амбулаторию и вам пять таких больных приведу! И всех наших. Выписать!» И вот тут я, наверно, сделал глупость — такой шанс потерял уйти! Жалко мне стало Людмилу Афанасьевну, она моргнула, как побитая, и замолчала. Я на коленях локти утвердил, горлышко прочистил и спокойно спрашиваю: «Как это так вы меня можете выписать, если я с целинных земель?».

— «Ах, целинник! — перепугался Низамутдин (ведь это ж политическая ошибка!) — Для целины страна ничего не жалеет». И пошли дальше.

— У вас хваточка, — покрутила Зоя головой.

— Это я в лагере изнахалился, Зоенька. Я таким не был. Вообще, у меня много черт не моих, а приобретенных в лагере.

— Но веселость — не оттуда?

— Почему не оттуда? Я — веселый, потому что привык к потерям. Мне дико, что тут на свиданиях все плачут. Чего они плачут? Их никто не ссылает, конфискации нет...

— Итак вы у нас остаетесь еще на месяц?

— Типун вам на язык... Но недельки на две очевидно. Получилось, что я как бы дал Людмиле Афанасьевне расписку все терпеть...

Шприц был наполнен разогретой жидкостью и Зоя усккала.

Ей предстояла сегодня неловкость, и она не знала, как быть. Ведь надо было и Олегу делать новоназначенный укол. Он полагался в обычное все терпящее место тела, но при тоне, который у них установился, укол стал невозможен: рассыпалась вся игра. Терять эту игру и этот тон Зоя так же не хотела, как и Олег. А еще далеко им надо было прокатить колесо, чтоб укол стал снова возможен — уже как у людей близких. И вернувшись к столу и готовя такой же укол Ахмаджану, Зоя спросила:

— Ну, а вы уколам исправно поддаетесь? Не брыкаетесь?

Так спросить — да еще Костоглотова! Он только и ждал случая объясниться.

— Вы же знаете мои убеждения, Зоенька. Я всегда предпочитаю не делать, если можно. Но с кем как получается. С Тургуном замечательно: он все ищет, как бы ему в шахматы поучиться. Договорились: мой выигрыш — нет укола, его выигрыш — укол. Но дело в том, что я и без ладьи с ним играю. А с Марией не поиграешь: она подходит со шприцем, лицо деревянное. Я пытаюсь шутить, она: «Больной Костоглотов! Обнажите место для укола!» Она же слова лишнего, человеческого, никогда не скажет.

— Она ненавидит вас.

— Меня?

— Вообще вас — мужчин.

— Ну, в основе это, может быть, и за дело. Теперь новая сестра — с нею я тоже не умею договориться. А вернется Олимпиада — тем более, уж она на иточку не отступит.

— Вот и я так буду! — сказала Зоя, уравнивая два кубических сантиметра. Но голос ее явно отпускал.

И пошла колоть Ахмаджана. А Олег опять остался около столика.

Была еще и вторая, более важная причина, по которой Зоя не хотела, чтоб Олегу эти уколы делались. Она с воскресенья думала, сказать ли ему об их смысле.

Потому что если вдруг проступит серьезным все то, о чем они в шутку перебрасываются — а оно могло таким проступить. Если в этот раз все не кончится печальным собиранием разбросанных по комнате предметов одежды — а состроится что-то долгопрочное, и Зоя действительно решится быть пчелкой для него и решится поехать к нему в ссылку (а в конце концов он прав — разве знаешь, в какой глуши подстергает тебя счастье?). Так вот в этом случае уколы, назначенные Олегу, касались уже не только его, но и ее.

И она была — против.

— Ну! — сказала она весело, вернувшись с пустым шприцем. — Вы, наконец, расхрабрились? Идите и обнажите место укола, больной Костоглотов! Я сейчас приду!

Но он сидел и смотрел на нее совсем не глазами больного. Об уколах он и не думал, они уже договорились.

Он смотрел на ее глаза, чуть выкаченные, просящиеся из глазниц.

— Пойдемте куда-нибудь, Зоя, — не выговорил, а прорчал он низко.

Чем глуше становился его голос, тем звонче ее.

— Куда-нибудь? — удивилась и засмеялась она. — В город?

— Во врачебную комнату.

Она приняла, приняла, приняла в себя его неотступный взгляд, и без игры сказала:

— Но нельзя же, Олег! Много работы.

Он как будто не понял:

— Пойдемте!

— Правильно, — вспомнила она. — Мне нужно наполнить кислородную подушку для... — Она кивнула в сторону лестницы, может быть назвала и фамилию больного, он не слышал. — А у баллона кран туго отворачивается. Вы мне поможете. Пойдемте. — И она, а следом он, спустились на один марш до площадки.

Тот желтенький с обостренным носом несчастный, дождаемый раком легких, всегда ли такой маленький или съезженный теперь от болезни, такой плохой, что на обходах с ним уже не говорили, ни о чем его не спрашивали — сидел в постели и часто дышал из подушки, со слышным хрипом в груди. Он и раньше был плох, но сегодня гораздо хуже, заметно и для неопытного взгляда. Одну подушку он кончил, другая пустая лежала рядом.

Он был уже совсем плох так, что не видел совсем людей — проходящих, подходящих.

Они взяли от него пустую подушку и спустились дальше.

— Как вы его лечите?

— Никак. Случай иноперабильный. А рентген не помог.

— Грудной клетки вообще не вскрываете?

— В нашем городе еще нет.

— Так он умрет?

Она кивнула.

И хотя в руках была подушка для него, чтоб он не задохнулся, они тут же забыли о нем. Потому что интереснее что-то вот-вот должно было произойти.

Высокий баллон с кислородом, стоял в отдельном запечатом сейчас коридоре — в том коридоре около рентгеновских кабинетов, где когда-то Гангарт впервые уложила промокшего умирающего Костоглотова. (Этому «когда-то» еще не было трех недель...).

И если не зажигать второй по коридору лампочки (а они и зажгли только первую), то угол за выступом стены, где стоял баллон, оказывался в полутьме.

Зоя была ростом ниже баллона, а Олег выше.

Она стала соединять вентиль подушки с вентиляем баллона.

Он стоял сзади и дышал ее волосами — выброшенными из-под шапочки.

— Вот этот кран очень тугой — пожаловалась она.

Он положил пальцы на кран и сразу открыл его. Кислород стал переходить с легким шумом.

И тогда без всякого предлога, рукой, освободившейся от крана, Олег взял Зою за запястье руки, свободной от подушки.

Она не вздрогнула, не удивилась. Она следила, как надувается подушка.

Тогда он поскользился рукой, охватывая, от запястья выше — к предлокотью, через локоть, — к плечу.

Бесхитростная разведка, но необходимая ему, и ей. Проверка слов, так ли были они все поняты.

Да, так.

Он еще челку трепанул двумя пальцами, она не возмутилась, не отпрянула, — она следила за подушкой.

И тогда сильно охватив ее по заплечьям, и всю наклонив к себе, он, наконец, добрался до ее губ, столько ему смеявшихся и столько болтавших губ.

И губы Зои встретили его не раздвинутыми, не смягченными, не расслабленными — а напряженными, встречными, готовыми.

Все это выяснилось в один миг, потому что за минуту до того он еще не помнил, он забыл, он не знал, что губы бывают разные, поцелуи бывают разные, и один совсем не стоит другого.

Но начавшись клевком, это теперь тянулось, это был все один ухват, одно долгое слитие, которое никак нельзя было кончить, да незачем было кончать. Переминая и переминая губами, так можно было остаться навсегда.

Но со временем, через два столетия, губы все же разорвались — и тут Олег в первый раз увидел Зою и сразу же услышал ее:

— А почему ты глаза закрываешь, когда целуешься?

Он закрыл глаза? Он этого не знал! Он не заметил.

И как едва отдышавшись, ныряют снова, чтобы там, на дне, на самом доннышке выловить залегшую жемчужинку, они опять сошлись губами, но теперь он заметил, что закрыл глаза, и сразу же открыл их. И увидел близко-близко, невероятно близко, наискось два ее желто-карих глаза, показав-

шихся ему хищными. Одним глазом он видел один глаз, а другим другой. Она целовалась все теми же уверенно-напряженными, опытными, стянутыми губами, не выворачивая их, и еще чуть-чуть-чуть покачивалась, — и неотрывно смотрела, как бы выверяя по его глазам, что с ним делается по одной вечности, и после второй, и после третьей.

Но вот глаза ее скосились куда-то в сторону, она резко оторвалась и вскрикнула:

— Кран!

— Боже мой, кран! Он выбросил руку на кран и быстро завернул.

Как подушка не разорвалась!

— Вот что бывает от поцелуев! — еще не уравнив дыхание, сорванным вздохом сказала Зоя. Челка ее была растрепана, шапочка сбилась.

И хотя она была вполне права, они опять сомкнулись ртами и что-то перетянуть хотели к себе один от другого.

Коридор был с остекленными дверьми, может быть кому-нибудь из-за выступа и были видны поднятые локти — ее белый и его розовый, ну — и шут с ним.

А когда все-таки воздух опять пришел в легкие, Олег сказал, держа ее затылок и рассматривая:

— Золотончик! Так тебя зовут. Золотончик.

Она повторила, играя губами:

— Золотончик?.. Пончик?..

Ничего. Можно.

— Ты не испугалась, что я ссыльный? Преступник?..

— Не, — она качала головой легкомысленно.

— А что я старый?

— Какой ты старый!

— А что я больной?..

Она ткнулась лбом ему в грудь и стояла так.

Еще ближе, ближе к себе он ее притянул, эти теплые эллиптические кронштейники, на которых, так и неизвестно, могла ли улежать тяжелая линейка, и говорил:

— Правда ты поедешь в Уш-Терек?.. Мы женимся... Мы построим себе там домик.

Это все и выглядело, как то продолжение, которого ей не хватало, которое было в ее натуре пчелки, — то устойчивое созидательное продолжение после предметов одежды, в чаду разбросанных по комнате. Прижатая к нему и всем лоном ощущая его, она всем лоном хотела угадать: он ли? От него ли суждено ей?..

Она потянулась и локтем опять обняла его за шею:

— Олечек! Ты знаешь — в чем смысл этих укулов?

— В чем? — терся он щекой.

— Эти уколы... Как тебе объяснить... Их научное название — гормонотерапия... Они применяются перекрестно: женщинам вводятся мужские гормоны, а мужчинам — женские... Считается, что так подавляют метастазирование... Но прежде всего подавляются вообще... Ты понимаешь?..

— Что? Нет! Не совсем! — тревожно отрывисто спрашивал переменившийся Олег. Теперь он держал ее за плечи уже иначе — как бы вытрясая из нее истину. — Ты говори, говори!

— Подавляются вообще... половые способности... Даже до появления перекрестных вторичных признаков. При больших дозах у женщины может начать расти борода, а у мужчин — груди...

— Ты подожди! Что такое? — проревел, только сейчас начиная понимать, Олег. — Вот эти уколы? Что делают мне? Они что? — в с е подавляют?

— Ну, не все. Долгое время остается л и б и д о.

— Что такое либидо?

Она прямо смотрела ему в глаза и чуть потрепала за вихор:

— Ну, то что ты сейчас чувствуешь ко мне... Желание...

— Желание остается, а возможности — нет? Так? — допрашивал он, ошеломленно.

— А возможности — очень слабеют. Потом и желание — тоже. Понимаешь? — она провела пальцем по его шраму, погладила по выбритой сегодня щеке. — Вот почему я не хочу, что б ты делал эти уколы.

— Здо-ро-во! — опомнился он и выпрямился. — Вот это здо-ро-во! Чужало мое сердце, ждал я от них подвоху — так и вышло.

Ему хотелось ядрено обругать врачей, вообще врачей. За их самовольное распоряжение чужими жизнями, — и вдруг он вспомнил светло-уверенное лицо Гангарт — вчера, когда с таким горячим дружелюбием она смотрела на него: «Очень важные для вашей жизни! Вам надо жизнь спасти!».

Вот так Вега! Она хотела ему добра? — и для этого обманом вела к такой участи?

— И ты такая будешь? — скопился он на Зою. — Это как в школе учат: «Самое дорогое у человека жизнь, она дается один раз», да? И значит, любой ценой цепляйся за жизнь, да?

Да нет, за что же он на нее! Она понимала жизнь, как и он: без э т о г о зачем жизнь? Она одними только алчными, огневыми губами протащила его сегодня по Кавказ-

скому хребту. Вот она стояла, и губы были, вот они! И пока это самое либидо еще струилось в его ногах, в его пояснице, надо было спешить целоваться!

— ...А н а о б о р о т ты мне что-нибудь можешь вколоть?

— Меня тогда выгонят отсюда...

— А есть такие уколы?

— Эти ж самые, только не перекрестно...

— Слушай, Золотончик, пойдем куда-нибудь...

— Ну, мы ж уже пошли. И пришли. И надо идти назад...

— Во врачебную комнату — пойдем!..

— Да нельзя, там санитарка, там ходят... Да вечер еще...

— Ну, ночью...

— Не надо торопиться, Олежек! Иначе у нас не будет з а в т р а...

— Какое ж «завтра», если завтра не будет либидо?.. Или наоборот, спасибо, либидо будет, да? Либидо будет... Ну, придумай, ну пойдем куда-нибудь!

— Олежек, надо что-то оставить и наперед... Не торопись!.. Надо подушку нести.

— Да, правда, подушку нести. Сейчас понесем...

.

— ...Сейчас понесем.

.

— По-не-сем... Сей-час...

Они поднимались по лестнице, не держась за руки, но держась за подушку, надутую как футбольный мяч, и толчки ходьбы одного и другой передавались через подушку.

И было все равно как за руки.

И на площадке лестницы, на проходной койке, мимо которой день и ночь сновали больные и здоровые, занятые своим, сидел в подушках и уже не кашлял, а бился головой о поднятые колени, желтый, высохший, слабогрудый человек, и может быть свои колени он ощущал лбом как круговую стену.

Он был жив еще — но не было вокруг него живых.

Может быть именно сегодня он умирал — брат Олега, ближний Олега, покинутый, голодный на сочувствие. Может быть подсев к его кровати и проведя здесь ночь, Олег облегчил бы чем-нибудь его последние часы.

Но только кислородную подушку они ему положили и пошли дальше. Его последние кубики дыхания, подушку смертника, которая была для них лишь повод уединиться и узнать поцелуй друг друга.

Как привязанный поднимался Олег с Зоей по лестнице. Он не думал о смертнике за спиной, каким сам был полмесяца

назад, или будет через полгода, а думал об этой девушке, об этой женщине, об этой бабе, и как уговорить ее уединиться.

И еще одно совсем забытое, тем более неожиданное ноющее ощущение губ, наматых поцелуями до огрублости — передалось молодым по всему его телу.

19.

Не всякий называет маму — мамой, особенно при посторонних. Этого стыдятся мальчики старше пятнадцати лет и моложе тридцати. Но Вадим, Борис и Юрий Зацырko никогда не стыдились своей мамы. Они дружно любили ее при жизни отца, а после его расстрела — особенно. Мало разделенные возрастом, они росли как трое равных, всегда деятельные и в школе и дома, не подверженные уличным патаням — и никогда не огорчали овдовевшую мать. Повелось у них от одного детского снимка и потом для сравнения, что раз в два года она вела их всех в фотографию (а потом уж и сама своим аппаратом), и в домашний альбом ложился снимок за снимком: мать и трое сыновей. Она была светлая, а они все трое черные — наверно, от того пленного турка, который когда-то женился на их запорожской прабабушке. Посторонние не всегда различали их на снимках — кто где. С каждым снимком они заметно росли, крепчали, обгоняли маму, она незаметно старела, но выпрямлялась перед объективом, гордая этой живой историей своей жизни. Она была врач, известная у себя в городе, и пожавшая много благодарностей, букетов и пирогов, но даже если б она ничего полезного в жизни не сделала — вырастить таких троих сыновей оправдывало жизнь женщины. Все трое они пошли в один и тот же политехнический институт, старший кончил по геологическому, средний по электро-техническому, младший кончил сейчас по строительному, и мама была с ним.

Была, пока не узнала о болезни Вадима. В четверг едва не сорвалась сюда. В субботу получила телеграмму от Донцовой, что нужно коллоидное золото. В воскресенье откликнулась телеграммой, что едет добывать золото в Москву. С понедельника она там, вчера и сегодня наверно добывается приема у министров и в других важных местах, чтобы в память погибшего отца (он оставлен был в городе под видом интеллигента, обиженного советской властью, и расстрелян немцами за связь с партизанами и укрытие наших раненых) дали бы визу на фондовое коллоидное золото для сына.

Все эти хлопоты были отвратительны и оскорбительны Вадиму даже издали. Он не переносил никакого блага, никакого использования заслуг или знакомств. Даже то, что мама дала предупредительную телеграмму Донцовой, уже тяготило его. Как ни важно было выжить ему, но не хотел он пользоваться никакими преимуществами даже перед хारेю раковой смерти. Впрочем, понаблюдав за Донцовой, Вадим быстро понял, что и без всякой маминой телеграммы Людмила Афанасьевна не уделила бы ему меньше времени и меньше внимания. Только вот телеграмму о коллоидном золоте не пришлось бы давать.

Теперь, если мама достанет это коллоидное золото — она прилетит с ним, конечно, сюда. И если не достанет — то тоже прилетит. Отсюда он написал ей письмо о чаге — да он написал ей письмо о чаге — не потому, что уверовал, а чтобы маме дать лишнее дело по спасению, насытить ее. Но если будет расти отчаяние, то вопреки всем своим врачебным знаниям и убеждениям, она поедет и к этому знахарю в горы за иссык-кульским корнем (Олег Костоглотов вчера пришел и повинился ему, что уступил бабе и вылил настойку корня, но впрочем там было все равно мало, а вот адрес старика, если же старика уже посадили, то он берется уступить Вадиму из своего запаса).

Маме теперь уже не жизнь, если старший сын под угрозой. Мама сделает все, и больше, чем все, она даже и лишнее сделает. Она даже в экспедицию за ним поедет, хотя там у него есть Галка. В конце концов, как Вадим понял из отрывков прочтенного и услышанного о своей болезни, сама-то опухоль вспыхнула у него из-за маминой слишком большой озабоченности и предусмотрительности: с детства было у него на ноге большое пигментное пятно, и мама как врач, видимо знала опасность перерождения; она находила поводы щупать это пятно, и однажды настояла, чтобы хороший хирург произвел предварительную операцию — а вот ее-то, как раз, очевидно, и не следовало делать.

Но даже если его сегодняшнее умирание началось от мамы — он не может ее упрекнуть ни за глаза, ни в глаза. Нельзя быть таким слишком практичным, чтобы судить по результатам, — человечнее судить по намерениям. И несправедливо раздражаться теперь виною мамы с точки зрения своей неоконченной работы, прерванного интереса, неисполненных возможностей. Ведь и интереса этого, и возможностей, и порыва к этой работе не было бы, если б и не было его самого, Вадима. От мамы.

У человека — зубы, и он ими грызет, скрежещет, стис-

кивает их. А у растений вот — нет зубов, и как же спокойно они растут, и спокойно как умирают!

Но, прощая маме, Вадим не мог простить обстоятельствам! Он не мог уступить им ни квадратного сантиметра своего эпителия! И не мог не стискивать зубов.

Ах, как же пересекла его эта проклятая болезнь! — как она подрезала его в самую важную минуту.

Правда, Вадим и с детства как будто всегда предчувствовал, что ему не хватит времени. Он нервничал, если приходила гостя или соседка и болтала, отнимая время у мамы и у него. Он возмущался, что в школе и в институте всякие сборы — на работу, на экскурсию, на вечер, на демонстрацию, всегда назначают на час или на два часа раньше, чем нужно, так и рассчитывая, что люди обязательно опоздают. Никогда Вадим не мог вынести получасовых известий по радио, потому что все, что там важно и нужно, можно было уместить в пять минут, а остальное была вода. Его бесило, что идя в любой магазин, ты с вероятностью одна десятая рискуешь застать его на учете, на переучете, на передаче товара — и этого никогда нельзя предвидеть. Любой сельсовет, любое почтовое сельское отделение могут быть закрыты в любой рабочий день — и за двадцать пять километров этого никогда нельзя предвидеть.

Может быть, жадность на время заронил в нем отец. Отец тоже не любил бездеятельности и запомнилось, как он трепал сына между коленями и сказал: «Вадька! Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь». Нет, нет! Этот бес — неутолимая жажда времени, и без отца сидела в нем с малых лет. Чуть только игра с мальчишками начинала становиться тягучей, — он не торчал с ними у ворот, а уходил сейчас же, мало обращая внимания на насмешки. Чуть только книга ему казалась водянистой — он ее не дочитывал, бросал, ища поплотней. Если первые кадры фильма оказывались глупы (а заранее почти никогда ничего о фильме не знаешь, это нарочно делают) — он презревал потерянные деньги, стучал сидением и уходил, спасая время и незагрязненность головы. Его изводили те учителя, которые по десять минут нудили класс нотациями, потом не справлялись с объяснениями, одно размазывали, другое комкали, а задание на дом давали после звонка. Они не могли представить, что у ученика перемена может быть распланирована почище, чем у них урок.

А может быть, не зная об опасности, он с детства ощущал ее, неведомую, в себе? Ни в чем не виновный, — он с первых же лет жизни был под ударом этого пигментного

пятна! И когда он, мальчишкой, так берег время и скудость на время передавал своим братьям, когда взрослые книги читал еще до первого класса, а шестиклассником устроил дома химическую лабораторию — это он уже гнался наперегонки с будущей опухолью, но втемную гнался, не видя, где враг, — а она все видела, кинулась и укусила в самую горячую пору! Не болезнь — змея. И имя ее змеиное — мелано-бластома.

Когда она началась — Вадим не заметил. Это было в экспедиции у Алтайского хребта. Началось затвердение, потом боль, потом прорвало и полегчало, потом опять затвердение, и так натиралось от одежды, что почти невыносимо стало ходить. Но ни маме он не написал, ни работы не бросал, потому что собирал первый круг материалов, с которыми обязательно должен был съездить в Москву.

Их экспедиция занималась просто радиоактивными водами и никаких рудных месторождений с них не спрашивали. Но не по возрасту много прочтя и особенно близкий с химией, которую не каждый геолог знает хорошо, Вадим то ли предвидел, то ли предчувствовал, что здесь вылущается новый метод нахождения руд. Начальник экспедиции скрипел по поводу этого его направления, начальнику экспедиции нужна была выработка по плану.

Вадим попросил командировку в Москву, начальник для такой цели не давал. Тогда-то Вадим и предъявил свою опухоль, взял бюллетень и явился в этот диспансер. Тут он проведаль диагноз, и его немедленно клали, сказав, что дело не терпит. Он взял назначение лечь и с ним улетел в Москву, где как-раз сейчас на совещании надеялся повидать Черегородцева. Вадим никогда его не видел, только читал учебник и книги. Его предупредили, что Черегородцев больше одной фразы слушать не будет, он с первой фразы решает, нужно ли с человеком говорить. Весь путь до Москвы Вадим слаживал эту фразу. Его представили Черегородцеву в перерыве, на пороге буфета. Вадим выстрелил своей фразой, и Черегородцев повернул от буфета, взял его повыше локтя и повел. Сложность этого пятиминутного разговора — Вадиму он казался накаленным — была в том, что требовалось стремительно говорить, без пропуска впитывать ответы, достаточно блеснуть своей эрудицией, но не высказать всего до конца, главный задел оставить себе. Черегородцев сразу ему насыпал все возражения, из которых ясно было, почему радиоактивные воды признак косвенный, но не могут быть основным, и искать по ним руды — дело пустое. Он так говорил — но кажется охотно бы дал себя разуверить, он минуту

ждал этого от Вадима и, не дождавшись, отпустил. И еще Вадим понял, что, кажется, и целый московский институт топчется около того, над чем он один ковырялся в камешках Алтайских гор.

Лучшего пока нельзя было и ждать! Теперь-то и надо было наваливаться на работу!

Но теперь-то и надо было ложиться в клинику... И открыться маме. Он мог бы ехать и в Новочеркасск, но здесь ему понравилось, и к своим горам поближе.

В Москве он узнавал не только о водах и рудах. Еще он узнал, что с меланобластомой умирают — всегда. Что с нею редко живет год, а чаще восемь месяцев.

Что ж, как у тела, несущегося с предсветовой скоростью, его время и его масса становились теперь не такими как у других тел, как у других людей: время — емче, масса — пробивней. Годы вбирались для него в недели, дни — в минуты. Он и всю жизнь спешил, но только сейчас он начинал спешить по-настоящему. Прожив шестьдесят лет спокойной жизни — и дурак станет доктором наук. А вот — к двадцати семи?

Двадцать семь это был лермонтовский возраст. Лермонтову тоже не хотелось умирать. (Вадим знал за собой, что немножко похож на Лермонтова: такой же невысокий, смляной, стройный, легкий с маленькими руками, только без усов). Однако, он врзал себя в нашу память — и не на сто лет, навсегда!

Перед смертью, перед полосатой пантерой смерти, уже прилегшей рядом, на одну койку с ним, Вадим, как человек интеллекта, должен был найти формулу — как жить с ней по соседству? Как плодотворно прожить вот эти оставшиеся месяцы, если — только месяцы? Смерть как внезапный и новый фактор своей жизни он должен был проанализировать..И, сделав анализ, заметил, что, кажется, уже начинает привыкать к ней, а то даже и усваивать.

Самая ложная линия рассуждения была бы — исходить из того, что он теряет: как мог бы он быть счастлив, и где побывать, и что сделать, если бы жил долго. А верно было — признать статистику, что кому-то надо же умирать и молодым. Зато умерший молодым остается в памяти людей на всегда молодым. Зато вспыхнувший перед смертью остается сиять вечно. Тут была важная, на первый взгляд парадоксальная черта, которую разглядел Вадим в размышлениях последних недель: что таланту легче понять и принять смерть, чем бездарности. А ведь талант теряет в смерти гораздо больше, чем бездарность! Бездарности обязательно подавай долгую

жизнь, хотя еще Эпикур заметил, что глупец не будет знать, что ему делать и с вечностью.

Конечно, завидно было думать, что продержаться надо бы только три-четыре года, а в наш век открытий, всеобщих бурных научных открытий, обязательно найдут и лекарство от меланобластомы. Но Вадим постановил для себя не мечтать о выздоровлении — даже ночных минут не тратить на эти бесплодности, — а сжаться, работать и после себя оставить людям новый метод поиска руд.

Так, искупив свою раннюю смерть, он надеялся умереть успокоенным.

Да и не испытал он за двадцать шесть лет никакого другого ощущения более наполняющего, насыщающего и стройного, чем ощущение времени, проводимого с пользой. Именно так всего разумнее и было провести последние месяцы.

И с этим рабочим порывом, держа несколько книг подмышками, Вадим вошел в палату.

Первый враг, которого он ждал себе в палате, было радио, громкоговоритель — и Вадим был готов бороться с ним всеми легальными и нелегальными средствами: сперва убеждением соседей, потом закорачиванием проводов иголкой, а там и вырыванием розетки из стены. Обязательное громковещание, почему-то зачтенное у нас повсюду как признак широты культуры, есть напротив, признак культурной отсталости. И поощрение умственной лени, — но Вадим почти никогда никого не успевал в этом убедить. Это постоянное бубнение, чередование незапрошенной тобою информации и невыбранной тобой музыки (еще и не к настроению поданной) было воровство времени и энтропия духа, рассеяние духа — очень удобное для вялых людей, непереносимое для инициативных. Тот глупец, о котором говорил Эпикур, заполучив вечность, вероятно не мог бы протянуть ее иначе, как только слушая радио.

Но со счастливым удивлением Вадим, войдя в палату, не обнаружил радио! Не было его и нигде на втором этаже. (Упущение это объяснялось тем, что с года на год предполагался переезд диспансера в другое, лучше оборудованное помещение, и уж там-то должна была быть сквозная радификация).

Второй ожидаемый враг Вадима была темнота — раннее тушение света, позднее зажигание, далекие окна. Но великодушный Демка уступил ему место у окна, и Вадим с первого же дня приспособился: ложиться со всеми, рано, по рассвету просыпаться и начинать занятия — лучшие и самые тихие часы.

Третий возможный враг была слишком обильная болтовня в палате. И оказалось не без нее. Но в общем Вадиму состав палаты понравился, с точки зрения тишины в первую очередь.

Самым симпатичным ему показался Егенбердиев: он почти всегда молчал и всем улыбался улыбкой богатыря — раздвижной толстых губ и толстых щек.

И Мурсалимов с Ахмаджаном были не назойливые, приятные люди. Когда они говорили по-узбекски, они совсем не мешали Вадиму, да и говорили они рассудительно, спокойно. Мурсалимов выглядел мудрым стариком. Вадим встречал таких в горах. Один только раз он что-то разошелся и спорил с Ахмаджаном довольно сердито. Вадим просил перевести — о чем. Оказывается, Мурсалимов сердился на новые придумки с именами, соединение нескольких слов в одно имя. Он утверждал, что существует только сорок истинных имен, остальных пророком, все другие имена неправильные.

Не вредный парень был и Ахмаджан. Если его попросить тише, он всегда становится тише. Как-то Вадим рассказал ему о жизни эвенков и поразил его воображение. Два дня Ахмаджан обдумывал совершенно непредставимую жизнь, и задавал Вадиму внезапные вопросы:

— Скажи, а какое ж у этих эвенков обмундирование?

Вадим наскоро отвечал, на несколько часов Ахмаджан погружался в размышление. Но снова прихрамывал и спрашивал:

— А распорядок дня у них какой, у эвенков?

И еще на другой день утром:

— Скажи, а какая перед ними задача поставлена?

Не принимал он объяснения, что эвенки «просто так живут».

Приятный, вежливый был и Сибгатов, часто приходивший к Ахмаджану играть в шашки. Ясно было, что он необразован, но почему-то понимал, что громко разговаривать неприлично и не надо. И когда с Ахмаджаном они начинали спорить, то тут он говорил как-то успокоительно:

— Да разве здесь настоящий виноград? Разве здесь дыни настоящие?

— А где же еще настоящие, — горячился Ахмаджан.

— В Крыму-у, где-е... Вот бы ты посмотрел...

И Демка был хороший мальчик, Вадим угадывал в нем не пустозвона. Демка думал, занимался, все хотел осмыслить. Правда, на лице его не было светлой печати таланта, он как-то хмуровато выглядел, когда воспринимал неожиданную мысль. Ему тяжело достанется путь учебы и умственных

занятий, но из таких медлительных иногда вырабатываются крепыши.

Не раздражал Вадима и Русанов. Это был всю жизнь честный работяга, звезд с неба не хватал. Суждения его были в основном правильные, только не умел он их гибко выразить, а выражал затверженно.

Костоглотов вначале не понравился Вадиму, выглядел слишком грубым крикуном. Но оказалось, что это — внешнее, что он не заносчив, и даже подельчив, а только несчастно сложилась жизнь, и это его раздражило. Он, видимо, и сам был виноват в своих неудачах из-за трудноватого характера. Его болезнь шла на поправку, и он еще всю жизнь мог бы свою поправку, если бы был более собран и знал бы, чего он хочет. Ему в первую очередь нехватало именно собранности, и это выражалось в том, что он разбрасывался временем, метался — то шел бродить бессмысленно по двору, то курить, то хватался читать, бросал и очень уж вязался за юбки. Не нужно было большой наблюдательности, чтоб заметить, что у него и с Зоей что-то и что-то с Гангарт.

Они обе, правда были милые, но Вадим ни за что бы не стал на переднем краю смерти отвлекаться на девок. Ждала его Галка в экспедиции и мечтала выйти за него замуж, но и на это он уже права не имел, и ей он уже достанется мало.

Он уже никому не достанется.

Такова цена, и платить сполна. Одна страсть, захватив нас, измещает все прочие страсти.

Кто раздражал Вадима в палате — это Поддуев. Поддуев был зол, силен и вдруг раскис и поддался поповско-толстовским штучкам. Вадим это терпеть не мог, он раздражался от этих разжигающих басенок о смирении и любви к ближнему, о том, что надо поступиться собой и, рот раззявя, только и смотреть, где и чем помочь встречному-поперечному. А этот встречный-поперечный, может быть лентяй небритый или жулик небитый! Такая водянистая блеклая правденка противоречила всему молодому напору, всему сжигающему нетерпению, которое был Вадим, всей его потребности разжаться, как выстрел, разжаться и отдать. Он тоже ведь готовился и обрек себя не брать, а отдать — но не по мелочам, не на каждом заплетающемся шагу, а вспышкой подвига — сразу всему народу и всему человечеству!

И он рад был, когда Поддуев выписался, а на его койку перелег белокрысый Федерау из угла. Вот уже кто был тихий! — тише его в палате не было. Он мог за целый день слова не сказать а лежал и смотрел, смотрел грустно. Очень странный мужичишко. Как сосед, он был для Вадима идеа-

лен, — но уже после-завтра, в пятницу, его должны были взять на операцию.

Молчали-молчали, а сегодня все-таки зашло что-то о болезнях, и Федерату сказал, что он болен и чуть не умер от воспаления мозговой оболочки.

— Ого! Ударились?

— Нет, простудился. Перегрелся сильно, а повезли с завода на машине домой и продуло голову. Воспалилась мозговая оболочка, видеть перестал.

Он спокойно это рассказал, с бледной улыбкой, не подчеркивая, что трагедия была, ужас.

— А отчего ж перегрев? — Вадим спросил, однако, сам уже косился в книжку, время-то шло. Но разговор о болезни всегда найдет слушателей в палате: от стенки к стенке Федерату увидел на себе взгляд Русанова, очень сегодня размягченный, и рассказывал уже отчасти и ему:

— Случилась в котле авария, и надо было сложную пайку сделать. Но если спускать весь пар и котел охлаждать, а потом все снова — это сутки. Директор ночью за мной машину прислал, говорит: «Федерату! Чтоб работы не останавливать, надень защитный костюм, да лезь в пар, а?» — «Ну, я говорю, если надо — давайте!» А время было предвоенное, график напряженный — надо сделать. Полез и сделал. Часа за полтора... Да как отказать? Я на заводской доске почета всегда был верхний.

Русанов слушал и смотрел с одобрением.

— Поступок, я бы сказал, достойный большевика, — похвалил он.

— А я и... член партии, — еще скромней, еще тише улыбнулся Федерату.

— Были? — поправил Русанов. (Так вот их похвали, они уже всерьез принимают).

— И есть, — очень тихо выговорил Федерату.

Русанову было сегодня не до того, чтобы вдумываться в чужие обстоятельства, спорить, ставить людей на место. Его собственные обстоятельства были крайне трагичны. Но нельзя было не одернуть совершенно явную чушь. А геолог ушел в книги. Слабым голосом, с тихой отчетливостью (зная, что напрягутся — и услышат), Русанов сказал:

— Так быть не может. Ведь вы — немец?

— Да, — кивнул Федерату и, кажется, сокрушенно.

— Ну?

Кажется ясно, но тот все еще не соглашался.

— Когда вас в ссылку везли — партбилеты должны были отобрать.

— Не отобрали, — качал головой Федерау.

Русанов скривился, трудно ему было говорить:

— Ну так это просто упущение, спешили, торопились, запутались. Вы должны сами теперь сдать.

— Да нет же! — на что был Федерау робкий, а уперся. — Четырнадцатый год я с билетом, какая ошибка! Нас и в райком собирали, нам разъясняли: остаетесь членами партии, мы не смешиваем вас с общей массой. Отметка в комендатуре — отметкой, а членские взносы — взносами. Руководящих постов занимать нельзя, а на рядовых постах должны трудиться образцово. Вот так.

— Ну, не знаю, — вздохнул Русанов. Ему и веки-то хотелось опустить, ему говорить было совсем трудно.

Позавчерашний второй укол несколько не помог — опухоль не опала и не размягчилась, все так же железным желваком она давила ему под челюсть. Сегодня, расслабленный и предвидя новый мучительный бред, он лежал в ожидании третьего укола. Договаривались с Капой после третьего укола ехать в Москву — но Павел Николаевич потерял всю энергию борения, он только сейчас почувствовал, что значит обреченность: третий или десятый, здесь или в Москве, но если опухоль не поддается лекарству, она не поддастся. Правда, опухоль еще не была смерть: она могла остаться, сделать инвалидом, уродом, больным — но все-таки связи опухоли со смертью Павел Николаевич не усматривал до вчерашнего дня, пока тот же Оглоед, начитавшийся медицинских книжек, стал кому-то объяснять, что опухоль пускает яды по всему телу — и вот почему нельзя ее в теле терпеть.

И Павла Николаевича зацципало и, понял он, что совсем отмахнуться от смерти не выходит. Смерть, конечно, оставалась невозможной, но вместе с тем допущенной к рассмотрению. Вчера на первом этаже он своими глазами видел, как на послеоперационном натянули с головой простыню. Теперь он осмыслил выражение, которое слышал между санитарками: «этому скоро под простынку». Вот оно что! — смерть представляется нам черной, но это только подступы к ней, а сама она — б е л а я.

Конечно, Русанов знал, что поскольку все люди смертны, — когда-нибудь должен сдать дела и он. Но к о г д а - н и б у д ь, но не сейчас же! К о г д а - н и б у д ь не страшно умереть — страшно умереть вот сейчас. Почему? Потому что: а как же? а дальше что? А без меня как же?

И жалко ему было себя. Жалко было представить такую целеустремленную, наступательную и даже, можно сказать, красивую жизнь, как у него, — спибленной камнем этой по-

сторонней опухоли, которую уже ум его отказывался осознать как необходимость.

Белая равнодушная смерть в виде простыни, обволакивающей никакую фигуру, пустоту, подходила к нему осторожно, не шумя, в шлепанцах, — а Русанов, застигнутый этой подкрадкой смерти, не только бороться с нею не мог, а вообще ничего о ней не мог ни подумать, ни решить, ни высказать.

Она пришла незаконно, и не было правила, не было инструкции, которая защищала бы Павла Николаевича.

Он ослаб настолько, что перестал относиться с гражданской горячностью к тому, что делалось в палате. Сегодня приходила лаборантка составлять избирательные списки — их тут тоже готовили к выборам. Она брала у всех паспорта, и все здесь давали их или колхозные справки, а у Костоглотова ничего не оказалось. Лаборантка естественно удивилась и требовала паспорта, а этот наглец еще шумел, что надо знать политграмоту, что разные есть виды ссыльных, и пусть она звонит по такому-то телефону, а у него, мол, избирательное право есть, принципиально есть, но в крайнем случае он может и не голосовать. Теперь-то мог осознать Павел Николаевич, в какой же он попал вертеп, когда лег в эту клинику! Среди кого он лежал! И этот негодяй еще смел отказываться тушить свет, открывал форточку по произволу, главврачу выдавал себя за целинника и даже первым, до Павла Николаевича, старался развернуть свежую, нетроганную чистую газету. Верно чуяло сердце Павла Николаевича, что это за фрукт!

Но сейчас муть безразличия заливала Русанова, и даже разоблачать Оглоеда не было у него порыва. И даже вертеп уже как-то не оскорблял.

Маячил ему капюшон простыни.

А из вестибюля послышался резкий голос санитарки Нэлли, один такой во всей клинике. Это она без всякого даже крика спрашивала кого-то метров за двадцать:

— Слушай, а лакированные эти почему стоят?

Что ответила другая — не было слышно, а опять Нэлля:

— Э-э-эх, мне б в таких пойти — вот бы хахали табунились!

Та, вторая, возразила что-то, и Нэлля согласилась отчасти:

— Ой, да! Я когда капроны первый раз натянула — души не было. А Сергей бросил спичку и сразу прожег, сволочь!

Тут она вошла в палату со щеткой и спросила:

— Ну, мальчишки, вчера, говорят, скребли-мыли, так се-

годня слегка?.. Да! Новость! — вспомнила она, и, показывая на Федерату, объявила радостно: — вот этот-то ваш накрылся! Дуба врезал!

Генрих Яковович уж какой был выдержанный, а повел плечами, ему стало не по себе.

Не поняли Нэллю, и она дояснила:

— Ну, конопатый-то! Ну, обмотанный! Вчера на вокзале. Около кассы. Теперь на вскрытие привезли.

— Боже мой! — жалостливо сказал Русанов. — Как у вас не хватает тактичности, товарищ санитарка! Зачем же распространять мрачные известия? Вы бы что-нибудь веселенькое нам сообщили.

В палате задумались. Много говорил Ефрем о смерти и казался обреченным, это верно. Поперек вот этого прохода останавливался иу беждал всех, цедя:

— Так что си-ки-верное наше дело!..

Но все-таки последнего шага Ефрема они не видели и, уехав, он оставался у них в памяти живым. А теперь надо было представить, что тот, кто позавчера топтал эти доски, где все они ходят, уже лежит в морге, разрезанный по осевой передней линии, как лопнувшая сарделька.

— Могу и веселенького, расскажу — обгрохочетесь. Только неприлично будет...

— Ничего, давай! — просил Ахмаджан. — Давай!

— Да! — еще вспомнила Нэлля, — тебя, прасюк, на рентген зовут! Тебя! Тебя! — показывала она на Вадима.

Вадим отложил книгу на окно. Осторожно, с помощью рук, опустил больную ногу, потом другую. И с фигурой совсем балетной, если б не эта нагрубелая береговая нога, пошел к выходу.

Он слышал о Поддуеве, но не почувствовал сожаления. Поддуев не был ценным для общества человеком, как и вот эта развязная санитарка. А человечество ценно все-таки не своим громоздящимся количеством, а вызревающим качеством.

Тут вошла лаборантка с газетой.

А сзади нее шел и Оглоед. Повалился на газету.

— Мне! Мне! — слабо сказал Павел Николаевич, протягивая руку.

Ему и досталось.

Еще без очков он видел, что на всю страницу идут большие фотографии и крупные заголовки. Подмостясь же выше и надев очки, он увидел, как и предполагал, что это было — окончание сессии Верховного Совета: сфотографирован президентум и зал, и крупно шли последние важные решения.

Так крупно, что не надо было листать и искать где-то мелкую многозначную заметку.

— Что?? Что?? — не мог удержаться Павел Николаевич, хотя ни к кому здесь в палате он не обращался, и неприлично было так удивляться и спрашивать над газетой.

Крупно, на первой полосе, объяснялось, что председатель Совета Министров Г. М. Маленков просил уволить его по собственному желанию, и Верховный Совет единодушно выполнил эту просьбу.

Так кончилась сессия, от которой Русанов ждал одного бюджета!..

Он ослабел, и руки его опустили газету. Он дальше не мог читать. К чему это, он не понимал. Он перестал понимать инструкцию, общедоступно распространяемую. Но он понимал, что — круто, слишком круто!

Как будто где-то в большой-большой глубине заурчали геологические пласты и чуть-чуть шевельнулись в своем ложе — и от этого потрянуло весь город, больницу и койку Павла Николаевича.

Но не замечая, как колебнулась комната и пол, от двери к нему шла ровно, мягко, в свежем-выглаженном халате доктор Гангарт с ободряющей улыбкой и со шприцем.

— Ну, будем колоться! — приветливо пригласила она.

А Костоглов с ног Русанова газету — и тоже сразу увидел и прочел.

Прочел и поднялся. Усидеть он не мог.

Он тоже не понимал точно полного значения известия. Но если позавчера сменили весь Верховный Суд, а сегодня — премьер-министра, то это были шаги Истории!

Шаги истории, и не могло быть думать и верить, что они могут быть к худшему.

Еще позавчера он держал выскакивающее сердце руками и запрещал себе верить, запрещал надеяться!

Но прошло два дня — и все те же четыре бетховенских удара напоминающе громнули в небо, как в мембрану.

А больные спокойно лежали в постелях — и не слышали!

И Вера Гангарт спокойно вводила в вену эмбихин.

Олег выметнулся, выбежал — гулять!

На простор!

Нет, он давно запретил себе верить! Он не смел разрешить себе обрадоваться!

Это в первые годы срока верит новичок каждому вызову из камеры с вещами — как вызову на свободу, каждому шепоту об амнистии — как архангельским трубам. Но его вызывают из камеры, прочитывают какую-нибудь гадкую бумажку и заталкивают в другую камеру, этажом ниже, еще темней, в такой же передыханный воздух. Но амнистия перекладывается — от годовщины Победы до годовщины Революции до сессии Верховного Совета, амнистия лопаается пузырем или объявляется ворами, жуликам, дезертирам — вместо тех, кто воевал и страдал. И те клеточки сердца, которые созданы в нас природой для радости, став ненужными, — отмирают. И те кубики груди, в которых ютится вера, годами пустеют — и иссыхают.

Вдосыть уже было поверено, вдоволь уже он освобождался и возвращался домой — наконец, хотел он только в свою Прекрасную Ссылку, в свой милый Уш-Терек! Да, милый! — удивительно, но именно таким представлялся его ссыльный уголок отсюда, из больницы, из крупного города, из этого сложно заведенного мира, к которому Олег не ощущает умения пристроиться, да пожалуй, и желания тоже.

Уш-Терек значит «Три тополя». Он назван так по трем старинным тополям, видимым по степи за десять километров и дальше. Тополя стоят смежно. Они не стройны по-тополюному, а кривоваты даже. Им, может быть, уж лет и по четыреста. Достигнув высоты, они не погнались дальше, а раздались по сторонам и сплели мощную тень над главным арыком. Говорят, и еще были такие деревья в ауле, но в 31-м году их вырубил. А больше такие не принимают. Сколько сажали пионеры — обглаживают их козы на первом взросте. Лишь американские клены взялись на главной улице перед райкомом.

То ли место любить на земле, где ты выполз кричащим младенцем, ничего еще не осмысливая, даже показаний своих глаз и ушей? Или то, где первый раз тебе сказали: ничего, идите без конвоя! Сами идите!

Своими ногами! «Возьми постель свою и ходи!».

Первая ночь на полусвободе! Пока еще присматривалась к ним комендатура, в поселок не выпускали, разрешили вольно спать под санным навесом во дворе МВД. Под навесом неподвижные лошади всю ночь тихо хрупали сено — и нельзя было выдумать звука слаще!

Но Олег полночи не мог заснуть. Твердая земля двора была вся белая от луны — и он пошел ходить, как шальной, наискось по двору. Никаких вышек не было, никто на него не смотрел — и, счастливо спотыкаясь на неровностях двора, он ходил, запрокинув голову, лицом в белое небо — и куда-то все шел, как будто боясь не успеть — как будто не в скудный глухой аул должен был выйти завтра, а в просторный триумфальный мир. В теплом воздухе ранней южной весны было совсем не тихо: — как над большой разбросанной станцией всю ночь перекликаются паровозы, так со всех концов поселка всю ночь до утра из своих загонов и дворов трубно, жадно и торжественно ревели ишаки и верблюды — о своей брачной страсти, об уверенности в продолжении жизни. И этот брачный рев сливался с тем, что ревели в груди у Олега самого.

Так разве есть место милей, чем где провел ты такую ночь?

И вот в ту ночь он опять надеялся и верил, хоть столько раз урекался отвыкнуть.

После лагеря нельзя было назвать ссыльный мир жестоким, хотя и здесь на поливе дрались чекменями за воду и рубали по ногам. Ссыльный мир был намного просторней, легче, разнообразнее. Но жестоковатость была и в нем, и не так-то легко пробивался корешок в землю, и не так-то легко было напитать стебель.

Еще надо было извернуться, чтоб комендант не заслал в пустыню глубже километров на полтораста. Еще надо было найти глино-соломенную крышу над головой и что-то платить хозяйке, а платить не из чего. Надо было покупать ежедневный хлеб и что-то в столовой. Надо было работу найти, а, намахавшись киркою за семь лет, не хотелось все-таки брать чекмень и идти в поливальщики. И хотя были в поселке вдовые женщины уже с мазанками, с огородами, даже с коровами, вполне готовые взять в мужья одинокого ссыльного — продавать себя в мужья мнилось тоже рано: ведь жизнь как будто не кончалась, а начиналась.

Раньше, в лагере, прикидывая, скольких мужчин недостает на воле, уверены были арестанты, что только конвоир от тебя отстанет — и первая женщина уже твоя. Так казалось, что ходят они одинокие, рыдая по мужчинам, и ни о чем не думают о другом. Но в поселке было великое множество детей, и женщины держались как бы наполненные своей жизнью, и ни одинокие, ни девушки ни за что не хотели так, а обязательно замуж, по-честному, и строить домик на виду поселка. Уш-терекские нравы уходили в прошлое столетие.

И вот конвоиры давно отстали от Олега, а жил он все так

же без женщины, как и годы за колючей проволокой, хотя были в поселке писанные вороные гречанки и трудолюбивые светленькие немочки.

В накладной, по которой присылали их в ссылку, написано было *н а в е ч н о*, и Олег разумом вполне поддался, что будет навечно, ничего другого нельзя было вообразить. А вот жениться здесь — что-то в груди не пускало. То свалили Берию с жестяным грохотом пустого истукана — и все ждали крутых изменений, а изменения приползали медленно, малые. То Олег нашел свою прежнюю подругу — в красноярской ссылке, и обменялся письмами с ней. То затеял переписку со старой ленинградской знакомой — и сколько-то месяцев носил это в груди, надеясь, что она приедет сюда. (Но кто это бросит ленинградскую квартиру и приедет к нему в дыру?). А тут выросла опухоль, и все разняла своей постоянной необоримой болью, и женщины уже не стали ничем привлекательнее просто добрых людей.

Как охватил Олег, было в ссылке не только угнетающее начало, известное всем, начиная с Овидия, не из опыта, так из литературы (не та местность, которую любишь; не те люди, которых бы хотелось), но и начало освобождающее, мало известное: освобождающее от сомнений, от ответственности перед собой. Несчастны были не те, кто посылался в ссылку, а кто получал паспорт с грязной 39-й паспортной статьей и должен был, упрекая себя за каждую оплошность, куда-то ехать, где-то жить, искать работу и отовсюду изгоняться. Но полноправно приезжал арестант в ссылку: не он придумал сюда ехать, и никто не мог его отсюда изгнать! За него подумало начальство, и он уже не боялся упустить где-то лучшее место, не суетился, изыскивая лучшую комбинацию. Он знал, что идет единственным путем, и это наполняло его бодростью.

И сейчас, начав выздоравливать и стоя опять перед разбираемо-запутанной жизнью, Олег ощущал приятность, что есть такое блаженное местечко Уш-Терек, где за него подумано, где все очень ясно, где его считают как бы вполне гражданином, и куда он вернется скоро как домой, как *д о м о й*. Уже какие-то нити родства тянули его туда и хотелось говорить: *у н а с*.

Три четверти того года, который Олег пробыл до сих пор в Уш-Тереке, он болел — и мало присмотрелся к подробностям природы и жизни, и мало наслаждался ими. Больному человеку степь казалась слишком пыльной, солнце слишком горячим, огороды слишком выжженными, замес саманов слишком тяжелым.

Но сейчас, когда жизнь, как те кричащие весенние иша-

ки, снова затрубила в нем, Олег расхаживал по аллеям медгородка, изобилующего деревьями, людьми, красками и каменными домами, — и с умилением восстанавливал каждую скупую умеренную черточку уш-терекского мира. И тот скупой мир был ему дороже — потому что он был свой, до гроба свой, н а в е к и свой, а этот — временный, прокатный.

И вспоминал он степной ж у с а н — с горьким запахом, а таким родным! И опять вспоминал ж а н т а к с колкими колючками. И еще колче того д ж и н г и л ь, идущий по изгороди — а в мае цветет он фиолетовыми цветами, благоухающими совсем как сирень. И одурманивающее это дерево — д ж и д у — с запахом цветов до того избыточно-пряным, как у женщины, перешедшей меру желания и надушенной без удержу.

Как это удивительно, что русский, какими-то лентами душевными припеленатый к русским перелескам и полям, к тихой замкнутости средне-русской природы, а сюда присланный помимо воли и навсегда — вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается как отдых, а дождь — как праздник, и вполне уже, кажется, смирился, что будет жить здесь до смерти. И по таким ребятам, как Сарымбетов, Телегенов, Маукоев, братья Скоковы, он, еще языка их не знал, кажется, и к народу этому привязался, он под налетом случайных чувств, когда смешивается ложное с важным, под наивной преданностью древним р о д а м, понял его как в корне простодушный народ и всегда отвечающий на искренность — искренностью, на расположение — расположением.

Олегу — тридцать четыре года. Все институты обрывают прием в тридцать лет. Образование ему уже никогда не получить. Ну, не вышло — так не вышло. Только недавно он от изготовщиков саманов сумел подняться до помощника землеустроителя (не самого землеустроителя, как соврал Зое, а только помощника, на триста пятьдесят рублей). Его начальник, районный землеустроитель, плохо знает цену деления на рейке, поэтому работать бы Олегу всласть, но ему работы почти нет: при розданных колхозам актах на в е ч н о е, (тоже вечное) пользование землей, ему лишь иногда достается отрезать что-нибудь от колхозов в пользу расширяющихся поселков. Куда ему до м и р а б а — до властителя поливов, мираба, спиной своей чувствующего малейший наклон почвы! Ну, вероятно, с годами Олег сумеет устроиться лучше. Но даже и сейчас — почему с такой теплотой вспоминает он об Уш-Тереке, и ждет конца лечения, чтобы только вернуться туда, дотянуться туда хоть вполздорова?

Не естественно ли было бы озлобиться на место своей ссылки, ненавидеть и проклинать его? Нет, даже то, что взывает, кажется, к свистящему бичу сатиры — и то видится Олегу только анекдотом, достойным улыбки. И новый директор школы Абен Берденов, который сорвал со стены «Грачей» Саврасова и закинул их на шкаф (там церковь он увидел и счел это религиозной пропагандой). И заврайздравотделом, бойкая русачка, которая с трибуны читает доклад районной интеллигенции, а из-под полы загоняет местным дамам по двойной цене новый крепдешин, пока не появится такой и в Раймаге. И машина скорой помощи, носящаяся в клубах пыли, но частенно совсем не с больныхми, а по нуждам секретаря как легковая, а то развоза по квартирам вермишель и сливочное масло? И «оптовая» торговля маленького розничного Орембаева: в продуктовом магазинчике его никогда ничего нет, на крыше — гора пустых ящичков от проданного товара, он премирован за перевыполнение плана и постоянно дремлет у двери магазина. Ему лень взвешивать, лень пересыпать, заворачивать. Снабдивши всех сильных людей, он дальше намечает людей, по его мнению достойных, и тихо предлагает: «Бери ящик макарон, только целый». Мешок или ящик отправляются прямо со склада на квартиру, а записываются Орембаеву в оборот. Наконец, и третий секретарь райкома, который возжелал сдать экстерном за среднюю школу, но не знал ни одной из математик, прокрался ночью к ссыльному учителю и поднес ему шкуру каракуля.

Это все воспринимается с улыбкой потому, что это все — после волчьего логова (лагеря). Конечно, что не покажется после лагеря — шуткой? Что не покажется отдыхом?

Ведь это же наслаждение — надеть в сумерках белую рубашку — (единственную, уже с продраным воротником, а уж какие брюки и ботинки — не спрашивай) — и пойти по главной улице поселка. Около клуба под камышевой кровлей увидеть афишу: «Новый трофейно-художественный фильм...» и юродивого Васю, всех зазывающего в кино. Постараться купить самый дешевый билет за два рубля — в первый ряд, вместе с мальчишками. А раз в месяц кутнуть — за два с половиной выпить в чайной, между шоферов-чеченов, кружку пива.

Это восприятие ссыльной жизни со смехом, с постоянной радостью у Олега сложилось больше всего от старичков Кадминых — гинеколога Николая Ивановича и жены его Елены Александровны. Что б ни случилось с Кадмиными в ссылке, они всегда повторяют:

— Как хорошо! Насколько это лучше, чем было! Как нам повезло, что мы попали в это прелестное место!

Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Подешевело молоко на базаре — радость! Сегодня фильм хороший в клубе — радость! Приезжал техник и зубы вставил — радость! Прислали еще одного гинеколога, тоже ссыльную — очень хорошо! Пусть ей гинекология; пусть ей незаконные аборт, Николай Иванович общую терапию поведет, меньше денег, зато спокойно. Оранжево-розово-ало-багряно-багровый степной закат — наслаждение. Стройный седенький Николай Иванович берет под руку круглую, тяжелеющую не без болезни Елену Александровну и они чинным шагом выходят за крайние дома смотреть закат. — (Насколько подвижен он, настолько медлительна она).

Но жизнь как сплошная гирлянда цветущих радостей начинается у них с того дня, когда они покупают собственную землянку-развалюшку с огородом — последнее прибежище в их жизни, как они понимают, последний кров, где им вековать и умирать: (у них есть решение — умереть вместе; один умрет, другой сопроводит, ибо зачем и для кого ему оставаться). Мебели у них никакой, и заказывается старику Хомратовичу, тоже ссыльному, выложить им в углу параллелепипед из саманов. Это получилась супружеская кровать — какая широкая! Какая удобная! Вот радость-то! Шьется широкий матрасный мешок и набивается соломой. Следующий заказ Хомратовичу — стол и притом круглый. Недоумевает Хомратович: седьмой десяток на свете живет, никогда круглого стола не видел. Зачем круглый? «Нет уж, пожалуйста! — потирает Николай Иванович свои белые ловкие гинекологические руки. — Уж обязательно круглый!» Следующая забота — достать керосиновую лампу не жестяную, а стеклянную, на высокой ножке, и не семилитровую, а обязательно десятилитровую — и что б еще стекла к ней были. В Уш-Тереке такой нет, это достается постепенно, привозится добрыми людьми издалека, — но вот на круглый стол ставится такая лампа, да еще под самодельным абажуром — и здесь, в Уш-Тереке, в 1954 году, когда в столицах гоняются за торперами и уже изобретена водородная бомба — эта лампа на круглом самодельном столе превращает глинобитную землянку в роскошную гостиную предпрошлого века. Что за торжество! Они втроем садятся вокруг, и Елена Александровна говорит с чувством:

— Ах, Олег, как хорошо мы сейчас живем! Вы знаете, если не считать детства — это самый счастливый период всей моей жизни!

Потому что ведь она права! — совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а — отношения сердец и наша

точка зрения на нашу жизнь. И то и другое — всегда в нашей власти, а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто ему не может помешать.

До войны они жили под Москвой со свекровью, и та была настолько непримирима и пристальна к мелочам, а сын к матери настолько почиттелен, что Елена Александровна — уже женщина средних лет, самостоятельной судьбы и не первый раз замужем, чувствовала себя постоянно задавленной. Эти годы она называет теперь своим «средневековьем». Нужно было случиться большому несчастью, чтобы свежий воздух хлынул в их семью.

И несчастье обрушилось — сама же свекровь и потянула ниточку: в первый год войны пришел человек без документов и попросил укрытия. Совмещая крутость к семейным с общим христианским убеждением, свекровь сочла долгом приютить дезертира и даже без совета с молодыми. Две ночи переночевал дезертир, ушел, где-то был пойман и на допросе указал дом, который его принял. Сама уже свекровь была под восемьдесят, ее не тронули, но сочтено было полезным арестовать пятидесятилетнего сына и сорокалетнюю невестку. На следствии выяснили, не родственник ли им дезертир, и если бы оказался родственником, это сильно смягчило бы следствие: это было бы простым шкурничеством, вполне понятным и даже извинимым. Но был дезертир им — никто, прохожий, и получили Кадмины по десятке не как пособники дезертира, но как враги отечества, сознательно подрывающие мощь Красной Армии. Кончилась война — и тот дезертир был отпущен по великой сталинской амнистии 45-го года (историки будут голову ломать — не поймут, почему именно дезертиров простили прежде всех — и без ограничений). Он и забыл, что в каком-то доме ночевал, что кого-то потянул за собой. А Кадминых та амнистия несколько не коснулась: ведь они были не дезертиры, они были враги. Они и по десятке отбыли — их не отпустили домой: ведь они не в одиночку действовали, а группой, организацией — муж да жена! — и полагалось им в вечную ссылку. Предвидя такой исход, Кадмины заранее подали прошение, чтобы хоть в ссылку-то их послали в одно место. И как будто никто прямо не возражал, и как будто просьба была довольно законная — а все-таки мужа послали на юг Казахстана, а жену — в Красноярский край. Может, их хотели разлучить, как членов одной организации?.. Нет, это не в кару им сделали, не на зло, а просто в аппарате министерства внутренних дел не было же такого человека, чья обязанность была бы соединять мужей и жен — вот и не соединили. Жена, под пятьдесят

лет, но с опухающими руками и ногами, попала в тайгу, где ничего не было, кроме лесоповала, уже так знакомого по лагерю. (Но и сейчас вспоминает она енисейскую тайгу — какие пейзажи!). Год еще писали они жалобы — в Москву, в Москву, в Москву — и тогда только пришел спецконвой — и повез Елену Александровну сюда, в Уш-Терек.

И еще бы им теперь не радоваться жизни! не любить Уш-Терек! и свою глинобитную хибарку! Какого еще им желать другого доброденствия?

Вечно — так вечно, пусть будет так! За вечность можно вполне изучить климат Уш-Терека! Николай Иванович вывешивает три термометра, ставит банку для осадков, и за силой ветра заходит к Инне Штрем — десятикласснице, ведущей государственный метеопункт. Еще что там будет на метеопункте, а уж у Николая Ивановича заведен метеожурнал с завидной статистической строгостью.

Еще ребенком он воспринял от отца — инженера путей сообщения, жажду постоянной деятельности и любовь к точности и порядку. Да уж педант ли был Короленко, но и тот говорил (а Николай Иванович цитирует), что «порядок в делах соблюдает наш душевный покой». И еще любимая поговорка доктора Кадмина: «Вещи знают свои места». Вещи сами знают, а мы только не должны им мешать.

Для зимних вечеров есть у Николая Ивановича любимое досужное занятие: переплетное ремесло. Ему нравится претворять лохматые, разлезлые, гибнущие книги в затынутый радостный вид. Даже и в Уш-Тереке сделали ему переплетный пресс и преострый обрезной ножичек. Но зимы не так много в Уш-Тереке, а все остальные месяцы заботит теперь огород.

Десять соток своего огорода разбивает Николай Иванович с такой замысловатостью и энергией, что куда там старый князь Болконский со всеми Лысыми Горами и особым архитектором. По больнице Николай Иванович в шестьдесят лет еще очень жив, исполняет полторы ставки и в любую ночь бежит принимать роды. По поселку он не ходит, а носится, не стесняясь своей седой бороды, и только развеивает полами парусинового пиджачка, сшитого Еленой Александровной. А вот к лопате у него уже сил мало — полчаса утром и все, и начинает задыхаться. Но пусть отстают руки и сердце, а планы стройны и доведены до идеала. Он водит Олега по голому своему огороду, счастливо отмеченному двумя деревцами по задней меже, и хвалится:

— Вот тут, Олег, сквозь весь участок пройдет прешпект. По левую сторону вы когда-нибудь увидите три урюка, они

уже посажены. По правую руку будет разбит виноградник, он несомненно примется. В конце же прешпект упрется в беседку — в самую настоящую беседку, которой еще не видал Уш-Терек! Основы беседки уже заложены — вот этот полукруглый диван из саманов (все тот же Хомратович. «Зачем полукруглый?») — и вот эти прутья — по ним поднимется хмель. Рядом будут благоухать табаки. Днем мы будем здесь прятаться от зноя, а вечерами — пить чай из самовара, милости прошу! — (Впрочем, и самовара еще нет).

Что еще будет расти у них на огороде — неизвестно, не видно, а чего нет — нет картошки, капусты, огурцов, помидор и тыкв, что есть у соседей. «Но ведь это же купить можно!» — возражают Кадмины. И покупают. Поселенцы Уш-Терека — народ хозяйственный, держат коров, свиней, овец, кур. Не вовсе чужды животноводству и Кадмины, но беспрактичное у них направление фермы: одни только собаки да кошки. Кадмины так понимают, что и молоко, и мясо можно принести с базара, но где купить собачью преданность? Разве за деньги будут так прыгать на тебя лопухий чернобурый Жук, огромный, как медведь, и острый пронырливый маленький Тобик, весь белый, но с подвижными черными ушками?

Любовь к животным мы теперь не ставим в людях ни в грош, а над привязанностью к кошкам даже непременно смеемся. Но разлюбив сперва животных — не неизбежно ли мы потом разлюбываем и людей?

Кадмины любят в каждом своем звере не шкуру, а личность. И та общая душевность, которую излучают супруги, безо всякой дрессировки почти мгновенно усваивается и их животными. Животные очень ценят, когда Кадмины с ними разговаривают и подолгу могут слушать. Животные дорожат обществом своих хозяев и горды их повсюду сопровождать. Если Тубик лежит в комнате (а доступ в комнаты собакам не ограничен) и видит, что Елена Александровна надевает пальто и берет сумку, — он не только сразу понимает, что сейчас будет прогулка в поселок — но срывается с места, бежит за Жуком в сад и тотчас возвращается с ним. На каком-то определенном собачьем языке он там ему передал о прогулке — и Жук прибежал возбужденный, готовый идти.

Жук хорошо знает протяженность времени. Проводив Кадминых до кино, он не лежит у клуба, уходит, но к концу сеанса всегда возвращается. Один раз картина оказалась всего из пяти частей и он опоздал. Сколько было горя сперва, и сколько потом прыжков!

Куда псы никогда не сопровождают Николая Ивановича

— это на работу, понимая, что было бы нетактично. Если в предвечернее время доктор выходит за ворота своим легким молодым шагом, то по каким-то душевным волнам собаки безошибочно знают — пошел ли он проведать роженицу (и тогда не идут) или идет купаться — и тогда идут. Купаться далеко — в реку Чу, за пять километров. Ни местные, ни ссыльные, ни молодые, ни средолетние не ходят туда ежедневно — далеко. Ходят только мальчишки да доктор Кадмин с собаками. Собственно, это единственная из прогулок, не доставляющая собакам прямого удовольствия: дорожка по степи жесткая и с колючками, у Жука большие израненные лапы, а Тобик, однажды искупанный, очень боится снова попать в воду. Но чувство долга — выше всего, и они проделявают с доктором весь путь. Только за триста безопасных метров от реки Тобик начинает отставать, чтоб его не схватили, извиняется ушами, извиняется хвостом и ложится. Жук идет до самого обрыва, здесь кладет свое большое тело и, как монумент, наблюдает купанье сверху.

Долг провожать Тобик распространяет и на Олега, который часто бывает у Кадминых. (Так, наконец, часто, что это тревожит оперуполномоченного и он порознь допрашивает: «а почему вы так близки? а что у вас общего? а о чем вы разговариваете?»). Жук может и не провожать Олега, но Тобик обязан и даже в любую погоду. Когда на улице дождь и грязно, лапам будет холодно и мокро, очень Тобику не хочется, он потянется на передних лапах и потянется на задних — а все-таки пойдет! Тобик же и почтальон между Кадминым и Олегом. Нужно ли сообщить Олегу, что сегодня интересный фильм, или что-то важное появилось в продуктивном или в универмаге — на Тобика надевается матерчатый ошейник с запиской, пальцем ему показывают направление и твердо говорят: «К Олегу!» И в любую погоду он послушно семенит к Олегу на своих тонких высоких ногах, а придя и не застав дома, дожидается у двери. Самое удивительное, что никто его этому не учил, не дрессировал, а он с первого раза от душевных волн все понял и стал так делать. (Правда, подкрепляя его идейную твердость, Олег всякий раз выдает ему за почтовый рейс и материальное поощрение).

Еще удивляет у Тобика постоянное грустное выражение глаз. Улыбается он даже не оскалом зубов, а только ушами.

Жук — ростом и статью в немецкую овчарку, но нет в нем овчарской настороженности и злобности, его затопляет добродушие крупного сильного существа. Ему уже лет немало, он знал многих хозяев, а Кадминых выбрал сам. Перед тем он принадлежал духанцику (или зав. чайной) Васадзе.

Васадзе держал его на цепи при ящиках с пустой посудой, иногда для забавы отвязывая и натравливая на соседних псов. Жук дрался отважно и наводил на тех желтых важных псов ужас. А на самом деле — Жук добр, миролюбив, он просто не мог не верить своему руководству. В одно из таких отвязываний он побывал на собачьей свадьбе близ тома Кадминых: обхаживалась маленькая Кукла, мать Тобика. За свой несообразно крупный рост Жук был отвергнут (и так не стал отчимом Тобика), но что-то почувствовал он душевное во дворе Кадминых — и стал сюда бегать, хоть тут его и не кормили. Васадзе уезжал, и подарил Жука своей ссыльной подруге Эмилии. Та сытно кормила Жука — а он все-равно срывался и уходил к Кадминым. Эмилия обижалась на Кадминых, уводила Жука к себе, опять сажала на цепь, а он все-равно срывался и уходил. Тогда она привязала его цепью к автомобильному колесу. Вдруг Жук увидел, что по улице идет Елена Александровна, даже нарочно отвернувшись. Он рванулся — и как ломовая лошадь, хрипя, протащил автомобильное колесо метров сто на своей шее, пока не свалился. После этого Эмилия отступилась от Жука. И у новых хозяев Жук быстро перенял абстрактную гуманность как главную норму поведения. И все уличные собаки совсем перестали его бояться. Со всеми прохожими Жук стал приветлив, но не искателен.

Однако, любители стрелять в живое были и в Уш-Тереке. Не промышляя лучшей дичи, они ходили по улицам и, пьяные, убивали собак. Дважды стреляли уже в Жука. Теперь он боялся всякого наведенного отверстия — и фотообъектива тоже, и не давался фотографировать.

Были у Кадминых еще и коты — избалованные, и капризные и любящие искусство, но Олег, гуляя сейчас по аллеям медгородка, представил себе именно Жука, огромную добрую голову Жука, да не просто на улице — а в заслон своего окна: внезапно в окне Олега появляется голова Жука — это он встал на задние и заглядывает, как человек. Это значит — рядом прыгает Тобик и уже на подходе Николай Иванович.

И с умилением Олег почувствовал, что он вполне доволен своей долей, что он вполне смирен со ссылкой, и только здоровья одного он просит у неба, и не просит больше чудес.

Вот так жить, как Кадмины живут — радоваться тому, что есть! Тот и мудрец, кто доволен немногим.

Кто — оптимист? Кто говорит: везде — хуже, у нас еще хорошо, нам повезло. И счастлив тем, что есть, и не терзается.

Кто — пессимист? Кто говорит: везде замечательно, вез-

де лучше, только у нас случайно плохо. И постоянно мучается своим жребием.

Сейчас — только бы лечение как-нибудь перетерпеть! Как-нибудь выскочить из этих клещей — рентгенотерапии, гормонотерапии — не до конца уродом.

И — ехать в Уш-Терек. И больше впрохолость не жить! Жениться, жениться! Зоя вряд ли поедет. А если б поехала — то через полтора года. Ждать опять, ждать опять, всю жизнь ждать! — Нет! Это невозможно.

Жениться можно на Ксане — такая она тверденькая и сдобненькая вместе: тверденькая в поведении, сдобненькая на вид. Только круглоголовая слишком. Но что за хозяйка! — тарелки простые перетирает, полотенце через плечо перебросит — царица! — глаз не оторвать. С ней прочно можно жить — и дом будет на славу, и дети будут виться.

А можно — на Инне Штрем. Немножко страшно, что ей только восемнадцать лет. Но ведь это и тянет! Еще у нее улыбка какая-то рассеянно-дерзкая, задумчиво-вызывающая. Но ведь это и тянет...

Так не верить же никаким всплескам, никаким бетховенским ударам! Это все — радужные пузыри. Сердце сжать — и не верить! Ничего не ждать от будущего — лучшего!

То, что есть — буду рад тому!

В е ч н о — так вечно!.. Т а м проживут без тебя.

О, не дразни меня, дыхание весны!

21.

Олегу посчастливилось встретить ее в самых дверях клиники. Он посторонился, придерживая для нее дверь, но если б и не посторонился — она с таким порывом шла, чуть наклонясь вперед, что, пожалуй, и спшибла бы.

Он сразу охватил: на шоколадных волосах голубой берет, голову, поставленную как против ветра, и очень уж своенравного покроя пальто — какой-то длинный невероятный жакет, застегнутый у горла.

Если б он знал, что это — дочь Русанова, он наверно бы вернулся. А так — пошел выпагивать по своей отобщенной тропке.

Авиета не без труда получила разрешение подняться наверх, потому что отец ее был слишком слаб, а день был четверг — посетительный. Пальто она сняла, а на бордовый

свитер ей накинули белый халатик, такой маленький, что разве в детстве она могла бы надеть его в рукава.

После вчерашнего третьего укола Павел Николаевич действительно очень ослабел и без крайней нужды совсем уже не выбирал ног из-под одеяла. Он и ворочался мало, ел нехотя, очков не надевал, не вступал в разговоры. Окружающая жизнь, всегда вызывавшая в нем решительную реакцию одобрения или решительную реакцию порицания, как-то потускнела, побезразличнела для него. В нем пошатнулась его постоянная воля, и он отдался своей слабости, даже и приятное находя что-то в этом состоянии. Но это было худое приятное — как у замерзающего не бывает сил шевелиться. Опухоль, на которую он сперва досадовал, потом боялся ее, теперь вошла в права — и уже не он, а она решала, что же будет.

Павел Николаевич знал, что Авиета прилетает из Москвы, сегодня утром ждал ее. Он ждал ее, как всегда с радостью, но сегодня отчасти и с тревогой: решено было, что Капа расскажет ей о письме Шишова, о Родичеве и Гузуне все, как оно есть. До сих пор ей это было знать ни к чему, но теперь нужна была ее голова и совет. Авиета была разумница, никогда ни о чем она не думала хуже, чем родители, только — лучше, а все-таки немножко было и тревожно: как она воспримет эту историю? сумеет ли перенестись и понять? не осудит ли с беззаботного плеча?

И в палату Авиета вошла как против ветра, с порывом, хотя одна рука у нее была занята тяжелой сумкой, а другая удерживала халат на плечах. Свежее молодое лицо ее было сияющим, не было того постного сострадания, с которым подходят к постелям тяжело больных и которое Павлу Николаевичу больно было бы видеть у дочери.

— Ну, отец! Ну, что же ты, отец! — оживленно здоровалась она, садясь к нему на койку и искренно, без усилия целуя и в правую, и в левую уже несвежие зарастающие щеки. Ну, как ты сегодня чувствуешь? Ну-ка, скажи точно! Ну-ка, скажи!

Ее цветущий вид и бодрая требовательность поддали немного сил Павлу Николаевичу, и он слегка оживился.

— Ну, как тебе сказать? — размеренно и слабо говорил он, как бы сам с собой выясняя. — Пожалуй, она не уменьшилась, нет. Но вот такое есть ощущение, будто немного стало свободнее двигать головой. Немного свободнее. Меньше давит, что-ли.

Дочь, не спрашивая, но и нисколько не причиняя боли, раздвинула у отца воротник и ровно посередине смотрела,

так смотрела, будто она врач и каждый день имела возможность сравнивать.

— Ну, и ничего ужасного! — определила она. — Увеличенная железа, и только. Мама мне такого написала, я думала — здесь — ой! Вот, говоришь, стало свободнее. Значит, уколы помогают. Значит, помогают. А потом еще меньше станет. А станет в два раза меньше — тебе она и мешать не будет, ты можешь хоть выписаться.

— Да, действительно, — вздохнул Павел Николаевич. — Если б в два раза меньше, так можно было б и жить.

— И дома лечиться!

— Ты думаешь, дома можно было б уколы?

— А почему нет? Ты к ним привыкнешь, втянешься — и сможешь продолжать дома. Мы это оговорим, мы это подумаем!

Павел Николаевич повеселел. Уж там разрешат ли уколы дома или не разрешат, но сама решимость дочери идти на штурм и добиваться наполняла его гордостью. Авиета была склонена к нему, и он без очков хорошо видел ее прямое честное открытое лицо, такое энергичное, живое, с подвижными ноздрями, с подвижными бровями, чутко вздрагивающими на всякую несправедливость. Кто это — кажется, Горький, сказал: если дети твои не лучше тебя, то зря ты родил их, и жил ты тоже зря. А вот Павел Николаевич жил не зря.

Все-таки он беспокоился, знает ли она о том, и что скажет сейчас.

Но она не спешила переходить к тому, а еще спрашивала о лечении, и что тут за врачи, и тумбочку его проверила, посмотрела, что он съел, и что испортилось, и заменила новым.

— Я тебе вина укрепляющего привезла, пей по рюмочке. Красной икрицы привезла, ведь хочешь? И апельсинчиков, московских.

— Да, пожалуй.

Тем временем она оглядела всю палату и кто тут в палате, и живым движением лба показала ему, что — убожество невыносимое, но надо рассматривать это с юмористической точки зрения.

Хотя никто их как-будто не слушал, все же она наклонилась к отцу близко, и так стали они говорить друг для друга только.

— Да, папа, это ужасно, — сразу подступила Авиета к главному. — В Москве это уже не новость, об этом много разговоров. Начинается массовый пересмотр судебных дел.

— Массовый?!

— Буквально. Это сейчас какая-то эпидемия. Шараханье! Как будто колесо истории можно повернуть назад! Да кто это может! И кто это смеет! Ну, хорошо, правильно-неправильно их когда-то осудили — но зачем же теперь этих отдаленников возвращать сюда? Да пересаживать их сейчас в прежнюю жизнь — это болезненный, мучительный процесс, это безжалостно, прежде всего, по отношению к ним самим! А некоторые умерли — и зачем же шевелить тени? Зачем и у родственников возбуждать необоснованные надежды, мстительные чувства?.. И потом, что значит само слово «реабилитирован»? Ведь это ж и не может значить, что он полностью невиновен! Что-то обязательно там есть, только небольшое.

— Ах, какая ж умница! — С какой горячностью правоты она говорила! Еще не дойдя до своего дела, Павел Николаевич уже видел, что в дочери он встретит поддержку всегда. Что Алла не могла откаться.

— И ты знаешь случаи возвратов? Даже в Москву?

— Даже в Москву — вот именно. А они в Москву-то и лезут теперь, им тут как медом намазано. И какие бывают трагические случаи! Представляешь, один человек живет совершенно спокойно, вдруг его вызывают — т у д а. Н а о ч н у ю с т а в к у! — представляешь?

Павла Николаевича повело, как от кислого. Алла заметила, но она всегда доводила мысль до конца, она не могла остановиться.

— ...И предлагают повторить, что там было сказано двадцать лет назад, воображаешь? Кто это может помнить? И кому от этого тепло? Ну если уж вам так приспичило — так реабилитируйте, но без очных ставок! Но не трепите же нервы людям! Ведь человек вернулся домой — и чуть не повесился!

Павел Николаевич лежал в испарине. Еще эта только мысль ему не приходила в голову, что с Родичевым или с Ельчанским или еще с кем-нибудь потребуют очную ставку!

— А кто этих дураков заставлял подписывать на себя небылицы? Пусть бы не подписывали! — гибкая мысль Аллы охватывала все стороны вопроса. — Да вообще как можно ворошить этот ад, не подумав о людях, кто тогда работал. Ведь о них-то надо было подумать! Как им перенести эти внезапные перемены!

— Тебе мама рассказала?..

— Да, папочка! Рассказала. И тебя здесь ничто не должно смутить! — уверенными сильными пальцами она взяла отца за оба плеча. — Вот хочешь, я скажу тебе, как понимаю: тот, кто идет и с и г н а л и з и р у е т — это передовой, сознательный человек! Он движим лучшими чувствами к своему

обществу, и народ это ценит и понимает. В отдельных случаях такой человек может и ошибиться. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Обычно же он руководится своим классовым чутьем — а оно никогда не подведет.

— Ну, спасибо, Алла! Спасибо! — Павел Николаевич почувствовал даже, что слезы подходят к горлу, но хорошие, светлые слезы. Потной кистью он погладил прохладную кисть дочери. — Это очень важно, чтобы молодые поняли нас, не осудили. Скажи, а как ты думаешь... А в законе не найдут такой статьи, чтоб еще теперь нас же... вот, меня... привлекать, значит, за... ну, неправильные показания?

— Представь себе, — очень живо отозвалась Алла, — в Москве случайно я была свидетельницей разговора, где обсуждали вот... подобные же опасения. И был, юрист, и он объяснил, что статья за так называемые ложные показания и всего-то гласит до двух лет, а с тех пор два раза уже была под амнистией — и совершенно исключено, чтобы кто-нибудь привлек за ложные показания! Так что Родичев и не пикнет, будь уверен!

Павлу Николаевичу показалось даже, что опухоль у него еще посвободнела.

— Ах, ты моя умница! — счастливо облегченно говорил он. — И все ты всегда знаешь! И везде ты всегда успеваешь. Сколько ты мне сил вернула!

И уже двумя руками взяв руку дочери, расцеловал ее благоговейно. Павел Николаевич был бескорыстный человек. Интересы детей всегда были для него выше своих. Он знал, что сам ничем не блещет, кроме преданности, аккуратности и настойчивости. Но истинный расцвет он переживал в дочери и согревался в ее свете.

Алле надоело все время удерживать на плечах условный белый халат, он свалился, и теперь она, рассмеявшись, бросила его на спинку кровати сверх температурного графика отца. Ни врач, ни сестры не входили, такое было время дня.

И осталась Алла в своем бордовом свитере — новом, в котором отец ее еще не видел. Широкий белый веселый зигзаг шел по этому свитеру с обшлага на обшлаг через два рукава и грудь, и очень приходился этот энергичный зигзаг к энергичным движениям Аллы.

Никогда отец не ворчал, если деньги шли на то, чтоб хорошо одевалась Алла. Доставали вещи с рук, и импортные, — и была одета Алла смело, гордо, вполне выявляя свою крупную ясную привлекательность, так совмещенную с твердым ясным умом.

— Слушай, — тихо спрашивал отец, — а помнишь, я

тебя просил узнать: вот это странное выражение, которое нет-нет да встретится в чьей-нибудь речи или статье — к у л ь т л и ч н о с т и?.. — это — неужели намекают на...

Даже воздуха не хватило Павлу Николаевичу вымолвить еще слово дальше.

— Боюсь, что да, папа... Боюсь, что да... На писательском съезде, например, несколько раз так говорили. И главное, никто не говорит прямо — а все делают вид, что понимают.

— Слушай, но это же просто — богохульство!.. Как же смеют, а?

— Стыд и позор! Кто-то пустил — и вот вьется, вьется... Папа, но нужно гибко смотреть. Нужно, папа, быть отзывчивым к требованиям времени. Я огорчу тебя, папа, но нравится нам, не нравится — а каждому новому периоду мы должны быть созвучны! Я там сейчас присмотрелась! Я побывала в писательской среде, и немало — ты думаешь, писателям легко перестраиваться, вот за эти два года? Оч-чень сложно! Но какой это опытный, какой это тактичный народ, как многому у них научишься!

За эти четверть часа, что Авиета сидела перед ним и быстрыми точными своими репликами разила мрачных чудовищ прошлого и освобождала светлый простор впереди, Павел Николаевич зримо поздоровел, подбодрился, и ему совсем сейчас не хотелось разговаривать о своей постылой опухоли, и казалось уже ненужным хлопотать о переводе в другую клинику, а только хотелось слушать радостные рассказы дочери, вдыхать этот порыв ветра, исходящий от нее.

— Ну, говори же, говори, — просил он. — Ну, что там? Что в Москве? Как ты съездила?

— Ах! — Алла покрутила головой, как лошадь от слепня. — Разве Москву можно передать? В Москве нужно жить! Москва — это другой мир! В Москву съездишь — как заглянешь на пятьдесят лет вперед! Ну, во-первых, в Москве все сидят и смотрят телевизоры...

— Скоро и у нас будут.

— Скоро!.. Да это и не московская программа будет, что это за телевизоры. Ведь это жизнь прямо по Уэллсу: сидят, смотрят телевизоры. Но я тебе шире скажу, у меня такое ощущение, я это быстро схватываю, что скоро очень изменится весь вид нашей жизни, подходит полная революция быта. Я не говорю даже о холодильниках или стиральных машинах, гораздо даже сильнее изменится. То там, то здесь какие-то сплошь стеклянные вестибюли. В гостиницах ставят столики низкие — совсем низкие, как у американцев, вот так.

Сперва даже не знаешь, как к нему приладиться. Абажуры матерчатые, как у нас дома — это теперь позор, мещанство, только стеклянные. Но еще даже модней — торшер, с места на место переносить. Кровати со спинками — это теперь стыд ужасный, а просто — низкие широкие софы или тахты... Комната принимает совсем другой вид. Вообще меняется весь стиль жизни... Ты этого не можешь представить. Но мы с мамой уже говорили — придется много нам решительно менять. Да ведь у нас и не купишь, из Москвы ж и везти... Ну, есть, конечно, и очень вредные моды, достойные только осуждения: это такой развратный танец рок-н-рол, передать невозможно! И еще — лохматые прически, прямо нарочно лохматые, как будто с постели только встала.

— Это все Запад! Хочет нас растлить.

— Ну, конечно, падение нравов. Но это отражается сразу и в культурной среде, например, в поэзии. Появляется какой-нибудь никому не известный Ёвтушенко, ни складу, ни ладу, кричит что-то, руками размахивает, долговязый, а девочки восхищаются...

По мере того, как от вопросов сокровенных Авиета переходила к общедоступным, она говорила громче, нестесненно, и ее слышали все в палате. Но из этих всех один только Демка оставил свои занятия и отвлекаясь от нылой боли, все постоянно тянущей его на операционный стол, слушал Авиету в оба уха. Остальные не выказывали внимания, или не было их на койках и только Вадим Зацырко иногда подымал глаза от чтения и смотрел в спину Авиете. Вся спина ее, выгнутая прочным мостом, крепко обтянутая неразношенным свитером, была равномерно густо-бордовая и только одно плечо, на которое падал вторичный солнечный зайчик — не след солнца, но отблеск открытого где-то окна, — плечо было сочно-багряное.

— Да ты о себе больше! — просил отец.

— Ну, папа, я съездила — очень удачно. Мой стихотворный сборник обещают включить в план издательства!! Правда, на следующий год. Но быстрее — не бывает. Быстрее представить себе нельзя!

— Да что ты! Что ты, Алла? Да неужели через год мы будем в руках держать?..

— Ну, пусть не через год, через два...

Лавиной радостей засыпала его сегодня дочь. Он знал, что она повезла в Москву стихи, но от этих машинописных листиков до книги с надписью *Алла Русанова* казалось непросто далеко.

— Но как же тебе это удалось?

Довольная собой, улыбалась и Алла. У нее была из тех улыбок, которыми окружающих дарят.

— Конечно, если пойти просто так, в издательство и предложить стихи — кто там с тобой будет разговаривать? Идет борьба за биштексы! Но меня Анна Евгеньевна познакомила с М., познакомила с С., я прочла им два-три стиха, им обоим понравилось — ну, а дальше там кому-то звонили, кому-то записку писали, все было очень просто.

— Это замечательно, — просто сиял Павел Николаевич. Он нашарил на тумбочке очки и надел их, будто прямо сейчас предстояло ему взглянуть на заветную книгу.

Первый раз в жизни Демка видел живого поэта, да не поэта даже, а поэтессу. Он и рот раскрыл.

— Вообще я насмотрелась на их жизнь. Какие у них простые между собой отношения! Лауреаты — а друг друга по именам. И какие они сами люди не чванные, прямодушные. Мы представляем себе, что писатель — это сидит где-то там за облаками, бледный лоб, не подойди! А — ничего подобного. Всем радостям жизни они открыты, любят выпить, закутить, прокатиться — все это в компании. Разыгрывают друг друга, да сколько смеха! Я бы сказала, они именно в е с л о живут. А подходит время писать роман — замыкаются на даче, два-три месяца и пожалуйста получите! Как мне нравится эта жизнь — самостоятельная! свободная! достойная! Нет, я все усилия приложу, чтобы попасть в Союз!

— А что ж, по специальности и работать не будешь? — немного встревожился Павел Николаевич.

— Папа! — Авиета снизила голос: — Журналистка, как хочешь, лакейская должность. Дают задание — вот это надо, никакого простора, бери интервью с разных этих знатных людей. Да разве можно сравнить!.. Ты знаешь, один писатель, как только сам стал, сейчас же и жену научил, и племянницу! И все трое пишут!

— Здорово!

— Потому что это выгодно!

— Алла, все-таки я боюсь: а вдруг у тебя не получится?

— Да как может не получиться? Ты наивный. Горький говорил: любой человек может стать писателем! Трудом можно достичь всего! Ну, а в крайнем случае стану детским писателем, уж это-то всякому доступно.

— Вообще это очень хорошо, — обдумывал Павел Николаевич. — Вообще это замечательно. Конечно, надо, чтоб литературу захватывали морально-здоровые люди.

— И фамилия у меня хорошая, чистозвонная! Не буду

псевдонима братъ. Да и внешние качества у меня для литературы исключительные!

— Аллочка, ну а если не выйдет? Там это, знаешь, каждого человека опиши, да чтобы был похож...

— А у меня — идея! Я не буду возиться с каждым отдельным персонажем, это даже и не нужно! Я представляю себе такое новаторство: описывать сразу целые коллективы, широкими мазками. Ведь вся жизнь, в конце концов, в коллективе, а не в отдельной личности!

— Да, пожалуй, — должен был признать Павел Николаевич. Но была и еще опасность, которой дочь в порыве могла недооценивать. — А представь себе — критика начнет тебя ругать? Ведь это у нас как бы общественное порицание, это опасно!

Но с откинутыми прядями шоколадных волос бесстрашно, как амазонка, смотрела Авиета в будущее:

— То-есть, о ч е н ь серьезно меня ругать никогда не будут, потому что у меня не будет идейных вывихов! А если по художественной части — Господи, кого не ругают? Например, Бабаевский — то всем был хорош, то всем стал плох, все от него отреклось, даже самые верные. Но это временное явление, одумаются, вернуться. Это из тех осторожных поворотов, какими полна жизнь. Например, говорили: «Конфликтов быть не должно!» А теперь говорят: «ложная теория бесконфликтности». Но если был бы разнолад, если бы одни говорили по-старому, а другие по-новому, заметно было бы, что что-то изменилось. А так как все сразу начинают говорить по-новому, без перехода — то и не заметно, что поворот. Я ж говорю: самое главное — быть тактичной и отзывчивой на время! И не попадешь под критику... Да! Ты ж книг просил, папочка, я тебе книг принесла. Сейчас тебе и почитать, а то когда же?

— Ну, вот «Балтийская весна», «Убей его!», это, правда, стихи, будешь читать?

— «Убей его»? — оставь, ладно.

— «У нас уже утро», «Свет над землей», «Труженики мира», «Горы в цвету»...

— Подожди. «Горы в цвету» я уже вроде читал...

— Ты читал «Земля в цвету», а это — «Горы в цвету». И вот еще — «Молодость с нами», это обязательно, прямо с этого начинай. Тут названия сами поднимают сердца, я уж такие тебе подобрала.

— Ну, хорошо, ну, положи, — довольный, сказал Павел Николаевич.

Стопка книг — точно такая же, как у Зацырко, появилась и на его тумбочке.

Авиета собралась уже уходить.

Но Демка, который в своем углу долго мучился и хмурился, то ли от неутихающих болей в ноге, то ли от робости вступить в разговор с блестящей девушкой и поэтессой, — теперь отважился и спросил: спросил непрочищенным горлом, еще откашлявшись посреди фразы:

— Скажите, пожалуйста... А как вы относитесь к требованиям искренности в литературе?

— Что, что? — живо обернулась к нему Авиета, но с дарящей полуулыбкой, потому что хриплость голоса достаточно выказывала Демкину робость. — И сюда эта искренность пролезла? Уже целую редакцию разогнали за эту искренность, а она тут опять.

Авиета посмотрела на Демкино непросвещенное неразвитое лицо и вздохнула. Вздохнула потому, что на лекцию у нее не оставалось времени, но и под дурным влиянием оставлять этого пацана не следовало.

— Слушайте, мальчик! — звонко, сильно, как с кафедры, объявила она. — Тот, кто писал эту статью, все вывернул наизнанку или недодумал. Искренность никак не может быть главным критерием книги. При неверных мыслях или чуждых настроениях только усиливает вредное действие произведения, искренность — вредна! Субъективная искренность может оказаться против правдивости показа жизни — вот эту диалектику вы понимаете?

Трудно доходили мысли до Демки, он взморщил весь лоб.

— Не совсем, — сказал он.

— Ну, хорошо, я вам объясню. — У Авиеты были расставлены руки и белый зигзаг как молния бежал с руки на руку через грудь. — Нет ничего легче взять унылый факт, как он есть и описать его. Но надо глубоко вспахать, чтоб показать те ростки будущего, которые не видны.

— Ростки...

— Что??

— Ростки сами должны прорасти, — торопился вставить Демка, — а если их пропахать, они не вырастут.

— Ну, хорошо, мы не о сельском хозяйстве говорим, мальчик. Говорить народу правду — это совсем не значит говорить плохое, тыкать в недостатки. Можно бесстрашно говорить о хорошем, чтоб оно стало еще лучше! Откуда это фальшивое требование так называемой «суровой правды»? Да почему вдруг правда должна быть суровой? Почему она не

должна быть сверкающей: увлекательной, оптимистической? Вся литература наша должна стать праздничной! В конце концов людей обижает, когда об их жизни пишут мрачно. Им нравится, когда о ней пишут, украшая ее.

— Вообще с этим можно согласиться, — раздался сзади приятный, чистый, но и не высокий мужской голос. — А зачем, правда, уныние нагонять?

Авиета не нуждалась, конечно, ни в каком союзнике, но по удачливости своей знала, что если кто что и выскажет, то будет в ее пользу. Она обернулась, сверкнув и к окну, навстречу зайчику, разворотом белого зигзага. Очень приятный молодой человек, ее сверстник, постукивая о зубы кончиком черного граненого автокарандаша.

— А для чего литература? — размышлял он то ли для Демки, то ли для Аллы. — Литература — чтобы развлекать нас, когда у нас настроение плохое.

— Литература — учитель жизни, — прогудел Демка, и сам же покраснел от неловкости сказанного.

Вадим покачнулся головой на затылок:

— Ну, уж и учитель, скажешь! В жизни мы как-нибудь и без нее разберемся. Что ж, писатели умней нас, практиков, что ли?

Он и Алла померялись взглядами. Во взглядах они были разны: хоть они подходили по возрасту, и не могли не понравиться друг другу наружностью, но каждый из них настолько шел своей установленной дорогой жизни, что ни в каком случайном взгляде не мог искать начала приключения.

— Роль литературы вообще сильно преувеличивают, — рассуждал Вадим. — Превозносят книги, которые того не заслуживают. Например — «Гаргантюа и Пантагрюэль». Не читавши, думаешь — это что-то грандиозное. А прочтешь — одна похабщина, потерянное время.

— Эротический момент есть и у современных авторов. Он не лишний, — строго возразила Авиета. — В сочетании с самой передовой идейностью он сдобривает. Например, у...

— Лишний, — уверенно отвел Вадим. — Не для того печатное слово, чтобы щекотать страсти. Возбуждающее в аптеках продают.

И, не глядя больше на амазонку в бордовом свитере, не ожидая, что она его переубедит, опустил голову в книгу.

Авиету всегда огорчало, когда людские мысли не делились на две четких группы верных и неверных доводов, а располагались, расплывались по неожиданным оттенкам, вносящим только идейную путаницу, и вот, как сейчас, нельзя было

понять: что ж этот молодой человек — за нее или против? Спорить с ним или оставить так?

Она оставила так и докончила опять Демке:

— Так вот, мальчик, пойми. Описывать то, что есть, гораздо легче, чем описывать то, чего нет, но ты знаешь, что оно будет. То, что мы видим простыми глазами сегодня — это не обязательно правда. Правда — то, что должно быть, что будет завтра. Наше чудесное «завтра» и нужно описывать!..

— А что ж будут завтра описывать? — морщил лоб бестолковый мальчишка.

— Завтра?.. Ну, а завтра будут описывать послезавтра. С заглядом.

Туповатый попался паренек, не стоило на него и доводов тратить. Просто борясь за истину в массах, Авиета закончила:

— Статейка эта вредная. Она огульно, оскорбительно обвиняет писателей в неискренности. Но так неуважительно могут относиться к писателям только обыватели. А задача в том, чтобы писателей ценить — это труженики и труженики! Обвинять в неискренности можно обвинять писателей западных, потому что они продажные, иначе читатель не купит их книги. Там все за деньги.

Она уже поднялась и стояла в проходе — крепкая, ладная, здоровая русановская порода. Павел Николаевич с удовольствием послушал и всю ее лекцию, прочтенную Демке.

Уже поцеловав отца, Алла еще теперь бодро подняла расставленную пятерню:

— Ну, отец, борись за здоровье! Борись, лечись, сбрасывай опухоль — *и ни о чем не беспокойся* — со смыслом подчеркнула она. — В с е — в с е, в с е будет отлично!

К о н е ц п е р в о й ч а с т и

1963—1966.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«3 марта 1955 г.

Дорогие Елена Александровна и Николай Иванович!

Вот вам загадочная картинка, что это и где? На окнах — решетки (правда, только на первом этаже, от воров, и фигурные — как лучи из одного угла, да и намордников нет). В комнатах — койки с постельными принадлежностями. На каждой койке — перепуганный человек. С утра — пайка, сахар, чай (нарушение в том, что еще и завтрак). Утром — угрюмое молчание, никто ни с кем разговаривать не хочет, зато вечерами — гул и оживленное общее обсуждение. Споры об открытии и закрытии форточек, и кому ждать лучшего и кому худшего, и сколько кирпичей в Самаркандской мечети. Днем «дергают» по одиночке — на беседы с должностными лицами, на процедуры, на свидания с родственниками. Шахматы, книги. Приносят и передачи, получившие — гужуются с ними. Выписывают кой-кому и дополнительное, правда — не стукачам (уверенно говорю, потому что сам получаю). Иногда производят шмоны, отнимают личные вещи, приходится утаивать их и бороться за право прогулки. Баня — крупнейшее событие и одновременно бедствие: будет ли тепло? хватит ли воды? какое белье получишь? Нет смешней, когда приводят новичка, и он начинает задавать нелепейшие вопросы, еще не представляя, что его ждет...

Ну, догадались?.. Вы, конечно, укажете, что я заврался: для пересыльной тюрьмы — откуда постельные принадлежности? а для следственной — где же ночные допросы? Предполагая, что это письмо будут проверять на уш-терекской почте, уж я не вхожу в иные аналогии.

Вот такого житья-бытья в раковом корпусе я отбыл уже пять недель. Минутами кажется, что опять вернулся в преж-

ную жизнь, и нет ей конца. Самое томительное то, что сижу — без срока, д о о с о б о г о. (А от комендатуры разрешение только ведь на три недели, формально я уже просрочил, и могли бы меня судить, как за побег). Ничего не говорят, когда выпишут, ничего не обещают. Они по лечебной инструкции должны, очевидно, выжать из больного все, что выжмается и отпустить только тогда, когда кровь уже будет совсем «не держать».

И вот результаты: то лучшее, как вы его в прошлом письме назвали «эвфорическое» состояние, которое было у меня после двух недель лечения, когда я просто радостно возвращался к жизни — все ушло, ни следа. Очень жалею, что не настоял тогда выписаться. Все полезное в моем лечении кончилось, начинается одно вредное.

Глушат меня рентгеном по два сеанса в день, каждый двадцать минут, триста «эр» — и хотя я давно забыл боли, с которыми уезжал из Уш-Терека, но узнал тошноту. Друзья мои! рентгеновская тошнота (а может быть и от уколов, тут все складывается) — какая это мерзость! Вот разберет грудь — и часами! Курить, конечно, бросил — само бросилось. И такое противное состояние — не могу гулять, не могу сидеть, одно только хорошее положение выискал (в нем и пишу вам сейчас, оттого карандашом и не очень ровно): без подушки, навзничь, ноги чуть приподнять, а голову даже чуть свесить с койки. Когда зовут на следующий сеанс, то, входя в аппаратную, где «рентгеновский» запах густой, просто боишься извергнуться. Еще от этой тошноты помогают соленые огурцы и соленая капуста, но ни в больнице, ни в медгородке их, конечно, не достать, а из ворот больных не выпускают. «Пусть, мол, вам родные приносят!» Родные!.. Напи родные в красноярской тайге на четвереньках бегают, известно! Что остается бедному арестанту? Надеваю сапоги, перепоясываю бабий халат армейским ремнем и крадусь к такому месту, где стена медгородка полуразрушена. Там перебираюсь, перехожу железную дорогу — и через пять минуток на базаре. Ни на прибазарных улочках, ни на самом базаре мой вид ни у кого не вызывает удивления или смеха. Я усматриваю в этом духовное здоровье нашего народа, который ко всему привык. По базару хожу и хмурую торгуюсь, как только эки, наверно, умеют (на жирную бело-желтую курицу прогундосить: «и сколько ж, тетка, за этого туберкулезного цыпленка прошибь?»). Какие у меня рублики? а достались как?.. Говорил мой дед: «копейка рубль бережет, а рубль — голову». Умный был у меня дед.

Только огурцами и спасаюсь. Appetit, который вдруг

вернулся ко мне в начале лечения, уже завял. Я ведь даже поправлялся под рентгеном — сейчас худею. Голова тяжелая, один раз кружилась здорово. Ну, правда, и опухоли половины не стало, края мягкие, сам ее прощупываю с трудом. А кровь тем временем разрушается, поят меня специальными лекарствами, которые должны повесить лейкоциты (а что то же и испортить!) и хотят «для провокации лейкоцитоза» (так у них и называется, во язычок!) делать мне... молочные уколы! Ну, чистое же варварство! Да вы поднесите мне кружечку парного так! Ни за что не дамся колоть.

А еще грозятся кровь переливать. Тоже отбиваюсь. Что меня спасает — группа крови у меня первая, редко привозят.

Вообще, с заведующей лучевым отделением у меня отношения натянутые, что ни встреча — то спор. Крутая очень женщина. Последний раз стала щупать мне грудь и уверять, что «нет реакции на синаэстрол», что я избегаю уколов, обманываю ее. Я натурально возмутился (а на самом деле, конечно, обманываю).

А вот с лечащим врачом мне труднее твердость проявить — и почему? Потому что она мягкая очень. (Вы, Николай Иванович, начали мне как-то объяснять, откуда это выражение — «мягкое слово кость ломит». Напомните, пожалуйста). Она не только никогда не прикрикнет, но и бровей-то смурить как следует не умеет. Что-нибудь против моей воли означает — и потупляется. И я почему-то уступаю. Да некоторые детали нам с ней и трудно обсуждать: она еще молодая, моложе меня и как-то неловко спросить до конца. Кстати, миловидная, очень располагающая женщина. Она сама отрекомендовалась мне замужней, хорошо помню, вдруг выяснилось, что никакого мужа нет. Свое безмужие переживает, очевидно, как унижение, оттого и солгала.

Да и школярство тоже в ней сидит, она тоже непробиваемо верит в их установленные методы лечения, и я не могу заставить ее усумниться. Вообще, никто не снисходит до обсуждения этих методов со мной, никто не хочет взять меня в разумные союзники. Мне приходится вслушиваться в разговоры врачей, догадываться, дополнять несказанное, добывать медицинские книги — и вот так выяснять для себя обстановочку.

И все равно трудно решить: как же мне быть? как поступить правильно? Вот щупают часто над ключицами, а насколько это вероятно, что там обнаружатся метастазы? Для чего они простреливают меня этими тысячами рентгеновских единиц? — действительно ли, чтобы опухоль не начала снова

расти? или на всякий случай, с пятикратным и десятикратным запасом прочности, как строятся мосты? или только в исполнение бесчувственной безразличной инструкции, отойти от которой они не могут, иначе лишатся работы? Но я-то мог бы и отойти. Я-то мог бы и разорвать этот круг, только скажите мне истину!.. — не говорят.

Ведь не прошу же я долгой жизни! — и что загадывать вдаль?.. То я жил все время под конвоем, то я жил все время под болями, — теперь я хочу немножечко прожить и без конвоя, и без болей, одновременно и без того и без другого — и вот предел моих мечтаний. Не прошу ни Ленинграда, ни Рио-де-Жанейро, хочу в нашу глушь, в наш скромный Уш-Терек. Скоро лето, хочу это лето спать под звездами на топчане, так, чтобы ночью проснуться — и по развороту Лебеда и Пегаса знать, который час. Только вот это одно лето пожить так, чтобы видеть звезды, чтобы не засвечивали их эонные фонари — а после мог бы я и совсем не просыпаться. Да, и еще хочу, Николай Иванович, с вами (и с Жуком, разумеется, и с Тобиком), когда будет спадать жара, ходить степной тропочкой на Чу и там, где глубже, где вода ниже колена, садиться на песчаное дно, ноги по течению, и долго-долго так сидеть, неподвижностью соревноваться с цапляй на том берегу.

Наша Чу не дотягивает ни до какого моря, ни озера, ни до какой большой воды. Река, кончающая жизнь в песках! Река, никуда не впадающая, все лучшие воды и лучшие силы раздарившая так, по пути и случайно — друзьям! разве это не образ наших арестантских жизней, которым ничего не дано сделать, суждено бесславно заглохнуть, — и все лучшее наше — это один плес, где мы еще не высохли, и вся память о нас — в двух ладоньках водица, то, что протягивали мы друг другу встречей, беседой, помощью.

Река, впадающая в пески!.. Но и этого последнего плеса врачи хотят меня лишить. По какому-то праву (им не приходит в голову спросить себя о праве) они без меня и за меня решаются на страшное лечение — такое, как гормонотерапия. Это же — кусок раскаленного железа, которое подносят однажды — и делают калеккой на всю жизнь. И так это буднично выглядит в будничном быте клиники!

Я и раньше давно задумывался, а сейчас особенно, над тем: какова, все-таки, верхняя цена жизни? Сколько можно за нее платить, а сколько нельзя? Как в школах сейчас учат: «Самое дорогое у человека — это жизнь, она дается один раз». И значит — любой ценой цепляйся за жизнь... Многим из нас лагерь помог установить, что предательство, что губ-

лень хороших и беспомощных людей — цена слишком высокая, того наша жизнь не стоит. Ну, об угодничестве, лести, лжи — лагерные голоса разделялись, говорили, что цена эта — сносная, да может так и есть.

Ну, а вот такая цена: за сохранение жизни заплатить всем тем, что придает ей же краски, запахи и волнение? Получить жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой деятельностью — и все. Стать ходячей схемой. Такая цена — не слишком ли заломлена? Не насмешка ли она? Платить ли? После семи лет армии и семи лет лагеря — дважды семи лет, дважды сказочного или дважды библейского срока — и лишиться способности выживать, где мужчина, где женщина — эта цена не лихо ли запрошена?

Да ни минуты б я не колебался, я б разругался с ними и уехал давно — но тогда я теряю справку от них — Богиню Справку! — а она, ой-ой-ой, как нужна ссыльному! Может быть, завтра комендант или опер захотят заслать меня еще за триста километров в пустыню дальше — а справочкой-то я и зацеплюсь: нуждается в постоянном наблюдении, лечении — извините, пожалуйста, гражданин начальник! Как старому арестанту отказываться от медицинской справки? — немыслимо!

И значит — опять хитрить, прикидываться, обманывать, тянуть — и надоело же за целую жизнь!.. (Кстати, от слишком большой хитрости устаем мы и ошибаемся. Сам же я все и накликал письмом омской лаборантки, которое просил вас прислать. Отдал — схватили его, подписали в историю болезни, и с опозданием я понял, что зав. отделением на этом меня обманула: теперь она с уверенностью дает гормонотерапию, а то бы, может, сомневалась).

Вот вернусь в Уш-Терек, и чтобы опухоль никуда метастазов не кинула — прибью-ка ее еще иссык-кульским корешком. Что-то есть благородное в лечении сильным ядом: яд не притворяется невинным лекарством, он так и говорит: я — яд! берегись! или-или! И мы знаем, на что идем.

Вашим последним письмом (шло оно что-то быстро — пять дней, а все предыдущие по восемь) вы меня взбудоражили: что? у нас в районе — и геодезическая экспедиция? Это что б за радость была — стать у теодолита! хоть годик поработать как человек! Да возьмут ли меня? Ведь обязательно пересекать комендантские границы и вообще это все — трижды секретно, без этого не бывает, а я — человек запчаканный.

«Мост Ватерлоо» и «Рим — открытый город», которые

вы хвалите, мне теперь уже не повидать: в Уш-Тереке второй раз не покажут, а здесь, чтобы пойти в кино, надо после выписки из больницы где-то ночевать, а где-же? Да еще и не ползком ли я буду выписываться?

Вы предлагаете подбросить мне деньжишек. Спасибо. Сперва хотел отказаться: всю жизнь избегал (и избег) быть в долгах. Но вспомнил, что смерть моя будет не совсем безнаследная: бараний уштерекский полушубок — это ж все-таки вещь! А двухметровое черное сукно в службе одеяла? А перьяная подушка, подарок Мельничуков? А три ящичка сбитых в кровать? А две кастрюли? Кружка лагерная? Ложка? Да ведро же! Остаток саксаула! Топор! Наконец, керосиновая лампа! Я просто был опрометчив, что не написал завещания.

Итак, буду вам благодарен, если пришлете мне полторы сотни (не больше!). Ваш заказ — поискать марганцовки, соды и корицы — принял. Думайте и пишите: что еще? Может быть, все-таки, облегченный уют? Я припру, вы не стесняйтесь.

По вашей, Николай Иванович, метеосводке вижу, что у вас еще холодновато, снег не сошел. А здесь такая весна, что даже неприлично и непонятно.

Кстати о метео. Увидите Инну Штрем — передайте ей от меня очень большой привет. Скажите, что я о ней часто здесь...

А может быть — и не надо...

Ноют какие-то неясные чувства, сам я не знаю: чего хочу? Чего право имею хотеть?

Но когда вспоминаю утешительницу нашу, великую поговорку: «было ж хуже!» — приободряюсь сразу. Кому-кому, но не нам голову ронять! Так еще побарахтаемся!

Елена Александровна замечает, что за два вечера написала десять писем. И я подумал: как нечасто теперь такое сочувственное и устойчивое внимание к людям, как у вас. Кто теперь так помнит дальних и отдает им вечер за вечером? Оттого и приятно писать вам длинные письма, что знаешь, как вы прочтете их вслух, и еще перечтете, и еще по фразам переберете и ответите на все.

Так будьте все так же благополучны и светлы, друзья мои!

Ваш

Олег».

Пятого марта на дворе выдался день мутный, с холодным мелким дождиком, а в палате — пестрый, сменный: спу- скался в хирургическое Демка, накануне подписавший со- гласие на операцию, и подкинули двоих новичков.

Первый новичок как раз и занял Демкину койку — в углу, у двери. Это был высокий человек, но очень сутулый, с непрямою спиной, с лицом, изношенным до старости. Глаза его были до того отечны, нижние веки до того опущены, что горизонтальный овал, как у всех людей, превратился у него в круг — и на этом круге белок выказывал нездоровую крас- нину, а светло-табачное радужное кольцо выглядело тоже крупней обычного из-за оттянутых нижних век. Этими боль- шими круглыми глазами старик будто разглядывал всех с неприятным постоянным вниманием.

Демка последнюю неделю был уже не свой: ломило и дергало его ногу неутешно, он не мог уже спать, не мог ни- чем заниматься и еле крепился, чтобы не вскрикивать, сосе- дям не досаждать. И так его доняло, что нога уже перестала ему казаться драгоценной для жизни, а проклятой обузой, от которой избавиться бы полегче да поскорей. И операция, месяц назад представлявшаяся ему концом жизни, теперь вы- глядела спасением. Так меняются наши мерки.

Но хотя со всеми в палате пересоветовался Демка, преж- де чем поставить подпись согласия, он еще и сегодня, скрутив узелок и прощаясь, наводил так, чтобы его успокаивали и убеждали. И Вадиму пришлось повторить уже говоренное: что счастлив Демка, что может так отделаться легко; что он, Ва- дим, с удовольствием бы с ним поменялся.

А Демка еще находил возражения:

— Кость-то — пилой пилят! Просто пилят, как бревно. Говорят, под любым наркозом слышно.

Но Вадим не умел и не любил долго утешать:

— Ну что ж, не ты первый. Выносят другие — и ты вынесешь.

В этом, как во всем, он был справедлив и ровен: он и себе утешения не просил и не потерпел бы. Во всяком утешении уже было что-то мягкое, религиозное.

Был Вадим такой же собранный, гордый и вежливый, как и в первые дни здесь, только горную смуглость его стало сгонять желтизной, да чаще вздрагивали губы от боли и по- дергивало лоб от нетерпения, от недоумения. Пока он только говорил, что обречен жить восемь месяцев, а еще ездил вер- хом, летал в Москву, встречался с Черногородцевым, — он на

самом деле еще уверен был, что выскочит. Но вот уже месяц он лежал здесь — один месяц из тех восьми, и уже, может быть, не первый, а третий или четвертый из восьми. И с каждым днем становилось больней ходить — уже трудно было мечтать сесть на коня и ехать в поле. Болело уже и в паху. Три книги из привезенных шести он прочел, но меньше стало уверенности, что найти руды по водам — это одно единственное нужное, и оттого не так уж пристально он читал, не столько ставил вопросительных и восклицательных знаков. Всегда считал Вадим лучшей характеристикой жизни, если не хватает дня, так занят. Но вот что-то стало ему дня хватать и даже оставаться, а не хватало — жизни. Обвисла его струнная способность к занятиям. По утрам уже не так часто он просыпался, чтобы заниматься в тишине, а иногда и просто лежал, укрывшись с головой, и наплывало на него, что может быть поддаться да и кончить — легче, чем бороться. Нелепо и жутко становилось ему от здешнего ничтожного окружения, от дурацких разговоров и, разрывая лощеную выдержку, ему хотелось по-звериному взвыть на капкан: «Ну, довольно шутить, отпусти ногу-то!».

Мать Вадима в четырех высоких приемных не добила коллоидного золота. Она привезла из России чагу, договорилась тут с санитаркой, чтобы та носила ему банки настоя через день, сама же опять уехала в Москву: в новые приемные, все за тем же золотом. Она не могла примириться, что радиоактивное золото где-то есть, а у сына метастазы будут просачиваться через них.

Подошел Демка к Костоглову сказать последнее слово или услышать последнее. Костоглов лежал наискось своей кровати, ноги подняв на перильца, а голову свесив с матраса в проход. Так, перевернутый для Демки и сам его видя перевернутым, он протянул руку и тихо напутствовал (ему трудно стало говорить громко, отдавалось что-то под легкими):

— Не дрефь, Демка. Лев Леонидович приехал, я видел. Он быстро отхватит.

— Ну? — прояснил Демка. — Ты сам видел?

— Сам.

— Вот хорошо бы!.. Вот хорошо, что я дотянул!

Да, стоило появиться в коридорах клиники этому верзиле-хирургу со слишком длинными свисающими руками, как больные окрепли духом, будто поняв, что вот именно этого долговязого тут и не хватало целый месяц. Если бы хирургов сперва пропускали перед больными для показа, а потом давали выбирать, — то все больные записывались бы, наверно, ко Льву Леонидовичу. А ходил он по клинике всегда со ску-

чающим видом, но и вид-то его скучающий истолковывался так, что сегодня — неоперационный день.

Хотя ничем не была плоха для Демки Евгения Устиновна, хотя прекрасный была хирург хрупенькая Евгения Устиновна, но совсем же другое настроение было лечь под эти волосатые обезьяньи руки. Уж чем бы ни кончилось, спасет — не спасет, но и своего промаха не сделает, в этом была почему-то у Демки уверенность.

На короткое время сродняется больной с хирургом, но сродняется ближе, чем с отцом родным.

— А что, хороший хирург? — глухо спросил от бывшей Демкиной кровати новичок с отечными глазами. У него был застигнутый, растерянный вид. Он зяб, и даже в комнате на нем был сверх пижамки бумазейный халат, распахнутый, не опоясанный — и озирался старик, будто он был возбужден ночным стуком в одиноком доме, сошел с кровати и не знал — откуда беда.

— М-м-м-м! — промычал Демка, все больше проясняясь, все больше довольный, как будто полоперации с него свалилось. — Во парень! С присыпочкой! А вам — тоже операция? А что у вас?

— Тоже, — только и ответил новичок, будто не слышал всего вопроса. Лицо его не усвоило Демкиного облегчения, никак не изменились его большие круглые уставленные глаза — то ли слишком пристальные, то ли совсем ничего не видящие.

Демка ушел, новичку постелили, он сел на койку, прижмурился к стене — и опять молча уставился укрупненными глазами. Он глазами не водил, а уставлялся на кого-нибудь одного в палате и так долго смотрел. Потом всю голову поворачивал — на другого смотрел. А может и мимо. Он не шевелился на звуки и движения в палате. Не говорил, не отвечал, не спрашивал. Час прошел — всего-то и вырвали из него, что он из Ферганы. Да от сестры слышали, что его фамилия — Шулубин.

Он — филин был, вот кто он был, — Русанов сразу признал эти кругло-уставленные глаза с неподвижностью. И без того была палата невеселая, а уж этот филин совсем тут некстати. Угрюмо уставился он на Русанова и смотрел так долго, что стало просто неприятно. На всех он так уставлялся, будто все они тут были в чем-то виноваты перед ним. И уже не могла их палатная жизнь идти прежним принужденным ходом.

Павлу Николаевичу был вчера двенадцатый укол. Уж он втянулся в эти уколы, переносил их без бреда, но раз-

вились у него частые головные боли и слабость. Главное выяснилось, что смерть ему не грозит, конечно, — это была семейная паника. Вот уже не стало половины опухоли, а то, что еще сидело на шее, помягчело, и хотя мешало, но уже не так, голове возвращалась свобода движения. И так, оставалась одна только слабость. Слабость можно перенести, в этом даже есть приятное: лежать и лежать, читать «Огонек» и «Крокодил», пить укрепляющее, выбирать вкусное, что хотелось бы съесть, говорить бы с приятными людьми, слушать бы радио — но это уже дома. Оставалась бы одна только слабость, если бы Донцова жестким упором пальцев не щупала б ему больше еще подмышками всякий раз, не надавливала бы как палкой. Она искала чего-то, а месяц тут полежав, можно было догадаться и — чего ищет: второй новой опухоли. И в кабинет она его вызывала, клала и щупала пах, так же остро больно надавливая.

— А что, может переброситься? — с тревогой спрашивал Павел Николаевич. Затмевалась вся его радость от спада опухоли.

— Для того и лечимся, чтоб — нет! и встряхивала головой Донцова. — Но еще много уколов надо перенести.

— Еще столько? — ужасался Русанов.

— Там видно будет.

(Врачи никогда точно не говорят).

Он был уже так слаб от двенадцати, уже качали головами над его анализами крови — а надо было выдержать еще столько же? Не мытьем, так катаньем болезнь брала свое. Опухоль спадала, а настоящей радости не было. Павел Николаевич вяло проводил дни, больше лежал. К счастью, присмирел и Оглоед, перестал орать и огрызаться, теперь-то видно было, что он не притворяется, укрутила болезнь и его. Все чаще он свешивал голову вниз и так подолгу лежал, сожмурив глаза. И Павел Николаевич принимал порошки от головной боли, смачивая лоб тряпкой, и глаза прикрывал от света. И так они лежали рядом, вполне мирно, не перебраниваясь — по много часов.

За это время повесили над широкой лестничной площадкой (откуда унесли в морг того маленького, что все сосал кислородные подушки) — лозунг — как полагается белыми буквами по длинному кумачевому полотну:

«Больные! Не разговаривайте друг с другом о ваших болезнях!» Конечно, на таком кумаче и на таком видном месте приличней было бы вывесить лозунг из числа октябрьских или первомайских, — но для их здешней жизни был очень важный и этот призыв, и уже несколько раз Павел Нико-

лаевич, ссылаясь на него, останавливал больных, чтоб не травмировали душу.

(А вообще-то, рассуждая по-государственному, правильной было бы опухолевых больных в одном месте не собирать, раскидывать их по обычным больницам, и они друг друга бы не пугали, и им можно было бы правды не говорить, и это было бы гораздо гуманнее).

В палате люди менялись, но никогда не приходили веселые, а все пришибленные, заморенные. Один Ахмаджан, уже покинувший костылек и скорый к выписке, скалил белые зубы, но развеселить кроме себя никого не умел, а только, может быть, вызывал зависть.

И вдруг сегодня, часа через два после угрюмого новичка, среди серенького унылого дня, когда все лежали по кроватям и стекла, замытые дождем, так мало пропускали света, что еще прежде обеда хотелось зажечь электричество, да чтоб скорей вечер наступал, что ли — в палату, опережая сестру, быстрым здоровым шагом вошел невысокий, очень живой человек. Он даже не вошел, он ворвался — так поспешно, будто здесь были встроены в шеренгу для встречи, и ждали его, и утомились. И остановился, удивясь, что все вяло лежат на койках. Даже свистнул. И с энергичной укоризной бодро заговорил:

— Э-э, братья, что это вы подмogli все? Что это вы ножки съезжили? — Но хотя они и не были готовы к встрече, он их приветствовал полувоенным жестом, вроде салюта: — Чалый, Максим Петрович! Прощу любить! Воль-на!

Не было на его лице ракового истомления, играла жизнелюбивая уверенная улыбка — и некоторые улыбнулись ему навстречу, в том числе Павел Николаевич. За месяц среди всех нытиков это, кажется, первый был человек!

— Та-ак, — никого не спрашивая, быстрыми глазами высмотрел он свою койку и сильно протопал к ней. Это была койка рядом с Павлом Николаевичем, бывшая Мурсалимова, и новичок зашел в проход со стороны Павла Николаевича. Он сел на койку, покачался, поскрипел. Определил: — Амортизация — шестьдесят процентов. Главврач мышей не ловит.

И стал разгружаться, а разгружать ему оказалось нечего: в руках ничего, в одном кармане бритва, а в другом пачка, но не папирос — игральных, почти еще новых карт. Он вытянул колоду, протрещал по ней пальцами и, смысленными глазами глядя на Павла Николаевича, спросил:

— Швыряетесь?

— Да иногда, — благожелательно признался Павел Николаевич.

— Преферанс?

— Мало. Больше подкидного.

— Это не игра, — строго сказал Чалый. — А — штос? Винт? Покер?

— Куда там! — смущенно отмахнулся Русанов. — Учиться было некогда.

— Здесь и научим, а где ж еще? — вскинулся Чалый. — Как говорится: не умеешь — научим, не хочешь — заставим!

И смеялся. По его лицу у него был нос велик — мягкий, большой нос, подрумяненный. Но именно благодаря этому носу лицо его выглядело простодушным, располагающим, открытым.

— Лучше покера игры нет! — авторитетно заверил он. — И ставки — в темную.

И уже не сомневаясь в Павле Николаевиче, оглядывался еще за партнерами. Но никто рядом не внушал ему надежды.

— Я! Я буду учился! — кричал из-за спины Ахмаджан.

— Хорошо, одобрил Чалый. — Ищи вот, чтоб нам тут между кроватями перекинуть.

Он обернулся дальше, увидел замерший взгляд Шулубина, увидел еще одного узбека в розовой чалме с усами свисающими тонкими, как выделанными из серебряной нити — и тут вошла Нэлля с ведром и тряпкой для неурочного мытья полов.

— О-о-о! — оценил сразу Чалый. — Какая девка посадочная! Слушай, где ты раньше была? Мы бы с тобой на качелях покатались.

Нэлля выпятила толстые губы, это она так улыбалась:

— А что ж, и счас не поздно. Да ты хворый, куда те?

— Живот на живот — все заживет, — рапортовал Чалый. — Или ты меня робеешь?

— Да сколько там в тебе мужика! — примерялась Нэлля.

— Для тебя — насквозь, небось! — резал Чалый. — Ну, скорей, скорей, становись пол мыть, охота фасад посмотреть!

— Гляди, это у нас даром, — благодушествовала Нэлля и, шлепнув мокрую тряпку под первую койку, нагнулась мыть.

Может быть, вовсе не был болен этот человек? Наружной болячки у него не было видно, не выражало лицо и внутренней боли. Или это он приказом воли так держался, показывал тот пример, которого не было в палате, но который только и должен быть в наше время у нашего человека? Павел Николаевич с завистью смотрел на Чалого.

— А — что у вас? — спросил он тихо, между ними двумя.

— У меня? — тряхнулся Чалый. — Полипы!

Что такое полипы — никто среди больных точно не знал, но у одного, у другого частенько встречались эти полипы.

— И что же — не болит?

— А вот только заболело — я и пришел. Резать? — пожалуйста, чего же тянуть?

— И где у вас? — все с большим уважением спрашивался Русанов.

— На желудке, что ли! — беззаботно говорил Чалый, и еще улыбался. — В общем, желудочек оттяпают. Вырежут три четверти.

Ребром ладони он резанул себя по животу и прищурился.

— И как же? — удивился Русанов.

— Ничего-о, приспособо-облюсь! Лишь бы водка всачивалась!

— Но вы так замечательно держитесь!

— Милый сосед, — покивал Чалый своей доброй головой с прямодушными глазами и поддурмяненным большим носом. — Чтoб не загнуться — не надо расстраиваться. Кто меньше толкует — тот меньше тоскует. И тебе советую!

Ахмаджан как раз подносил фанерную дощечку. Приладил ее между кроватями Русанова и Чалого, уставилась хорошо.

— Немножко покультурно, — радовался Ахмаджан.

— Свет зажечь! — скомандовал Чалый.

Зажгли и свет. Еще стало веселей.

— Ну, а четвертый?

Четвертый что-то не находился.

— Ничего, вы пока нам так объясните. — Русанов очень подбодрился. Вот он сидел, спустив ноги на пол, как здоровый. При поворотах головы боль в шее была куда слабее прежней. Фанерка не фанерка, а был перед ним как бы маленький игральный стол, освещенный ярким веселым светом с потолка. Резкие точные веселые знаки красных и черных мастей выделялись на белой полированной поверхности карт. Может быть, и правда, вот так, как Чалый, надо относиться к болезни — она и сползет с тебя? Для чего киснуть? Для чего все время носиться с мрачными мыслями?

— Что еще будем подождать? — упрасивал и Ахмаджан.

— Та-ак, — с быстротой киноленты перепускал Чалый всю колоду через свои уверенные пальцы: ненужные в сторо-

ну, нужные к себе. — Участвуют карты: с девятки до туза. Старшинство мастей: трефы, потом бубны, потом черви, потом пики. — И показывал масти Ахмаджану. — Понял?

— Есть, понял! — с большим удовольствием отзывался Ахмаджан.

То выгибая и потрескивая отобранной колодой, то слегка тасуя ее, объяснял Максим Петрович дальше:

— Сдается на руки по пять карт, остальные в кону. Теперь надо понять старшинство комбинаций. Комбинации так идут: Пара. — Он показывал. — Две пары. Стрит — это пять штук подряд. Вот. Или вот. Дальше — тройка. Фуль...

— Кто — Чалый? — спросили в дверях.

— Я Чалый!

— На выход, жена пришла!

— А с кошелкой, вы не видели?.. Ладно, братья, перерыв.

И бодро беззаботно пошел к выходу.

Тихо стало в палате. Горели лампы как вечером. Ахмаджан ушел к себе. Быстро расшлепывая по полу воду, подвигалась Нэлла, и надо было всем поднять ноги на койки.

Павел Николаевич тоже лег. Из угла он просто чувствовал на себе взгляд этого филина — упорное и укоризненное давление на голову сбоку. И чтоб облегчить это давление, спросил:

— А у вас, товарищ, — что?

Но угрюмый старик даже вежливого движения не сделал навстречу вопросу, будто не его спрашивали. Круглыми табачно-красными глазницами смотрел как мимо головы. Павел Николаевич не дождался ответа и стал перебирать в руках лаковые карты. И тогда услышал глухое:

— То самое.

Что «то самое»? Невежа!.. Павел Николаевич теперь сам на него не посмотрел, а лег на спину и стал просто так лежать — думать.

Отвлекаясь он приходом Чалого и картами, а ведь ждал газеты. Сегодня день был — слишком памятный. Очень важный, показательный день, и по газете предстояло многое угадать на будущее. А будущее страны — это и есть твое будущее. Будет ли газета в траурной рамке вся? Или только первая страница? Будет портрет на целую полосу или на четверть? И в каких выражениях заголовки и передовица? После февральских снятий все это особенно значит. На работе Павел Николаевич мог бы от кого-то почерпнуть, а здесь только и есть — газета.

Между кроватями толкалась и ерзала. ни в одном проходе

не помещаясь, Нелля. Но мытье у нее быстро получалось, вот уж она кончала и раскатывала дорожку.

И по дорожке, возвращаясь с рентгена и осторожно перенося большую ногу, подергиваясь от боли губою, вошел Вадим. Он нес и газету.

Павел Николаевич поманил его:

— Вадим! Зайдите сюда, присядьте.

Вадим задержался, подумал, свернул к Русанову в проход и сел, придерживая брючину, чтоб не терла.

Уже заметно было, что Вадим раскрывал газету, она была сложена не как свежая. Еще только принимая ее в руки, Павел Николаевич мог сразу видеть, что ни каймы нет вокруг страницы, ни — портрета на первой полосе. Но посмотря ближе, торопливо шелестя страницами, он и дальше! он и дальше нигде не находил ни портрета, ни каймы, ни шапки — да вообще, кажется, никакой статьи?!

— Нет? Ничего нет? — спросил он Вадима, пугаясь, и упуская назвать, *чего* именно нет.

Он почти не знал Вадима. Хотя тот и был членом партии, но еще слишком молодым. И не руководящим работником, а узким специалистом. Что у него могло быть натолкано в голове — это было невозможно представить. Но один раз он очень обнадежил Павла Николаевича: говорили в палате о сосланных нациях, и Вадим, подняв голову от своей геологии, посмотрел на Русанова, пожал плечами и тихо сказал ему одному. «Значит, что-то было. У нас даром не сошлют».

Вот в этой правильной фразе Вадим проявил себя как умный и непоколебимый человек.

И, кажется, не ошибся Павел Николаевич! Сейчас не пришлось Вадиму объяснять, о чем речь, он уже сам искал тут. И показал Русанову на подвал, который тот пропустил в волнении.

Обыкновенный подвал. Ничем не выделенный. Никакого портрета. Просто — статья академика. И статья-то — не о второй годовщине! не о скорби всего народа! не о том, что «жив и вечно будет жить»! А — «Сталин и вопросы коммунистического строительства».

Только и всего? Только — «и вопросы»? Только — эти вопросы? Строительства? Почему — строительства? Так можно и о лесозащитных полосах написать! А где — военные победы? А где — философский гений? А где — Корифей Наук? А где — всенародная любовь?

Сквозь очки, со сжатым лбом и страдая, Павел Николаевич посмотрел на темное лицо Вадима.

— Как это может быть, а?.. — Через плечо он осторожно

обернулся на Костоглотова. Тот, видно, спал: глаза закрыты, все так же свешена голова. — Два месяца назад, ведь два, да? вы вспомните, — семидесятипятилетие! Все как по-прежнему: огромный портрет! огромный заголовок — «Великий Продолжатель». Да?.. А?..

Даже не опасность, нет, не та опасность, что отсюда росла для оставшихся жить, но — н е б л а г о д а р н о с т ь! неблагодарность, вот что больше всего сейчас уязвило Русанова — как будто на его собственные личные заслуги, на его собственную безупречность наплевали и растолкли. Если Слава, гремящая в Веках, куцо обгрызлась уже на второй год; если Самого Любимого, Самого Мудрого, того, кому подчинялись все твои прямые руководители и руководители руководителей — свернули и замаяли в двадцать четыре месяца — так что же остается? где же опора? И как же тут выздоравливать?

— Видите, — очень тихо сказал Вадим, — формально было недавно постановление, что годовщин смерти не отмечать, только годовщины рождения. Но, конечно, судя по статье...

Он невесело покачал головой.

Он тоже испытывал как бы обиду. Прежде всего — за покойного отца. Он помнил, как отец любил Сталина! — уж, конечно, больше чем самого себя (для себя отец вообще никогда ничего не добивался). И больше, чем Ленина. И, наверно, больше, чем жену и чем сыновей. О семье он мог говорить и спокойно, и шутливо, о Сталине же — никогда, голос его задрагивал. Один портрет Сталина висел у него в кабинете, один — в столовой, и еще один — в детской. Сколько росли, всегда видели мальчишки над собой эти густые брови, эти густые усы, устойчивое это лицо, кажется недоступное ни для страха, ни для легкомысленной радости, все чувства которого были сжаты в переблеске бархатных черных глаз. И еще, каждую речь Сталина сперва прочтя всю для себя, отец потом местами вычитывал и мальчишкам, и объяснял, какая здесь глубокая мысль, и как тонко сказано, и каким прекрасным русским языком. Уже потом, когда отца не было в живых, а Вадим рос, он стал находить, пожалуй, что язык тех речей был пресен, а мысли отнюдь не сжаты, но гораздо короче могли бы быть изложены, и на тот объем их могло бы быть больше. Он находил так, но вслух не стал бы об этом говорить. Он находил так, но цельней чувствовал себя, когда исповедывал восхищение, возвращенное в нем с детства.

Еще совсем был свеж в памяти — день Смерти. Плакали старые, и молодые, и дети. Девушки надрывались от слез, и юноши вытирали глаза. От повальных этих слез казалось,

что не один человек умер, а трещину дало все мироздание. Так казалось, что если человечество и переживет этот день, то уж навеки он врежется как самый черный день года.

И вот на вторую годовщину — даже типографской черной краски не потратили на траурную кайму. Не нашли простых теплых слов: «два года назад скончался...». Тот, с чьим именем, как последним земным словом, спотыкались и падали солдаты великой войны.

Да не только потому, что Вадима так воспитали, он мог и отвыкнуть, но все соображения разума требовали, что Великого Покойника надо чтить. Он был — ясность, он излучал уверенность, что завтрашний день не сойдет с колеи предыдущего. Он возвысил науку, возвысил ученых, освободил их от мелких мыслей о зарплате, о квартире. И сама наука требовала Его устойчивости, Его постоянства: что никакие сотрясения не случатся и завтра, не заставят ученых разсеяться, отвлекусь от их высшего по полезности и интересу занятия — для дрязг по устройству общества, для воспитания недоразвитых, для убеждения глупцов.

Невесело унес Вадим свою большую ногу на койку.

А тут вернулся Чалый, очень довольный, с полной сумкой продуктов. Перекладывая их в свою тумбочку, по другую сторону от русановского прохода, он скромно улыбался:

— Последние денечки и покушать! А потом с одними кишками неизвестно как пойдет!

Русанов налюбоваться не мог на Чалого; вот оптимист! вот молодец!

— Помидорчики маринованные... — продолжал выкладывать Чалый. Прямо пальцами вытащил один из банки, проглотил, прижмурился: — Ах, хороши!.. Телятина. Сочно зажарена, не пересушена. — Он потрогал и лизнул. — Золотые женские руки!

И молча, прикрыв собою от комнаты, но видно для Русанова, поставил в тумбочку поллитра. И подмигнул Русанову.

— Так вы, значит, здешний, — сказал Павел Николаевич.

— Не-ет, не здешний. Бываю наездами. В командировках.

— А жена, значит, здесь?

Но Чалый уже не слушал, унес пустую сумку.

Вернувшись, открыл тумбочку, прищурился, примерился, еще один помидор проглотил, закрыл. Головой потряс от удовольствия.

— Ну, так на чем же мы остановились? Продолжим.

Ахмаджан за это время нашел четвертого, молодого казаха с лестницы, и пока на своей кровати разгоряченно рас-

сказывал ему по-русски, дополняя руками, как наши русские били турок (он вчера вечером ходил в другой корпус и там смотрел кино «Взятие Плевны»). Теперь они оба подтянулись сюда, опять устали дощечку между кроватями, и Чалый, еще повеселевший, быстрыми ловкими руками перекидывал карты, показывая им образцы:

— Значит, — фуль, — так? Это когда сходится у тебя тройка одних, пара других. Понял, чечмек?

— Я — не чечмек, — без обиды отряхнулся Ахмаджан. — Это я до армии был чечмек.

— Хорошо-о. Следующий — колер. Это когда все пять придут одной масти. Дальше — карета: четыре одинаковых, пятая любая. Дальше — покер младший. Это — стрит одного цвета, от девятки до короля. Ну, вот так... Или вот так... А еще старше — покер старший...

Не то, чтоб сразу это стало ясно, но обещал Максим Петрович, что в игре будет ясней. А главное — так доброхотливо он говорил, таким задушевным, чистым голосом, что потеплело очень на сердце Павла Николаевича. Такого симпатичного, такого располагающего человека он никак не надеялся встретить в общей больнице! Вот сели они сплоченным дружным коллективом, и час за часом так пойдет, и можно каждый день, а о болезни зачем думать? И о других неприятностях — зачем? Прав Максим Петрович!

Только собрался оговориться Русанов, что пока они не освоют игру как следует — на деньги не играть. И вдруг из дверей спросили:

— Кто — Чалый?

— Я Чалый!

— На выход, жена пришла!

— Тьфу, курва! — беззлобно отплюнулся Максим Петрович, — я ж ей сказал: в субботу не приходи, приходи в воскресенье. Как не наскочила!.. Ну, простите, братцы.

И опять развалилась игра, ушел Максим Петрович, а Ахмаджан с казаком взяли карты себе, повторять, упражняться.

И опять вспомнил Павел Николаевич про опухоль и про пятое марта, из угла почувствовал неодобряющий упертый взгляд филина, а, обернувшись — и открытые глаза Оглоеда. Ничуть Оглоед не спал.

Ничуть Костоглотов не спал все это время, и когда Русанов с Вадимом шелестели газетой и шептались, он слышал каждое слово и нарочно не раскрывал глаз. Ему интересно было, как они скажут, как скажет Вадим. Теперь и газету ему не нужно было тянуть и разворачивать, уже все было ясно.

Опять стучало. Стучало сердце. Колотилось сердце о дверь чугунную, которая никогда не должна была отпереться — но что-то поскрипывала! Что-то поддрагивала! И сыпалась первая ржавчина с петель.

Костоглотову невозможно было вместить, что слышал он от вольных: что два года назад в этот день плакали старые, и плакали девушки, и мир казался осиротевшим. Ему дико было это представить, потому что он помнил, как это было у н и х. Вдруг — не вывели на работу, и барак не отперли, держали в запертых. И — громкоговоритель за зоной, всегда слышный, выключили. И все это вместе явно показывало, что хозяева растерялись, какая-то у них большая беда. А беда хозяев — радость для арестантов! На работу не иди, на койке лежи, пайка доставлена. Сперва отсыпались, потом удивлялись, потом поигрывали на гитарах, на бандуре, ходили от вагонки к вагонке догадываться. В какую заглушку арестантов ни сажай, все равно просачивается истина, всегда! — через хлебобулочку, через кубовую, через кухню. И — поползло, поползло! Еще не очень решительно, но ходя по бараку, садясь на койки: «Э, ребята! Кажись — Людоед накрылся..» — «Да ну???» — «Никогда не поверю!» — «Вполне поверю!» — «Давно пора!!» И — смех хоровой! Громче гитары, громче балалайки! Но целые сутки не открывали барак. А на следующее утро, по Сибири еще морозное, выстроили весь лагерь на линейке, и майор, и оба капитана, и лейтенанты — все были тут. И майор, черный от горя, стал объявлять:

— С глубоким прискорбием... вчера в Москве...

И — заскакалились, только что открыто не взликовали, шершавые, остроскулые, грубые темные арестантские рожки. И увидав это начинающееся движение улыбок, scomандовал майор вне себя:

— Шапки! Снять!

И у сотен заколебалось все на острие, на лезвии: не снять — еще нельзя, и снимать — уж очень обидно. Но, всех опережая, лагерный шут, стихийный юморист, сорвал с себя шапку-«сталинку», поддельного меха — и кинул ее в воздух! — выполнил команду!

И сотни увидели! — и бросили вверх!

— И подавился майор.

И после этого всего теперь узнавал Костоглотов, что плакали старые, плакали девушки, и мир казался осиротевшим...

Вернулся Чалый еще веселей — и опять с полной сумкой продуктов, но уже другой сумкой. Кто-то усмехнулся, а Чалый и открыто смеялся первый сам:

— Ну, что ты будешь с бабами делать? Если им это удовольствие доставляет? И почему их не утешить, кому это вредит?

Какая барыня ни будь,
Все равно ее...!

И расхохотался, увлекая за собой слушателей, отмахиваясь рукой от избыточного смеха. Засмеялся искренне и Русанов, так это складно у Максим Петровича получилось.

— Так жена-то — какая? — давился Ахмаджан.

— Не говори, браток, — вздыхал Максим Петрович и переключал продукты в тумбочку — Нужна реформа законодательства. У мусульман это гуманней поставлено. Вот с августа разрешили аборт делать — оч-чень упростило жизнь! Зачем женщине жить одинокой? Хоть бы в годик раз да кто-нибудь к ней приехал. И командировочным удобно: в каждом городе комната с куриной лапкой.

Опять между продуктов мелькнул темный флакон. Чалый притворил дверцу и понес пустую сумку. Эту бабу он, видно, не баловал — вернулся тотчас. Остановился поперек прохода, где когда-то Ефрем, и, глядя на Русанова, почесал в кудрях затылка (а волосы у него были привольные, между льном и овсяной соломой):

— Закусим, что ли, сосед?

Павел Николаевич сочувственно улыбнулся. Что-то запаздывал общий обед, да его и не хотелось после того, как со вкусом переключал Максим Петрович каждый продукт. Да и в самом Максиме Петровиче, в улыбке его толстых губ, было приятное, плотоядное, отчего именно за обеденный стол тянуло с ним сесть.

— Давайте, — пригласил Русанов к своей тумбочке, — у меня тут тоже кое-что...

— А — стаканчиков? — нагнулся Чалый, уже ловкими руками перенося на тумбочку к Русанову банки и свертки.

— Да ведь нельзя! — покачал головой Павел Николаевич. — При наших болезнях запрещено строго...

За месяц никто в палате и подумать не дерзнул, а Чалому иначе казалось и нельзя.

— Тебя как зовут? — уже был он в его проходе и сел колени к коленям.

— Павел Николаевич.

— Паша! — положил ему Чалый дружескую руку на плечо. — Не слушай ты врачей! Они лечут, они в могилу мечут. А нам надо жить — хвост морковкой!

Убежденность и дружелюбие были в немудром лице Максима Чалого с большим подрумяненным носом и крупными сочными губами. А в клинике — суббота, и все лечения уже отложены до понедельника. А за сереющим окном лил дождь, отделяя от Русанова всех его родных и приятелей. А в газете не было траурного портрета, и обида мутная сгустилась на душе. Светили лампы яркие, намного опережая долгий-долгий вечер, и с этим истинно-приятным человеком можно было сейчас выпить, закусить, а потом играть в покер. (Вот новинка будет и для друзей Павла Николаевича — покер!).

А у Чалого, ловкача, бутылка уже лежала тут, под подушкой. Пробку он пальцем скovyрнул и по полстакана налил у самых колен. Тут же они их и сдвинули.

Истинно по-русски пренебрег Павел Николаевич и недавними страхами, и запретами, и зароками, и только хотелось ему тоску с души сплеснуть да почувствовать теплоту.

— Будем жить! Будем жить, Паша! — внушал Чалый, и его смешноватое лицо налилось строгостью и даже лютостью. — Кому нравится — пусть дохнет, а мы с тобой будем жить!

С тем и выпили. Русанов за этот месяц очень ослабел, ничего не пил кроме слабенького красного — и теперь его сразу обожгло, и от минуты к минуте расходилось, расплывалось и убеждало, что нечего голову нурить, что и в раковом люди живут, и отсюда выходят.

— И сильно болят эти?.. полипы?.. — спрашивал он.

— Да побаливают. А я не даюсь!.. Паша! От водки хуже не может быть, пойми! Водка от всех болезней лечит. Я и на операцию спирта выпью, а как ты думал? Вон, во флаконе... Почему спирта — он всосется сразу, воды лишней не останется. Хирург желудок разворотит — ничего не найдет, чисто! А я — пьяный!.. Ну, да сам ты на фронте был, знаешь: как наступление — так водка... Ранен был?

— Нет.

— Повезло!.. А я — два раза: сюда и сюда вот...

А в стаканах опять было два по сто.

— Да нельзя больше, — мягко упирался Павел Николаевич. — Опасно.

— Чего опасно? Кто тебе вколотил, что опасно?.. Помидорчики бери! Ах, помидорчики!

И правда, какая разница — сто или двести грамм, если уже переступил? Двести или двести пятьдесят, если умер великий человек — и о нем замалчивают? В добрую память Хозяина опрокинул Павел Николаевич и следующий стакан.

Опрокинул, как на поминках. И губы его скривились грустно. И брал он ими помидорчики. И, с Максимом лоб в лоб, слушал сочувственно.

— Эх, красненькие! — рассуждал Максим. — Здесь за килограмм рубль, а в Караганду свежи — тридцать. И как хватают! А возить — нельзя. А в багаж — не берут. Почему — нельзя? Вот скажи мне — почему нельзя?..

Разволновался Максим Петрович, глаза его расширились, и стоял в них напряженный поиск — смысла! Смысла бытия.

— Придет к начальнику станции человечешко в пиджачке старом: «Ты — жить хочешь, начальник?». Тот — за телефон, думает — его убивать пришли... А человек ему на стол — три б у м а ж к и. Почему — нельзя? Как так — нельзя? Ты жить хочешь — и я жить хочу. Вели мои корзины в багаж принять! И жизнь побеждает, Папа! Едет поезд, называется «пассажирский», а весь — помидорный, на полках — корзины, под полками — корзины. Кондуктору — лапу, контролеру — лапу. От границы Дороги — другие контролеры, и им лапу.

Покруживало Русанова и растеплился он очень и был сейчас сильней своей болезни. Но что-то такое, кажется, говорил Максим, что не могло быть увязано... Увязано... Что шло в разрез...

— Это — в разрез! — уперся Павел Николаевич. — Зачем же?.. Это — нехорошо....

— Нехорошо? — удивился Чалый. — Так малосольный бери! Так вот икорку бери!.. В Караганде написано камнем по камню: «Уголь — это Хлеб». Ну, то-есть, для промышленности. А помидорчиков для людей — н-нет. И не привезут деловые люди — н-не будет. Хватают по четвертной за килограмм — и спасибо говорят. Хоть в глаза помидоры эти видят — а то б не видели. И до чего ж там долдоны, в Караганде — ты не представляешь! Набирают охранников, лбов, и вместо того, чтобы их за яблоками послать, вагонов сорок подкинуть — расставляют по всем степным дорогам — перехватывать, если кто повезет яблоки в Караганду. Не допускать! Так и дежурят, охломоны!..

— Это что ж — ты? Ты? — огорчился Павел Николаевич.

— Зачем я? Я, Папа, с корзинами не езжу. Я — с портфельчиком. С чемоданчиком. Майоры, подполковники в кассу стучат: командировочное кончается! А билетов — нет! Нет!!.. А я туда не стучу, я всегда уеду. Я на каждой станции знаю:

где нужно к кипятильщику обратиться, где — в камеру хранения. Учти, Паша: жизнь — всегда побеждает!

— А ты вообще — кем работаешь?

— Я, Паша — техником работаю. Хотя техникума не кончал. Агентом еще работаю. Я так работаю, чтобы всегда — с карманом. Где деньги платить перестают — я оттуда ухожу. Понял?

Что-то замечал Павел Николаевич, что не так получается, не в ту сторону, кривовато даже. Но такой был хороший, веселый, свой человек — первый за месяц. Не было духа его обидеть.

— А — хорошо ли? — допытывался он только.

— Хорошо, хорошо! — успокаивал Максим. — И телятинку бери. Сейчас компотика твоего трахнем. Паша! Один раз на свете живем — зачем жить плохо? Надо жить хорошо, Паша!

С этим не мог не согласиться Павел Николаевич, это верно: один раз на свете живем, зачем жить плохо? Только вот...

— Понимаешь, Максим, это осуждается... — мягко напоминал он.

— Так ведь, Паша, — так же душевно отвечал и Максим, держа его за плечо. — Так ведь это — как посмотреть. Где как.

В глазу порошина —

И мулит,

Кой-где поларшина —

И...!

— хохотал Чалый и пристукивал Русанова по колену, и Русанов тоже не мог удержаться и трясся:

— Ну, ты ж этих стихов знаешь!.. Ну, ты ж — поэт, Максим!

— А кем — ты? Ты — кем работаешь? — доведывался новый друг.

Как ни в обнимку они уже толковали, а тут Павел Николаевич невольно приосанился: положение обязывало.

— Вообще — по кадрам.

Соскромничал он. Повыше был, конечно.

— А — где?

Павел Николаевич назвал.

— Слушай! — обрадовался Максим. — Надо одного хорошего человечка устроить! Вступительный взнос — это как полагается, не беспокойся!

— Ну, что ты! Ну, как ты мог подумать! — обиделся Павел Николаевич.

— А — чего думать? — поразился Чалый, и опять тот же поиск смысла жизни, немного расплывшийся от выпитого, задрожал в его глазах. — А если кадровикам вступительных взносов не брать — так на что им и жить? На что детей воспитывать? У тебя сколько детей?

— У вас газетка — освободилась? — раздался над ними глухой неприятный голос.

Это — филин прибрел из угла, с недобрыми отечными глазами, в распахнутом халате.

А Павел Николаевич, оказывается, на газете сидел, приямл.

— Пожалуйста, пожалуйста! — подхватил Чалый, вытаскивая газету из-под Русанова. — Пусти, Паша! Бери, папаша, чего другого, этого не жаль.

Шулубин сумрачно взял газету и хотел идти, но тут его задержал Костоглотов. Как Шулубин упорно молча на всех смотрел, так и Костоглотов начал к нему присматриваться, а сейчас видел особенно близко и хорошо.

Кто мог быть этот человек? с таким нерядовым лицом? Он был похож на только что разгримированного, измученного спектаклем артиста. С развязностью пересыльных встреч, где в первую же минуту любого человека можно спросить о чем угодно, Костоглотов и сейчас из лежачего, полуопрокинутого положения спросил:

— Папаша, а кем вы работаете, а?

Не глаза, а всю голову Шулубин повернул на Костоглотов. Еще посмотрел на него, не мигая. Продолжая смотреть, странно как-то обвел кругообразно шеей, будто воротник его теснил, но никакой воротник ему не мешал, просторен был ворот нижней сорочки. И вдруг ответил, не отказался.

— Библиотекарем.

— А где? — не зевнул Костоглотов сунуть и второй вопрос.

— В сельхозтехникуме.

Неизвестно почему — да наверно за тяжесть взгляда, за молчание сычевое из угла, захотелось Русанову его как-нибудь унизить, на место поставить. А может, водка в нем говорила, и он громче, чем надо, легкомысленнее, чем надо, окрикнул:

— Беспартийный, конечно?

Филин посмотрел табачными глазами. Мигнул, будто не веря вопросу. Еще мигнул. И вдруг раскрыл зев:

— Наоборот.

И — пошел через комнату.

Он неестественно как-то шел. Где-то ему терло или кололо. Он скорее ковылял с разбросанными полами халата, неловко наклонялся, напоминая большую птицу — с крыльями, обрезанными неровно, чтоб она не могла взлететь.

24.

На солнечном пригреве, на камне, ниже садовой скамейки сидел Костоглотов, ноги в сапогах неудобно подвернув, коленями у самой земли. И руки свесил плетями до земли же. И голову без шапки уронил. И так сидел грелся в сером халате, уже наотмашь — сам неподвижный и формы обломистой, как этот серый камень. Раскалило ему черноволосую голову и напекло в спину, а он сидел не шевелясь, принимая мартовское тепло — ничего не делая, ни о чем не думая. Он бессмысленно-долго мог так сидеть, добирая в солнечном греве то, что не додано было ему прежде в хлебе и в супе.

И даже не видно было со стороны, чтобы плечи его поднимались и опускались от дыхания. Однако ж, он и на бок не сваливался, держался как-то.

Толстая нянечка с первого этажа, крупная женщина, когда-то гнавшая его из коридора прочь, чтобы не нарушал стерильность, сама же очень наклонная к семечкам и сейчас на аллейке, по льготе, щелкнувшая несколько, подошла к нему и базарно-добродушным голосом окликнула:

— Слышь, дядя! А, дядя?

Костоглотов поднял голову и, против солнца переморщив лицо, разглядывая ее с искажающим прищуром.

— Поди в перевязочную, доктор зовет.

Так он усиделся в своей прогретой окаменелости, такая была ему неохота двигаться, подниматься, как на ненавистную работу!

— Какой доктор? — буркнул он.

— Какому надо, тот и зовет! — повысила голос няня. — Не обязана я вас тут по садику собирать. Иди, значит.

— Да мне перевязывать нечего. Не меня, наверно, — все упрявился Костоглотов.

— Тебя, тебя! — между тем пропускала няня семечки. — Разве тебя, журавля долгоногого, спутаешь с кем? Один такой у нас, нещечко.

Костоглотов вздохнул, распрямил ноги и опираясь, кряхтя, стал подниматься.

Нянечка смотрела с неодобрением:

— Все вышагивал, сил не берег. А лежать надо было.

— Ох, няня-а, — вздохнул Костоглотов. — Если бы разум наперед!

И поплелся по дорожке. Ремня уже не было, военной выправки не осталось никакой, спина гнулась.

Он шел в перевязочную на новую какую-то неприятность, готовясь отбиваться, еще сам не зная — от чего.

В перевязочной ждала его не Элла Рафаиловна, уже дней десять как заменявшая Веру Корнильевну, а молодая полная женщина, мало сказать румяная — просто с багряными щеками, такая здоровая. Видел он ее первый раз.

— Как фамилия? — пристигла она его тут же, на пороге.

Хоть солнце уже не било в глаза, а Костоглотов смотрел так же прищуренно, недовольно. Он спешил сметить, что тут к чему, сообразить, а отвечать не спешил. Иногда бывает нужно скрыть фамилию, иногда соврать. Он еще не знал, как сейчас правильно.

— А? Фамилия? — допытывалась врачиха с налитыми руками.

— Костоглотов, — нехотя признался он.

— Где же вы пропадаете? Раздевайтесь быстро! Идите сюда. ложитесь на стол!

Теперь-то вспомнил Костоглотов и увидел, и сообразил, все сразу: кровь переливать! Он забыл, что это делают в перевязочной. Но, во-первых, он по-прежнему стоял на принципе: чужой крови не хочу, своей не дам! Во-вторых, эта бойкая бабенка, будто сама напившаяся донорской крови, не склоняла его к доверию. Вега уехала. Опять новый врач, новые привычки, новые ошибки — и кой черт эту карусель крутить, ничего постоянного нет?

Он хмуро снимал халат, искал куда его повесить — сестра показала ему, куда, — а сам выдумывал, к чему бы прицепиться и не даваться. Халат он повесил. Курточку снял, повесил. Толкнул в угол сапоги. Пошел босиком по чистому линолеевому полу ложиться на высокий умягченный стол. Все никак придумать повода не мог, не знал, что сейчас придумает.

На блестящем стальном штативе над столом высился аппарат для переливания: резиновые планги, стеклянные трубочки, в одной из них вода. На той же стойке было несколько колец для ампул разного размера: на поллитра, четверть литра и осьмушку. Зажата же была ампула с осьмушкой. Коричневая кровь ее закрывалась отчасти наклейкой с группой крови, фамилией донора и датой взятия.

По привычке лезть глазами, куда не просят, Костоглотов,

пока взмащивался на стол, все это прочел и не откидываясь головой на изголовье, тут же объявил:

— Хо-го! Двадцать восьмое февраля! Старая кровь. Нельзя переливать.

— Что за рассуждения? — возмутилась врачиха. — Старая, новая, что вы понимаете в консервации? Кровь может сохраняться больше месяца!

На ее багряном лице сердитость была малиновая. Руки, заголенные до локтя, были полные, розовые, а кожа — с пупырышками, не от холода, а с постоянными пупырышками. И вот эти пупырышки почему-то окончательно убедили Костоглотова не давать.

— Закатите рукав и положите руку свободно! — командовала ему врачиха.

Она уже второй год работала на переливании и не помнила ни одного больного не подозрительного: каждый вел себя так, будто у него графская кровь и он боится подмеса. Обязательно косились больные, что цвет не тот, группа не та, дата не та, не слишком ли холодная или горячая, не свернулась ли, а то спрашивали уверенно: «Это — плохую кровь переливаете?» — «Да почему плохую?!» — «А на ней написано было *не трогать*». — «Ну, потому что наметили, кому переливать, а потом не понадобилась». И уже дается больной колоть, а про себя ворчит: «Ну, значит, и оказалась некачественная». Только решительность и помогла сламывать эти глупые подозрения. К тому ж она всегда торопилась, потому что норма перелива крови в один день в разных местах была ей изрядная.

Но Костоглов тоже уже повидал здесь, в клинике, и кровяные вздутия — гематому, от двойного прокола вены или от промаха концом иглы; и озноб и тряску после введения, оттого что торопились вводить и не выдерживали проб. И этим нетерпеливым розовым пухлым рукам с пупырышками ему никак не хотелось довериться. Своя, измученная рентгеном, вялая больная кровь была ему все-таки дороже свежей добавки. Как-нибудь своя потом поправится. А при плохой крови бросят раньше лечить — тем лучше.

— Нет, — мрачно отказался он, не закатывая рукав и не кладя руку свободно. — Кровь ваша старая, а я себя плохо чувствую сегодня.

Он-то знал, что сразу двух причин говорить не надо, всегда одну, но сами две сказались.

— Сейчас давление проверим, — не смущалась врачиха, и сестра уж подносила ей прибор.

Врачиха была совсем новая, а сестра — здешняя, из

перевязочной, только Олег с ней дела не имел раньше. Она совсем была девочка, но роста высокого, темненькая и с японским разрезом глаз. На голове у нее так сложно было настроено, что ни шапочка, ни даже косынки никак не могли бы этого прокрыть — и потому каждый выступ волосяной ба-шенки и каждая косма были у нее терпеливо обмотаны бинтами, бинтами — это значит, ей минут на пятнадцать раньше надо было приходиться на работу, обматываться.

Все это было Олегу совсем ни к чему, но он с интересом рассматривал ее белую корону, стараясь представить прическу девушки без перекрута бинтов. Главное лицо здесь была врачиха, и надо было бороться с ней, не мешкая, возражать и отговариваться, а он терял темп, рассматривая девушку с японским разрезом глаз. Как всякая молодая девушка, уже потому, что молода, она содержала в себе загадку, несла ее в себе на каждом переступе, сознавала при каждом повороте головы.

А тем временем Костоглотову сжали руку черной змеей и определили, что давление подходящее.

Он рот раскрыл сказать следующее, почему не согласен, но из дверей врачиху позвали к телефону.

Она дернулась и ушла, сестра укладывала черные трубки в футляр, а Олег все также лежал на спине.

— Откуда этот врач, а? — спросил он.

Всякая мелодия голоса тоже относилась ко внутренней загадке девушки. и она чувствовала это, и говорила, внимательно слушая свой голос:

— Со станции переливания крови.

— А зачем же она старую привозит? — проверял Олег хоть и на девчонке.

— Это — не старая, — плавно повела девушка головой и понесла корону по комнате

Девчонка эта вполне была уверена, что все нужное для нее она знает.

Да может, так оно и было.

Солнце уже завернуло на сторону перевязочной. Прямо сюда оно не попадало, но два окна светились ярко, а еще часть потолка была занята большим световым пятном, отразившимся от чего-то. Было очень светло, и к тому же чисто, тихо.

Хорошо было в комнате.

Открылась дверь, не видимая Олегу, но вошла кто-то другая, не та.

Вошла, почти не стуча туфлями, не выстукивая каблучками своего «я».

И Олег догадался.

Никто больше так не ходил. Ее и не хватало в этой комнате, ее одной.

Вега!

Да, она. Она вступила в его поле зрения. Так просто вошла, будто незадолго отсюда вышла.

— Да где же вы были, Вера Корнильевна?.. — улыбался Олег.

Он не воскликнул это, он спросил это негромко, счастливо. И не поднимаясь сесть, хотя не был привязан к столу.

До конца стало в комнате тихо, светло, хорошо.

А у Веги был свой вопрос, тоже в улыбке:

— Вы — бунтуете?

Но уже расслабленный в своем намерении сопротивляться, уже наслаждаясь, что он лежит на этом столе, и его так просто не сгонишь, Олег ответил:

— Я?.. Нет, уже я свое отбунтовал... Где вы были? Больше недели.

Раздельно, как будто диктуя несмышленому непривычные новые слова, она проговорила, стоя над ним:

— Я ездила основывать онкологические пункты. Вести противораковую пропаганду.

— Куда-нибудь в г л у б и н у?

— Да.

— А больше не поедете?

— Пока нет. А вы — себя плохо чувствуете?

Что было в этих глазах? Неторопливость. Внимание. Первая непроверенная тревога. Глаза врача.

Но помимо этого всего, они были светло-кофейные. Если на стакан кофе налить молока пальца два. Впрочем, давно Олег кофе не пил, цвета не помнил, а вот — дружеские! очень старо-дружеские глаза!

— Да нет, чепуха. Я на солнце, наверно, перегрелся. Сидел, сидел, чуть не заснул.

— Разве вам можно на солнце! Разве вы не поняли здесь, что опухолям нагревание запрещено?

— Я думал — грелки.

— А солнце — тем более.

— Значит, черноморский пляж мне запрещен?

Она кивнула.

— Жизнь!.. Хоть ссылку меняй на Норильск....

Она подняла плечи. Опустила. Это было не только выше ее сил, но и выше разумения.

— А зачем же вы изменили?

— Что?

— Нашему уговору. Вы обещали, что будете кровь переливать мне сами, никакому практиканту не отдадите.

— Она — не практикант, она, напротив, специалист. Когда они приезжают — мы не имеем права. Но она уже уехала.

— Как уехала?

— Вызвали!

О, карусель! В карусели же было и спасение от карусели.

— Значит, — вы?

— Я. А какая вам кровь старая?

Он показал головой.

— Она не старая. Но она не вам. Вам будем двести пятьдесят переливать. Вот. — Вера Корнильевна принесла с другого столика и показала ему. — Читайте, проверяйте.

— Да Вера Корнильевна, это жизнь у меня такая окаянная: никому не верь, все проверяй. А вы думаете — я — не рад, когда не надо проверять?

Он так устало это сказал, будто умирал. Но своим приглядчивым глазам не мог совсем отказать в проверке. И они ухватили: «1 группа — Ярославцева И. Л. — 5 марта».

— О! Пятое марта — это нам очень подходит! — оживился Олег. — Это нам полезно.

— Ну, наконец-то вы поняли, что полезно. А сколько спорили!

Это — она не поняла. Ну, ладно.

И он закатил сорочку выше локтя и свободно положил правую руку вдоль тела.

Правда, в том и была главная приятность для его вечно-подозрительного внимания: довериться, отдаться доверию. Сейчас он знал, что эта ласковая, лишь чуть сгущенная из воздуха женщина, тихо двигаясь и каждое движение обдумывая, не ошибется ни в чем.

И он лежал, и как бы отдыхал.

Большое слабо-солнечное, кружево-солнечное пятно на потолке заливало неровный круг. И это пятно, неизвестно от чего отраженное, тоже было приятно ему сейчас, украшало чистую, тихую комнату.

А Вера Корнильевна коварно вытянула у него из вены иглою сколько-то крови, крутила центрифугу, разбрасывала на тарелочке четыре сектора.

— А зачем — четыре? — он спрашивал лишь потому, что всю жизнь привык везде спрашивать. Сейчас-то ему даже и лень было знать зачем.

— Один — на совместимость, а три — проверить станцию по группе. На всякий случай.

— А если группа совпадет — какая еще совместимость?

— А — не свертывается ли сыворотка больного от крови донора. Редко, но бывает.

— Вон что. А верите зачем?

— Эритроциты отбрасываем. Все вам надо знать.

Да можно и не знать. Олег смотрел на потолочное мреющее пятно. Всего на свете не узнаешь. Все равно дураком помрешь.

Сестра с белой короной вставила в зажимы стойки опрокинутую пятомартовскую ампулу. Потом под локоть ему подложила подушечку. Резиновым красным жгутом затянула ему руку выше локтя и стала скручивать, следя японскими глазами, сколько будет довольно.

Странно, что в этой девочке ему повиделась какая-то загадка. Никакой нет. Девчонка как девчонка.

Подошла Гангарт со шприцем. Шприц был обыкновенный и наполнен прозрачной жидкостью, а игла необыкновенная: трубка, а не игла, трубка с треугольным концом. Сама по себе трубка ничего, если только ее тебе вгонять не будут.

— У вас вену хорошо видно, — заговаривала Вера Корнильевна, а сама подергивала одной бровью, ища. И с усилием, со слышным, кажется, прорывом кожи, ввела чудовищную иглу. — Вот и все.

Тут много было еще непонятного: зачем крутили жгутом выше локтя? Зачем в шприце была жидкость, как вода? Можно было спрашивать, а можно было и самому голову потрудить: наверно, чтобы воздух не ринулся в вену и чтобы кровь не ринулась в шприц.

А тем временем игла осталась у него в вене, жгут ослабили, сняли, шприц ловко отъяли, сестра стряхнула над тазиком окончность прибора, сбрасывая из него первую кровь — и вот уже Гангарт приставила к игле вместо шприца этот наконечник, и держала так, а сама наверху чуть отвернула винт.

В стеклянной расширенной трубке прибора стали медленно, по одному, подниматься сквозь прозрачную жидкость прозрачные пузырьки.

Как пузырьки эти всплывали, так и вопросы, один за другим: зачем такая широкая игла? зачем стряхивали кровь? к чему эти пузырьки? Но один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не управятся ответить.

Если уж спрашивать, то хотелось о чем-то другом.

Все в комнате было как-то празднично, и это белесо-солнечное пятно на потолке особечно.

Игла была введена надолго. Уровень крови в ампуле почти не уменьшался. Совсем не уменьшался.

— Я вам нужна, Вера Корнильевна? — вкрадчиво спросила сестра-японочка, слушая свой голос.

— Нет, не нужны, — тихо ответила Гангарт.

— Я схожу тут... На полчаса, можно?

— М н е не нужны.

И сестра почти убежала с белой короной.

Они остались вдвоем.

Медленно поднимались пузырьки. Но Вера Корнильевна тронула винт — и они перестали подниматься. Не стало ни одного.

— Вы закрыли?

— Да.

— А зачем?

— Вам опять надо знать? — улыбнулась она. Но поощрительно.

Было очень тихо в перевязочной — старые стены, добротные двери. Можно было говорить лишь чуть громче шепота, просто выдыхать без усилия и тем говорить. Так и хотелось.

— Да характер проклятый. Всегда хочется знать больше, чем разрешено.

— Хорошо пока еще хочется... — заметила она. Губы ее никогда не оставались равнодушны к тому, что они приносили. Крохотными движениями — изгибом, не одинаковым слева и справа, чуть вывертом, чуть передергом, они поддерживали мысль и уясняли. — Полагается после первых двадцати пяти кубиков сделать значительную паузу и посмотреть, как чувствует себя больной. — Она все еще одной рукой держала наконечник у иглы. И с легким раздвигом улыбки, приветливо и изучающе, смотрела в глаза Олегу, нависая над ним: — Как вы себя чувствуете?

— В данный момент — прекрасно.

— Это не сильно сказано — «прекрасно»?

— Нет, действительно прекрасно. Гораздо лучше, чем «хорошо».

— Озноба, неприятного вкуса во рту — не чувствуете?

— Нет.

Ампула, игла и переливание — это была их общая соединяющая работа над кем-то еще третьим, кого они вдвоем дружно лечили и хотели вылечить.

— А не в данный момент?

— А — не в данный? — Чудесно вот так долго-долго смотреть друг другу в глаза, когда есть законное право смот-

реть, когда отводить не надо. — А вообще — совсем неважно.

— Но в чем именно? В чем?..

Она спрашивала с участием, с тревогой, как друг. Но — заслужила удар. И Олег почувствовал, что сейчас этот удар нанесет. Что как ни мягки светло-кофейные глаза, а удара не избежать.

— Неважно — морально. Неважно — в сознании, что я плачу за жизнь слишком много. И что даже вы — способствуете этому и меня обманываете.

— Я??

Когда глаза неотрывно-неотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем новое качество: увидишь такое, что при беглом скольжении не открывается. Глаза как будто теряют защитную цветную оболочку, и всю правду выбрызгивают без слов, не могут ее удержать.

— Как вы могли так горячо меня уверять, что уколы — нужны, но я не пойму их смысла? А что там понимать? Гормонотерапия — что там понимать?

Это, конечно, было нечестно: вот так застигнуть беззащитные кофейные глаза. Но только так и можно было спросить по-настоящему. Что-то в них запрыгало, растерялось.

И доктор Гангарт — нет, Вега — убрала глаза.

Как утягивают с поля не до конца разбитую роту.

Она посмотрела на ампулу — но что там смотреть, ведь кровь перекрыта? Посмотрела на пузырьки — но не шли же и пузырьки.

И открыла винт. Пузырьки пошли. Пожалуй, была пора.

Она пальцами провела по резиновой трубке, свисающей от прибора к игле, как бы помогая разогнать все задержки в трубке. Еще — ваты подложила она под наконечник, чтоб трубка не гнулась ничуть. Еще — лейкопластырь оказался у нее тут же, и полоской пластыря она приклеила наконечник к его руке. И еще — резиновую трубку завела меж его пальцев, пальцев этой же руки, свободно выставленных кверху как крючки — и так стала трубка сама держаться.

И теперь Вега могла совсем не держать, и не стоять около него, и не смотреть в глаза.

С лицом омраченным, строгим, она отрегулировала пузырьки чуть чаще, сказала:

— Вот так, не шевелитесь.

И ушла.

Она не из комнаты ушла — только из кадра, охваченного его глазом. Но так как он не должен был шевелиться, то осталось в его окоюме: стойка с приборами; ампула с корич-

невой кровью; светлые пузырьки; верхи солнечных окон отражения шестиклеточных окон в матовом плафоне лампы и весь просторный потолок с мерцающим слабо-солнечным пятном.

А Веги — не стало.

Но вопрос ведь упал — как неловко переданный, небереженный предмет.

И она его не подхватила.

Доставалось Олегу же возиться с ним и дальше.

И, глядя в потолок, он стал медленно думать вслух:

— Ведь если и так уже потеряна вся жизнь. Если в самих костях сидит память, что я — вечный арестант, вечный зэк. Если судьба мне и не сулит лучшего ничего. Да еще сознательно, искусственно убить во мне и эту возможность — зачем такую жизнь спасти? Для чего?

Вега все слышала, но была за кадром. Может, и лучше: легче было говорить.

— Сперва меня лишили моей собственной жизни. Теперь лишают и права... продолжить себя. Кому и зачем я теперь буду?.. Худший из уродов! На милость?.. На милостыню?..

Молчала Вега.

А это пятно на потолке — оно почему-то иногда вздрагивало; пожималось краями, что ли, или какая-то морщина переходила по нему, будто оно тоже думало, и не понимало. И становилось неподвижным опять.

Булькали прозрачные веселые пузырьки. Кровь понижалась в ампуле. Уже четвертая часть ее перелилась. Женская кровь. Кровь Ярославцевой Ирины. Девушки? Старушки? Студентки? Торговки?

— Милостыня...

И вдруг Вега, оставаясь невидимой, — не возразила, а вся рванулась где-то там:

— Да ведь неправда же!.. Да неужели вы так думаете? Я не поверю, что это думаете вы!.. Проверьте себя! Это — заимствованные, это — несамостоятельные настроения!

Она говорила с энергией, которой он в ней не слышал ни разу. Она говорила с задетостью, которой он в ней не ждал.

И вдруг оборвалась, замолчала.

— А как надо думать? — попробовал осторожно вызвать Олег.

У, какая была тишина! — легкие пузырьки в закрытом баллончике. и те позванивали.

Ей трудно было говорить! Голосом изломившимся, сверх силы, она перетягивалась через ров.

— Должен кто-то думать и иначе! Пусть кучка, горсточка — но иначе! А если только так — то среди кого ж тогда жить? Зачем?.. И можно ли!..

Это последнее, перетянувшись, она опять выкрикнула с отчаянием. И как толкнула его своим выкриком. Как толкнула изо всех силенок, чтоб он долетел, косный, тяжелый — куда одно спасенье было долететь.

И как камень из лихой мальчишеской пращи подсолнечного будылька, удлинившего руку; да даже и как снаряд из этих долгоствольных пушек последнего фронтового года — ухнувший, свистнувший, и вот хлюпающий, хлюпающий в высоком воздухе снаряд — Олег взмыл и полетел по сумаспешней параболе, вырываясь из затверженного, отменяя перенятое — над одной пустыней своей жизни, над второй пустыней своей жизни — и перенесся в давнюю какую-то страну.

В страну детства! — он не узнал ее сразу. Но как только узнал моргнувшими, еще мутными глазами, он уже был пристыжен, что ведь и он мальчишкой так думал когда-то, а сейчас не он ей, а она ему должна была сказать как первое, как открытие.

И еще что-то вытягивалось, вытягивалось из памяти — сюда, к случаю этому, скорее надо было вспомнить — и он вспомнил!

Вспомнил быстро, но заговорил рассудительно, перебирая:

— В двадцатые годы имели у нас шумный успех книги некоего доктора Фридлянда, веневролога. Тогда считалось очень полезным — о т к р ы в а т ь и вообще — населению, и молодежи. Это была как бы санитарная пропаганда о самых неназываемых вопросах.

И вообще-то, наверно, это нужно, это лучше, чем лицемерно молчать. Была книга «За закрытой дверью», еще была — «О страданиях любви». Вам... не приходилось их читать? Ну... хотя бы уже как врачу?

Булькали редкие пузырьки. Еще может быть — дыхание слышалось из-за кадра.

— Я прочел, признаюсь, что-то очень рано, лет наверно двенадцати. Украдкой от старших, конечно. Это было чтение потрясающее, но — опустошающее. Ощущение было... что не хочется даже жить...

— Я — читала, — вдруг было отвечено ему без выражения.

— Да, да, и вы? — обрадовался Олег. Он сказал «и

вы», как будто и сейчас первый на том стоял. — Такой последовательный, логический, неотразимый материализм, что, собственно... зачем же жить? Эти точные подсчеты, в процентах, сколько женщин ничего не испытывают, сколько испытывают восторг. Эти истории, как женщины... ища себя, переходят из категории в категорию... — Вспоминая все новое, он воздух втянул, как ушибившись или ожегшись. Эта бессердечная уверенность, что всякая психология в супружестве вторична, и берется автор одной физиологией объяснить любое «не сошлись характерами». Ну, да вы, наверно, все помните. Вы когда читали?

Не отвечала.

Не надо было допрашивать. И вообще, наверно, он слишком грубо и прямо все высказал. Никакого не было у него навыка разговаривать с женщинами.

Странное бледно-солнечное пятно на потолке вдруг зарябило, где-то сверкнуло ярко-серебряными точками, и они побежали. И по этой бегущей ряби, по крохотным волнышкам, понял, наконец, Олег, что загадочная возвышенная туманность на потолке была просто отблеском лужи, не высохшей за окном у забора. Преображением простой лужи. А сейчас начал дуть ветерок.

Молчала Вега.

— Вы простите меня, пожалуйста! — повинился Олег. Ему приятно, даже сладко было перед ней виниться. — Я как-нибудь не так это сказал... — Он пытался вывернуть к ней голову, но не видел все равно. — Ведь это уничтожает все человеческое на земле. Ведь если этому поддаться, если это все принять... — Он теперь с радостью отдавался своей прежней вере и убеждал — ее!

И Вега вернулась! Она вступила в кадр — и ни того отчаяния, ни той резкости, которые ему прислышались — не было в ее лице, а обычная доброжелательная улыбка.

— Я и хочу, чтобы вы этого не принимали. И я уверена была, что вы этого не принимаете.

И сияла даже.

Да это была девочка его детства, школьная подруга, как же он не узнал ее!

Что-то такое дружеское, такое простое хотелось ему сказать, вроде: «дай пять!». И пожать руку — ну, как хорошо, что мы разговорились!

Но его правая была под иглой.

Назвать бы прямо — Вегой! Или Верой!

Но было невозможно.

А кровь в ампуле между тем уже снизилась за половину.

В чем-то чужом теле — со своим характером, со своими мыслями, она текла еще на днях — и вот вливалась теперь в него, красно-коричневое здоровье. И так-таки ничего не несла с собой?

Олег следил за порхающими руками Веги: как она подправила подушечку под локтем, вату под наконечником, провела пальцами по резиновой трубке и стала немного приподнимать с ампулой верхнюю передвижную часть стойки.

Даже не пожать эту руку, а — поцеловать хотелось бы ему.

Пусть это и было бы противоречием сказанному.

25.

Она вышла из клиники в праздничном настроении и тихо напевала, для себя одной слышимо, с закрытым ртом. В светло-сером демисезонном пальто, уже без бот, потому что везде на улицах было сухо, она чувствовала себя особенно легко, всю себя и ноги особенно — очень легко шлось, можно было весь город наискосок.

Такой же солнечный, как день, был и вечер, хотя уже прохладнел, а очень отдавал весной. Дико было бы лезть в автобус, душиться. Хотелось только идти пешком.

И она пошла.

Ничего в их городе не бывало красивее цветущего урюка. Вдруг захотелось ей сейчас, в обгон весны, непременно увидеть хоть один цветущий урюк — на счастье, за забором где-нибудь, за дувалом, хоть издали, эту воздушную розовость не спутать ни с чем.

Но рано было для того. Деревья только чуть отзеленивали от серого: был тот момент, когда зеленый цвет уже не отсутствует в дереве, но серого еще гораздо больше. И где за дувалом был виден клочок сада, отстоянного от городского камня — там была лишь сухая рыжеватая земля, вспаханная первым чекменем.

Было — рано.

Всегда, как будто спеша, Вера садилась в автобус — умасливалась на разбитых пружинах сиденья или дотягивалась пальцами до поручня, висла так и думала: нич-его не хочется делать, вечер впереди — а ничего не хочется делать. И вопреки всякому разуму часы вечера надо только убить, а утром в таком же автобусе спешить опять на работу.

Сегодня же она неторопливо шла, и ей все-все хотелось

делать! Сразу выступило много дел — и домашних, и магазинных, и, пожалуй, шитейных, и библиотечных, и просто приятных занятий, которые совсем не были ей запрещены или преграждены, а она почему-то избегала их до сих пор. Теперь все это ей хотелось делать, даже сразу! — но она, наоборот, ничуть не спешила ехать и делать их скорей, ни одного из них, а — шла медленно, получая удовольствие от каждого переступа туфелькой по сухому асфальту.

Она шла мимо магазинов, еще не запертых, но ни в один не зашла купить то, что ей было нужно из еды или из обихода. Проходила мимо афиш, но ни одну из них не прочла, хотя их-то и хотелось теперь читать.

Просто так вот шла, долго шла, и в этом было все удовольствие.

И иногда улыбалась.

Ей хотелось бы цветущий урюк увидеть, но не было его, рано.

Вчера был праздник — но подавленной и презренной ощущала она себя. А сегодня рабочий будний день — и такое легкое, счастливое настроение.

Праздник в том, чтобы почувствовать себя правой. Твои затаенные, твои настойчивые доводы, осмеянные и непризнанные, ниточка твоя, на которой одной ты еще висешь — вдруг сказывается тросом стальным, и его надежность признает, уверенно виснет и сам на него такой бывалый, недоверчивый, неподатливый человек.

И как в вагончике подвесной канатной дороги над невысказанной пропастью человеческого непонимания, они плавно скользят, поверив друг другу.

Это просто восхитило ее! Ведь мало знать, что ты — нормальная, не сумасшедшая, но и услышать, что — да, нормальная, не сумасшедшая, и от кого услышать! Хотелось просто благодарить его, что он так сказал, думал так, что он сохранился такой, пройдя провалы жизни.

Он заслужил, чтоб его благодарить, а пока что надо было оправдываться перед ним — оправдываться за гормонотерапию. Фридлянда он отвергал, но и гормонотерапию тоже. Здесь было логическое противоречие, но логику спрашивают не с больного, а с врача.

Было здесь противоречие, не было здесь противоречия — а надо было убедить его подчиниться этому лечению! Невозможно было отдать этого человека — назад опухоли! Все ярче разгорался у нее азарт: переубедить, переупрямить и вылечить именно этого больного! Но что бы такого огрызливого упрямяца снова и снова убеждать, надо было очень верить

самой. А у нее самой при его упреке вдруг прояснилось, что гормонотерапия введена у них в клинике по единой всесоюзной инструкции для широкого класса опухолей и с довольно общей мотивировкой. О том, как оправдала себя гормонотерапия в борьбе именно с семиномой, она не помнила сейчас специальной отдельной научной статьи, а их могла быть не одна, и иностранные тоже. И чтобы доказывать — надо бы все прочесть. Не так много она их вообще успевала читать...

Но теперь-то! — теперь она все успеет! Теперь она обязательно прочтет.

Костоглотов однажды швырнул ей, что он не видит, чем его знахарь с корешком меньше врач, что, мол, математических подсчетов он и в медицине не замечает. Вера тогда почти обиделась. Но потом подумала: отчасти верно. Разве, разрушая клетки рентгеном, они знают хоть приблизительно: сколько процентов разрушения падает на здоровые клетки, сколько на больные? И насколько уж это верней, чем когда знахарь зачерпывает сушеный корешок — горстью, без весов? Или: все бросились лечить пенициллином, пенициллин помогает! — однако, кто в медицине воистину объяснил, в чем суть действия пенициллина? Разве это не темная вода?.. Сколько тут надо следить за журналами, читать, думать!

Но теперь она все успеет!

Вот уже — совсем незаметно, как скоро! — она была и у себя во дворе. Поднявшись на несколько ступенек на общую большую веранду с перилами, обвешенными чьими-то ковриками и половиками, пройдя по цементному полу в выбоинах, она без уныния отперла общеквартирную дверь с отодранной местами обивкой и пошла темноватым коридором, где не всякую лампочку можно было зажечь, потому что они были от разных счетчиков.

Вторым английским ключом она отперла дверь своей комнаты — и совсем не угнетающей показалась ей эта келья-камера с обрешеченным от воров окном, как все первоэтажные окна города, и где было предсумеречно сейчас, а солнце яркое заглядывало только утром. Вера остановилась в дверях, не снимая пальто, и смотрела на свою комнату с удивлением, как на новую. Здесь очень хорошо и весело можно было жить! Пожалуй, только переменить сейчас скатерть. Пыль кое-где стереть. И, может быть, на стене перевесить Петропавловскую крепость в белую ночь и черные кипарисы Алушки.

Но, сняв пальто и надев передник, она сперва пошла на кухню. Смутно помнилось ей, что с чего-то надо начинать на

кухне. Да! Надо же было разжигать керогаз и что-нибудь себе готовить.

Однако, соседский сын, здоровый парень, бросивший школу, всю кухню перегородил мотоциклом и, свистя, разбирая его, части раскладывал на полу и мазал. Сюда падало предзакатное солнце, еще было светло от него. Вобщем-то можно было протискиваться и ходить к своему столу. Но Вере вдруг совсем не захотелось возиться тут — а только в комнате, одна с собою.

Да и есть ей не хотелось, нисколько не хотелось!

И она вернулась к себе и с удовольствием защелкнула английский замок. Совсем ей было незачем сегодня выходить из комнаты. А в вазочке были шоколадные конфеты, вот их и грызть потихоньку...

Вера присела перед маминим комодом на корточки и потянула тяжелый ящик, в котором лежала другая скатерть.

Но нет, прежде надо было перетереть пыль!

Но еще прежде надо было переодеться попроще!

И каждый этот переброс Вера делала с удовольствием, как изменяющиеся в танце па. Каждый переброс тоже доставлял удовольствие, в этом и был танец.

А может быть раньше надо было перевесить крепость и кипарисы? Нет, это требовало молотка, гвоздей, а всего неприятнее делать мужскую работу. Пусть повисят пока так.

И она взяла тряпку и двигалась с нею по комнате, чуть напевая.

Но почти сразу наткнулась на приставленную к пузатому флакончику цветную открытку, полученную вчера. На лицевой стороне были красные розы, зеленые ленты и голубая восьмерка. А на обороте черным машинописным текстом ее поздравляли. Местком поздравлял ее с международным женским днем.

Всякий общий праздник тяжел одинокому человеку. Но невыносим одинокой женщине, у которой годы уходят, — праздник женский! Овдовелые и безмужние, собираются такие женщины хлестнуть вина и попеть, будто им весело. Тут, во дворе, бушевала вчера одна такая компания. И один чей-то муж был среди них; с ним потом, пьяные, целовались по очереди.

Желал ей местком безо всякой насмешки: больших успехов в труде и счастья в личной жизни.

Личная жизнь!.. Как личина какая-то сползающая. Как личинка мертвая сброшенная.

Она разорвала открытку вчетверо и бросила в корзину. Она переходила дальше, перетирая то флаконы, то стек-

лянную пирамидку с видами Крыма, то коробку с пластинками около приемника, то пластмассовый ребренный чемоданчик электропроигрывателя.

Вот сейчас она могла без боли слушать любую свою пластинку, могла поставить непереносимую:

«И теперь, в эти дни,
Я, как прежде, один...»

Но искала другую, поставила, включила приемник на проигрыватель, а сама ушла в глубокое мамино кресло, ноги в чулках подобрал к себе туда же.

Пылевая тряпка так и осталась кончиком зажата в рассеянной руке и свисла вымпелом к полу.

Уже совсем было в комнате серо, и отчетливо светилась зеленоватая шкала приемника.

Это была сюита из «Спящей красавицы». Шло адажио, потом «появление фей».

Вега слушала, но не за себя. Она хотела представить, как должен был это адажио слушать с балкона оперного театра вымокший под дождем, распираемый болью, обреченный на смерть и никогда не видавший счастье человек.

Она поставила снова то же.

И опять.

Она стала разговаривать — но не вслух. Она воображаемо разговаривала с ним, будто он сидел тут же, через круглый стол, при том же зеленоватом свечении. Она говорила то, что ей надо было сказать, и выслушивала его: верным ухом отбирала, что он мог бы ответить. У него очень трудно предвидеть, как он вывернет, но, кажется, она привыкала.

Она досказывала ему сегодняшнее — то, что при их отношениях еще никак сказать нельзя, а вот сейчас можно. Она развивала ему свою теорию о мужчинах и женщинах. Хемингуэевские сверх-мужчины — это существа, не поднимающиеся до человека; мелко плаваете, Хемингуэй. (Обязательно буркнет Олег, что никакого Хемингуэя он не читал, и даже гордо будет выставлять: в армии не было, в лагере не было). Совсем не это надо женщине от мужчины: нужна внимательная нежность и ощущение безопасности с ним — прикрытости, укрытости.

(Именно с Олегом — бесправным, лишенным всякого гражданского значения, эту защищенность почему-то испытывала Вега).

А с женщиной запутали еще больше. Самой женственной объявили Кармен. Ту женщину объявили самой женст-

венной, которая активно ищет наслаждения. Но это — лжеженщина, это — переодетый мужчина.

Тут еще много надо объяснять. Но, не готовый к этой мысли, он, кажется, захвачен врасплох. Обдумывает.

А она опять ставит ту же пластинку.

Совсем уже было темно, и забыла она перетирать дальше. Все глубже, все значительней зеленела на комнату светящаяся шкала.

Зажигать света никак, ни за что не хотелось, а надо было обязательно посмотреть.

Однако, эту рамочку она уверенной рукой и в полутьме нашла на стене, ласково сняла и поднесла к шкале. Если б шкала и не давала своей звездной зелени, и даже погасла сейчас — Вера продолжала бы различать на карточке все: это мальчишеское чистенькое лицо; незащищенную светлость еще ничего не выдавших глаз; первый в жизни галстук на беленькой сорочке; первый в жизни костюм на плечах — и, не жалея пиджачного отворота, ввеченный строгий значок: белый кружок, в нем черный профиль. Карточка — шесть на девять, значок совсем крохотный, и все же днем отчетливо видно, а на память видно и сейчас, что профиль этот — Ленина.

«Мне других орденов не надо», — улыбался мальчик. Этот мальчик и придумал звать ее Вегой.

Цветет агава один раз в жизни и вскоре затем — умирает.

Так полюбила и Вера Гангарт. Совсем юненькой, еще за партой.

А его — убили на фронте.

И дальше эта война могла быть какой угодно: справедливой, героической, отечественной, священной — для Веры Гангарт это была п о с л е д н я я война. Война, на которой, вместе с женихом, убили и ее.

Она так хотела, чтобы ее теперь тоже убили! Она сразу же, бросив институт, хотела идти на фронт. Но как немку ее не взяли.

Два, три месяца первого военного лета они еще были вместе. И ясно было, что скоро-скоро он уйдет в армию. И теперь, спустя поколение, объяснить никому невозможно: как могли они не пожениться? Да не женясь — как могли они проронить эти месяцы — последние? единственные? Неужели еще что-то стояло перед ними, когда все трещало и ломилось? Да стояло.

А теперь этого ни перед кем не оправдаешь. Даже перед собой.

«Вега! Вега моя! — кричал он с фронта. — Я не могу умереть, оставив тебя не своей. Сейчас мне уже кажется: если бы вырваться только на три дня — в отпуск! в госпиталь! — мы бы поженились! Да? Да?».

«Пусть это тебя не разрывает. Я никогда ничьей и не буду. Твоя».

Так уверенно писала она. Но — живому!

А его — не ранили, он ни в госпиталь, ни в отпуск не попал. Его — убили сразу.

Он умер, а звезда его — горела. Все горела...

Но шел ее свет впустую.

Не та звезда, от которой свет идет, когда сама она уже погасла. А та, которая светит, еще в полную силу светит, но никому ее свет уже не виден и не нужен.

Ее не взяли — тоже убить. И приходилось жить. Учиться в институте. Она в институте даже была старостой группы. Она первая была — на уборочную, на приборочную, на воскресник. А что ей оставалось делать?

Она кончила институт с отличием, и доктор Орещенко, у которого она проходила практику, был очень ею доволен (он и посоветовал ее Донцовой). Это только и стало у нее: лечить, больные. В этом было спасение.

Конечно, если мыслить на уровне Фридлянда, то — вздор, аномалия, сумасшествие: помнить какого-то мертвого и не искать живого. Этого никак не может быть, потому что неотменимы законы тканей, законы гормонов, законы возраста.

Не может быть? — но Вега-то знала, что они в ней все отменились!

Не то чтоб она считала себя навечно связанной обещанием: «всегда твоя». Но и это тоже: слишком близкий нам человек не может умереть совсем, а значит — немного видит, немного слышит, он — присутствует, он есть. И увидит бесильно, бессловно, как ты обманываешь его.

Да какие могут быть законы роста клеток, реакций и выделений, причем они, если д р у г о г о такого человека нет! Н е т другого такого! Причем же тут клетки? Причем тут реакция?

А просто с годами мы тупеем. Устаем. У нас нет настоящего таланта ни в горе, ни в верности. Мы сдаем их времени. Вот поглощать всякий день еду и облизывать пальцы — на этом мы неуступчивы. Два дня нас не покорми — мы сами не свои, мы на стенку лезем.

Далеко же мы ушли, человечество!

Не изменилась Вега, но сокрушалась. И умерла у нее

мать, а с матерью только вдвоем они жили. Умерла же мать потому, что сокрушилась тоже: сын ее, старший брат Веры, инженер, был в сороковом году посажен. Несколько лет еще писал. Несколько лет слали ему посылки куда-то в Бурят-Монголию. Но однажды пришло невнятное извещение с почты, и мать получила назад свою посылку, с несколькими штампами, с перечеркиванием. Она несла посылку домой как гробик. О н, когда только родился, почти мог поместиться в этой коробочке.

Это и сокрушило мать. А еще — что невестка скоро вышла замуж. Мать этого совсем не понимала. Она понимала Веру.

И осталась Вера одна.

Не одна, конечно, не единственная, а — из миллионов одна.

Было столько одиноких женщин в стране, что даже хотелось на глазок прикинуть по знакомым: не больше ли, чем замужних? И эти женщины одинокие — они все были ее ровесницы. Десять возрастов подряд. Ровесницы тех, кто лег на войне.

Милосердная к мужчинам, война унесла их. А женщин оставила домучиваться.

А кто из-под обломков войны притащился назад неженатый — тот не ровесниц уже выбирал, тот выбирал моложе. А кто был младше на несколько лет — тот младше был на целое поколение, ребенок: по нему не проползла война.

И так, никогда не сведенные в дивизии, жили миллионы женщин, пришедшие в мир ни для чего. Огрех истории.

Но и из них еще не обречены были те, кто был способен принимать жизнь. auf die leichte Schulter.

Шли долгие годы обычной мирной жизни, а Вега жила и ходила как в постоянном противогазе, с головой, вечно стянутой враждебной резиной. Она просто одурела, она ослабла в нем — и сорвала противогаз.

Это выглядело так, что стала она человечнее жить; решила себе быть приятной, внимательно одевалась, не убежала от встреч с людьми.

Есть высокое наслаждение в верности. Может быть — самое высокое. И даже пусть о твоей верности не знают.

И даже пусть не ценят.

Но чтоб она двигала что-то!

А если — ничего не движет? Никому не нужна?..

Как ни велики круглые глаза противогаза — через них плохо и мало видно. Теперь, без противогазных стекол, Вега могла бы рассмотреть лучше.

Но — не рассмотрела. Безопытная, она ударилась больно. Непредосторожная, оступилась. Эта короткая недостойная близость не только не облегчила, не осветила ее жизни — но перепятнала, но унизила, но цельность ее нарушила, но стройность разломила.

А забыть теперь было невозможно. А стереть нельзя.

Нет, принимать жизнь легкими плечами — не ее была участь. Чем хрупче удался человек, тем больше десятков, даже сотен совпадающих обстоятельств нужно, чтоб он мог сблизиться с подобным себе. Каждое новое совпадение лишь на немного увеличивает близость. Зато одно единственное расхождение может сразу все развалить. И это расхождение так рано всегда наступает, так явственно выдвигается. Со всем не у кого было почерпнуть: как же быть? как же жить? Сколько людей, столько дорог.

Очень ей советовали взять на воспитание ребенка. Подолгу и обстоятельно она толковала с разными женщинами об этом, и уже склонили ее, уже она загорелась, уже наезжала в детприемники.

И все-таки отступилась. Она не могла полюбить ребенка вот так сразу — от решимости, от безвыходности. Опаснее того: она могла разлюбить его позже. Еще опаснее: он мог вырасти совсем чужой.

Вот если бы собственную, настоящую дочь! (Дочь, потому что ее можно вырастить по себе, мальчика так не вырастишь).

Но еще раз пройти этот вязкий путь с чужим человеком она тоже не могла.

Она просидела в кресле до полуночи, ничего не сделав из того, что с вечера просилось в руки, и света даже не зажгла. Вполне было ей светло от шкалы приемника — и очень хорошо думалось, глядя на эту мягкую зелень и черные черточки.

Она слушала много пластинок и самые цемящие из них выслушала легко. И — марши слушала. И марши были — как триумфы, во тьме внизу проходящие перед ней. А она в старом кресле с высокой торжественной спинкой, подобрав под себя бочком легкие ноги, сидела победительницей.

Она прошла через четырнадцать пустынь — и вот дошла. Она прошла через четырнадцать лет безумия — и вот оказалась права!

Именно сегодня новый законченный смысл приобрела ее многолетняя верность.

Почти — верность. Можно принять как верность. В главном — верность.

Но именно теперь она ощутила умершего как мальчика, не как сегодняшнего сверстника, не как мужчину — без этой косной тяжести мужской, в которой только и есть пристанище женщине. Он не видел ни всей войны, ни конца ее, ни потом многих тяжелых лет, он остался юношей с незащищенными чистыми глазами.

Она легла — и не сразу спала, и не тревожилась, что мало сегодня поспит. А когда заснула, то еще просыпалась, и виделось ей много снов, что-то уж очень много для одной ночи. И некоторые из них совсем были ни к чему, а некоторые она старалась удержать при себе до утра.

Утром она проснулась — и улыбалась.

В автобусе ее теснили, давили, толкали, наступали на ноги, но она без обиды терпела все.

Надев халат, и идя на пятиминутку, она с удовольствием увидела еще издали во встречном нижнем коридоре крупную, сильную и мило-смешную фигуру гориллоида — Льва Леонидовича, она еще не видела его после Москвы. Как бы непомерно тяжелый, слишком большие руки свисали у него, чуть не перетягивая и плеч, и были как будто пороком фигуры, а на самом деле украшением ее. На его эпелонированной голове с оттянутым назад куполом, и очень крупной лепкой, сидела белая шапочка-пилотка — как всегда небрежно, никчемушно, с какими-то ушками, торчащими сзади, и с пустой смятой вершинкой. Грудь же его, обтянутая неразрезанным халатом, была как грудь танка, выкрашенного под снег. Он шел, как всегда щурясь, с угроžno-строгим выражением, но Вера знала, что лишь немного надо переместиться его чертам — и это будет уместка.

Так они и переместились, когда Вера и Лев Леонидович разом вышли из встречных коридоров и сошлись у низа лестницы.

— Как я рада, что ты вернулся! Тебя тут просто не хватало! — первая сказала ему Вера.

Он явственней улыбнулся и спущенной рукой там, где-то внизу поймал ее за локоть, повернул на лестницу.

— Что ты такая веселая? Обрадуй меня.

— Да нет, просто так. Ну, как съездил?

Лев Леонидович вздохнул:

— Хорошо, и расстройство. Бередит Москва.

— Ну, расскажешь подробно.

— Пластинок тебе привез. Три штуки.

— Что ты? Какие?

— Ты же знаешь, я этих Сен-Сенсов путаю... В общем, в ГУМ-е теперь отдел долгоиграющих, я твой списочек отдал,

она мне три штуки завернула. Завтра принесу. Слушай, Веруся, пойдем сегодня на суд.

— На какой суд?

— Ничего не знаешь? Хирурга будут судить, из третьей больницы.

— Настоящий суд?

— Пока товарищеский. Но следствие шло восемь месяцев.

— А за что же?

Сестра Зоя, сменившаяся с ночного дежурства, спускалась по лестнице и поздоровалась с обоими, крупно сверкнув желтыми ресницами.

— После операции умер ребенок... Я пока с московским разгоном — обязательно пойду, чего-нибудь напумлю. А неделю дома поживешь — уже хвост поджмается. Пойдем?

Но Вера не успела ни ответить, ни решить: уже надо было входить в комнату пятиминуток с зачехленными креслами и ярко-голубой скатертью.

Вера очень ценила свои отношения со Львом. Наряду с Людмилой Афанасьевной, это был самый близкий тут ей человек. В их отношениях то было дорогое, что таких почти не бывает между неженатым мужчиной и незамужней женщиной: Лев никогда ни разу не посмотрел особенно, не намекнул, не переступил, не позарился, уж тем более — она. Их отношения были безопасно-дружеские, совсем не напряженные: одно всегда избегалось, не называлось и не обсуждалось между ними — любовь, женитьба и все вокруг, как будто их на земле совсем не было. Лев Леонидович, наверно, угадывал, что именно такие отношения и нужны Веге. Сам он был когда-то женат, потом неженат, потом с кем-то «в дружбе», женская часть диспансера (то-есть весь диспансер) любила обсуждать его, а сейчас, кажется, подозревали, не в связи ли он с операционной сестрой. Одна молодая хирургичка — Анжелика, точно это говорила, но ее самое подозревали, что она добивается Льва для себя.

Людмила Афанасьевна всю пятиминутку угловатое что-то чертила на бумаге и даже прорывала пером. А Вера, наоборот, сидела сегодня спокойно, как никогда. Небывалую уравновешенность она чувствовала в себе.

Кончилось заседание — и она начала обход с большой женской палаты. У нее там было много больных, и Вера Корнильевна всегда долго их обходила. К каждой она садилась на койку, осматривала или негромко разговаривала, не претендуя, чтоб все это время палата молчала, потому что затяжно бы получилось, да и невозможно было женщин удержать.

(В женских палатах надо было быть еще тактичнее, еще осмотрительнее, чем в мужских. Здесь не было так безусловно ее врачебное значение и отличие. Стоило ей появиться в несколько лучшем настроении, или слишком отдалиться бодрим заверениям, что все кончится хорошо — так, как этого требовала психотерапия — и уже ощущала она неприкрытый взгляд или косвенную завесу зависти: «Тебе-то что! Ты — здорова. Тебе — не понять». По той же психотерапии внушала она больным потерявшимся женщинам не переставать следить за собой в больнице, укладывать прически, подкрашиваться — но недобро бы встретили ее, если бы она увлеклась этим сама).

Так и сегодня шла она от кровати к кровати, как можно скромнее, собраннее, и по привычке не слышала общего гула, а только свою пациентку. Вдруг какой-то особенно расхлябанный, разляпистый голос раздался от другой стены:

— Еще какие больные! Тут больные есть — кобелируют, будь здоров! Вот этот лохматый, что ремнем подпоясан — как ночное дежурство, так Зойку, медсестру, тискает!

— Что?.. Как?.. — переспросила Гангарт свою больную.
— Еще раз, пожалуйста.

Больная начала повторять.

(А ведь Зоя дежурила сегодня ночью! Сегодня ночью, пока горела зеленая шкала...).

— Вы простите меня, я вас попрошу: еще раз с самого начала, и обстоятельно!

26.

Когда волнуется хирург, не новичок? Не в операциях. В операции идет открытая честная работа, известно что за чем, и надо только стараться все вырезаемое убрать порадикальнее, чтоб не жалеть потом о недоделках. Ну, разве иногда внезапно осложнится, хлынет кровь, и вспомнишь, что Резерфорд умер при операции грыжи. Волнения же хирурга начинаются п о с л е операции, когда почему-то держится высокая температура или не спадает живот, и теперь, на хвосте упускаемого времени, надо без ножа мысленно вскрыть, увидеть, понять и исправить.

Вот почему Лев Леонидович имел привычку еще до пяти минутки забегать к своим послеоперационным, глянуть одним глазом. Раз предстоял долгий общий обход накануне

следующего операционного дня, не мог он еще полтора часа не знать, что с его желудочным и что с Демкой. Он заглянул к желудочному — все было неплохо; сказал сестре, чем его поить и по сколько. И в следующую крохотную комнатку, всего на двоих, заглянул к Демке.

Второй здесь уже поправлялся, уже выходил, а Демка лежал серый, укрытый по грудь, на спине. Он смотрел в потолок, но не успокоенно, а тревожно, собрав с напряжением все мускулы вокруг глаз, как будто что-то мелкое хотел и не мог разглядеть на потолке.

Лев Леонидович молча остановился, чуть ноги расставив, чуть избоку к Демке, и развесив длинные руки, правую даже отведя немного, смотрел исподлобья, будто примерялся а если Демку сейчас трахнуть правой снизу в челюсть — так что будет?

Демка повернул голову, увидел — и рассмеялся.

И угрозно-строгое выражение хирурга тоже легко раздвинулось в смех. И Лев Леонидович подмигнул Демке одним глазом как парню своему, понимающему:

— Значит, ничего? Нормально?

— Да где ж нормально? — Много мог пожаловаться Демка. Но, действительно, как мужчина мужчине, жаловаться было не на что.

— Грызет?

— У-гм.

— И в том же месте?

— У-гм.

— И еще долго будет, Демка. Еще на будущий год будешь за пустое место хвататься. Но когда грызет, ты все-таки вспоминай: н е т у! И будет легче. Главное то, что теперь ты будешь ж и т ь, понял? А нога — т у д а!

Так облегченно это сказал Лев Леонидович! И действительно, заразу гнетучую — туда ее! Без нее легче.

— Ну, мы еще у тебя будем!

И уметнулся на пятиминутку — уже последний, опаздывая (Низамутдин не любил опозданий), быстро расталкивая воздух. Халат на нем был спереди — кругло-охватывающий, сплошной, а сзади полы никак не сходились, и поворозки перетягивались через спину пиджака. Когда он шел по клинике один, то всегда быстро, по лестнице через ступеньку, простыми крупными движениями рук и ног — и именно по этим крупным движениям судили больные, что он тут не околачивается и не для себя время проводит.

А дальше началась пятиминутка на полчаса. Низамут-

дин достойно (для себя) вошел, достойно (для себя) поздоровался и стал с приятностью (для себя) неторопливо вести заседание. Он явно прислушивался к своему голосу и при каждом жесте и повороте очевидно видел себя со стороны — какой он солидный, авторитетный, образованный и умный человек. В его родном ауле о нем творили легенды, известен он был в городе, и даже в газете о нем упоминали иногда.

Лев Леонидович сидел на отставленном стуле, заложив одну длинную ногу за другую, а растопыренные лапы всунул под жгут белого пояса, завязанного у него на животе. Он криво хмурился под своей шапочкой-пилоткой, но так как он перед начальством чаще всего и бывал хмур, то главврач не мог принять этого на свой счет.

Главврач понимал свое положение не как постоянную, неусыпную и изнурительную обязанность, но как постоянное красование, награды и клавиатуру прав. Он назывался главврач и верил, что от этого названия он действительно становится главный врач, что он тут понимает больше остальных врачей, ну, может быть, не до самых деталей, что он вполне вникает, как его подчиненные лечат, и только поправляя и руководя, оберегает их от ошибок. Вот почему он так долго должен был вести пятиминутку, впрочем, очевидно, приятную и для всех. И поскольку право главврача так значительно и так удачно перевешивали его обязанности, он и на работу к себе в диспансер принимал — администраторов, врачей или сестер — очень легко: именно тех, о ком звонили ему и просили из облздрави, или из горкома, или из института, где он рассчитывал вскоре защитить диссертацию; или где-нибудь за ужином в хорошую минуту кого он пообещал принять; или если принадлежал человек к той же ветви древнего рода, что и он сам. А если начальники отделений возражали ему, что новопринятый ничего не знает и не умеет, то еще более их удивлялся Низамутдин Бахрамович: «Так научите, товарищи! А вы-то здесь зачем?».

С той сединой, которая с известного десятка лет окружает равнодушно-благородным нимбом головы гениев и тупиц, самоотверженцев и проходимцев, деятелей и лентяев; с той представительностью и успокоенностью, которыми вознаграждает нас природа за неиспытанные муки мысли; с той круглой ровной смуглостью, которая особенно идет к седине — Низамутдин Бахрамович рассказывал своим медицинским работникам, что плохо в их работе и как вернее им бороться за драгоценные человеческие жизни. И на казенных прямоспальных диванах, на креслах и на стульях за скатертью синевы павлиньего пера, сидели и с видимым вниманием слушали

Низамутдина те, кого он еще не управился уволить, и те, кого он уже успел принять.

Хорошо видный Льву Леонидовичу, сидел курчавый Халмухамедов. У него был вид как будто с иллюстраций к путешествию капитана Кука, будто он только что вышел из джунглей: дремучие поросли сплелись на его голове, черноугольные вкрапины отмечали бронзовое лицо, в дико-радостной улыбке открывались крупные белые зубы и лишь не было, но очень не хватало — кольца в носу. Да дело было, конечно, не в виде его, как и не в аккуратном дипломе мединститута, а в том, что ни одной операции он не мог вести, не загубя. Раза два допустил его Лев Леонидович — и навсегда закаялся. А изгнать его тоже было нельзя — это был бы подрыв национальных кадров. И вот Халмухамедов четвертый год вел истории болезни, какие попроще, с важным видом присутствовал на обходах, на перевязках, дежурил (спал) по ночам и даже последнее время занимал полторы ставки, уходя, впрочем, в конце одинарного рабочего дня.

Еще сидели тут две женщины с дипломами хирургов. Одна была — Пантехина, чрезвычайно полная, лет сорока, всегда очень озабоченная, тем озабоченная, что у нее росло шестеро детей от двух мужей, а денег не хватало, да и догляду тоже. Эти заботы не сходили с ее лица и в так называемые служебные часы — то-есть в те часы, которые она должна была для зарплаты проводить в помещении диспансера. Другая — Анжелина, молоденькая, третий год из института, маленькая, рыженькая, недурна собой, возненавидевшая Льва Леонидовича за его невнимание к ней и теперь в хирургическом отделении главный против него интриган. Обе они ничего не могли делать выше амбулаторного приема, никогда нельзя было доверить им скальпеля — но тоже были важные причины, по которым ни ту, ни другую главврач не уволил бы никогда.

Так числилось пять хирургов в отделении, и на пять хирургов рассчитывались операции, а делать могли только двое.

И еще сестры сидели тут, и некоторые были подстать этим врачам, но их тоже принял и защищал Низамутдин Бахрамович.

Порою так все стискивало Льва Леонидовича, что работать тут становилось больше нельзя ни дня, надо было только рвать и уходить! Но куда ж уходить? Во всяком новом месте будет свой главный, может еще похуже, и своя надутая чухь, и свои неработники вместо работников. Другое дело было бы принять отдельную клинику и в виде оригинальности все по-

ставить только на деловую ногу: чтобы все, кто числились — работали, и только бы те работали, кто были нужны. Но не таково было положение Льва Леонидовича, чтобы ему доверили стать главным, или уж где-нибудь очень далеко, а он и так сюда от Москвы заехал не близко.

Да и само по себе руководить он ничуть не стремился. Он знал, что шкура администратора мешает разворотливой работе. А еще и был период в его жизни, когда он видел павших и на них познал тщету власти: он видел комдивов, мечтавших стать дневальными, а своего первого практического учителя, хирурга Корякова, вытащил из помойки.

Порою же как-то мягчело, сглаживалось, и казалось Льву Леонидовичу, что терпеть-то можно, уходить не надо. И тогда он, напротив, начинал опасаться, что его самого и Донцову и Гангарт вытеснят, что дело к этому идет, что с каждым годом обстановка будет не проще, а сложнее. А ему уже нелегко было переносить изломы жизни: шло все-таки к сорока, и тело уже требовало комфорта и постоянства.

Он вообще находился в недоумении относительно собственной жизни. Он не знал, надо ли ему сделать героический рывок, или тихо плыть, как плывется. Не здесь и не так начиналась его серьезная работа — она начиналась с отменным размахом. Был год, когда он находился от сталинской премии уже в нескольких метрах. И вдруг весь их институт лопнул от натяжек и от поспешности, и оказалось, что даже кандидатская диссертация не защищена. Отчасти, это Коряков его когда-то так наставил: «Вы — работайте, работайте! Н а п и с а т ь всегда успеете». — А — когда «успеете»?

Или — на черта и писать?..

Лицом, однако, не выражая своего неодобрения главному врачу, Лев Леонидович щурился и как будто слушал. Тем более, что предлагалось ему в следующем месяце провести первую операцию на грудной клетке.

Но все кончается! — кончилась и пятиминутка. И, постепенно, выходя из комнаты совещаний, хирурги собрались на площадке верхнего вестибюля. И все так же держа лапы подсунутыми под поясok на животе, Лев Леонидович как хмурый, рассеянный полководец, повел за собой на большой обход седую тростиночку Евгению Устиновну, буйно-курчавого Халмухамедова, толстую Пантехину, рыженькую Анжелину и еще двух сестер.

Бывали обходы-облеты, когда надо было спешить работать. Спешить бы надо было и сегодня, но сегодня был по расписанию медленный всеобщий обход, не пропуская ни одной хирургической койки. И все семеро они медленно вхо-

дили в каждую палату, окунаясь в воздух, спертый от лекарственных душных примесей, от неохотного проветривания и от самих больных — теснились и сторонились в узких проходах, пропуская друг друга, а потом смотря друг другу через плечо. И собравшись кружком около каждой койки, они должны были в одну, в три или в пять минут все войти в боли этого одного больного, как они уже вошли в их общий тяжелый воздух — в боли его, и в чувства его, и в его анамнез, в историю болезни, и в ход лечения, в сегодняшнее его состояние и во все то, что теория и практика разрешали им делать дальше.

И если б их было меньше; и если б каждый из них был наилучший у своего дела, а не просто на зарплате; и если бы не по тридцать больных приходилось на каждого лечащего; и если б не запорашивало им голову, что и как удобнее всего записать в прокурорский документ — в историю болезни; и если бы они не были люди, то-есть прочие включенные в свою кожу и кости, в свою память и в свои намерения существа, испытывающие облегчение от сознания, что сами они этим болям не подвержены, — то, пожалуй, и нельзя было бы придумать лучшего решения, чем такой вот обход.

Но условий этих всех не было, как знал Лев Леонидович, обход же нельзя было ни отменить, ни заменить. И потому он вел их всех по заведенному, и щурясь, одним глазом больше, покорно выслушивал от лечащего о каждом больном (и не наизусть, а по папочке) — откуда он, когда поступил (о давнишних это давно было и известно), по какому поводу поступил, какой род лечения получает, в каких дозах, какова у него кровь, уже ли намечен к операции, и что мешает, или вопрос еще не решен. Он выслушивал, и ко многим садился на койку, некоторых просил открыть больное место, смотрел, щупал, после прощупа сам же заворачивал на больном одеяло или предлагал пощупать и другим врачам.

Истинно-трудных случаев на таком обходе нельзя было решить — для того надо было того человека вызвать и заниматься им отдельно. Нельзя было на обходе и высказать, назвать все прямо, как оно есть, и потому понятно договориться друг с другом. Здесь даже нельзя было ни о ком сказать, что состояние ухудшилось, разве только: «процесс несколько обострился». Здесь все называлось полунамеками, под псевдонимом (даже вторичным) или противоположно тому, как было на самом деле. Никто ни разу не только не сказал «рак» или «саркома», но уже и псевдонимов, ставших больным полупонятными — «канцер», «канцерома», «цэ-эр», «эс-а», тоже не произносили. Называли вместо этого что-нибудь безобидное:

«язва», «гастрит», «воспаление», «полип», а что кто под этим словом понял, можно было вполне объясниться только уже после обхода. Чтобы все-таки понимать друг друга, разрешалось говорить такое, как: «расширена тень средостения», «тимпонит», «случай не резектабельный», «не исключен летальный исход» (а значило: как бы не умер на столе). Когда все-таки выражений не хватало, Лев Леонидович говорил:

— Отложите историю болезни.

И переходили дальше.

Чем меньше они могли во время такого обхода понять болезнь, понять друг друга и условиться — тем больше Лев Леонидович придавал значения подбодрению больных. В подбодрении он даже начинал видеть главную цель такого обхода.

— «Status idem», — говорили ему. (Это значило, все в том же положении).

— Да? — обрадованно откликнулся он. — И уже у самой больной спешил удостовериться: — Вам — легче немножко?

— Да, пожалуй, — немного удивляясь, соглашалась и больная. Она сама этого не заметила, но если врачи заметили, то так, очевидно, и было.

— Ну, вот видите! Так постепенно и поправитесь.

Другая больная полошилась:

— Слушайте! Почему у меня так позвоночник болит? Может, и там у меня опухоль?

— Да не-е-ет, — с улыбкой тянул Лев Леонидович. — Это вторичное явление.

(Он правду говорил: метастаз и был вторичным явлением).

Над страшным обострившимся стариком, мертвецки-серым, и еле движущим губами, в ответ ему докладывали:

— Больной получает общеукрепляющее и болеутоляющее.

То-есть: конец, лечит поздно, нечем, и как бы только меньше ему страдать.

И тогда, сдвинув тяжелые брови и будто решаясь на трудное объяснение, Лев Леонидович приоткрывал:

— Давайте, папаша, говорить откровенно, начистоту. Все, что вы испытываете — это реакция на предыдущее лечение. Но не торопите нас, лежите спокойно — и мы вас вылечим. Вы лежите, вам как будто ничего особенного не делают, но организм с нашей помощью защищается.

И обреченный кивал. Откровенность оказывалась совсем не убийственной! — она засвечивала надежду.

— В подвздошной области туморозное образование вот

такого типа, — докладывали Льву Леонидовичу и показывали рентгеновский снимок.

Он смотрел черно-мутно-прозрачную рентгеновскую пленку на свет и одобряюще кивал:

— Оч-чень хороший снимок! Очень хороший!

И больная ободрялась: с ней не просто хорошо, а — очень хорошо.

А снимок был потому очень хорош, что не требовал повторения, он бесспорно показывал размеры и границы опухоли.

Так все полтора часа генерального обхода заведующий хирургическим отделением говорил не то, что думал, следил, чтоб тон его не выражал его чувств и, вместе с тем, чтобы лечащие врачи делали правильные заметки для истории болезни — той шпивки полукартонных бланков, написанных от руки, застрочивых под пером, по которой любого из них могли потом судить. Ни разу он не поворачивал резко головы, ни разу не взглядывал тревожно, и по доброжелательно-скачующему выражению Льва Леонидовича видели больные, что уж очень просты их болезни, давно известны, а серьезных нет.

И от полутора часов актерской игры, совмещенной с научным размышлением, Лев Леонидович устал и расправляюще двигал кожей лба.

Но старуха пожаловалась, что ее давно не обстукивали — и он ее обстукал.

А старик объявил:

— Так! Я вам скажу немного!

И стал путанно рассказывать, как он сам понимает возникновение и ход своих болей. Лев Леонидович терпеливо слушал и даже кивал.

— Теперь хотели вы сказать! — разрешил ему старик.

Хирург улыбнулся:

— Что ж мне говорить? У нас с вами интересы совпадают. Вы хотите быть здоровым, и мы хотим, чтоб вы были здоровы. Давайте и дальше действовать согласованно.

С узбеками он самое простое умел сказать и по-узбекски. Очень интеллигентную женщину в очках, которую даже неловко было видеть на койке и в халате, он не стал осматривать публично. Мальчишке маленькому при матери серьезно подал руку. Семилетнего стукнул щелчком в живот, и засмеялись вместе.

И только учительнице, которая требовала, чтобы он вызвал на консультацию невропатолога, он ответил что-то не совсем вежливое.

Но это и палата уже была последняя. Он вышел усталый, как после доброй операции. И объявил:

— Перекур пять минут.

И с Евгенией Устиновной затагнули в два дыма, так схватились, будто весь их обход только к тому и шел (но строго говорили они больным, что табак канцерогенен и абсолютно противопоказан).

Потом все зашли и уселись в небольшой комнатке за одним общим столом, и снова замелькали те же фамилии, которые были на обходе, но картина всеобщего улучшения и выздоровления, которую мог бы составить посторонний слушатель на обходе, здесь расстроилась и развалилась. У «Status idem» случай был иноперабельный, и рентгенотерапию ей давали симптоматическую, то-есть для снятия непосредственных болей, а совсем не надеясь излечить. Тот малыш, которому Лев Леонидович подавал руку, был инкурабельный, с генерализированным процессом, и лишь из-за настояния родителей следовало еще несколько поддержать его в больнице. О той старухе, которая настояла выступить ее, Лев Леонидович сказал:

— Ей шестьдесят восемь. Если будем лечить рентгеном — может, дотянем до семидесяти. А соперлируем — она года не проживет. А, Евгения Устиновна?

Уж если отказывался от ножа такой его поклонник, как Лев Леонидович, Евгения Устиновна согласна была тем более.

А он вовсе не был поклонник ножа. Но он был скептик. Он знал, что никакими приборами так хорошо не посмотришь, как простым глазом. И ничем так решительно не уберешь, как ножом.

О том больном, который не хотел сам решать операцию, а просил, чтобы советовались с родственниками, Лев Леонидович теперь сказал:

— Родственники у него в глубинке. Пока свяжемся, да пока приедут, да еще что скажут — он умрет. Надо его уговорить и взять на стол, не завтра, но следующий раз. С большим риском, конечно. Сделаем ревизию, может — зашьем.

— А если на столе умрет? — важно спросил Халмухамедов, так важно, будто он-то и рисковал.

Лев Леонидович пошевелил длинными сросшимися бровями сложной формы.

«То еще «если», а без нас — наверняка, — подумал. — У нас пока отличная смертность, мы можем и рисковать».

Всякий раз он спрашивал:

— У кого другое мнение?

Но мнение ему было важно одной Евгении Устиновны.

А при разнице опыта, возраста и подхода оно у них почти всегда сходилось, доказывая, что разумным людям легче всего друг друга понимать.

— Вот этой желтоволосой, — спросил Лев Леонидович, — неужели ничем уже не поможем, Евгения Устиновна? Обязательно удалять?

— Ничем. Обязательно, — пожалала изгибистыми накрашенными губами Евгения Устиновна. — И еще хорошую порцию рентгенотерапии потом.

— Жалко! — вдруг вздохнул Лев Леонидович и опустил эшелонированную голову со сдвинутым куполом, со смешной палочкой. Как бы рассматривая ногти, ведя большим — очень большим — пальцем вдоль четырех остальных, он пробурчал: — у таких молодых отнимать — рука сопротивляется. Ощущение, что действуешь против природы.

Еще концом указательного обвел по контуру большого ногтя. Все равно ничего не получалось. И поднял голову:

— Да, товарищи! Вы поняли, в чем дело с Шулубиным?

— Цэ-эр рэкти? — сказала Пантехина.

— Цэ-эр рэкти, да, но как это обнаружено? Вот цена всей нашей онкопропаганде и нашим онкопунктам. Правильно как-то сказал Орещенков на конференции: тот врач, который брезгует вставить палец больному в задний проход — вообще не врач! Как же у нас запущено все! Шулубин таскался по разным амбулаториям и жаловался на частые позывы, на кровь, потом на боли — и у него все анализы брали, кроме самого простого — пощупать пальцем! От дизентерии лечили, от геморроя — все впустую. И вот в одной амбулатории по онкологическому плакату на стене, он, человек грамотный, прочел — и догадался! И с а м у с е б я пальцем нащупал опухоль! Так врачи не могли на полгода раньше?

— И глубоко?

— Было сантиметров семь, как раз за сфинктром. Еще вполне можно было сохранить мышечный ком, и человек остался бы человеком! А теперь — уже захвачен сфинктр, ретроградная ампутация, значит, будет бесконтрольное выделение стула, значит, надо выводить анус на бок, что это за жизнь?.. Дядька хороший...

Стали готовить список завтрашних операций. Отмечали, кого из больных потенцировать, чем; кого в баню вести или не вести, кого как готовить.

— Чалого можно почти не потенцировать, — сказал Лев Леонидович. Канцер желудка, а такое бодрое состояние, просто редкость.

(Знал бы он, что Чалый завтра утром будет сам себя потенцировать из флакона!).

Распределяли, кто у кого будет ассистировать, кто на крови. Опять неизбежно получалось так, что ассистировать у Льва Леонидовича должна была Анжелина. Значит, опять завтра она будет стоять против него, а сбоку будет снова операция сестра, и вместо того, чтобы отдаваться делу, Анжелина будет все время поглядывать, каковы они с операционной сестрой. А та — тоже психовая, ту тоже не тронь, какой у нее шелк — действительно стерильный или не стерильный — кто это проверит? А от этого зависит вся операция... Проклятые бабы! И не знают простого мужского правила: там где работаешь, там не...

Оплошные родители назвали девочку при рождении Анжелиной, не представляя, в какого она еще демона вырастет. Лев Леонидович косился на славную, хотя и лисью мордочку ее, и ему хотелось произнести примирительно:

— Слушайте, Анжелина, или Анжела, как вам нравится! Ведь вы же совсем не лишены способностей. Если бы вы обратили их не на происки по замужеству, а на хирургию — вы бы уже совсем неплохо работали. Слушайте, нельзя же нам ссориться, ведь мы стоим у одного операционного стола...».

Но она бы поняла так, что он утомлен ее кампанией и сдается.

Еще ему хотелось подробно рассказать о вчерашнем суде. Но Евгению Устиновне он коротко начал во время курения, а этим товарищам по работе даже и рассказывать не хотелось.

И едва кончилась их планерка, Лев Леонидович встал, закурил и, крупно помахивая избыточными руками и рассекая воздух облитой белой грудью, скорым шагом пошел в коридор к лучевикам. Хотелось ему все рассказать именно Вере Гангарг. В комнате близко-фокусных аппаратов он застал ее вместе с Донцовой за одним столом, за бумагами.

— Вам пора обеденный перерыв делать! — объявил он. — Дайте стул!

И подбросив стул под себя, сел. Он расположился весело, дружески поболтать, но заметил:

— Что это вы ко мне какие-то неласковые?

Донцова усмехнулась, крутя на пальце большими роговыми очками:

— Наоборот, не знаю как вам понравиться. Оперировать меня будете?

— Вас? Ни за что!

— Почему?

— Потому что если заражу вас, скажут, что из зависти: что ваше отделение превосходило мое успехами.

— Никаких шуток, Лев Леонидович, я спрашиваю серьезно.

Людмилу Афанасьевну, правда, трудно было представить шутящей.

Вера сидела печальна, подобранная, плечи сжав, будто немного яблоа.

— На-днях будем Людмилу Афанасьевну смотреть, Лев Леонидович. Оказывается, у нее давно болит желудок, а она молчит. Онколог, называется!

— И вы уж, конечно, подобрали все показания в пользу канцера, да? — Лев Леонидович изогнул свои диковинные, от виска до виска, брови. В самом простом разговоре, где ничего смешного не было, его обычное выражение была насмешка, неизвестно над кем.

— Еще не все, — призналась Донцова.

— Ну, какие, например?

Та назвала.

— Мало! — определил Лев Леонидович. — Как Райкин говорит: мала! Пусть вот Верочка подпишет диагноз — тогда будем разговаривать. Я скоро буду получать отдельную клинику — и заберу у вас Верочку диагностом. Отдадите?

— Верочку ни за что! Берите другую!

— Никакую другую, только Верочку! За что же вас тогда оперировать?

Он шутливо смотрел и болтал, дотягивая папиросу до донышка, но думал совсем без шутки. Как говорил все тот же Коряков: молод — опыта нет, стар — сил нет. Но Гангарт сейчас была (как и он сам) в том вершинном возрасте, когда уже налился колос опыта и еще прочен стебель сил. На его глазах она из девочки-ординатора стала таким схватчивым диагностом, что он верил ей не меньше, чем самой Донцовой. За такими диагностами хирург, даже скептик, живет как у Христа за пазухой. Только у женщины этот возраст еще короче, чем у мужчины.

— У тебя завтрак есть? — спрашивал он у Веры? — Ведь все равно не съешь, домой понесешь. Давай я съем.

И действительно, смех-смехом, появились бутерброды с сыром, и он стал есть, угощая:

— Да вы тоже берите!.. Так вот, был я вчера на суде. Надо было вам прийти, поучительно! В здании школы. Собралось человек четыреста, ведь интересно!.. Обстоятельства такие: была операция ребенку по поводу высокой непроходимости кишок, заворот. Сделано. Несколько дней ребенок жил,

уже играл! — установлено. И вдруг — снова частичная непроходимость и смерть. Восемь месяцев этого несчастного хирурга трепали следствием — как он там эти месяцы оперировал? Теперь на суд приезжают из горздрава, приезжает главный хирург города, общественный обвинитель — из мединститута, слышите? И фугует: преступно-халатное отношение! Тянут в свидетели родителей — тоже нашли свидетелей! — какое-то там одеяло было перекошено, всякую глупость! А масса, граждане наши, сидят, глазек: вот гады врачи! И среди публики — врачи, и понимаем мы всю глупость, и видим это затягивание неотвратимое: ведь это нас самих затягивают, сегодня ты, а завтра — я! — и молчим. И если бы я не только что из Москвы — наверно, тоже бы про молчал. Но после свежих двух московских месяцев как-то другие масштабы, свои и местные, чугунные перегородки оказываются подгнившими, деревянными. И я — полез выступать.

— Там можно выступать?

— Ну да, вроде прений. Я говорю: как вам не стыдно устраивать весь этот спектакль? (Так и крошу! Меня одергивают: «лишим слова!»). Вы уверены, что судебную ошибку не так же легко сделать, как медицинскую?! Весь этот случай есть предмет разбирательства н а у ч н о г о, а никак не судебного! Надо было собрать только врачей — на квалифицированный научный разбор. Мы, хирурги, каждый вторник и каждую пятницу идем на риск, на минное поле идем! И наша работа вся основана на доверии, мать должна доверять нам ребенка, а не выступать свидетелем в суде!

Лев Леонидович и сейчас разволновался, в горле его дрогнуло. Он забыл недоеденный бутерброд и рвя полупустую пачку, вытянул папиросу и закурил:

— И это еще — русский хирург! А если бы был немец или вот, скажем, жьжбид — протянул он мягко и долго «ж», выставлял губы, — так повесить, чего ждать?.. Аплодировали мне. Но как же можно молчать? Если уж петлю затягивают — так надо рвать, чего ждать?!

Вера потрясенно качала и качала головой вслед рассказу. Глаза ее становились умно-напряженными, понимающими, за что и любил Лев Леонидович ей все рассказывать. А Людмила Афанасьевна недоуменно слушала и тряхнула большой головой с пепелистыми стриженными волосами.

— А я согласна! А как с нами, врачами, можно разговаривать иначе? Там салфетку в живот зашили, забыли! Там влили физиологический раствор вместо новокаина! Там гипсом ноги омертвили. Там в дозе ошиблись в десять раз! Ино-

грушную кровь переливаем! Ожоги делаем! Как с нами разговаривать? Нас за волосы надо таскать, как детей!

Да вы меня убиваете, Людмила Афанасьевна! — пятерню большую, как защищаясь, поднял к голове Лев Леонидович. — Да как можете так говорить — в ы!? Да здесь вопрос, выходящий даже за медицину! Здесь — борьба за характер всего общества!

— Надо вот что! Надо вот что! — мирила их Гангарт, улавливая руки обоих от размахивания. — Надо, конечно, повысить ответственность врачей, но через то, что снизить им норму — в два раза! в три раза! Девять больных в час на амбулаторном приеме — это разве в голове помещается? Дать возможность спокойно разговаривать с больными, спокойно думать. Если операция — так одному хирургу в день — одна, а не три!

Но еще и еще Людмила Афанасьевна и Лев Леонидович выкрикнули друг другу, не соглашаясь. Все же Вера их успокоила и спросила:

— Чем же кончилось?

Лев Леонидович разощурился, улыбнулся:

— Отстояли! Весь суд — на шпик, признали только, что неправильно велась история болезни. Но подождите, это еще не конец! После приговора выступает горздрав — ну, там: плохо воспитываем врачей, плохо воспитываем больных, мало профсоюзных собраний. И в заключение выступает главный хирург города! И что же он изо всего вывел? Что понял? Судить врачей, — говорит, — это х о р о ш е е н а ч и н а н и е, товарищи, очень хорошее!..

27.

Был обычный будний день и обход обычный: Вера Корнильевна шла к своим лучевым одна, и в верхнем вестибюле к ней присоединилась сестра.

Сестра же была — Зоя.

Они постояли немного около Сибгатова, но так как здесь всякий новый шаг решался самою Людмилой Афанасьевой, то долго не задержались и вошли в палату.

Они, оказывается, были в точности одинакового роста: на одном и том же уровне и губы, и глаза, и шпалочки. Но так как Зоя была гораздо плотнее, то казалась и крупнее. Можно было представить, что через два года, когда она будет

сама врачом, она будет выглядеть внушительнее Веры Корнильевны.

Они пошли по другому ряду, и все время Олег видел только их спины, да чернорусый узелок волос из-под шапочки Веры Корнильевны, да золотые колечки из-под шапочки Зои.

Весь тот ряд был сегодня лучевой, и они медленно продвигались, Вера Корнильевна садилась около каждого, смотрела, разговаривала.

Ахмаджану, осмотрев его кожу и все цифры посмотрев в истории болезни и на последнем анализе крови, Вера Корнильевна сказала:

— Ну, скоро кончим рентген! Домой поедешь!

Ахмаджан сиял зубами.

— Ты где живешь?

— Карабаир.

— Ну, вот и поедешь.

— Выздоровел? — сиял Ахмаджан.

— Выздоровел.

— Совсем?

— Пока совсем.

— Значит, не приеду больше?

— Через полгода приедешь.

— Зачем, если совсем?

— Покажешься.

Так и прошла она весь ряд, ни разу не повернувшись в сторону Олега, все время спиной. И всего разок в его угол глянула Зоя.

Близ Вадима Вера Корнильевна задержалась надолго. Она смотрела его ногу и щупала пах, оба паха, и потом живот, и подвздошье, все время спрашивая, что он чувствует, и еще новый для Вадима задавала вопрос: что он чувствует после еды, после разной еды.

Вадим был сосредоточен, она тихо спрашивала, он тихо отвечал. Когда начались неожиданные для него прощупывания в правом подвздошьи и вопросы о еде, он спросил:

— Вы — печень смотрите?

Он вспомнил, что мама перед отъездом как бы невзначай, там же прощупала его.

— Все ему надо знать, — покрутила головой Вера Корнильевна. — Такие грамотные больные стали — хоть белый халат вам отдавай.

С белой подушки, смоляноволосый, изжелта-смуглый, с прямо лежащей головой, Вадим смотрел на врача со строгим проницанием, как иконный отрок.

— Я ведь понимаю, — сказал он тихо. — Я ведь читал, в чем дело.

Так это без напора было сказано, без претензий, чтобы Гангарт с ним соглашалась или тотчас же бы ему все объясняла, что она смутилась и слов не нашла, сидя на его кровати перед ним как виноватая. Он был хорош собой и молод, наверно очень способен — и напоминал ей одного молодого человека в близко знакомой им семье, который долго умирал, с ясным сознанием, и никакие врачи не умели ему помочь, и именно из-за него Вера, еще тогда восьмиклассница, передумала быть инженером и решила — врачом.

Но вот и она не могла помочь.

В баночке на окне у Вадима стоял черно-бурый настой чаги, на который с завистью приходили посмотреть другие больные.

— Пьете?

— Пью.

Сама Гангарт не верила в чагу — просто никогда о ней раньше не слышали, не говорили, но во всяком случае она была безвредна, это не иссык-кульский корень. А если больной верил — то тем самым и полезна.

— Как с радиоактивным золотом? — спросила она.

— Все-таки обещают. Может быть, на-днях дадут, — также собранно и сумрачно говорил он. — Но ведь это, оказывается, не на руки, это еще будут пересылать служебным порядком. Скажите, — он требовательно смотрел в глаза Гангарт, — через... две недели если привезут — метастазы уже будут в печени, да?

— Да нет, что вы! Конечно, нет! — очень уверенно и оживленно солгала Гангарт и, кажется, убедила его. — Если уж хотите знать, то это измеряется месяцами.

(Но зачем тогда она шупала подвздошь? Зачем спрашивала, как переносит еду?)

Склонялся Вадим поверить ей.

Если поверить — легче....

За это время, что Гангарт сидела на койке Вадима, Зоя от нечего делать, по-соседству, повернула голову и посмотрела избоку книжку Олега на окне, потом на него самого и глазами что-то спросила. Но — непонятно что. Ее спрашивающие глаза с поднятыми бровками выглядели очень мило, но Олег смотрел без выражения, без ответа. Вообще на обходах она всегда находила такой момент, когда он один видел ее глаза — и тогда посылала ему, как сигналы Морзе, коротенькие вспышки веселости в глазах, вспышки-приветы. Но за последнее время вспышек-тире как будто не стало, и вспышек-точек меньше.

Олег был обижен на Зою, сердит — за те несколько дней, когда так тянулся к ней и просил уступить, а она не уступила. А на следующих ночных ее дежурствах, губами и руками повторяя все то, что и прежде, он уже не чувствовал столько, это было надуманно. А потом она дежурила — а он и совсем не ходил к ней, спал. И теперь, когда все миновало — зачем была вослед игра глазами, он не понимал. Это непонимание он и хотел выразить ей своим очень спокойным взглядом. Для чего-чего, но для такой игры он считал себя староватым.

Он приготовился к подробному осмотру, как это шло сегодня, снял пижамную курточку и готов был стащить нижнюю сорочку.

Но Вера Корнильевна, кончив с Зацырко, вытирая руки и повернувшись лицом сюда, не только не улыбнулась Костоглотову, не только не пригласила его к подробному рассказу, не присела к нему на койку, но и взглянула на него лишь очень мельком, лишь столько, сколько надо было, чтоб отметить, что теперь речь пойдет о нем. Однако, и за этот короткий перевод глаз Костоглотов мог увидеть, как они отчуждены. Та особенная светлость и радость, которую они излучали в день перелива ему крови, и даже прежняя ласковая расположенность, и еще прежнее внимательное сочувствие — все разом ушло из них. Глаза опустели.

— Костоглотов, — отметила Гангарт, смотря скорее на Русанова, — лечение — то же. Вот странно, — и она посмотрела на Зою, — слабо выражена реакция на гормонотерапию.

Зоя пожалала плечами.

— Может быть, частная особенность организма?

Она так, очевидно, поняла, что с ней, студенткой предпоследнего курса, доктор Гангарт консультируется как с коллегой.

Но прослушав Зоину идею мимо, Гангарт спросила ее, явно не консультируясь:

— Насколько аккуратно делаются ему уколы?

Быстрая на понимание, Зоя чуть откинула голову, чуть расширила глаза и — желто-карими, выкаченными, честно удивленными — открыто в упор смотрела на врача:

— А какое может быть сомнение?.. Все процедуры, какие полагаются... всегда! — еще бы немножко, и она была бы просто оскорблена. — Во всяком случае, в мои дежурства...

О других дежурствах ее и не могли спрашивать, это понятно. А вот это «во всяком случае» она произнесла одним свистом, и именно слившиеся торопливые звуки убедили почему-то Гангарт, что Зоя лжет. Да кто-то же должен был

пропускать уколы, если они не действовали во всю полноту! Это не могла быть Мария. Не могла быть Олимпиада Владиславовна. А на ночных дежурствах Зои, как известно...

Но по смелому, готовому к отпору взгляду Зои Вера Корнильевна видела, что доказать ей этого будет нельзя, что Зоя уже решила: этого ей не докажут! И вся сила отпора и вся решимость Зои отрезаться были таковы, что Вера Корнильевна не выдержала и опустила глаза.

Она всегда опускала их, если думала о человеке неприятном.

Она виновато опустила глаза, а Зоя, победив, еще продолжала испытывать ее оскорбленным прямодушным взглядом.

Зоя победила — но и тут же поняла, что нельзя так рисковать: что если приступит с расспросами Донцова, а кто-нибудь из больных, например Русанов, подтвердит, что она никаких уколов Костоглотову не делает — ведь так можно и потерять место в клинике, и получить дурной отзыв в институте.

Риск — а во имя чего? Во имя игры, которая себя по сути исчерпала, в ней не оставалось новых ходов, колесу было некуда дальше катиться. Перейти же пределы игры, брать назначение в этот дурацкий Уш-Терек, связать свою жизнь с женщиной, который... Что-то уж слишком нелепо, такой идеи у Зои не было. И взглядом расторгающим — расторгающим условие не делать уколов, Зоя прошлась по Олегу.

Олег же явно видел, что Вега не хочет на него даже смотреть, но совершенно не мог понять — отчего это, почему так внезапно? Кажется, ничего не произошло. И никакого перехода не было. Вчера, правда, она отвернулась от него в вестибюле, но он думал — случайность.

Это — женские характеры, он совсем их забыл! Все в них так: дунул — и уже нету. Только с мужиками и могут быть долгие, ровные, нормальные отношения.

Вот и Зоя, взмахнув ресницами, уже его упрекала. Струсил. И если начнутся уколы — что между ними еще может остаться, какая тайна?

Но что хочет Гангарт? — чтобы он обязательно делал все уколы? Да почему они ей так дались? За ее расположение — не велика ли цена?... Пошла она... дальше!

А Вера Корнильевна тем временем заботливо, тепло разговаривала с Русановым. Этой теплотой особенно выделялось, как же она была обрывиста с Олегом.

— Вы у нас теперь к уколам привыкли. Переносите свободно, наверно, и кончать не захотите, — шутила она.

(Ну и лебези, подумаетесь!)

Ожидая врача к себе, Русанов видел и слышал, как столкнулись Гангарт и Зоя. Он-то по соседству хорошо знал, что девчонка врет ради своего кобеля, это у них сговор с Оглоедом. И если бы только шло об одном Оглоеде, Павел Николаевич наверно бы шепнул врачам — ну, не открыто на обходе, а хотя бы в их кабинете. Но Зойке он портить не решался, вот странно: за месячное лечение тут он понял, что даже ничтожная сестра может очень больно досадить, отомстить. Здесь, в больнице, своя система подчинения, и пока он тут лежал, не следовало заводиться даже и с сестрой из-за постороннего пустяка.

А если Оглоед по дурусти отказывается от уколов — так пусть ему и будет хуже. Пусть он хоть и подохнет.

Про себя же Русанов знал твердо, что он теперь не умрет. Опухоль быстро спадала, и он с удовольствием ждал каждый день обхода, чтобы врачи подтверждали ему это. Подтвердила и сегодня Вера Корнильевна, что опухоль продолжает спадать, лечение идет хорошо, а слабость и головные боли — это он со временем переборет. И она еще крови ему перельет.

Теперь Павлу Николаевичу было дорого свидетельство тех больных, которые знали его опухоль с самого начала. Если не считать Оглоеда, в палате оставался такой Ахмаджан, да вот еще на-днях вернулся и Федерату из хирургической палаты. Заживление у него на шее шло хорошо, не как у Поддужева когда-то, и бинтовой обмот от перевязки к перевязке уменьшался. Федерату пришел на койку Чалого и так оказался вторым соседом Павла Николаевича.

Само по себе это было, конечно, унижение, издевательство судьбы: Русанову лежать между двух ссыльных. И каким Павел Николаевич был до больницы — он пошел бы и ставил бы вопрос принципиально: можно ли так перемешивать руководящих работников и темный социально-вредный элемент. Но за эти пять недель, протащенный опухолью, как крючком, Павел Николаевич подобрел или попростел, что ли. К Оглоеду можно было держаться и спиной, да он теперь был малозвучен и певелился мало, все лежал. А Федерату, если к нему отнестись снисходительно, был сосед терпимый. Прежде всего он восторгался, как упала опухоль Павла Николаевича — до одной трети прежней величины, и по требованию Павла Николаевича снова и снова смотрел, снова и снова оценивал. Он был терпелив, не дерзок, и ничуть не возражая, всегда готов был слушать, что Павел Николаевич ему рассказывает. О работе, по понятным соображениям, Павел Николаевич не мог здесь распространяться, но отчего было не расска-

зять подробно о квартире, которую Павел Николаевич задушевно любил и куда скоро должен был возвратиться? Здесь не было секрета, и Федерату, конечно, было приятно послушать, как могут хорошо жить люди (как когда-нибудь и все будут жить). После сорока лет о человеке, чего он заслужил, вполне можно судить по его квартире. И Павел Николаевич рассказывал, не в один даже прием, как расположена и чем обставлена у него одна комната, и другая, и третья, и каков балкон и как оборудован он.

У Павла Николаевича была ясная память, он хорошо помнил о каждом шкафе и диване — где, когда, почем куплен и каковы его достоинства. Тем более подробно рассказывал он соседу о своей ванной комнате, какая плитка на полу уложена и какая по стенам, и о керамических плитнусах, о площадке для мыла, о закруглении под голову, о горячем кране, о переключении на душ, о приспособлении для полотенец. Все это были не такие уж мелочи, это составляло быт, бытие, а бытие определяет сознание, и надо, чтобы быт был приятный, хороший, тогда и сознание будет правильное. Как сказал Горький, в здоровом теле, здоровый дух.

И белобрысый, бесцветный Федерату, просто рот раззяв, слушал рассказы Русанова, никогда не переча и даже кивая головой, сколько разрешала ему обмотанная шея.

Хотя и немец, хотя и ссыльный, этот тихий человек был, можно сказать, вполне приличный человек, с ним можно было лежать рядом, можно было ладить. А формально ведь он был даже и коммунист. Со своей обычной прямоотой Павел Николаевич так ему и резанул:

— То, что вас сослали, Федерату, это — государственная необходимость. Вы — понимаете?

— Понимаю, понимаю, — кланялся Федерату негибавой шейей.

— Иначе ведь нельзя было поступить.

— Конечно, конечно.

— Все мероприятия надо правильно истолковывать, в том числе и ссылку. Все-таки вы цените: ведь вас, можно сказать, оставили в партии.

— Ну еще бы! Конечно...

— А партийных должностей у вас ведь и раньше не было?

— Нет, не было.

— Все время простым рабочим?

— Все время механиком.

— Я тоже был когда-то простым рабочим, но смотрите, как я выдвинулся!

Говорили подробно и о детях, и оказалось, что дочь Федерату Генриетта учится уже на втором курсе областного учительского института.

— Ну, подумайте! — воскликнул Павел Николаевич, просто растрогавшись. — Ведь это ценить надо: вы — ссыльный, а она институт кончает! Кто мог бы об этом мечтать в царской России! Никаких препятствий, никаких ограничений!

Первый раз тут возразил Фридрих Яковович:

— Только с этого года стало без ограничений. А то надо было разрешение комендатуры. Да и институты бумаги возвращали; не прошла, мол, по конкурсу. А там пойдешь, проверь.

— Но все-таки ваша — на втором курсе!

— Она, видите, в баскетбол хорошо играет. Ее за это взяли.

— За что бы там не взяли — надо быть справедливым, Федерату. А с этого года — вообще без ограничений.

В конце концов, Федерату был работник сельского хозяйства, и Русанову, работнику промышленности, естественно было взять над ним шефство.

— Теперь, после решений январского пленума, у вас дела гораздо лучше пойдут, — доброжелательно разъяснял ему Павел Николаевич.

— Конечно, конечно.

— Потому что создание инструкторских групп по зонам МТС — это решающее звено. Оно все вытянет.

— Да, да.

Но просто «да» мало сказать, надо понимать, и Павел Николаевич еще обстоятельно объяснял стоворчивому соседу, почему именно МТС после создания инструкторских групп превратятся в крепость. Обсуждал он с ним и призыв ЦК ВЛКСМ о выращивании кукурузы, и как в этом году молодежь возьмется с кукурузой, и это тоже решительно изменит всю картину сельского хозяйства. А из вчерашней газеты прочли они об изменении самой практики планирования сельского хозяйства — и теперь еще на много предстояло им разговоров!

В общем, Федерату оказался положительный сосед, и Павел Николаевич иногда просто читал ему газетку вслух — такое, до чего бы и сам без больничного досуга не добрался: заявление, почему невозможно заключить договор с Австрией без германского договора; речь Вакоши в Будапеште; и как разгорается борьба против позорных парижских соглашений; и как мало, и как либерально судят в Западной Германии тех,

кто был причастен к концентрационным лагерям. Иногда же он и угощал Федерату из избытка своих продуктов, отдавая ему часть больничной еды.

Но как бы тихо они не беседовали — стесняло почему-то, что их беседу очевидно слышал всегда Шулубин — этот сыч, неподвижно и молчаливо сидевший еще через кровать. С тех пор как этот человек появился в палате, никогда нельзя было забыть, что он — есть, что он смотрит своими отягощенными глазами и очевидно же все слышит, и когда моргает — может быть даже не одобряет. Его присутствие стало постоянным давлением для Павла Николаевича. Павел Николаевич пытался его разговорить, узнать — что там за душой, или хоть болен чем, — но выговаривал Шулубин несколько угрюмых слов и даже об опухоли своей рассказывать не считал нужным.

Он, если и сидел, то в каком-то напряженном положении, не отдыхая, как все сидят, а еще и сиденьем своим трудясь — и напряженное сиденье Шулубина тоже ощущалось как настороженность. Иногда утомлялся сидеть, вставал — но и ходить ему было больно, он ковылял и устанавливался стоять — по полчаса и по часу, неподвижно, и это тоже было необычно и угнетало. К тому ж стоять около своей кровати Шулубин не мог — он загораживал бы дверь, и в проходе не мог — перегораживал бы, и вот он излюбил и избрал простенок между окном Костоглотова и окном Зацырко. Здесь и высился он как враждебный часовой надо всем, что Павел Николаевич ел, делал и говорил. Едва прислонясь спиной к стене, тут он и выстаивал подолгу.

И сегодня после обхода он так и стал. Он стоял на простреле взглядов Олега и Вадима, выступая из стены, как рельеф.

Олег и Вадим по расположению своих коек часто встречались взглядом, но разговаривали друг с другом немного. Во-первых, тошно было обоим, и трудно лишние речи произносить. Во-вторых, Вадим давно всех оборвал заявлением:

— Товарищи, чтобы стакан воды нагреть говорением, надо тихо говорить две тысячи лет, а громко кричать — семьдесят пять лет. И то, если из стакана тепло не будет уходить. Вот и учитывайте, какая польза в болтовне.

А еще каждый из них досадное что-то сказал другому, может быть и не нарочно. Вадим Олегу сказал: «Надо было б о р о т ь с я! Не понимаю, почему вы там не боролись». (И это — правильно было. Но не смел еще Олег рта раскрыть и рассказать, что они-таки б о р о л и с ь). Олег же сказал

Вадиму: «Кому ж они золото берегут? Отец твой жизнь отдал за родину, почему тебе не дают?»

И это — тоже было правильно, Вадим сам все чаще думал и спрашивал так. Но услышать вопрос со стороны было обидно. Еще месяц назад он мог считать хлопоты мамы избыточными, а прибеганье к памяти отца неловким. Но сейчас с ногой в охватывающем капкане, он метался, ожидая маминой радостной телеграммы, он загадывал: только бы маме удалось! Получать спасение во имя заслуг отца не выглядело справедливым, да, — но зато трикратно справедливо было получить это спасение во имя собственного таланта, о котором, однако, не могли знать распределители золота. Носить в себе талант, еще не прогремевший, распирающий тебя — мука и долг, умирать же с ним — еще не вспыхнувшим, не разрядившимся — гораздо трагичней, чем простому обычному человеку, чем всяком другому человеку здесь, в этой палате.

В одиночестве Вадима пульсировало, трепыхалось не оттого, что не было близ него мамы или Гали, никто не навещал, а оттого, что не знали ни окружающие, ни лечащие, ни держащие в руках спасенье, насколько было ему важнее выжить, чем всем другим!

И так это колотилось в его голове, от надежды к отчаянию, что он стал плохо разуметь, что читает. Он прочитывал целую страницу и опоминался, что не понял, отяжелел, не может больше скакать по чужим мыслям, как козел по горам. И он замирал над книгой, со стороны будто читал, а сам не читал.

Нога была в капкане — и вся жизнь вместе с ногой.

Он так сидел, а над ним у простенка стоял Шулубин — со своей болью, со своим молчанием. И Костоглотов лежал молча, свесив голову с кровати вниз.

Так они, как три цапли из сказки, могли очень подолгу молчать.

И странно было, что именно Шулубин, самый упорный из них на молчание, вдруг спросил Вадима:

— А вы уверены, что вы себя не изморяете? Что вам это все нужно? Именно это?

Вадим поднял голову. Очень темными, почти черными глазами осмотрел старика, словно не веря, что это из него вышел длинный вопрос, а может быть и самому вопросу изумляясь.

Но ничто не показывало, чтоб дикий вопрос не был задан или задан не этим стариком. Оттянутые окрасненные глаза свой старик чуть косил на Вадима с любопытством.

Надо было отвечать. Ответить-то он знал как, но почему-

то в себе не чувствовал Вадим обычного пружинного импульса к этому ответу. Он ответил как бы старым заводом. Негромко, значительно:

— Это — интересно. Я ничего на свете интереснее не знаю.

Как там внутренне не мечась, как бы ногу не дергало, как бы не отбивали роковые восемь месяцев, — Вадим находил удовольствие держаться с выдержкой, будто горя никакого ни над кем не нависло, и они — в санатории тут, а не в раковом.

Шулубин опущенно смотрел в пол. Потом при неподвижном корпусе сделал странное движение головой по кругу, а шеей по спирали, как если бы хотел освободить голову — и не мог. И сказал:

— Это не аргумент — «интересно». Коммерция тоже интересна. Делать деньги, считать их, заводить имущество, строиться, обставляться удобствами — это тоже все интересно. При таком объяснении наука не возвышается над длинным рядом эгоистических и совершенно безнравственных занятий.

Странная точка зрения. Вадим пожал плечами:

— Но если действительно — интересно? Если ничего интересней нет?

— Здесь, в больнице? Или вообще?

— Вообще.

Шулубин расправил пальцы одной руки — и они сами по себе хрустнули.

— С такой установкой вы никогда не создадите ничего нравственного.

Это уж совсем чудаческое было возражение.

— А наука и не должна создавать нравственных ценностей, — объяснил Вадим. — Наука создает ценности материальные, за это ее и держат. А какие, кстати, вы называете нравственными?

Шулубин моргнул один раз продолжительно. И еще раз. Выговорил медленно.

— Направленные на взаимное высветление человеческих душ.

— Так наука и высветляет, — улынулся Вадим.

— Не души!.. — покачал пальцем Шулубин. — Если вы говорите «интересно». Вам никогда не приходилось на пять минут зайти в колхозный птичник?

— Нет.

— Вот представьте: длинный низкий сарай. Темный, потому что окна — как щели, и закрыты сетками, чтоб куры не вылетали. На одну птичницу — две тысячи пятьсот кур.

Пол земляной, а куры все время роются, и в воздухе пыль такая, что противогаз надо бы надеть. Еще — лежалую кильку она все время забирает в открытом котле — ну и вонь. Подсменщицы нет. Рабочий день летом — с трех утра и до сумерек. В тридцать лет она выглядит на пятьдесят. Как вы думаете — этой птичнице — и н т е р е с н о?

Вадим удивился, повел бровями:

— А почему я должен задаваться этим вопросом?

Шулубин выставил против Вадима палец:

— Вот также рассуждает и коммерсант.

— Она страдает от недоразвития как раз науки, — нашел сильный довод Вадим. — Разовьется наука — и все птичники будут хороши.

— А пока не разовьется — три штучки на сковородочку вы по утрам лупите, а? — Шулубин закрыл один глаз, и тем неприятнее смотрел оставшимся. — Пока доразовьется — вы не хотели бы пойти поработать в птичнике?

— Им не и н т е р е с н о! — из своего свешенного положения подал грубый голос Костоглотов.

Такую самоуверенность в суждениях о сельском хозяйстве Русанов заметил за Шулубиным еще и раньше: Павел Николаевич разъяснял что-то о зерновых, а Шулубин вмешался и поправил. Теперь Павел Николаевич и подколот Шулубина:

— Да вы не Тимирязевскую ли академию кончили?

Шулубин вздрогнул и повернул голову к Русанову.

— Да, Тимирязевскую, — удивленно подтвердил он.

И вдруг — напыжился, надулся, ссутулился — и теми же неловкими, взлетающими и подрезанными, птичьими движениями, поковылял, поковылял к своей койке.

— Так почему ж тогда библиотекарем работаете? — восторжествовал вдогонку Русанов.

Но тот уже замолчал — так замолчал. Как пень.

Не уважал Павел Николаевич таких людей, которые в жизни идут не вверх, а вниз.

С первого же появления Льва Леонидовича в клинике определил Костоглотов, что это — деловой мужик. От нечего делать Олег присматривался к нему во время обхода. Эта шапочка, всегда посаженная на голову, ясно, что не перед

зеркалом; эти слишком длинные руки, иногда кулаками всунутые в передние карманы глухого халата; эта боковая пожимка губ как бы с желанием посвистеть; эта при всей его силе и грозности шутовская манера разговаривать с больными — все очень располагало к нему Костоглотову, и захотелось потолковать с ним и вопросов несколько задать, на которые никто тут из врачей-баб ответить не мог или не хотел.

Но задавать их было некогда: во время обхода Лев Леонидович никого, кроме своих хирургических не замечал, миновал лучевых как пустые места; в коридорах же и на лестнице он слегка отвечал всем, кто с ним здоровался, но лицо его никогда не было свободно от озабоченности, и всегда он спешил.

А один раз о каком-то больном, который отширался, а потом признался, Лев Леонидович со смехом сказал: «Р а с к о л о л с я-таки! — и еще больше задел Олега. Потому что слово это в таком смысле знал и мог употребить не всякий человек.

За последнее время Костоглотов меньше бродил по клинике и еще меньше случалось пересечений с главным хирургом. Но, однажды, выдалось, что на его глазах Лев Леонидович отпер дверь комнатки рядом с операционной и вошел туда, значит, заведомо был там один. И Костоглотов, постучав в стеклянную замазанную дверь, открыл ее.

Лев Леонидович успел сесть боком, как не садятся надолго, но уже писал что-то.

— Да? — поднял он голову, как будто и не удивясь, но и так же все занято, обдумывая, что писать дальше.

Всегда всем некогда! Целые жизни надо решать в одну минуту

— Простите, Лев Леонидович, — Костоглотов старался как можно вежливей, как только у него выходило. — Я знаю, вам некогда. Но совершенно не у кого, кроме вас... Две минуты — вы разрешите?

Хирург кивнул. Он думал о своем, это видно.

— Вот мне дают курс гормонотерапии по поводу... инъекции синестрола внутримышечно, в дозе... (Прием Костоглотову и гордость его была в том, чтобы с врачами разговаривать на их языке и с их точностью — этим претендуя, что и с ним будут говорить откровенно). Так вот меня интересует: действие гормонотерапии — накопительно или нет?

На всю эту вводную он не потратил и двадцати секунд из выпрошенных ста двадцати. А дальше секунды уже не от него зависели, и он стоял молча, с руками за спиной, глядя

на сидящего сверху и потом как бы сгорбясь при своей долговязости.

Лев Леонидович наморщил лоб, переносясь.

— Да нет, считается, что не должно, — ответил он. Но это не прозвучало как окончательное.

— А я почему-то ощущаю, что — накопительно, — добивался Костоглотов, будто ему того хотелось или будто уже и Льву Леонидовичу не очень веря.

— Да нет, не должно, — все так же не категорично отвечал хирург, потому ли, что не его была область, или он так и не успел переключиться.

— Мне очень важно понять, — Костоглотов смотрел и говорил так, будто он угрожал, — после этого курса я совсем потеряю возможность... ну... относительно женщин?.. Или только на определенный период? Уйдут из моего тела эти введенные гормоны? Или навсегда останутся? Или, может быть, через какой-то срок эту гормонотерапию можно переиграть — встречными уколами?

— Нет, этого не советую. Нельзя... — Лев Леонидович смотрел на чернокосамого больного, но в основном видел его интересный шрам. Он представлял себе этот порез в свежем виде, как бы только что привезенный в хирургическое и что надо было бы делать. — А зачем это вам? Не понимаю.

— Как не понимаете? — Костоглотов не понимал, чего тут можно было не понимать. Или просто, верный своему врачебному сословию, этот дельный человек тоже лишь склоняет больного к смирению? — Не понимаете?

Это уже выходило и за две минуты и за отношения врача с больным, но Лев Леонидович именно с той незапасностью, которую сразу заметил в нем и оценил Костоглотов, внезапно сказал как старому другу, пониженным неслужебным голосом:

— Слушайте, да неужели в бабах весь цвет жизни?.. Ведь это все ужасно приедается... Только мешает выполнить что-нибудь серьезное.

Он сказал вполне искренне, даже утомленно. Он вспоминал, что в самую важную минуту жизни ему не хватило напряжения может быть именно из-за этой отвлекающей трагедии сил.

Но не мог его понять Костоглотов! Олег не мог сейчас вообразить такое чувство приевшимся! Его голова качалась пусто влево и вправо, и пусто смотрели глаза:

— А у меня ничего более с е р ь е з н о г о в жизни не осталось.

Но нет, не был запланирован этот разговор распорядком

онкологической клиники! — не полагалось консультационных размышлений над смыслом жизни да еще с врачом другого отделения! Заглянула и сразу вошла, не спрашивая, та маленькая, хрупкая хирургичка, на высоких каблучках, вся чуть покачивающаяся при ходьбе. Она не останавливаясь прошла к Льву Леонидовичу, очень близко, положила перед ним на стол лабораторный листок, сама прилегла к столу (Олегу издали показалось — вплотную ко Льву Леонидовичу) и никак его не называя, сказала:

— Слушайте, у Овдиенко десять тысяч лейкоцитов.

Рассеянный рыжий дымок ее отвевявшихся волос парил перед самым лицом Льва Леонидовича.

— Ну и что же? — пожал плечами Лев Леонидович, — это не говорит о хорошем лейкоцитозе. Просто у него воспалительный процесс, и надо будет подавить рентгенотерапией.

Тогда она заговорила еще и еще (и, право же, плечиком просто прилегая к руке Льва Леонидовича). Бумага, начатая Львом Леонидовичем, лежала втуне, перепрокинулось в пальцах бездействующее перо.

Очевидно, Олегу нужно было выйти. Так на самом интересном месте прервался разговор, давно затеянный.

Анжелина обернулась, удивляясь зачем еще Костоглов тут, но повыше ее головы посмотрел и Лев Леонидович — немножко с юмором. Что-то неназванное было в его лице, отчего Костоглов решил продолжить:

— А еще, Лев Леонидович, я хотел бы спросить: слышали вы о березовом грибе, о чаге?

— Да, — подтвердил тот довольно охотно.

— А как вы к нему относитесь?

— Трудно сказать. Допускаю, что некоторые местные виды опухолей чувствительны к нему. Желудочные, например. В Москве сейчас с ним с ума сходят. Говорят, в радиусе двести километров весь гриб выбрали, в лесу не найдешь.

Анжелина отклонилась от стола, взяла свою бумажку, и с выражением презрения, все так же независимо (и очень приятно), покачиваясь на ходу, ушла.

Ушла, но, увы, — и первый разговор их уже был расстроен: сколько то на вопрос было отвечено, а вернуться обсуждать, что же вносят женщины в жизнь — было неуместно.

Однако, этот легко-веселый взгляд, промелькнувший у Льва Леонидовича, эта очень неогражденная манера держаться, открывали Костоглову задать и третий приготовленный вопрос, тоже не совсем пустячный.

— Лев Леонидович! Вы простите мою нескромность, — косо тряхнул он головой. — Если я ошибаюсь — забудем.

Вы... — он тоже снизил голос и одним глазом прищурился — там где вечно пляшут и поют — вы... не были?

Лев Леонидович оживился:

— Был.

— Да что вы, — обрадовался Костоглотов. Вот когда они были в равных! — И по какой же статье?

— Я — не по статье. — Я — вольный был.

— Ах, во-ольный! — разочаровался Костоглотов.

Нет, равенства не выходило.

— А по чему вы угадали, — любопытствовал хирург.

— По одному словечку: «раскололся». Нет, кажется и «заначка» вы сказали.

Лев Николаевич смеялся:

— И не отучишься.

Равные — не равные, но уж было у них гораздо больше единства, чем только что.

— И долго там были? — бесцеремонно спрашивал Костоглотов. Он даже распрямылся, даже не выглядел дохло.

— Да годика три. После армии направили — и не вырвешься.

Он мог бы этого не добавлять. Но — добавил. Вот служба! — почетная, благородная, но почему порядочные люди считают нужным оправдываться в ней? Где-то все-таки сидит в человеке этот неискоренимый индикатор.

— И — кем же?

— Начальник санчасти.

Ого! То же, что мадам Дубинская — господин жизни и смерти. Но та бы не оправдывалась. А этот — ушел.

— Так вы до войны успели мединститут кончить, — цеплялся Костоглотов новыми вопросами, как репейник. Ему это и не нужно было, а просто пересыльная привычка: в несколько минут, от хлопка до хлопка дверной кормушки, обозреть целую жизнь прохожего человека. — Какого ж вы года?

— Нет, я после четвертого курса зауряд врачом пошел, добровольно, — поднялся Лев Леонидович от своей недописанной бумаги, заинтересованно подошел к Олегу и пальцами стал прокатывать, прощупывать его шрам. — А это — о т у д а?

— Ум-гм.

— Хорошо заделали... Хорошо. Заключение врач делал?

— Ум-гм.

— Фамилию не помните? Не Коряков?

— Не знаю, на пересылке было. А Коряков — по какой

статье сидел? — уже цеплялся Олег и к Корякову, спеша и его выяснить.

— Он сидел за то, что отец его был — полковник царской армии.

Но тут вошла сестра с японскими глазами и белой короной — звать Льва Леонидовича в перевязочную.

Костоглотов ссутулился опять и побрел по коридору.

Еще одна биография — пунктиром. Даже две. А остальное можно, довообразить. Как по-разному т у д а приходят... Нет, не это, вот что: лежишь в палате, идешь по коридору, гуляешь по садику — рядом с тобой, навстречу тебе человек как человек, и ни ему, и ни тебе не приходит в голову остановиться, сказать: «А ну-ка, лацкан отверни!» Так и есть, знак тайного ордена! — был, касался, содействовал, знает! И — сколько же их?! Но — немота одолевает всякого! И — ни о чем не догадаешься снаружи. Вот запрятано!

Дикость какая! — дожить до того, чтоб женщины казались помехой! Неужели человек может так насытиться? Представить этого нельзя!

А в общем — радоваться, выходит, нечему. Не отрицал Лев Леонидович так настойчиво, чтоб ему можно было поверить.

Как бы заменили Костоглотову в ы ш к у на пожизненное. Оставался он жить, только неизвестно — зачем.

И понять надо было, что потеряно — все.

Все...

Забыв, куда шел, он запнулся в нижнем коридоре и стоял бездельно.

А из какой-то двери — за три двери от него — показался беленький халатик, очень переуженный в поясе, такой сразу знакомый.

Вега!

Шла сюда! Недалеко ей было по прямой, ну, обогнуть две койки у стены. Но Олег не шел навстречу — и была секунда, секунда, еще секунда — подумать.

С того обхода, три дня — суха, деловита, ни взгляда дружбы.

И сперва он думал — черт с ней, и он будет так же. Выяснить, да кланяться...

Но — жалко! Обидеть ее жалко. Да и себя жалко. Ну, вот сейчас — пройдут как чужие, да?

Он виноват? Это она виновата: обманула с уколами, зла ему желала. Это о н мог ее не простить!

Не глядя (но видя!) она поравнялась, и Олег, против намерения, сказал ей голосом как бы тихой просьбы:

— Вера Корнильевна...

(Нелепый тон, но самому приятный).

Вот теперь она подняла холодные глаза, увидела его.

(Нет, в самом деле, за что он только ей прощает?..)

— ...Вера Корнильевна... А вы не хотите... еще мне крови перелить?

(Как будто унижается, а все равно приятно).

— Вы же отбивались? — все с той же непрощающей строгостью смотрела она, но какая-то неуверенность продрогнула в ее глазах. Милых кофейных глазах.

(Ладно, она по-своему и не виновата. И нельзя же в одной клинике так отчужденно существовать).

— А мне т о г д а понравилось. Я еще хочу.

Он улыбался. Шрам его при этом становился извилистым, но короче.

(Сейчас — простить ее, а уж потом когда-нибудь объяснить).

Что-то все-таки шевельнулось в ее глазах, раскаяние какое-то.

— Завтра может быть привезут.

Она еще опиралась на какой-то невидимый столик, но он не то плавился, не то подгибался под ее рукой.

— Только, что б вы! обязательно — вы! — сердечно требовал Олег. — Иначе я не дамся.

От всего этого уклоняясь, стараясь не видеть дальше, она мотнула головой:

— Это, как выйдет.

И прошла.

Милая, все равно милая.

Только — чего он тут добивался? Обреченный на п о ж и з н е н о е — чего он тут добивался?

Олег bestолково стоял в проходе, вспоминая — куда ж это он шел?

Да, вот куда! — он шел Демку проведать.

Лежал Демка в маленькой комнатушке на двоих, но второй выписался, а новый ждался завтра из операционной. Пока что был Демка один.

Уже неделя прошла — и первым пламенем отпылала отрезанная нога. Операция уходила в прошлое, но нога по-прежнему жила и мучилась вся тут, как неотрезанная, и даже отдельно слушал Демка каждый палец отнятой ноги.

Обрадовался Демка Олегу — как брату старшему. Это и были его родственники — друзья по прежней палате. Еще от каких-то женщин лежало на тумбочке, под салфеткой. А извне никто не мог ни прийти к нему, ни принести.

Демка лежал на спине, покоя ногу — то, что осталось от ноги, короче бедра, и всю огромную бинтовую навязь. Но голова и руки его двигались свободно.

— Ну, здоров же, Олег! — принял он Олегову руку. — Ну, садись, рассказывай. Как там, в палате?

Оставленная верхняя палата была для него привычным миром. Здесь внизу и сестры были другие, и санитарки не такие, и порядок не такой. И все время перебранивались, кто что обязан и не обязан делать.

— Да что палата, — смотрел Олег на обстрогавшееся, пожалычевшее Демкино лицо. Как желобочками выхватили ему в щеках, обкатали и обострили надбровья, нос, подбородок. — Все так же.

— Кадр там?

— Кадр там.

— А Вадим?

— С Вадимом неважно. Золота не достали. Метастазов боятся.

Демка повел лбом о Вадиме как о младшем:

— Бедняга.

— Так что, Демка, перекрестись, что твою-то во-время взяли.

— Еще и у меня метастазы могут быть.

— Ну, вряд ли.

Кто что мог видеть, даже и врачи: проплыли или не проплыли эти губительные одинокие клеточки, логди кессантные во мраке? И причаляли где?

— Рентген дают?

— Катают на тележке.

— Тебе сейчас, друг, дорога ясная — выздоравливать, осваивать костыль.

— Да нет, два придется. Два.

Уж все обдумал сирота. И раньше он хмурился взросло, а теперь то еще повзрослел.

— Где же делать будут? Тут же?

— В ортопедическом.

— Бесплатно хоть?

— Да заявление написал. Платить мне — чем же?

Вдохнули — с легкой склонностью ко вздоху у тех, кто год за годом ничего веселого не видит.

— Как же тебе на будущий год десятый кончать?

— Лопнуть — надо кончить.

— А на что жить? К станку ведь не станешь.

— Инвалидность обещают. Не знаю — второй группы, не знаю — третьей.

— Третья — это какая? — не ведал Костоглотов всех этих инвалидностей, как и всех гражданских законов.

— Самая такая. На хлеб будет, на сахар нет.

Мужчина, все обдумал Демка. Топила, топила ему опухоль жизнь, а он выруливал на свое.

— И в университет?

— Надо постараться.

— На литературный?

— Ага.

— Слушай, Демка, я тебе серьезно: сгубишься. Займись приемниками — и покойно жить, и подшибать будешь.

— Ну их на фик, приемники, — шморгнул Демка. — Я правду люблю.

— Так вот приемники будешь чинить — и правду будешь говорить, дура!

Не сошлись. Толковали и еще о том, о сем. Говорили и об Олеговых делах. Это тоже была в Демке совсем не детская черта: интересоваться другими. Молодость занята бывает только собой. И Олег ему, как взрослому, рассказал о своем положении:

— Ох, хрено-ово... — промычал Демка.

— Пожалуй, ты еще б со мной и не сменялся, а?

— Ч-ч-черт его знает...

В общем так выходило, что Демке здесь с рентгеном да костылями околачиваться еще месяца полтора, выпишут к маю.

— И куда ж первое пойдешь?

— В зоопарк сразу! — Демка повеселел. Об этом зоопарке он уже столько раз Олегу говорил. Они стаивали рядом на крылечке диспансера, и Демка с уверенностью показывал, где там, за рекой, за густыми деревьями, скрывался зоопарк. Сколько лет Демка про разных зверей читал и по радио слушал, а никогда своими глазами не видел ни лисы, ни медведя, ни уж, тем более, тигра и слона. В таких местах он жил, где ни зверинца не было, ни цирка, ни леса. И была его заветная мечта — ходить и знакомиться со зверьми; и с возрастом она не ослаблялась. Чего-то особенного он от этой встречи ждал. В день, когда с грызущей ногой он приехал сюда ложиться в больницу, он первым делом в зоопарк и пошел, но там оказался выходной. — Ты вот что, Олег! Ведь тебя, наверно, выпишут скоро?

Сгорбясь сидел Олег.

— Да, наверно. Кровь не держит. Тошнота заела.

— Ну, ты неужели в зоопарк не пойдешь?! — Демка допустить этого не мог, Демка стал бы хуже об Олеге думать.

— Да, пожалуй, пойду.

— Нет, ты обязательно пойдешь! Я прошу тебя. Пойди! И знаешь что — напиши мне после этого открытку, а? Ну, что тебе стоит?.. А мне какая тут радость будет! Напишешь, кто сейчас из зверей есть, кто самый интересный, а? Я за месяц раньше знать буду! Пойдешь? Напишешь? Там и крокодилы, говорят, и львы...

Обещал Олег.

Он ушел (самому лечь), а Демка один в маленькой комнате с закрытой дверью еще долго не брал в руки книжки, смотрел в потолок, в окно смотрел и думал. В окно он ничего увидеть не мог — оно было в лучевой решетке и выходило в заулочек, к стене медгородка. И даже прямой солнечной полосы не было сейчас на стене, но и не пасмурно, а среднее пеленистое какое-то освещение — от слегка затянутого, но не закрытого солнца. Был, наверно, тот вялый весенний денек, не жаркий, не яркий, когда деятельно, но беспшумно совершается работа весны.

Лежал Демка неподвижно и думал о приятном: как отрезанная нога постепенно перестанет чувствоваться: как он научится ходить на костылях быстро и ловко; каков выдастся этот день перед первым маем — совсем летний, когда Демка с утра и до вечернего поезда будет ходить по зоопарку; как у него теперь будет много времени, и он быстро и хорошо все пройдет за среднюю школу и еще много прочтет нужных упущенных книг. Уже окончательно не будет этих потерянных вечеров, когда ребята идут на танцплощадку, а ты мучаешься, не пойти ли тебе, да не умеешь. Уже не будет. Зажигать лампу и заниматься.

Тут в дверь стукнули.

— Войдите! — сказал Демка. (Это слово «войдите» он произносил с удовольствием. Никогда он еще так не жил, чтобы к нему надо было стучать перешагнув входом).

Дверь распахнулась рывком и выпустила Асю.

Ася вошла, как ворвалась, как спешила очень, как от погони, — но притянув за собой дверь, так и осталась у дверного косяка, с одной рукой на ручке, другой держа отвороты халата.

Совсем это была уже не та Ася, которая забежала «на три дня на исследование» и которую в тех же днях ждали на дорожках зимнего стадиона. Она повяла и поблекла, и даже волосы желтые, которые не могли же так быстро измениться, сейчас побалтывались жалкенько.

А халат был тот же — гадкий, без пуговиц, сменивший

много плеч, и неизвестно, в каких котлах вареный. Сейчас он подобней приходится ей, чем раньше.

Чуть подрагивая бровями, Ася смотрела на Демку; сюда ли забежала? не бежать ли дальше?

Но такая побитая, уже не старше Демки на класс, на три дальних поездки и на знание всей жизни, Ася была Демке совсем своя. Он обрадовался:

— Ася! Садись!.. Что ты?...

За это время они болтали не раз, и ногу обсуждали (Ася твердо стояла — не давать), и после операции она к нему два раза приходила, приносила яблоки и печенье. Как ни просты они были в самый первый вечер, но еще проще и проще стали с тех пор. И не сразу, но рассказала и она ему откровенно, что за болезнь у нее: правая грудь болит, сгустки в ней какие-то нашли, лечат под рентгеном и еще дают таблетки под язык.

— Садись, Ася! Садись!

Она покинула ручку двери и протягивая за собой руку по двери и по стене, как бы тем держась или ощупывая, перестушила к табуретке у Демкиного изголовья.

Села.

Села — и смотрела не Демке в глаза, а мимо, в одеяло. Она не поворачивалась прямо на него, а он тоже ж не мог извернуться.

— Ну, что с тобой? — Доставалось ему быть старшим! На высоких подушках он откинул к ней голову — одну голову только, а сам на спине.

У нее губа задрожала, и веки захлопали.

— А-асенька! — успел сказать Демка (пожалев ее очень, а так бы и не осмелел назвать Асенькой), и она тут же тыкнулась в его подушку, голова к голове, и снопик волос защекотал ему ухо.

— Ну, Асенька! просил он и стал шарить по одеялу, искать ее руку, но не находил, не видел ее рук.

А она редела в подушку.

— Ну, что же? Скажи — что?

Да он и догадывался почти.

— От-ре-жут!..

И плакала, плакала. А потом застанывала:

— О-о-ой!

Такого протяжного звука горя, как это страшное «о-о-ой!», не помнил Демка!

— Да может еще нет? — уговаривал он. — Да может обойдется?

Но чувствовал, что этого «о-о-ой» так не уговоришь.

И плакала, плакала ему в подушку. Мокрое он уже тут рядом ощущал.

Демка нашел ее руку и стал гладить:

— Асенька! Может, обойдется?

— Не-е-ет... На пятницу готовят...

И тянула стон, как у Демки душу вынимая.

Не видел Демка ее заревавшего лица, а только волосы прядками лезли прямо в глаза, мягкие, такие щекотливые.

Искал Демка как сказать, да не складывалось. И просто руку крепко-крепко ей сжимал, чтобы перестала. Жалко стало ее хуже, чем себя.

— За-чем-жить? — выплакала она. — За-чем?!..

На этот вопрос хоть что-то и вывел Демка из своего смутного опыта, но назвать бы точно не мог. Да если б и мог — по стону Аси ни он, ни другой кто, ни другое что не могли ее убедить. Из ее опыта только и выходило: незачем теперь жить!

— Ком-му-я-теперь-буду-н-нуж-на?.. — спотыкалась она безутешно. — Ком-му?...

И опять утыкалась в подушку, и Демке щеку уже тоже подмочила.

— Ну как, — уговаривал он, все сжимая и сжимая ее руку. — Ты ж знаешь, как женятся... взглядами сходятся... характерами...

— Ка-кой там дурак любит за характер?! — взвилась она рассерженно, как лошадь взвивается с передних, и руку вырвала, и тут только увидел Демка ее мокрое, и красное, и пятнистое, и жалкое, и сердитое лицо. — Кому нужна одногрудая?! Кому? В семнадцать лет! — кричала она на него, во всем виноватого.

И утешить-то он не умел впопад.

— Да как же я н а п л я ж пойду?! — вскричала она, проколотая новой мыслью. — На пляж!! Купаться как?!... — И ее штопором скрутило, сковало, и куда-то от Демки прочь и вниз, к полу, свалился корпус ее и голова, обхваченная руками.

Невыносимо представились Асе купальники всех мод — с бретельками и без бретелек, соединенные и из двух предметов, всех мод сегодняшних и всех грядущих купальники оранжевые и голубые, малиновые и цвета морской волны, однотонные и полосчатые, и с круговыми каемочками, неиспробованные, не осмотренные перед зеркалом — все, которые никогда не будут ею куплены и никогда надеты! И именно эта сторона ее существования — невозможность когда-нибудь еще появиться на пляже — представилась ей сейчас

самой режущей, самой постыдной! Именно из-за этого теряло всякий смысл — жить...

А Демка с высоких подушек бормотал что-то неумелое, неуместное:

— Знаешь, если тебя никто не возьмет... Ну, я понимаю, конечно, какой я теперь... А то я на тебе всегда женюсь охотно, это ты знай...

— Слушай, Демка, — укушенная новой мыслью, поднялась и развернулась к нему Ася и смотрела открытыми глазами, без слез. — А ведь слушай: ты — последний! Ты — последний, кто еще может увидеть ее и поцеловать! Уж никто, никогда больше не поцелует! Демка! Ну, хоть ты поцелуй! Хоть ты!

Она раздернула халат, да он сам уже не держался, и, снова уже кажется плача и стенья, оттянула свободный ворот сорочки — и оттуда выдвинулась ее обреченная правенькая.

Это заблестало как солнце, вступившее прямо сюда! Засияла, запылала вся палата! А румянец соска — крупней, чем Демка держал в представлении! — выплыло перед ним, и глаза не выдерживали этой розовости!

К его голове наклонилась Ася совсем близко и держала так.

— Целуй! Целуй! — ждала, требовала она.

И вдыхая запазушное подаренное ему тепло, он стал тыкаться как поросенок, благодарно и восхищенно, поспешными губами во всю эту изгибистую, налитую над ним поверхность, хранящую свою постоянную форму, плавней и красивей которой ни нарисовать, ни вылепить.

— Ты — будешь помнить?.. Ты будешь помнить, что она — была? И — какая была?..

Асины слезы падали ему на стриженую голову.

Она не убирала, не отводила, и он снова возвращался к румянцу и мягко делал губами так, как ее будущий ребенок с этой грудью уже не сделает никогда. Никто не входил, и он обцеловывал это нависшее над ним чудо.

Сегодня — чудо, а завтра — в корзину.

Как только Юра вернулся из командировки, он приехал к отцу, часа на два сразу. Перед тем по телефону заказал Павел Николаевич, чтобы Юра привез теплые ботинки, паль-

то и шляпу: надоела мерзкая палата с дубинами на кроватях, с дурацкими разговорами, да и вестибюль опротивел не меньше, и хотя очень был Павел Николаевич слаб, его тянуло на свежий воздух.

Так и сделали. Опухоль легко обернулась шарфиком, она хотя и чувствовалась при движениях головы, но гораздо меньше теперь. На аллеях медгородка никто не мог Русанова встретить, а если б и встретил, то в смешанной одежде не признал, и Павел Николаевич гулял без стеснения. Юра повел отца под руку. Павел Николаевич сильно на него опирался. Очень было приятно переставлять и переставлять ноги по чистому сухому асфальту, а главное, в этом уже чувствовался скорый возврат — сперва для отдыха в любимую квартиру, потом и к деятельной любимой работе. Павел Николаевич изнурился не только от лечения, но еще и от этого тупого большого бездействия, от того, что он перестал быть нужным и важным сочленением в большом и важном механизме, и вот ощущал как бы потерю всякой силы и всякого значения. Хотелось уже скорей вернуться туда, где его любят и где без него не могут обойтись.

За эту неделю и холод налетал, и дожди, — но с сегодняшнего дня опять повернуло к теплу. В тени зданий еще было прохладно и земля сыра, а на солнышке так грело, что даже демисезонное пальто Павел Николаевич еле на себе нес и стал по одной пуговице расстегивать.

Был особенно удобный случай поговорить рассудительно с сыном: сегодняшняя суббота считалась последним днем его командировки, а он не спешил на работу. Тем более не торопился Павел Николаевич. А положение с сыном было запущенное, едва ил не опасное, это чувствовало отцовское сердце. И сейчас, по приезде, совесть у сына была нечиста, он все что-то глаза отводил, не смотрел на отца прямо. Этой манеры с детства не было у Юры, он рос прямодушный мальчик, она появилась в студенческие годы и именно в обращении с отцом. Эта уклончивость или застенчивость раздражала Павла Николаевича, и иногда он просто покрикивал: «А ну-ка, голову выше!».

Однако, сегодня он решил удержаться от резкости, разговаривать только чутко. Он попросил Юру рассказать подробно, чем же Юра проявил себя и прославил как представитель республиканского прокурорского надзора в тех дальних городах, в командировке.

Начал Юра рассказывать, но без большой охоты. Один случай, другой, а все-таки отводил глаза.

— Ты говори, говори!

Они сели посидеть на просохшей скамеечке, на солнце. Юра был в кожаной куртке и в теплой шерстяной кепке (фетровой шляпы нельзя было его заставить полюбить), вид у него был как будто и серьезный, и мужественный, но внутренняя слабинка губила все.

— Ну, еще был случай с шофером... — сказал Юра, глядя в землю.

— Что же с шофером?

— Ехал шофер зимой и вез потребсоюзские продукты. Семьдесят километров ехал, а посередине застал буран. Все занесло, колеса не берут, мороз, и нет никого. И крутил буран больше суток. И вот он в кабине не выдержал, бросил машину как была с продуктами и пошел искать ночлега. Утром стих буран, он вернулся с трактором, а ящика с макаронами не хватает одного.

— А экспедитор?

— Шофер за экспедитора, так получилось, один ехал.

— Расхлябанность какая!

— Конечно.

— Вот он и поживился.

— Папа, слишком дорого бы ему этот ящик! — Юра поднял все-таки глаза. Нехорошее, упрямое выражение появилось на его лице. — За этот ящик он схлопотал себе пять лет. И были там ящики с водкой — так целы.

— Нельзя быть, Юра, таким доверчивым и таким наивным. А кто еще мог взять в пургу?

— Ну, на лошади, может, ехали, кто знает! К утру следов нет.

— Пусть и не сам — так с поста ушел! Как это — бросить государственное имущество и уйти?

Дело было несомненное, приговор — кристальный, еще и мало дали! — и Павла Николаевича возбудило то, что сыну это не ясно и надо ему втолковывать! Вообще вялый, а когда глупость какую-нибудь доказывает — упрямый становится, как осел.

— Папа, ну ты представь себе: буран, минус десять градусов, как ночевать ему в кабине? Ведь это — смерть!

— Что значит, смерть? Что значит — смерть?! А — всякий часовой?

— Часового через два часа подменят.

— А если не подменят? А — на фронте? В любую погоду люди стоят и умирают, но с поста не уходят? — Павел Николаевич даже пальцем показал в ту сторону, где стоят и не уходят. — Да ты подумай только, что ты говоришь! Если этого одного простить — все шофера начнут уходить с постов

— да все государство растащат, неужели ты не понимаешь?

Нет, Юра не понимал! — по его туповатому молчанию видно было, что не понимал.

— Ну, хорошо, ну, это твое мальчишеское мнение, это юность твоя, ты мог кому-нибудь и сказать, но ты, надеюсь, документально этого не выразил?

Пошевелил сын потресканными губами, пошевелил.

— Я... протест написал. Остановил действие приговора.

— Остановил?! И будут пересматривать? Ай-я-яй! Ай-я-яй! — поллица закрыл, заслонил Павел Николаевич. Так он и опасался! Юрка и дело губил, и себя губил, и на отца клал тень. Мутило Павла Николаевича от этой бессильной отцовской досады, когда ни ума своего, ни расторопности своей не можешь вложить в губошлепа.

Он встал, и Юра за ним, и они пошли, и Юра опять старался поддерживать отца под локоть, но обеих рук не хватало Павлу Николаевичу, чтобы втолкнуть в сына понимание сделанной ошибки.

Сперва разъяснил он ему о законе, о законности, о неизбежности основ, которых нельзя распатывать легкомысленно, тем более, если рассчитываешь работать в прокурорском надзоре. Тут же оговаривался он, что всякая истина конкретна и потому закон-законом, но надо понимать еще и конкретный момент, обстановку — то, что требуется в данную минуту. И еще особенно старался он ему открыть, что существует органическая взаимосвязь всех инстанций и всех ветвей государственного аппарата; и что поэтому даже в глухой район приезжая с республиканскими полномочиями, он не должен заноситься, напротив, должен чутко считаться с местными условиями и не идти без надобности вразрез местным практическим работникам, которые знают эти условия и требования лучше его; и если дали шоферу пять лет, то значит, в данном районе это требуется.

Так они входили в тень корпусов и выходили из них, или аллеяками прямыми и кривыми, и вдоль реки. Юра слушал, но единственно что сказал:

— Ты не устал, папа? Может, опять посидим?

Хоть кол ему на голове теши! Ничего, кроме десяти градусов мороза в кабине он из этого дела не усвоил.

Павел Николаевич, конечно устал, и перегрелся в пальто, и они снова сели на скамеечку в густых кустах — но густы были только прутьики, а все сквозилось, потому что первые только ушки листиков выворачивались из почек. Солнце грело хорошо. Павел Николаевич был без очков всю прогулку, лицо отдыхало, глаза отдыхали. Он сожмурился и сидел так молча

на солнце. Внизу, под обрывом, шумела река по-горному. Павел Николаевич слушал ее, грелся и думал: как же приятно все-таки возвращаться к жизни, твердо зная, что вот зазевает — и ты будешь жить, и следующую весну тоже.

Но надо было составить полную картину с Юрой. Взять себя в руки, не сердиться и тем его не отпугнуть. И отдохнув, попросил отец продолжать, еще случаи рассказывать.

Юра при всей своей заторможенности прекрасно понимал, за что отец будет его хвалить, а за что ругать. И следующий случай рассказал такой, который Павел Николаевич не мог не одобрить. Но глаза он все отводил, не научился лгать, и отец почувал, что еще какой-то случай тут кроется.

— Ты — все говори, ты говори — все! Ведь я кроме разумного совета ничего тебе дать не могу. Ведь я тебе — добра желаю. Я хочу, чтоб ты не ошибался.

Вздыхнул Юра и рассказал такую историю. По ходу своей ревизии он должен был много пересматривать старых судебных книг и документов, даже пятилетней давности. И стал замечать, что во многих местах, где должны были быть наклеены гербовые марки — по рублю и по три — их не было. То-есть, следы остались, что они там были, но — сняты. Куда же они могли деться? Стал Юра думать, стал копаться — и на новых документах стал находить наклеенные марки, как будто уже подпорченные, чуть надорванные. И тогда он догадался, что кто-то из двух девушек — Катя или Нина, имеющих доступ ко всем этим архивам, клеит старые вместо новых, а с клиентов берет деньги.

— Ну, скажи ты! — только крикнул и руками всплеснул Павел Николаевич. — Сколько же лазеек! Сколько же лазеек обворовывать государство! И ведь не придумал бы сразу!

Но Юра провел это расследование в тишине, никому ни слова. Он решил довести до конца — кто ж из двух расхититель, и придумал для видимости поухаживать сперва за Катей, потом за Ниной. В кино сводил каждую и к каждой пошел домой: у кого найдет богатую обстановку, ковры — та и воровка.

— Хорошо придумано! — ладошами прихлопнул Павел Николаевич, заулыбался. — Умно! И как будто развлечение, и дело делается. Молодец!

Но обнаружил Юра, что и та, и другая, одна с родителями, другая с сестренкой, жили скудно: не только ковров, но многого не было у них, без чего по Юриным понятиям, просто удивительно, как они и жили. И он размышлял, и пошел рассказал все их судьбе, но сразу же и просил: не да-

вать этому законного хода, а просто внушить девушкам. Судья очень благодарил, что Юра предпочел закрыто решать: огласка и его подрывала. Вызвали они вдвоем одну девушку, потом другую и распекали часов по несколько. Призналась и та и другая. В общем, рубликов на сто в месяц каждая выколачивала.

— Надо было оформить, ах, надо было оформить! — так жалел Павел Николаевич, как будто сам проплянул. Хотя судью подводить не стоило, это верно, тут Юра поступил тактично. — По крайней мере компенсировать они должны были все.

Юра вовсе лениво к концу говорил. Он сам не мог понять смысла этого события. Когда он пошел к судье и предложил не открывать дела, он знал и чувствовал, что поступает великодушно, он перед собой гордился своим решением. Он вообразил ту радость, которую охватит каждую из девушек после трудного признания, когда они будут ждать кары и вдруг будут прощены. И наперебой с судьей он стыдил их, выговаривал им, какой это позор, какая низость, что они делали. И сам, проникаясь своим строгим голосом, приводил им из своей двадцатитрехлетней жизни примеры известных ему честных людей, которые имеют все условия воровать, но не воруют. Юра хлестал девушек жестокими словами, зная, как потом эти слова будут окрашены прощением. Но вот их простили, девушки ушли — однако, во все последующие дни ничуть не сияли навстречу Юре, не только не подошли поблагодарить его за благородный поступок, но старались даже не замечать. Это поразило его, он просто не мог этого уразуметь! Сказать что они не понимали какой участи избегли — так работая при суде, знали они все хорошо. Он не выдержал, подошел к Нине, сам спросил, рада ли она? И ответила ему Нина: «Чего ж радоваться? Работу надо менять. На зарплату я не проживу». А Кате, которая собой была поприятнее, он предложил еще раз сходить в кино. Ответила Катя: «Нет, я по-честному гуляю, я так не умею!».

Вот с этой загадкой он и вернулся из командировки, да и сейчас думал над ней. Неблагодарность девушек глубоко его задела. Он знал, что жизнь сложнее, чем понимает прямолинейный прямодушный отец — но вот она оказывалась и еще гораздо сложнее. Что ж должен был Юра? не пцадить их? Или ничего не говорить, не замечать этих переклеенных марок? Но для чего тогда вся его работа?

Отец не спрашивал больше — и Юра охотно помалкивал.

Отец же по этой еще одной историйке, пошедшей прахом из неумелых рук, окончательно вывел, что если в детстве

нет в человеке хребта, то и не будет. На родного сына сердиться было трудно, а жаль его очень, досадно.

Кажется, они пересидели. Павел Николаевич в ногах стал зябнуть да и очень уж тянуло лечь. Он дал себя поцеловать, отпустил Юру и пошел в палату.

А в палате велся оживленный общий разговор. Главный оратор был, правда, без голоса: тот самый представительный философ, доцент, когда-то нахаживавший к ним в палату, а с тех пор прошедший операцию горла и на-днях переведенный из хирургической в лучевую второго этажа. В горле, в самом заметном месте, впереди, у него была вставлена какая-то металлическая штучка вроде зажима пионерского галстука. Доцент этот был воспитанный и располагающий человек, и Павел Николаевич всячески старался его не обидеть, не показать, как передергивает его эта пряжка в горле. Для того чтобы говорить полуслышным голосом, философ всякий раз теперь накладывал на нее палец. Но говорить он любил, привык, и теперь, после операции, пользовался возвращенной возможностью.

Он стоял сейчас посреди палаты и глухо, но громче шепота, рассказывал:

— И чего только у него не натащено! В одной комнате самым серьезным образом он расставил гарнитур из блекло-золоченого дерева, а спинки, сиденья, подлокотники обтянуты нежно-сиреневым плюшем-бархатом, четыре кресла таких и диванчик. Откуда он их стащил, из Лувра, что ли? — от души смеялся философ. — И в этой же комнате еще другой гарнитур: жесткий, с высокими черными спинками. Пианино — из Вены. Один стол — с костяными инкрустациями времен, ну прямо, гетевского Веймара, но все он его скатертью покрывает — синей с золотом и до полу. А на другом столе стоит у него бронзовая статуя: изогнувшаяся голая девица с кольцом светильников в руке, только светильники не горят. По комнате статуя велика, чуть не до потолка, ей бы, может, надо в парке стоять... Часы у него есть: висячие, лежачие, стоячие, от тумбочки под потолок — и большей частью не ходят. Какая-то огромная музейная ваза — и в ней один всего апельсин. В двух только комнатах я был — насчитал пять зеркал — то в резной дубовой раме, то с мраморным подзеркальником. И еще картины: виды моря, виды гор, виды итальянских улиц... — смеялся философ.

— Это ж откуда все? — удивлялся Сибгатов, как всегда двумя руками подпирая поясницу.

— Частью трофейное, а частью — из комиссионного. Он там познакомился с продавщицей — пришел звать ее мебель

оценить, да на ней и женился. И вот они уже потом вдвоем задерживали, что ценное приходило.

— А сам он где работает? — добивался Ахмаджан.

— Сам — нигде. Сам с сорока двух лет на пенсии. А лоб — дрова бы колоть! С ним еще падчерица живет, внучка, и он так с ними разговаривает: я — приказываю! здесь — я хозяин! Этот дом — я строил! Руку за полу шинели всунет и ходит как фельдмаршал. Зовут его по паспорту Емельян, но почему-то требует, чтобы домашние звали его только: С а ш и к. И сказать, что доволен жизнью? Нет, не доволен: грызет его, что в Кисловодске у его бывшего командующего армией дом — из десяти комнат, истопник свой, и две автомашины, а Сашик этого не достиг!

Смеялись.

Хотя Павел Николаевич нашел этот рассказ и не смешным и не уместным.

И Шулубин не смеялся. Он так на всех смотрел, будто они ему спать не давали.

— Смешно-то смешно, — отозвался Костоглотов из своего нижнего положения, — а как...

— А вот когда? — на-днях фельетон был в областной газете, — вспомнили в палате, — построил особняк на казенные средства, но разоблачен. Так что? Признал свою о ш и б к у, сдал детскому учреждению — и вот ему поставили на в и д. Даже из партии не исключили.

— Да! — вспомнил и Сибгатов. — Почему на в и д? Почему его не судили?

Философ не читал этого фельетона и не взялся объяснять, почему не судили, но Русанов объяснил:

— Товарищи! Если он раскаялся, осознал и еще передал детскому саду — зачем же обязательно применять крайнюю меру? Гуманность — это основная черта нашего...

— ...Смешно-то смешно, вытягивал свое Костоглотов, — а как вот вы это все философски объясните — и Сашика, и особняк?

Доцент развел одной рукой (другую он держал на горле).

— К сожалению, — остатки буржуазного сознания.

— Почему это буржуазного? — ворчал Костоглотов.

— Ну, а какого же? — насторожился и Вадим. Сегодня у него как раз было настроение читать, так затевали склоку на всю палату.

Костоглотов приподнялся из своего опущенного положения, подтянулся на подушку, чтобы лучше видеть и Вадима и всех.

— А такого, что это — жадность человеческая, а не

буржуазное сознание. И до буржуазии жадные были, и после буржуазии будут!

Русанов еще не лег. Через свою кровать, сверху вниз, наставительно сказал Костоглотову:

— В таких случаях если покопаться — всегда выяснится буржуазное соципроисхождение.

Костоглотов мотнул головой, как отплюнулся:

— Да ерунда это все — соципроисхождение!

— То-есть — как это ерунда?! — за бок схватился Павел Николаевич, кольнуло. Такой наглой выходки он даже от Оглоеда не ожидал.

— То-есть — как ерунда? — в недоумении поднял черные брови Вадим.

— Да вот так, — ворчал Костоглотов, и еще подтянулся, уже полусидел. — Натолкали вам в голову.

— Что значит, натолкали? Вы за свои слова — отвечаете? — пронзительно вскричал Русанов, откуда и силы взялись.

— Кому это — в а м? — Вадим выровнял спину, но так же сидел с книжкой на ноге.

— Вам.

— Мы — не роботы! — строго покачал головой Вадим. — Мы ничего на веру не принимаем.

— Кто это — в ы? — оскалился Костоглотов. Косма у него висела.

— Мы! Наше поколение!

— А чего ж соципроисхождение приняли? Ведь это не марксизм — а расизм!

— То-есть ка-ак?! — почти взревел Русанов от боли.

— Вот та-ак! — отревел ему и Костоглотов.

— Слушайте! Слушайте, — даже пошатнулся Русанов и движениями рук всю комнату, всю палату сзывал сюда. — Я прошу свидетелей! Я прошу свидетелей! Это — идеологическая диверсия!!

Тут Костоглотов живо спустил ноги с кровати, а двумя локтями с покачиванием показал Русанову один из самых неприличных жестов, еще и выругался самым площадным словом, написанным на всех заборах:

— ..вам, а не диалогическая диверсия! Привыкли... их у мать, как человек с ними чуть не согласен — так идеологическая диверсия!

Обожженный, оскорбленный этой бандитской наглостью, омерзительным жестом и руганью, Русанов задыхался и поправлял соскочившие очки. А Костоглотов орал на всю палату и даже в коридор (так что и Зоя в дверь заглянула):

— Что вы как знахарь кудахчете — «соцпроисхождение, соцпроисхождение»? В двадцатые годы знаете как говорили? — п о к а ж и т е в а ш и м о з о л и ! А отчего ваши ручки такие белые да пухлые? Вот это был марксизм!

— Я работал, я работал! — восклицал Русанов, но плохо видел обидчика, потому что не мог наладить очков.

— Ве-ерю! — отвратительно мычал Костоглотов. — Ве-ерю! Вы даже на одном субботнике сами бревно поднимали, только посредине становились! А я может быть сын купеческий, третьей гильдии, а всю жизнь вкладываю, и вот мои мозоли, смотрите! — так я что — буржуй? Что у меня от папашки — эритроциты другие? лейкоциты? Вот я и говорю, что ваш взгляд не классовый, а расовый. Вы — расист!

— Кто?? Кто я??!

— Вы — ра-с-ист! — печатал ему Костоглотов, вскочив на ноги во всю длину.

Тонко вскрикивал несправедливо оскорбленный Русанов, быстро возмущенно говорил что-то Вадим, но он не понимался, его не слышали, и философ укоризненно качал посадистой большой головой с холеным зачесом — но где уж было услышать его больной голос!

Однако, философ подобрался к Костоглотову вплотную и, пока тот воздух набирал, успел ему нашептать:

— А вы знаете такое выражение — «потомственный пролетарий»?

— Да хоть десять дедов у него будь пролетариев, но сам не работаешь — не пролетарий! — разорялся Костоглотов. — Жадюга он, а не пролетарий! Он только и трясется — пенсию персональную получить, слышал я! — и увидя, что Русанов рот раскрывает, лепил ему и лепил: — Вы и любите-то не родину, а пенсию! Да пораньше, лет в сорок пять! А я вот ранен под Воронежом, и шиш имею да сапоги залатанные — а родину люблю! Мне вот по бюллетеню за эти два месяца ничего не заплатят, а я все равно родину люблю!

И размахивая длинными руками, едва не достигал Русанова. Он внезапно раздражился и вошел в клюкотанье этого спора, как десятки раз входил в клюкотанье тюремных споров, откуда и подскакивали к нему сейчас когда-то слышанные фразы и аргументы, может быть от людей уже не живых. У него вгорячах даже сдвинулось и представление, и эта тесная замкнутая комната, набитая койками и людьми, была ему как камера, и потому он с легкостью матюгался и готов был тут же и драться, если понадобится.

И почувствовав это — что Костоглотов сейчас и по лицу смажет, дорого не возьмет, под его яростью и напором Русанов сник и смолк. Но глаза у него были разозленные догряча.

— А мне не нужна пенсия! — свободно докрикивал Костоглотов. — У меня вот нет ни хрена — и я горжусь этим! И не стремлюсь! И не хочу иметь большой зарплаты — я ее п р е з и р а ю!

— Тш-ш! Тш-ш! — останавливал его философ. — Социализм предусматривает дифференцированную систему оплаты.

— Идите вы со своей дифференцированной! — бушевал Костоглотов, хоть кол ему на голове теши. — Что ж, по пути к коммунизму привилегии одних перед другими должны увеличиваться, да? Значит, чтоб стать равными, надо сперва стать неравными, да? Диалектика, да?

Он кричал, но от крика ему больно отзывалось повыше желудка, и это схватывало голос.

Вадим несколько раз пробовал вмешаться, но так быстро откуда-то вытягивал и швырял Костоглотов все новые и новые доводы как городошные палки, что и Вадим не успевал уворачиваться.

— Олег! — пытался он его остановить. — Олег! Легче всего критиковать еще только становящееся общество. Но надо помнить, что ему пока только сорок лет, и того нет.

— Так и мне не больше! — с быстротой откликнулся Костоглотов. — И всегда будет меньше! Что ж мне поэтому — всю жизнь молчать?

Останавливая его рукой, прося пощады для своего большого горла, философ вышептывал вразумительные фразы о разном вкладе в общественный продукт того, кто моет полы в клинике, и того, кто руководит здравоохранением.

И на это б еще Костоглотов что-нибудь бы рывкнул беспутное, но вдруг из своего дальнего дверного угла к ним полез Шулубин, о котором все и забыли. С неловкостью переставляя ноги, он брел к ним в своем располосенном неряшливом виде, с расхлестанным халатом, как поднятый внезапно среди ночи. Все увидели — и удивились. А он встал перед философом, поднял палец и в тишине спросил:

— А вы — «Апрельские тезисы» знаете?

— Ну кто ж их не знает? — улыбнулся философ.

— И можете по пунктикам перечислить? — гортанно допрашивал Шулубин.

— Не обязательно перечислять, уважаемый. Апрельские тезисы ставили вопрос о путях перехода от буржуазно-

демократической революции к социалистической. И в этом смысле...

— Так вот, там такой был пункт, — шевельнул Шулубин косматыми бровями над кругами больных, утомленных табачно-красных глаз: «Плата всем чиновникам не выше средней платы хорошего рабочего!» С этим начинали резолюцию.

— Серьезно? — удивился доцент. — Не помню.

— Приедете домой — проверьте. Так что облздрав не должен получать больше вот этой Нэльки.

И перед лицом философа провел запретительно пальцем. И захромал к себе в угол.

— Ха-га! Ха-га! — зардовался Костоглотов неожиданной поддержкой. Вот этого аргументика ему здорово не хватало, выручил старик! — Слопали?

Философ поправил свою пряжку на горле, не находясь.

— Ну, какая же Нэлька хорошая, слушайте.

— Ну, тогда санитарка в очках. А получают они все равно одинаково.

Русанов вообще сел и отвернулся: Костоглотова он больше видеть не мог, его трясло от омерзения (но из-за длинных его кулаков не решался он действовать административно), а отвратительного этого сыча из угла недаром Павел Николаевич сразу не полюбил, ничего умней сказать не мог — приравнять облздрав и поломойку! О чем тут и разговаривать!

Все сразу рассыпались — и не видел Костоглотов, с кем дальше ему спорить. Да он уже и выкрикнул, что хотел. Да и криком очень намял он себе внутри, больно стало разговаривать.

Тут Вадим, так и не вставший с кровати, поманил его к себе, посадил и стал столковывать без шума:

— У вас неправильная мерка, Олег. Вот в чем ваша ошибка: вы сравниваете с будущим идеалом, а вы сравните с теми язвами и гноем, которые представляла вся предшествующая история России до семнадцатого года.

— Я не жил, не знаю, — зевнул Костоглотов.

— И жить не надо, легко узнать. Почитайте Салтыкова-Щедрина, других пособий и не потребуется. Или сравните с показательными западными демократиями, где вы никогда не добьетесь ни прав своих, ни справедливости, ни просто человеческой жизни.

Костоглотов еще раз зевнул утомленно. Как вспыхнуло в нем раздражение спорить, так и угасло тоже. Движениями легких очень он намял себе желудок или опухоль, нельзя ему, значит, говорить громко.

— Вы в армии не служили, Вадим?

— Нет, а что?

— Как это получилось?

— У нас в институте была высшая вневойсковая подготовка.

— А-а-а... А я семь лет служил. Сержантом. Называлась тогда наша армия Рабоче-Крестьянской. Командир отделения две десятки получал, а командир взвода — шестьсот, понятно? А на фронте офицеры получали допцаек — печенье, масло, консервы, и прятались от нас, когда ели, понятно? Потому что — стыдно. И блиндажи мы им строили прежде, чем себе. Я сержантом был, повторяю.

Вадим нахмурился. Этих фактов он не знал, но и они, конечно, должны были иметь рациональное объяснение.

— А — к чему вы это мне говорите?

— А к тому, что где тут буржуазное сознание? У к о г о?

Да и без того Олег уже наговорил сегодня много лишнего, но было какое-то горько-облегченное состояние, что терять-то ему осталось мало.

Опять он зевнул вслух и пошел на свою койку. И еще зевнул. И еще зевнул.

От усталости ли? От болезни его потянуло на зевоту? Или от того, что все эти их споры, переспоры, термины, ожесточение и злые глаза внезапно представились ему чавканьем болотным, ни в какое сравнение не идущим с их болезнью, с их предстоянием перед смертью?

А хотелось бы коснуться чего-нибудь совсем другого. Чистого. Незыблемого.

Но где оно такое есть — не знал Олег.

А сегодня утром получил он письмо от Кадминых. Доктор Николай Иванович отвечал ему, между прочим, откуда это «мягкое слово кость ломит». Какая-то была в России еще в XV веке «Толковая палея» — вроде рукописной книги, что ли. И там — сказано о Китоврасе. (Николай Иванович всегда всю старину знал). Жил Китоврас в пустыне дальней, а ходить мог только по прямой. Царь Соломон вызвал Китовраса к себе и обманом взял его на цепь, и повели его камни тесать. Но шел Китоврас только по своей прямой, и когда его по Иерусалиму вели, то перед ним дома ломали — очищали путь. И попался по дороге домик вдовы. Пустилась вдова плакать, умолять Китовраса не ломать ее домика убогого — и что же, умолила. Стал Китоврас изгибаться, тискаться — и ребро себе сломал. А дом целый оставил. И промолвил тогда: «мягкое слово кость ломит, а жесткое гнев вздвигает».

И вот размышлял теперь Олег: этот Китоврас и эти писцы

пятнадцатого века — насколько ж они люди были, а мы перед ними — волки.

Кто это теперь даст ребро себе сломать в ответ на мягкое слово?

Но еще не с этого начиналось письмо Кадминых (Олег напарил его на тумбочке). Они писали:

«Дорогой Олег!

Очень большое горе у нас.

Убит Жук.

Поселковый совет нанял двух охотников ходить и стрелять собак. Они по улицам шли и стреляли. Тобика мы спрятали, а Жук вырвался и лаял на них. Всегда ведь боялся даже фотообъектива, такое у него было предчувствие! Застрелили его в глаз, он упал на краю арыка, свесясь туда головой. Когда мы подошли к нему — он еще дергался, такое большое тело — и дергался, страшно смотреть.

И вы знаете, пусто стало в доме. И — чувство вины перед Жуком: что мы не удержали его, не спрятали.

Похоронили мы его в углу сада, близ беседки...»

Олег лежал и представлял себе Жука. Но не убитого, не с кровоточащим глазом, не со свешанной в арык головой — а те две лапы и огромную добрую ласковую голову с медвежьими ушами, которыми он заслонял окошко Олеговой халупы, когда приходил и звал открыть.

Вот и собаку убили.

Зачем?

30.

Доктор Орещенков за семьдесят пять лет жизни и полвека лечения больных не заработал каменных палат, но деревянный одноэтажный домик с садиком все же купил, еще в двадцатых годах. И с тех пор тут и жил. Домик стоял на одной из тихих улиц, не только с широким бульваром, но с просторными тротуарами, отводящими дома от улицы на добрых пятнадцать метров. На тротуарах еще в прошлом веке принялись толстоствольные деревья, чьи верхи в летнее время сплошь сдвигались в зеленую крышу, а каждого низ был обкопан, очищен и огражден чугунной решеточкой. В зной люди шли тут, не чувствуя жестокости солнца, и еще рядом с тротуаром в канавке, обложенной плитками, бежала прохладная арычная вода. Эта луговая улица окружала доброт-

нейшую красивейшую часть города и сама была из лучших ее украшений. (Впрочем, ворчали в горсовете, что уж очень растянуты эти одноэтажные, не притиснутые друг к другу дома, что дороги становятся коммуникации, и пора тут сносить и строить пятиэтажные).

Автобус не подходил близко к дому Орещенкова, и Людмила Афанасьевна шла пешком. Был очень теплый, сухой вечер, еще не смеркалось, еще видно было, как в первом нежном роспуске — одни больше, другие меньше — деревья готовятся к ночи, а свечевидные тополя еще нисколько не зелены. Но Донцова смотрела под ноги, не вверх. Не весела и условна была вся эта весна, и никак не известно, что будет с Людмилой Афанасьевной, пока все эти деревья распускают листья, выжелтят и сбросят. Да и прежде она всегда так была занята, что не выпадало ей остановиться, голову запрокинуть и прищуриться.

В домике Орещенкова рядом были калитка и парадная дверь с медной ручкой, с пирамидальными тяжелыми филенками, по-старинному. В таких домах такие немолодые двери чаще всего забиты, и идти надо через калитку. Но здесь не заросли травой и мхом две каменные ступеньки к двери, и по-прежнему была начищена медная дощечка с каллиграфической косою гравировкой: «Доктор Орещенков Д. Т.». И чашечка электрического звонка была не застаревшая.

В нее Людмила Афанасьевна и нажала. Послышались шаги, дверь открыл сам Орещенков в поношенном, а когда-то хорошем, коричневом костюме и с расстегнутым воротом рубашки.

— А-а, Людочка, — лишь слегка поднимал он углы губ, но это уже означало у него самую широкую улыбку. — Жду, жду, входите, очень рад. Рад, хотя и не рад. По хорошему поводу вы бы старика не навестили.

Она звонила ему, что просит разрешения прийти. Она могла бы и всю просьбу высказать по телефону, но это было бы невежливо. Сейчас она виновато убеждала его, что навестила б и без худого случая, а он не давал ей снять пальто самой.

— Позвольте, позвольте, я еще не развалина!

Он повесил ее пальто на колок длинной полированной темной вешалки, готовой ко многим посетителям или гостям, и повел по гладко-окрашенным деревянным полам. Они обминули коридором лучшую светлую комнату дома, где стоял рояль с поднятым пушпитром, веселым от распахнутых нот, и где жила старшая внучка Орещенкова; перешли столовую, окна которой, заслоненные сухими сейчас плетями винограда,

выходили во двор, и где стояла большая дорогая радиола; и так добрались до кабинета, вкруговую обнесенного книжными полками, со старинным тяжеловесным письменным столом, старым диваном и удобными креслами.

— Слушайте, Дормидонт Тихонович, — сощуренными глазами провела Донцова по стенам. — Да ведь у вас книг, по-моему, еще больше стало.

— Да нет, — слегка покачал Орещенков большой литой головой, чуть-чуть покачал, как все жесты его были в самых малых пределах. — Подкупил я, правда, десятка два недавно, а знаете у кого? — И смотрел чуть весело, но опять-таки чуть-чуть, надо было к нему привыкнуть, чтоб замечать эти малые оттенки. — У Азначеева. Он на пенсию перешел, ему видите ли шестьдесят лет. И в этот день выяснилось, что никакой он не рентгенолог, что никакой медицины он знать больше ни одного дня не хочет, что он — исконный пчеловод и теперь будет только пчелами заниматься. Как это может быть, а? Если ты пчеловод — что ж ты лучшие годы терял? Так, ну куда вы сядете, Людочка? — спрашивал он седоватую бабушку Донцову вполне как девочку. И сам же решил за нее: — Вот в этом кресле вам будет очень удобно.

— Да я и не собираюсь рассиживаться, Дормидонт Тихонович. Я на минутку, — еще возражала Донцова, но глубоко опустилась в это мягкое кресло, и сразу почувствовала успокоение, и даже почти уверенность, что только лучшее из решений будет принято сейчас здесь. Бремя постоянной ответственности, бремя главенства и бремя выбора, который она должна была сделать со своей жизнью — все снялось с ее плеч еще у вешалки в коридоре и вот окончательно свалилось, когда она погрузилась в это кресло. И с отдохновением она мягко прошлась глазами по кабинету, впрочем, знакомому ей, и с умилением увидела старый мраморный умывальник в углу — не раковину новую, а умывальник с подставным ведром, но все закрыто и очень чисто. И посмотрела прямо на Орещенкова, радуясь, что он жив, что он есть и всю ее тревогу переймет на себя. Он еще стоял. Он ровно стоял, склонности горбиться не было у него нисколько, все та же была бодрая, твердая постановка его плеч, посадка головы. Он всегда выглядел так уверенно, будто леча других, сам абсолютно не может заболеть. Со середины его подбородка стекала небольшая обстриженная серебряная струйка бороды. Он еще не был лыс, не до конца даже сед, и полугладким пробором, кажется мало изменившимся за годы, лежали его волосы. А лицо у него было из тех, черты которых не движутся ни от каких чувств — все остаются ровны, покойны, на предназначенном

месте. И только брови, вскинутые сводчатыми углами, ничтожными малыми перемещениями принимали на себя весь охват переживаемого.

— А уж меня, Людочка, извините — я за стол. Это пусть не будет официально. Просто я к месту присиделся.

Еще бы не присидеться! Когда-то часто, почти каждый день, потом реже, но и теперь еще все-таки в этот кабинет приходили к нему больные и иногда сидели здесь подолгу за мучительным разговором, от которого зависело все будущее. За извивами этого разговора почему-то на всю жизнь могли врезаться в память зеленое сукно стола, окруженное темно-коричневым дубовым обводом, или старинный разрезной деревянный нож, никелированная медицинская палочка (смотреть горло), перекидной календарь, чернильница под медной крышечкой или крепчайший темно-бордовый остывший чай в стакане. Доктор сидел за своим столом, а то поднимался и прохаживался к умывальнику или книжной полке, когда надо было дать больному отдохнуть от его взгляда и подумать. Вообще же равно-внимательные глаза доктора Орещенкова никогда без надобности не отводились в сторону, в окно, не потуплялись к столу и бумагам, они не теряли ни минуты, предоставленной смотреть на пациента или собеседника. Глаза эти были главным прибором, через который доктор Орещенков воспринимал больных и учеников и передавал им свое решение и волю.

Между многих преследований, испытанных Дормидонтом Тихоновичем за свою жизнь: за революционерство в 902 году (он и посидел тогда недельку в тюрьме с другими студентами); потом за то, что отец его покойный был священник; потом за то, что сам он в первой империалистической войне в царской армии был бригадным врачом, да не просто бригадным врачом, но, как установлено свидетелями, в момент панического отступления полка вскочил на лошадь и завернул полк, и увлек его снова в эту империалистическую свалку, против немецких рабочих; — меж всех этих преследований самое настойчивое и стискивающее было за то, что Орещенков упорно держался своего права вести частную врачебную практику, хотя она все жесточе повсеместно запрещалась как источник частного предпринимательства и обогащения, как нетрудовая деятельность, на каждом шагу повседневно рождающая буржуазию. И на некоторые годы он должен был снимать врачебную табличку и с порога отказывать всем больным, как бы ни просили они и как бы ни было им плохо — потому что по соседству выставлялись добровольные и платные шпионы финотдела, да и сами больные не могли удер-

жаться от рассказов — и это грозило доктору потерей всякой работы, а то и жилья.

А между тем именно правом частной практики он в своей деятельности дорожил более всего. Без этой гравированной дощечки на двери он жил как будто нелегально, как будто под чужим именем. Он принципиально не защищал ни кандидатской, ни докторской диссертации, говоря, что диссертации ничуть не свидетельствуют об успехах ежедневного лечения, что больному даже стеснительно, если его врач — профессор, а за время, потраченное на диссертацию, лучше подхватить лишнее направление. Только в здешнем институте за тридцать лет Орещенко переработал и в терапевтической клинике, и в детской, и в хирургической, и в инфекционной, и в урологической и даже в глазной, и лишь после этого всего стал рентгенологом и онкологом. Пожимкой губ, всег лишь миллиметровой, выражал он свое мнение о «заслуженных деятелях науки». Он так высказывался, что если человека при жизни называли деятелем, да еще заслуженным — то это его конец; слава, которая уже мешает лечить, как слишком пышная одежда мешает двигаться, «заслуженный деятель» идет со свитой как некий новый Христос с апостолами — и он лишен права ошибиться, лишен права чего-нибудь не знать, даже лишен права задуматься; он может быть пресыщен, вял, или отстал и скрывает это — а все ждут от него непременно чудес.

Так вот ничего этого не хотел себе Орещенко, а только медной дощечки на двери и звонка, доступного прохожему.

И все-таки сложилось так счастливо, что однажды Орещенко спас уже совсем умиравшего сына одного крупного здешнего руководителя. А еще раз — самого руководителя, не этого, но тоже крупного. И еще несколько раз — членов разных важных семей. И все это было здесь, в одном городе, он никуда не уезжал. И тем создавалась слава доктора Орещенко во влиятельных кругах и некий ореол защиты вокруг него. Может быть, в чисто-русском городе не облегчило бы ему и это, но в более покладистом, восточном, умели как-то не заметить, что он снова повесил табличку и снова кого-то принимал. После войны он уже не состоял на постоянной работе нигде, но консультировал в нескольких клиниках, ходил на заседания научных обществ. Так с шестидесяти пяти лет он стал безвозбранно вести ту жизнь, которую считал для врача правильной.

— Так вот, Дормидонт Тихонович, пришла я вас просить: не сможете ли вы приехать посмотреть у меня желудочно-

кишечный?.. В какой день вам будет удобно — в тот мы и назначим...

Вид ее был сер, голос ослаблен. Орещенков смотрел на нее ровным неотвратимым взглядом, и угловатые брови его не выразили ни миллиметра удивления.

— Вне сомнения, Людмила Афанасьевна. Выберем и день. Но вы мне, все-таки, назовите ваши симптомы. И что вы думаете сами.

— Симптомы я все вам сейчас назову, — но что я сама думаю? Вы знаете, я стараюсь не думать! То-есть я думаю об этом слишком много, стала ночами не спать, а легче бы всего мне самой не знать! Серьезно. Вы примите решение — нужно будет лечь — я лягу, а знать — не хочу. Если ложиться на операцию, то легче бы мне диагноза не знать, чтобы не соображать во время операции — а что они там сейчас могут делать? а что там сейчас вытягивают? Вы понимаете?

От большого ли кресла или от ослабевших плечей, она не выглядела сейчас крупной, большой женщиной. Она уменьшилась.

— Понимать, может быть и понимаю, Людочка, но не разделяю. А почему же вы так сразу об операции?

— Ну, надо быть ко всему...

— А почему вы тогда не пришли раньше? Уж вы-то знаете.

— Да, вот так, Дормидонт Тихонович, — вздохнула Донцова. — Жизнь такая. крутишься, крутишься. Конечно, надо было раньше... Да не так-то у меня и запущено, не думайте! — сама себе живо возразила. К ней возвращалась ее убыстренная деловая манера: — Но почему такая несправедливость: почему меня, онколога, должна настичь именно онкологическая болезнь, когда я их все знаю, когда представляю все сопутствия, последствия, осложнения?..

— Никакой тут несправедливости нет, — басоватостью и отмеренностью очень убеждал его голос. — Напротив, это в высшей степени справедливо. Это самое верное испытание для врача: заболеть по своей специальности.

(В чем же тут справедливо? В чем тут верно? Он рассуждает так потому, что не заболел сам).

— Вы Паню Федорову помните, сестру? Она говорила: «Ой, что это я неласковая с больными стала? Пора мне опять в больнице полежать...».

— Никогда не думала, что буду так переживать! — хрустнула Донцова пальцами в пальцах.

И все-таки в эти минуты она меньше изводилась, чем все последнее время.

— Так что ж вы у себя наблюдаете?

Она стала рассказывать — сперва в общих чертах, однако, он потребовал дотонка.

— Но, Дормидонт Тихонович, я совсем не собиралась отнимать у вас субботний вечер! Если вы все равно придете смотреть меня на рентгене...

— А вы не знаете какой я еретик? что я и до рентгена двадцать лет работал? И какие диагнозы ставили, Милочка! Это как с фотоэкспонометром или часами: когда они есть, совсем разучаешься определять на глаз выдержки, по чувству — время. А когда их нет — быстро подтягиваешься.

И Донцова стала рассказывать, дифференцируя и группируя симптомы и заставляя себя не упускать тех подробностей, которые могли бы потянуть на тяжелый диагноз (хотя невольно хотелось что-то упустить и услышать: «Так ерунда у вас, Людочка, ерунда».) Назвала она и состав крови, плохенький состав, и РОЭ повышенный. Он выслушал ее сплошно, стал задавать вопросы еще. Иногда кивал, как о вполне понятном, легком, встречающемся у каждого, а «ерунда» все-таки не сказал. У Донцовой мелькнуло, что по сути он уже, наверно, вынес и диагноз, и даже можно сейчас прямо спросить, не дожидаясь дня рентгена. Но так сразу, так прямо сейчас спросить и, верно ли, неверно, предположительно что-то узнать — вот прямо сейчас узнать, — было очень страшно. Надо было непременно оттянуть, смягчить несколькими днями ожидания!

Как дружески они разговаривали, встречаясь на научных заседаниях! Но вот она пришла и призналась в болезни — как в преступлении и сразу лопнула струна равенства между ними! Нет, не равенства — равенства с учителем никогда и не было, но резче того: своим признанием она исключала себя из благородного сословия врачей и переводила в податное зависимое сословие больных. Правда, Орещенков не пригласил сейчас же прощупать больное место. Он все так же разговаривал с ней как с гостьей. Он, кажется, предлагал ей состоять в обоих сословиях сразу — но она была смята, и не могла уже держаться по-прежнему.

— Собственно, и Верочка Гангарт сейчас такой диагноз, что я могла бы ей вполне довериться, — все в той же быстрой манере, выработанной плотным рабочим днем, метала фразу Донцова, — но поскольку есть вы, Дормидонт Тихонович, я решила...

— Хорош бы я был, если бы от своих учеников отка-

зывался, — все смотрел и смотрел на нее Орещенков. Сейчас Донцова плохо видела, но уже два года, как в его неуклонном взгляде замечала она как бы постоянный присвет отреченности. Это появилось после смерти его жены. — Ну, а если придется все-таки... побюллетенить? Значит, за себя Верочку?

(«Побюллетенить!» Он нашел мягчайшее из слов! Но значит, значит у нее не ничего?..)

— Да. Она созрела, она вполне может вести отделение. Покивал Орещенков, взялся за струйчатую бородку:

— Созрела-то созрела, а замуж?..

Донцова покрутила головой.

— И моя внучка так. — Орещенков без надобности перешел на шепот. — Никого себе не найдет. Непростое дело.

Углы его бровей оттенком перемещения выразили тревогу.

Он сам настоял не откладывать нисколько, а посмотреть Донцову в понедельник.

(Он так торопится?..)

Наступила, может быть, та пауза, от которой удобно встать и откланяться с благодарностями. И Донцова поднялась. Но Орещенков заупрямился, что она должна выпить стакан чая.

— Да я совсем не хочу! — уверяла Людмила Афанасьевна.

— Зато я хочу! Мне как раз время пить чай.

Он-таки тянул, тянул ее из разряда преступно-больных в разряд безнадежно-здоровых!

— А молодые ваши дома?

«Молодым» было по столько ж лет, как и Людмиле Афанасьевне.

— Нет. И внучки нет. Я один.

(А все-таки деловой прием они провели в кабинете! — потому что только здесь он мог иметь истинное значение и внушение).

— Так это вы еще и хозяйничать для меня будете? Ни за что!

— Да не буду я хозяйничать. Термос — полный. А разные там кексы и блюдечки из буфета — ладно, достанете вы.

И они перешли в столовую и стали пить чай на уголке квадратного дубового стола, на котором вполне мог бы станцевать и слон, и который бы ни в какую дверь отсюда, наверно, не выпятился. Настенные часы, тоже не молоденькие, показывали еще не позднее время.

Дормидонт Тихонович стал говорить о внучке, о своей лю-

бимице. Она недавно кончила консерваторию, играет прелестно, и умница, что не часто среди музыкантов, и привлекательна. Он и карточку ее новую показал, но говорил не многословно, не претендуя занять вначухой все внимание Людмилы Афанасьевны. Да в с е внимание она и ничему уже не могла бы отдать, потому что оно разбилось на куски и не могло быть собрано в целое. Как странно было сидеть и беспечно пить чай с человеком, который уже представляет размеры твоей опасности, который, может быть, уже и дальнейший ход болезни предвидит, а вот же — ни слова, только пододвигает печенье.

Был повод высказаться и ей, но не о разведенной дочери, о которой слишком наболело, а о сыне. Сын достиг восьмого класса и тут осознал и заявил, что учиться дальше он не видит никакого смысла! И ни отец, ни мать не могли найти против него аргументов, все аргументы отскакивали от его лба. — Нужно быть культурным человеком! — «А зачем?» — Культура — это самое главное! — «Самое главное — это весело жить». — Но без образования у тебя не будет хорошей специальности! — «И не надо». — Значит, будешь простым рабочим? — «Нет, ишачить не буду». — На что ж ты будешь жить? — «Всегда найду. Надо уметь». Он связался с подозрительной компанией, и Людмила Афанасьевна тревожилась.

Такое выражение было у Орещенкова, будто и не слыша этой истории он уже давно ее слышал.

— А ведь между другими наставниками молодежи мы потеряли еще одного, очень важного, — сказал он, — семейного доктора! Девочкам в четырнадцать лет и мальчикам в шестнадцать надо обязательно разговаривать с доктором. И не за партами по сорок человек сразу (да и так-то не разговаривают), и не в школьном медкабинете, пропуская каждого в три минуты. Надо, чтобы это был тот самый дядя доктор, которому они с детства показывали горлышко и который сиживал у них за чаем. Если теперь этот беспристрастный дядя доктор, добрый и строгий, которого не возьмешь ни капризом, ни просьбой, как родителей, вдруг запрется с девочкой или с мальчиком в кабинете? Да заведет исподволь какой-то странный разговор, который вести и стыдно и интересно очень, и где без всяких вопросов младшего доктор откуда-то догадывается и на все самое главное и трудное ответит сам? Да может и на второй такой разговор позовет? Так ведь он не только предупредит их от ошибок, от ложных порывов, от порчи свего тела, но и вся картина мира для них омоется и уляжется. Как только они будут поняты в их главной тревоге, в их главном поиске — мы не станем уже казаться, что они

так безнадежно непонятны и в остальных отношениях. С этого мига им внятнее станут и всякие иные доводы родителей.

Сама же Людмила Афанасьевна и подвела его к этому рассуждению рассказом о сыне. И так как с сыном оставалось не решено, то ей бы в самую пору сейчас слушать и думать, как это все отнести к сыну. Орещенков говорил полнозвучным приятным голосом, еще никак не давшим трещин старости, он смотрел ясными глазами, живым смыслом их, еще доубеждавая, но Донцова заметила, что от минуты к минуте ее покидает благодатное успокоение, освежившее ее в кресле кабинета, а какая-то грязца, что-то тоскливое поднимается, поднимается в груди, ощущение чего-то потерянного, или даже теряемого вот сейчас, пока она слушает рассудительную речь, а надо бы встать, уйти, поспешить — хотя неизвестно, куда же, зачем и с чем.

— Это верно, — согласилась Донцова. — Половое воспитание у нас заброшено.

— У нас считается, что дети, как звери, должны все узнать сами. Вот они и узнают... как звери. У нас считается ненужным предупреждать извращения, потому что заранее задано, что в здоровом обществе все дети должны быть нормальными. И им приходится узнавать друг от друга, глухо, искаженно. Во всех областях жизни мы считаем нужным своих детей направлять, но только не в этой: эта — «стыдная». И иногда встречаешься со взрослой женщиной, все чувства которой никогда не были испытаны — только потому, что он не знал, как надо обращаться с ней в первую ночь.

— М-да, — сказала Донцова.

— Да! — утвердил Орещенков. Он заметил эту перебегающую смутность, нетерпеливую растерянность на лице Донцовой, но для того, чтобы в понедельник зайти за рентгеновский экран, ей, не желающей знать, совсем не надо было в этот субботний вечер еще и еще перебирать симптомы, ей и надо было отвлечься в беседе, а о чем же лучше беседовать врачам? — Вообще семейный доктор — это самая уютная фигура, без которой в развитом обществе не может существовать семья. Как мать знает вкусы всех в семье, так он знает нужды каждого. К семейному доктору не стыдно обратиться с любой пустячной жалобой, с которой не пойдешь в амбулаторию, где надо взять номерок и ждать, и девять больных в час. А из пустячных жалоб все запущенные болезни и вырастают. А сколько взрослых людей — вот сейчас, в эту минуту мечутся как немые, не представляя, где бы найти такого врача и такую душу, кому высказать самое сокровенное и даже позорные опасения? Ведь этот поиск врача, о котором и с

друзьями-то не всегда посоветуешься, и в газетах не объявишь, сам по себе уже так интимен, как и поиск мужа-жены! Но даже жену хорошую легче найти, чем в наше время такого врача, готового заниматься тобой сколько угодно и понимающего тебя всецело, тебя — всего.

Людмила Афанасьевна наморщила лоб. Абстракции. А ей в голову лезли симптомы, симптомы, и напирали выстроиться в худший из рядов.

— Ну да, но сколько же это надо семейных докторов? Это уже не может вписаться в нашу систему всеобщего бесплатного народного лечения.

— Всеобщего, народного — может. Бесплатного — нет, — уверенно рокотал Орещенко свое и свое.

— А бесплатность — наше главное достижение.

— Да уж такое ли достижение? Что значит «бесплатность»? Врачи же не бесплатно работают. Только платит им не пациент, а народный бюджет — но он из тех же пациентов. Это лечение не бесплатное, а — обезличенное. А если бы деньги остались у пациента, он бы эту десятку еще в руках покрутил. А действительно нужно — и пять раз бы сходил.

— Ну и это б ему было непосильно!

— Да провались они и гардины новые, и полуботинки вторые, если здоровья нет! А лучше как сейчас? — не знаешь, сколько б заплатил за душевный прием, а идти не к нему: везде график, норма выработки, следующий! Хоть и в платной поликлинике, там еще быстрее. Да и за чем ходят? — за справкой, за освобождением, за ВТЭКом, а врач должен разоблачать. Больной и врач как враги — это разве медицина? Да возьмите хоть с лекарствами. В двадцатые годы у нас все лекарства были бесплатные. Помните?

— Правда? Кажется, да. А забывается.

— Неужели забыли? Все бесплатные. А пришлось отказаться. Почему?

— Дорого государству обходилось? — с усилием высказала Донцова, и моргнула продолжительно.

— Не только. И бестолково очень. Больной обязательно все лекарства брал, поскольку они ничего не стоят, а потом половину выбрасывал. Впрочем, я не говорю, что все лечение полностью надо сделать платным. Но первичное — обязательно. А уж когда определенно больному ложиться в клинику и к аппаратам — там справедливо бесплатное. Да и то вот в вашей клинике: почему два хирурга оперируют, а трое в рот им смотрят? Потому что зарплата им идет, о чем беспокоиться? А если б деньги от пациентов, да ни один бы пациент к ним не пошел — забегал бы вап Халмухамедов! Или Пан-

техина! Тем или иным способом, Людочка, но врач должен **з а в и с е т ь** от впечатления, производимого им на больных. От своей популярности. А у нас не зависит.

— Ну, не дай Бог ото всех зависеть! От какой-нибудь скандалистки Полины Заводчиковой...

— Да, и от нее тоже.

— Это унижение!

— А от главврача зависеть — почему лучше? А из кассы получать как чиновник — почему честней?

— А дотошные есть, какие-нибудь там Рабинович или Костоглотов, замучают тебя теоретическими вопросами, так на все отвечай?

Ни морщинки не прогонялось по вскатистому лбу Орещенкова. Он всегда знал пределы Людмилы Донцовой, и это были неплохие пределы; она в одиночку умела и обдумывать и преодолевать очень трудные случаи. Примеров двести труднейшей диагностики протянулось через ее непритязательные маленькие замечочки в журналах. Это и было то, что всего трудней в медицине. И почему надо было желать от нее **сверх?**

— Да. И на все отвечай, — спокойно кивал он.

— Да когда же все успеть? — возмутилась и оживилась к разговору Донцова. Ему хорошо тут в домашних туфлях расхаживать по комнате. — Вы представляете, какие сейчас темпы в лечебных учреждениях? Вы таких не застали. Сколько сейчас больных на одного врача!

— При правильной первичной системе, — отвел Орещенков, — их будет меньше и — незапущенные. А у первичного врача должно быть столько, сколько охватывает память и личное знание. Тогда он будет лечить больного как комплекс. А лечить отдельные болезни, это — фельдшерский уровень.

— О-ой, — вздохнула Донцова устало. Как будто их частный разговор мог что-то изменить или исправить в большом ходе дел! — Страшно сказать — охватить больного как комплекс!

Видел и Орещенков, что надо остановиться, однако в старости появился у него порок многоречия.

— Но организм больного не знает, что наши знания расчленяются! Он-то, организм, не расчленяется! Как Вольтер говорил: врачи назначают лекарства, которых они не знают, в организм больного, который они знают еще меньше. А где же нам понять больного как комплекс, если топограф-анатом оперирует трупы, а живых — это не его специальность? Если рентгенолог составляет себе крупное имя на переломах,

а желудочно-кишечный тракт — это не его специальность? Вот и перебрасывают больного как баскетбольный мяч от «специалиста» к «специалисту». Вот и остается у врача страсть на пчеловодство. А если ты хочешь понять больного как комплекс, то уж никакой другой страсти в тебе не поместится. Да! И самому врачу надо быть как комплекс! Самому врачу!

— Еще и самому врачу! — почти простонала она жалобно. На свежую голову да на бодрый дух все эти неисчерпаемые рассуждения были ей, конечно, интересны, но сейчас только доламывали ее, сейчас ей было трудно сосредоточиться.

— Да вы такая и есть, Людочка, себя не принижайте. И это не новинка. Мы, земские врачи, все были вот такие — клиницисты, а не администраторы. А сейчас главврачу районной больницы дай десять специалистов в штат, иначе он и лечить не будет...

Он сам уже кончал, он сам уже видал по усталому заморганному лицу Людмилы Афанасьевны, что отвлекающий разговор не оказался ей полезен. Тут еще и открылась дверь с веранды и вошел — вошел будто пес, но такой крупный, теплый и невероятный, как человек, зачем-то ставший на четыре ноги. Людмила Афанасьевна хотела испугаться, не укусит ли, но как разумного человека с печальными глазами его невозможно было пугаться.

Он шел по комнате мягко, даже задумчиво, не предвидя, что здесь кто-то может удивиться его входу. Но один только раз, выражая входную фразу, он поднял пышную белую метлу хвоста, мотнул ею в воздухе и опустил. Кроме черных висячих ушей весь он был рыже-белый и два этих цвета сложным узором перемежались в его шерсти: на спину ему как бы положили белую попону, бока были ярко-рыжие, а зад даже апельсиновый. Правда, он подошел к Людмиле Афанасьевне и понюхал ее колени, но все это очень ненавязчиво. И не сел близ стола на свой апельсиновый зад, как ожидалось бы от всякой собаки, и не выразил какого-либо интереса к еде на поверхности стола, лишь немного превышающего верх его головы, а так на четырех лапах и остался, круглыми сочно-коричневыми глазищами смотря повыше стола с трансцендентной отреченностью.

— Да какая же это порода?! — изумилась Людмила Афанасьевна, и первый раз за вечер совсем забыла о себе и о своей боли.

— Сен-бернар, — поопциательно смотрел Орещенков на пса. — Все бы хорошо, только когти слишком длинные, и Маня когда кормит — сердится: «Что тебе их, веревками подвязывать, в миску сваливаются!».

Разглядывая пса, Людмила Афанасьевна восхищалась. Такому псу не место было в уличной суете, такого пса и никаким транспортом, наверно, не разрешалось перевозить. Как снежному человеку только и осталось место в Гималаях, так подобной собаке только и оставалось жизни в одноэтажном доме при саде.

Орещенков отрезал кусок пирога и предложил псу — но не бросил, как из жалости или забавы бросают другим разным собакам, и те становятся на задние лапы, подсакивают и лязгают зубами — этот пес становился на задние лапы не служить, а в знак дружбы положить передние на плечи человека. Орещенков именно угостил его пирогом как равного — и тот, как равный, неторопливо снял зубами с ладони-тарелки, может быть и не голодный, но из вежливости.

И почему-то приход этой спокойной задумчивой собаки освежил и развеселил Людмилу Афанасьевну, и уже встав из-за стола она подумала, что не так-то все еще с ней плохо, даже если операция, а вот плохо она слушала Дормидонта Тиохновича и:

— Просто бессовестно! Пришла со своей болячкой и не спрошу: а как же в а ш е здоровье? как — вы?

Он стоял против нее — ровный, даже породный, с еще ничуть не слезящимися глазами, со все дослышивающими ушами, и что он старше ее на двадцать пять лет — в это нельзя было поверить.

— Пока ничего, — не очень теплой, но вполне доброжелательной улыбкой улыбался он. — Я вообще решил не болеть перед смертью. Умру, как говорится, в одночасье.

Он проводил ее, вернулся в столовую и опустился в качалку — гнутую, черную, с желтой сеткой, потертой спиной за много лет. Он опустился малым качком и как только она сама затихла — больше не раскачивался. В том особенном положении перепрокинутости и свободы, которое дает качалка, он замер и совсем не двигался долго.

Ему теперь часто надо было так отдыхать. И не меньше, чем требовало тело этого восстановления сил — его внутреннее состояние, особенно после смерти жены, требовало молчаливого углубления, свободного от внешнего звука, разговора, от деловых мыслей, даже от всего того, что делало его врачом. Его внутреннее состояние как будто требовало омыться, опрозрачить. Вот такая молчаливая неподвижность с незадачными, даже несколько мыслями давали ему эту чистоту и полноту.

В такие минуты весь смысл существования — его самого за долгое прошлое и за короткое будущее, и его покойной

жены, и его молоденькой внучки, и всех вообще людей — представлялся ему не в их главной деятельности, которую они постоянно только и занимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным — изображение вечности, зароненное каждому.

Как серебряный месяц в спокойном пруду.

31.

Возникло и присутствовало какое-то внутреннее напряжение, но не утомляющее, а — радостное. Он даже точно ощущал, в каком месте это напряжение — в передней части груди, под костями. Напряжение это слегка распирало — как горячеватый воздух; ныло приятно; и, пожалуй, звучало — только не звуками земли, не теми, которые воспринимает ухо.

Это было иное чувство — не то, что на прошлых неделях тянуло его за Зоей по вечерам, то было не в груди.

Он нес в себе и берег это напряжение, все время слушал его. Теперь-то он вспомнил, что и его знал в молодости, но потом начисто забыл. Что это за чувство? Насколько оно постоянно, не обманно? Зависит ли оно целиком от женщины, вызвавшей эт чувство, или еще и от загадки — от того, что женщина не стала своею, близкой — а потом оно рассосется?

Впрочем, выражение — с т а т ь б л и з к о й, теперь не имело для него смысла.

Или все-таки имело?.. Это чувство в груди одно и осталось надеждой, и потому Олег так его сохранял. Оно стало главным наполняющим, главным украшающим жизнь. Он удивлялся, как это стало: присутствие Веги делало весь раковый корпус интересным, цветным, только тем и не иссыхал этот корпус, что они... дружили. Хотя Олег видел ее совсем немного, иногда мельком. Еще она переливала ему кровь наднях. Говорили опять хорошо, правда, не так свободно, да и при сестре.

Сколько он рвался отсюда уехать, а теперь, когда ему подходили сроки выписываться, было уже и жаль. В Уш-Тереке он перестанет видеть Вегу. И как же?

Сегодня, в воскресенье, он как раз не имел надежды

увидеть ее. А день был теплый, солнечный, с неподвижным воздухом, застывший для разогрева, для перегрева — и Олег отправился гулять по двору, и дыша, и разминаемый этим густеющим теплом, он хотел представить, а как она это воскресенье проводит? чем занята?

Он теперь передвигался вяло, не так, как раньше; он уже не вышагивал твердо по намеченной прямой, круто поворачиваясь в ее концах. Он шел ослабло, с осторожностью; приседал на какую-нибудь скамью сесть, а если вся была свободна, то и растянуться полежать.

Так и сегодня, в халате, незастегнутом, внапашку, он брел, со спиной осевшей, то и дело останавливался и задира л голову смотреть на деревья. Одни уже стояли вползелени, другие вчетверть, а дубы не развернулись нисколько. И все было — хорошо!

Неслышной, незаметно вылезавшей, уже много зазелено травкой там и здесь — такой даже большой, что за прошлогоднюю б ее принять, если б не так зелена.

На одной открытой аллейке, на пригреве, Олег увидел Шулубина. Тот сидел на плохонькой узкодосочной скамье без спинки, сидел на бедрах, свисая несколько и назад, несколько и вперед, а руки его, вытянутые и соединенные в пальцах, были сжаты между коленями. И так, еще с головой опущенной, на отъединенной скамье, в резких светах и тенях, он был как скульптура потерянности.

Олег не против был бы сейчас подсесть к Шулубину: он ни разу еще не улучил толково с ним поговорить, а хотелось, потому что из лагеря он знал: те-то и носят в себе, кто молчат. Да и вмешательство Шулубина в спор на поддержку расположило и задело Олега.

И все же он решил пройти мимо: все оттуда же понял он и признал священное право всякого человека на одиночество. И не мог бы нарушить.

Шел он мимо, но медленно, загребая сапогами по гравию, не мешая себя и остановить. Шулубин увидел-таки сапоги, а по сапогам поднял голову. Посмотрел безучастно, как бы лишь признавая — «да, мы ведь в одной палате лежим». И Олег еще два шага отмерил, когда Шулубин полувопросом предложил ему:

— Садитесь?

На ногах Шулубина тоже были не простые больничные тапочки, но комнатные туфли с высокими бочками, оттого он мог тут гулять и сидеть. А голова — открытая, редкие колечки серых волос.

Олег завернул, сел, будто все равно ему было, что дальше идти, что сидеть, а сидеть, впрочем, и лучше.

С какого конца ни начни, мог бы он закинуть Шулубину узловой вопросик — тот узловой, в ответе на который человек — весь. Но вместо этого он только ис просил:

— Так что, послезавтра, Алексей Филиппович?

Он и без ответа знал, что послезавтра. Вся палата знала, что на послезавтра назначена Шулубину операция. А сила был в «Алексее Филиппыче», как никто еще в палате не называл молчаливого Шулубина. Сказано это было, как ветеран — ветерану.

— На последнем солнышке погреться, — кивнул Шулубин.

— Не после-еднее, — пробасил Костоглотов.

А косясь на Шулубина подумал, что может быть и последнее. Подрывало силы Шулубина, что он очень мало ел, меньше, чем велел ему аппетит: он берегся, чтоб потом меньше испытывать болей. В чем болезнь Шулубина, Костоглотов уже знал и теперь спросил:

— Так и решили? На бок выводить?

Собрав губы как для чмоканья, Шулубин еще покивал. Помолчали.

— Все-таки есть рак и рак, — высказал Шулубин, смотря перед собою, не на Олега. — Из раков — еще рак. В каждом плохом положении еще есть похуже. Мой случай такой, что и с людьми не поговоришь, не посоветуешься.

— Да мой, пожалуй, тоже.

— Нет, но мой хуже, как хотите! У меня болезнь какая-то особенно-унизительная. Особенно оскорбительная. И последствия страшные. Если я останусь жив — а это еще большое «если» — около меня неприятно будет стоять, сидеть, вот как вы сейчас. Все будут стараться — шага за два. А если кто-нибудь станет ближе, я сам непременно буду думать: ведь он еле терпит, он меня проклинаяет. То-есть, вообще уже с людьми не побудешь.

Костоглотов подумал, чуть насвистывая — не губами, а зубами, рассеянно проталкивая воздух через соединенные зубы.

— Вообще, трудно считаться, кому тяжелее. Это еще трудней, чем соревноваться успехами. Свои беды каждому досадней. Я, например, мог бы заключить, что прожил наредкость неудачную жизнь. Но откуда я знаю: может быть, вам было еще круче? Как я могу утверждать со стороны?

— И не утверждайте, а то ошибетесь. — Шулубин повернул-таки голову и вблизи посмотрел на Олега слишком

выразительными круглыми глазами с кровоизлияниями по белку. — Самая тяжелая жизнь совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или ищет воду в пустынях. Самая тяжелая жизнь у того, кто каждый день, выходя из дому, бьется головой о притолоку — слишком она низкая... Вы — что, я понял так: воевали, потом сидели, да?

— Еще — в институт не попал. Еще — в офицеры не взяли. Еще — в вечной ссылке сижу. — Олег задумчиво это все отмеривал, без жалобы. — Еще вот — рак.

— Ну, раками мы покрываемся. А насчет остального, молодой человек...

— ...Да какой я к чертям молодой! То считаете, что голова на плечах — первая? что шкура не перелицована?..

— ...Насчет остального, я вам так скажу: вы хоть вралли меньше, понимаете? вы хоть гнулись меньше, цените! Вас арестовали, а нас на собрания загоняли: п р о р а б а т ы в а т ь вас. Вас казнили — а нас заставляли стоя хлопать оглашенным приговорам. Да не хлопать, а — требовать расстрела, т р е б о в а т ь! Помните, как в газетах писали: «как один человек всколыхнулся весь советский народ, узнав о беспрецедентно-подлых злодеяниях...». Вот это «как один человек» вы знаете, чего стоит? Люди мы все-все разные, и вдруг «как один человек»! Хлопать-то надо ручки повыше задирать, чтобы и соседи видели, и президиум. А — кому не хочется жить? Кто на защитку вашу стал? Кто возразил? Где они теперь?.. Вот Дима Олицкий такой — воздерживается — не против, что вы! в о з д е р ж и в а е т с я, когда голосуют расстрел Промпартии. «Пусть объяснит! — кричат. — Пусть объяснит!». Встает с пересохшим горлом: «Я думаю, на двенадцатом году революции можно найти другие средства пресечения...». Ах, негодяй! Пособник! Агент!.. И на другое утро — повесточка в ГПУ. И — на всю жизнь.

И произвел Шулубин то странное спиральное кручение шеи и круглой головой. Он — на скамейке-то, перевешанный вперед и назад, сидел как на насесте крупная неуседливая птица.

Костоглов старался не быть от сказанного польщенным:

— Алексей Филиппыч, это значит — какой номер потянешь. Вы бы на нашем месте были такими же мучениками, мы на вашем — такими же приспособленцами. Но ведь вот что: калило и пекло таких как вы, кто понимал. Кто понял рано. А тем, кто верил — было легко. У них и руки в крови — так не в крови, они ж не понижали.

Косым, пожирающим взглядом мелькнул старик:

— А кто это — верил?

— Да я вот верил. До финской войны.

— А сколько это — верили? Сколько это — не понимали? С пацана и не спрос. Но признать, что вдруг народишка наш весь умом оскудел — не могу! Не иду! Бывало, чтоб там барин с крыльца не молол, мужики остороженько в бороды ухмылялись: и барин видит, и приказчик сбоку замечает. Подойдет пора кланяться — и все «как один человек». Так это значит — мужики барину верили, да? Да кем это нужно быть, чтобы в е р и т ь? — вдруг стал раздражаться и раздражаться Шулубин. У него из тех было лиц, которые все смещаются, меняются, искажаются при сильном чувстве, ни одна черта не остается покойной. — То все профессеры, все инженеры стали вредителями, а он — верит? То лучшие комдивы гражданской войны — немецко-японские шпионы, а он — верит? То вся ленинская гвардия — лютые перерожденцы, а он — верит? То все его друзья и знакомые — враги народа, а он — верит? То миллионы русских солдат изменили родине — а он все верит? То целые народы от стариков до младенцев срезают под корень — а он все верит. Так сам-то он кто, простите, — д у р а к?! Да неужели ж весь народ из дураков состоит? — вы меня извините! Народ умен — да жить хочет. У больших народов такой закон: все пережить и остаться! И когда о каждом из нас история спросит над могилой — кто ж он был? — останется выбор по Пушкину:

В наш гнусный век

На всех стихиях человек

Тиран, предатель или узник!

Олег вздрогнул. Он не знал этих строк, но была в них та прорезающая несомненность, когда и автор, и истина выступают во плоти.

А Шулубин ему погрозил крупным пальцем:

— Для дурака у него и места в строчке не нашлось. Хотя знал же он, что и дураки встречаются. Нет, выбор нам оставлен тройкий. И если помню я, что в тюрьме не сидел, и твердо знаю, что тираном не был, значит... — усмехнулся и закашлялся Шулубин, — значит...

И в кашле качался на бедрах вперед и назад.

— Так вот такая жизнь, думаете, легче вашей, да? Весь век я пробоялся, а сейчас бы — сменялся.

Подобно ему и Костоглотов, тоже осунувшись, тоже пересясь вперед и назад, сидел на узкой скамье, как хохлатая птица на жердочке.

На земле перед ними наискосок ярко чернели тени их с подобранными ногами.

— Нет, Алексей Филиппович, это слишком с плеча осуждено. Это слишком жестоко. Предателями я считаю тех, кто доносики писал, кто выступал свидетелем. Таких тоже миллионы. На двух сидевших, ну на трех — одного доносчика можно посчитать? — вот вам и миллионы. Но всех записывать в предатели — это сгоряча. Погорячился и Пушкин. Ломает в бурю деревья, а трава гнется — так что — трава предала деревья? У каждого своя жизнь. Вы сами сказали: пережить, народный закон.

Шулубин сморщил все лицо, так сморщил, что мало рта осталось и глаза исчезли. Были круглые большие глаза — и не стало их, одна слепая сморщенная кожа.

Разморщил. Та же табачная радуга, обведенная прикрасненным белком, но смотрели глаза омытые:

— Ну, значит — облагороженная стадность. Боязнь остается одному. В н е к о л л е к т и в а. Вообще это не ново. Френсис Бэкон еще в XVI веке выдвинул такое учение — об и д о л а х. Он говорил, что люди не склонны жить чистым опытом, им легче загрязнить его предрассудками. Вот эти предрассудки и есть идолы. Идолы рода, как называл их Бэкон. Идолы пещеры...

Он сказал — «идолы пещеры», и Олегу представилась пещера: с костром посредине, вся затянутая дымом, дикари жарят мясо, а в глубине, полунеразличимый, стоит синеватый идол.

— ...Идолы театра...

Где же идол? В вестибюле? На занавесе? Нет, приличней, конечно, на театральной площади, в центре сквера.

— А что такое идолы театра?

— Идолы театра — это авторитетные чужие мнения, которыми человек любит руководствоваться при истолковании того, чего сам он не пережил.

— Ох, как это часто!

— А иногда — что и сам пережил, но удобнее верить не себе.

— И таких я видел...

— Еще идолы театра — это неумеренность в согласии с доводами науки. Одним словом, это — добровольно принимаемые на себя заблуждения других.

— Здорово! — очень понравилось Олегу. — Добровольно принимаемые заблуждения других! Да!

— И, наконец, идолы рынка.

— О! Это представлялось легче всего! — базарное тес-

ное кипение людей и возвышающийся над ними алебастровый идол.

— Идолы рынка — это заблуждения, проистекающие от взаимной связанности и общности людей. Это ошибки, опутывающие человека из-за того, что установилось употреблять формулировки, насилующие разум. Ну, например: враг народа! не наш человек! изменник! — и все отшатнулись.

Нервным воскидыванием то одной, то другой руки Шулубин поддерживал свои восклицания — и опять это походило на кривые неловкие попытки взлететь у птицы, по крыльям которой прошлись расчлененные ножницы.

В спины им прижаривало не по весне горячее солнце. Еще не слившиеся ветки, еще отдельно каждая с первой озеленью, не давали тени. Еще не раскаленное по-южному небо сохраняло голубизну между белых хлопьев дневных переходящих облачков. Но не видя или не веря, взнеся палец над головой, Шулубин тряс им:

— А над всеми идолами — небо страха! В серых тучах — навислое небо страха. Знаете, вечерами, безо всякой грозы, иногда наплывают такие серо-черные толстые низкие тучи, прежде времени мрачнеет, темнеет, весь мир становится неуютным и хочется только спрятаться в каменный дом, под крышу, поближе к огню и родным. Я двадцать пять лет жил под таким небом — и я спасся только тем, что гнулся и молчал. Я двадцать пять лет молчал, а может быть двадцать восемь, сочтите сами, то молчал для жены, то молчал для детей, то молчал для грешного своего тела. Но жена моя умерла. Но тело мое — мешок с дерьмом, и дырку будут делать сбоку. Но дети мои выросли необъяснимо черствы, необъяснимо! И если дочь вдруг стала писать и прислала мне вот уже третье письмо (это не сюда, это — домой, это я за два года считаю), — так оказывается потому, что парторганизация от нее потребовала н о р м а л и з о в а т ь отношения с отцом, понимаете? А от сына и этого не потребовали...

Водя косматыми бровями, всей своей взъерошенностью, Шулубин повернулся к Олегу — ах, вот кто он был! — он был сумасшедший мельник из «Русалки» — «Какой я мельник?? — я ворон!!».

— Я уже не знаю — может мне дети эти приснились? Может, их не было?.. Скажите, разве человек — бревно?! Это бревну безразлично — лежать ли ему в одиночку или рядом с другими бревнами. А я живу так, что если потеряю сознание, на пол упаду, умру — меня и несколько суток соседи не обнаружат. И все-таки — слышите, слышите!

— он вцепился в плечо Олега, будто боясь, что тот не услышит, — я по-прежнему остерегаюсь, оглядываюсь! Вот что я в палате у вас осмелился произнести — в Коканде я этого не скажу! на работе не скажу! А то, что вам сейчас говорю — это потому, что столик операционный мне уже подкатывают! И то бы при третьем не стал! Не стал бы! Вот как. Вот куда меня приперли... А я кончил сельскохозяйственную академию. Я еще кончил высшие курсы истмата-диамата. Я читал лекции по нескольким специальностям — это все в Москве. Но начали падать дубы. В сельскохозяйственной академии пал Муралов. Профессоров заметали десятками. Надо было признать о ш и б к и? Я их признал! Надо было отречься? Я отрекся! Какой-то процент ведь уцелел же? Так вот я попал в этот процент! Я ушел в чистую биологию — напел себе тихую гавань!.. Но началась чистка и там, да какая! Прометали кафедры биофаков. Надо было оставить лекции? — хорошо, я их оставил. Я ушел ассистировать, я согласен быть маленьким!

Палатный молчальник — с какой легкостью он говорил! Так у него лилось, будто привычной дела не знал — ораторствовать.

— Уничтожались учебники великих ученых, менялись программы — хорошо, я согласен! — будем учить по новым. Предложили: анатомию, микробиологию, нервные болезни перестраивать по учению невежественного агронома и по садовой практике. Bravo, я тоже так думаю — я — за! Нет, еще и ассистентство уступите! — хорошо, я не спорю, я буду методист. Нет, жертва неугодна, снимают и с методиста — хорошо, я согласен, я буду библиотекарь, библиотекарь в далеком Коканде! Сколько я отступил! — но все-таки я жив, но дети мои кончили институты. А библиотекарям спускают тайные списки: уничтожить книги по лженауке генетике! уничтожить все книги персонально таких-то! Да привыкать ли нам? Да разве сам я с кафедры диамата четверть века назад не объявлял теорию относительности — контр-революционным мракобесием? И я составляю акт, его подписывает мне парторг, спецчасть — и мы суем туда, в печку — генетику! левую эстетику! этику! кибернетику! арифметику!..

Он еще смеялся, сумасшедший ворон!

— ...Зачем нам костры на улицах, излишний этот драматизм? Мы — в тихом уголочке, мы — в печечку, от печечки тепло!.. Вот куда меня приперли — к печечке спальной... Зато я вырастил семью. И дочь моя, редактор районной газеты, написала такие лирические стихи:

Нет, я не хочу отступаться!
Прощенья просить не умею.
Уж если драться — так драться!
Отец? — и его в шею!

Бессильными крыльями висел его халат.

— Да-а-а-а... — только и мог отозваться Костоглотов.
— Согласен, вам не было легче.

— То-то. — Шулубин поотдышался, сел спокойнее и заговорил спокойнее: — И скажите, в чем загадка чередования этих периодов Истории? В одном и том же народе за каких-нибудь десять лет спадает вся общественная энергия, и импульсы доблести, сменивши знак, становятся импульсами трусости. Ведь я же — большевик с семнадцатого года. Ведь как же я смело разгонял в Тамбове эсэро-меньшевицкую думу, хотя только и было у нас — два пальца в рот и свистеть. Я — участник гражданской войны. Ведь мы же ничуть не берегли свою жизнь! Да мы просто счастливы были отдать ее за мировую революцию! Что с нами сделала? Как мы могли поддаться? И — чему больше? Страху? Идолам рынка? Идолам театра? Ну, хорошо — я маленький человек, но Надежда Константиновна Крупская? Что ж она — не понимала, не видела? Почему она не возвысила голос? Сколько бы стоило одно ее выступление для всех нас, даже если бы оно обошлось ей в жизнь? Да может быть мы бы все переменились, все уперлись — и дальше бы не пошло? А Орджоникидзе? — ведь это был орел! — ни Шлиссельбургом, ни каторгой его не взяли — что ж удержало его один раз, один раз выступить вслух против Сталина? Но они предпочли загадочно умирать или кончать самоубийством — да разве это мужество, объясните мне?

— Я ли — вам, Алексей Филиппович! Мне ли — вам... Уж это вы объясните.

Шулубин вздохнул и попробовал изменить посадку на скамье. Но было ему больно и так, и сяк.

— Мне интересно другое. Вот вы родились уже после революции. Но — сидели. И что же — вы разочаровались в социализме? или нет?

Костоглотов улыбнулся неопределенно.

— Не знаю. Там иногда так припекало, что со злости чего бы не хватил.

Шулубин освободил одну руку, он поддерживался ею на скамье, слабую уже, большую руку и повис ею на плече Олега:

— Молодой человек! Только не сделайте этой ошибки!

Только из страданий своих и из этих жестоких лет не выведете, что виноват социализм. То-есть, как бы вы ни думали, но капитализм все равно отвергнут историей навсегда.

— Там у нас... там у нас так рассуждали, что в частном предпринимательстве очень много хорошего. Жить — легче, понимаете? Всегда все есть. Всегда знаешь, где что найти.

— Слушайте, это обывательское рассуждение! Частное предпринимательство очень гибко, да, но оно хорошо только в узких пределах. Если частное предпринимательство не зажать в железные клещи, то из него вырастают люди-звери, люди биржи, которые знать не хотят удержу в желаниях и в жадности. Прежде чем быть обреченным экономически, капитализм уже был обречен этически! Давно!

— Но знаете, — повел Олег лбом, — людей, которые удержу не знают в желаниях и жадности, я, честно говоря, наблюдаю и у нас. И совсем не среди кустарей с патентами. Вот Емельян — Сашик...

— Правильно! — все тяжелей ложилась рука Шулубина на плечо Олега. — Так потому что: социализм — но какой? Мы проворно поворачивались, мы думали: достаточно изменить способ производства — и сразу изменятся люди. А — черта лысого! А — нисколько не изменились! Человек есть биологический тип! Его меняют тысячелетия!

— Так — какой же социализм?

— А вот, какой? Загадка? Говорят — «демократический», но это поверхностное указание не на с у т ь социализма, а только на вводящую форму, на род государственного устройства. Это только заявка, что не будет рубки голов, но ни слова — на чем же социализм этот будет строиться. И не на избытке товаров можно построить социализм, потому что если люди будут буйволами — растопчут они и эти товары. И не тот социализм, который не устает повторять о ненависти — потому что не может строиться общественная жизнь на ненависти. А кто из года в год пламенел ненавистью, не может с какого-то одного дня сказать: шабаш! с сегодняшнего дня я отненавидел и теперь только люблю. Нет, ненавистником он и останется, найдет кого ненавидеть поближе. Вы не знаете такого стихотворения Гервега?

Wir haben lang genug geliebt :

Олег подхватил:

Wir wollen endlich müssen !

Еще бы не знать! Мы его в школах учили.

— Верно-верно, вы учили его в школах! А ведь это

страшно! Вас учили в школах ему, а надо было учить совсем наоборот:

Wir haben lang genug gehabt,
Wir wollen endlich lieben!

К чертовой матери с вашей ненавистью. Мы наконец хотим любить! — вот какой должен быть социализм.

— Так — христианский, что ли? — догадывается Олег.

— «Христианский» — это слишком запрошено. Те партии, которые так себя называли, в обществах, выпедших из-под Гитлера и Муссолини, из кого и с кем берутся такой социализм строить — не представляю. Когда Толстой в конце прошлого века решил практически насаждать в обществе христианство — его одежды оказались нестерпимы для современности, его проповедь не имела с действительностью никаких связей. А я бы сказал: именно для России, с нашими раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым и Кропоткиным, один только верный социализм есть: **н р а в с т в е н н ы й**. И это — вполне реально.

Костоглотов хмурился:

— Но как это можно понять и представить — «нравственный социализм»?

— А нетрудно и представить! — опять оживился Шулubin, но без этого всполошенного выражения мельника-ворона. Он — светлей оживился и, видно, очень ему хотелось Костоглотова убедить. Он говорил раздельно, как урок: — Явить миру такое общество, в котором все отношения, основания и законы будут вытекать из нравственности — и только из нее! Все расчеты: как воспитывать детей? к чему их готовить? на что направить труд взрослых? и чем занять их досуг? — все это должно выводиться только из требований нравственности. Научные исследования? Только те, которые не пойдут в ущерб нравственности — и в первую очередь самих исследователей. Так и во внешней политике! Так и вопрос о любой границе: не о том думать, насколько этот шаг нас обогатит, или усилит, или повысит наш престиж, а только об одном: насколько он будет нравственен?

— Ну, это вряд ли возможно! Еще двести лет! Но подождите — морщился Костоглотов. Я чего-то не ухватываю. А где ж у вас — материальный базис? Экономика-то должна быть, это самое... — раньше?

— Раньше? Это у кого как. Например, Владимир Соловьев довольно убедительно развивает, что можно и нужно экономику строить — на основании нравственности.

— Как?.. Сперва нравственность, потом экономика? — оцудело смотрел Костоглотов.

— Да! Слушайте, русский человек, вы Владимира Соловьева не читали, конечно, ни строчки?

Костоглотов покачал губами.

— Но имя-то хоть слышали?

— В тюрьге.

— А Кропоткина хоть страницу читали? «Взаимопомощь среди людей...»?

Все то же было движение Костоглотова.

— Ну да, он же неправ, зачем его читать?.. А Михайловского? Да нет, конечно, он же опровергнут, а после этого запрещен и изъят.

— Да когда читать! Кого читать! — возмутился Костоглотов. — Я весь век горблю, а меня со всех сторон теребят: читал ли? читал ли? В армии я лопату из рук не выпускал и в лагере — ее же, а в ссылке сейчас — чекмень, когда мне читать?

Но — растревоженное и настаивающее выражение светилось на круглоглазом мохнобровом лице Шулубина:

— Так вот что такое нравственный социализм! Не к с ч а с т ь ю устремить людей, потому что это тоже идол рынка — «счастье»! — а ко взаимному расположению. Счастлив и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди! И это — высшее, что доступно людям!

— Нет, счастье — вы мне оставьте! — живо настаивал Олег. — Счастье вы мне оставьте, хоть на несколько месяцев перед смертью! Иначе — на черта?..

— Счастье — это мираж! — из последних сил настаивал Шулубин. Он побледнел. — Я вот детей воспитывал — и был счастлив. А они мне в душу наплевали. А я для этого счастья книжечки с истиной — в печке жег. А тем более еще так называемое «счастье будущих поколений». Кто его может выведать? Кто с этими будущими поколениями разговаривал — каким еще идолам они будут поклоняться? Слишком менялось представление о счастье в веках, чтоб осмелиться подготавливать его заранее. Каблуками давя белые буханки и захлебываясь молоком — мы совсем еще не будем счастливы. А делясь недостающим — уже сегодня будем! Если только заботиться о «счастье» и о размножении — мы бессмысленно заполним землю и создадим страшное общество... Что-то мне плохо, вы знаете... Надо пойти лечь...

Олег пропустил, как бескровно и предсмертно стало все лицо Шулубина, и без того измученное.

— Дайте, дайте, Алексей Филиппыч, я вас под руку!..

Нелегко было Шулубину и встать из своего положения. А побрели они медленно совсем. Весенняя невесомость окру-

жала их, но они оба были подвластны тяготению, и кости их, и еще уцелевшее мясо их, и одежда, и обувь, и даже солнечный падающий на них поток — все обременяло и давило.

Они шли молча, устав говорить.

Только перед ступеньками ракового крыльца, уже в тени корпуса, Шулубин, опираясь на Олега, поднял голову на тополя, посмотрел на клочек веселого неба и сказал:

— Как бы мне под ножом не кончиться. Страшно... Сколько ни живи, какой собакой ни живи — все равно хочется...

Потом они вошли в вестибюль — и стало сперто, вонько. И медленно, по ступенечке, по ступенечке одолевали большую лестницу.

И Олег спросил:

— Слушайте, и это все вы обдумали за двадцать пять лет, пока гнулись, отрекались...?

— Да. Отрекался — и думал, — пусто, без выражения, слабея, отвечал Шулубин. — Книжечки в печку совал — и размышлял. А что же я? Мукой своей. И предательством. Не заслужил хоть немножечко мысли?..

32.

Чтобы до такой степени известное тебе, многократно, вдоль и поперек известное, могло так выворотиться и стать совсем новым и чужим — Донцова все-таки не представляла. Тридцать лет уже она занималась болезнями других людей, добрых двадцать уже сидела у рентгеновского экрана, читала на экранах, читала на пленке, читала в искаженных умоляющих глазах, сопоставляла с анализами, с книгами, писала статьи, спорила с коллегами, спорила с больными — и только все непреложное становились ей свой опыт и своя выработанная точка зрения, все связнее — медицинская теория. Была этиология и патогенез, симптомы, диагноз, течение, лечение, профилактика и прогноз, а сопротивления, сомнения и страхи больных хотя и были понятными человеческими слабостями и вызывали сочувствие врача — но при взвешивании методов они были нули, в логических квадратах им не оставлено было места.

До сих пор все человеческие тела были устроены совершенно одинаково: единый анатомический атлас описы-

вал их. Одинакова была и физиология жизненных процессов и физиология ощущений. Все, что было нормальным и что было отклонением от нормального — разумно объяснялось авторитетнейшими руководствами.

И вдруг в несколько дней ее собственное тело вывалилось из этой стройной и великой системы, ударились о жесткую землю, и оказалось беззащитным мешком, набитым органами, органами, каждый из которых в любую минуту мог заболеть и закричать.

В несколько дней все выверотилось наизнанку и, составленное по-прежнему из изученных элементов, стало неизученно и жутко.

Когда сын ее еще был маленьким мальчиком, они смотрели с ним картинки: самые простые домашние предметы — чайник, ложка, стул — нарисованные из необычной точки, были неузнаваемы.

Таким же неузнаваемым выглядел теперь ей ход ее собственной болезни и ее новое место в лечении. Теперь уже не предстояло ей быть в лечении разумной направляющей силой — но отбивающимся безрассудным комком. Первое приятие болезни раздавило ее, как лягушку. Первое сживание с болезнью было невыносимо: опрокидывался мир, опрокидывался весь порядок мировых вещей. Еще не умерев, уже надо было бросить и мужа, и сына, и дочь, и внука, и работу — хотя именно эта самая работа будет теперь грохотать по ней и через нее. Надо было в один день отказаться ото всего, что составляло жизнь, и бледно-зеленой тенью потом еще сколько-то мучаться, долго не зная, до конца ли она дохнет или вернется к существованию.

Никаких, кажется, украшений, радостей и празднеств не было в ее жизни — труд и беспокойство, труд и беспокойство — но до чего ж, оказывается, была прекрасна эта жизнь, и как до вопля невозможно было с ней расстаться!

Все воскресенье уже было ей не воскресенье, а подготовка своих внутренностей к завтрашнему рентгену.

В понедельник, как договорились, в четверть десятого Дормидонт Тихонович в их рентгеновском кабинете вместе с Верой Гангарт и еще одной из ординаторов, притушили свет и начали адаптироваться в темноте. Людмила Афанасьевна разделась, зашла за экран. Беря от санитарки первый стакан бариевой взеси, она проплеснула неловко: оказалось, что ее рука — столько раз тут же, в резиновых перчатках, твердо выминавшая животы — трясется.

И все известные приемы повторились над ней: щупанья, выминанья, поворачиванья, подъем рук, вздохи. Тут же опус-

кали стойку, клали ее и делали снимки в разных проекциях. Потом надо было дать время контрастной массе распространиться по пищевому тракту дальше — а рентгеновская установка не могла же пустовать, и ординатор пока пропускала своих очередных больных. И Людмила Афанасьевна даже подсаживалась ей на помощь, но плохо соображала и не помогла. Снова подходило ей время становиться за экран, пить барий и ложиться под снимок.

Только просмотр не проходил в обычной деловой тишине с короткими командами, а Орещенков все время подшучивал то над своими молодыми помощниками, то над Людмилой Афанасьевной, то над собой: рассказывал, как его, еще студента, вывели из молодого тогда МХАТ'а за безобразие — была премьера «Власти тьмы», и Аким так натурально сморкался и так онучи разворачивал, что Дормидонт с приятелем стали шикать. И с тех пор, говорил он, каждый раз во МХАТ'е боится, чтоб его не узнали и опять не вывели. И все старались побольше говорить, чтоб не такие томительные были паузы между этими молчаливыми рассматриваниями. Однако, Донцова хорошо слышала, что Гангарт говорит через силу, сухим горлом, ее-то она знала!

Но так ведь Людмила Афанасьевна и хотела! Вытирая рот после бариевой сметаны, она еще раз объявила:

— Нет, больной не должен знать всего! Я так всегда считала и сейчас считаю. Когда вам надо будет обсуждать — я буду выходить из комнаты.

Они приняли этот порядок, и Людмила Афанасьевна выходила, пыталась найти себе дело то с рентгенолаборантами, то над историями болезней, дел много было, но ни одного из них она не могла сегодня допонять. И вот снова звали ее — и она шла с колотящимся сердцем, что они встретят ее обрадованными словами. Верочка Гангарт облегченно обнимет и поздравит — но ничего этого не случилось, а снова были распоряжения, повороты и осмотры.

Подчиняясь каждому такому распоряжению, Людмила Афанасьевна сама не могла над ним не думать и не пытаться объяснить.

— По вашей методике я же вижу, что вы у меня ищите! — все-таки вырвалось у нее.

Она так поняла, что они подозревают у нее опухоль не желудка и не на выходе из желудка, а на входе — а это был самый трудный случай, потому что требовал бы при операции частичного вскрытия грудной клетки.

— Ну, Лю-удочка, — гудел в темноте Орещенков, — ведь вы же требуете раннего распознавания, так вот мето-

дика вам не та! Хотите, месяца три подождем, тогда быстрее скажем?

— Нет уж, спасибо вам за три месяца!

И большой главной рентгенограммы, полученной к концу дня, она тоже не захотела смотреть. Потеряв обычные решительные мужские движения, она смяклая сидела на стуле под верхней яркой лампой и ждала заключительных слов Орещенкова — слов, решения, но не диагноза!

— Так вот, так вот, уважаемый коллега, — доброжелательно растягивал Орещенков, — мнения знаменитостей разделились.

А сам из-под угловатых бровей смотрел и смотрел на ее растерянность. Казалось бы, от решительной непреклонной Донцовой можно было ждать большей силы в этом испытании. Ее внезапная обмяклость еще и еще раз подтверждала мнение Орещенкова, что современный человек беспомощен перед ликом смерти, что ничем он не вооружен встретить ее.

— И кто же думает хуже? — силилась улыбнуться Донцова.

(Ей хотелось — чтоб не он!)

Орещенков развел пальцами:

— Хуже думают ваши д о ч к и. Вот как вы их воспитали. А я о вас все же лучшего мнения. — Небольшой, но очень доброжелательный изгиб выразился углами его губ.

Гангарт сидела бледная, будто решения ждала себе.

— Ну, спасибо, — немного легче стало Донцовой. — И... что же?

Сколько раз за этим глотком передышки ждали больные решения от нее, и всегда это решение строилось на разуме, на цифрах, это был логически постигаемый и перекрестно-проверенный вывод. Но какая же бочка ужаса еще таилась, оказывается, в этом глотке!

— Да что же, Людочка, — успокоительно рокотал Орещенков. — Мир ведь несправедлив. Если бы вы не наша, мы бы вот так сейчас с альтернативным диагнозом передали бы вас хирургам, а они бы там что-нибудь резанули, по пути что-нибудь бы выхватили. Есть такие негодники, что из брюшной полости никогда без сувенира не уйдут. Резанули бы — и выяснилось, кто ж тут прав. Но вы ведь — наша. И в Москве, в институте рентгенорадиологии — наша Леночка, и Сережа там. Так вот, что мы решили: поезжайте-ка вы туда?.. — У-гм? Они прочтут, что мы им напишем, они вас и сами посмотрят. Число мнений увеличится.

Если надо будет резать — так там и режут лучше. И вообще там все лучше, а?

(Он сказал: «если надо будет резать». Он хотел выразить, что может и не придется?.. Или нет, что что... Нет, хуже...).

— То-есть, — сообразила Донцова. — Операция настолько сложна, что вы не решаетесь делать ее здесь?

— Да нет же, ну нет! — нахмурился и прикрикнул Орещенко. — Не ищите за моими словами ничего больше сказанного. Просто мы устраиваем вам... как это?.. блат. А не верите — вон, — кивнул на стол, — берите пленку и смотрите сами.

Да, это было так просто! Это было — руку протянуть и подвластно ее анализу.

— Нет, нет, — отгородилась Донцова от рентгенограммы. — Не хочу.

Так и решили. Поговорили с главным. Донцова съездила в республиканский минздрав. Там почему-то нисколько не тянули, а дали ей и разрешение, и направление. И вдруг оказалось, что по сути ничто больше уже не держит ее в городе, где она проработала двадцать лет.

Верно знала Донцова, когда ото всех скрывала свою боль: только одному человеку объяви — и все тронется неудержимо, и от тебя ничего уже не будет зависеть. Все постоянные жизненные связи, такие прочные, такие вечные — рвались и лопались не в дни даже, а в часы.

Такая единственная и незаменимая в диспансере и дома — вот она уже и заменялась.

Такие привязанные к земле — мы совсем на ней и не держимся!..

И что же теперь было медлить? В ту же среду она шла в свой последний обход по палатам с Гангарт, которой передавала заведывание лучевым отделением.

Этот обход у них начался утром, а шел едва ли не до обеда. Хотя Донцова очень надеялась на Верочку Гангарт, и всех тех же стационарных знала Гангарт, что и Донцова, — но когда Людмила Афанасьевна начала идти мимо коек больных с сознанием, что вряд ли вернется к ним раньше месяца, а может быть не вернется совсем — она первый раз за эти дни просветлилась и немного окрепла. К ней вернулись интерес и способность соображать. Как-то сразу отшелушилось ее утреннее намерение скорей передать дела, скорей оформить последние бумаги и ехать домой собираться. Так привыкла она направлять все властно сама, что и сегодня ни от одного больного не могла отойти, не представив себе хоть ме-

сячного прогноза: как потечет болезнь, какие средства понадобятся в лечении, в каких неожиданных мерах может возникнуть нужда. Она почти как прежде, почти как прежде ходила по палатам — и это были первые облегченные часы в заверти ее последних дней.

Она привыкла к горю.

А вместе с тем шла она и как лишенная врачевных прав, как дисквалифицированная за какой-то непростительный поступок, к счастью еще не объявленный больным. Она выслушивала, назначала, указывала, смотрела мнимо-вещным взглядом на больную, а у самой холодок тек по спине, что она уже не смеет судить жизнь и смерть других, что через несколько дней она будет такая же беспомощная и погупевшая лежать в больничной постели, мало следя за своей внешностью — и ждать, что скажут старшие и опытные. И бояться болей. И, может быть, досадовать, что легла не в ту клинику. И может быть сомневаться, что ее не так лечат. И как о счастье самом высшем мечтать о будничном праве быть свободной от больничной пижамы и вечером идти к себе домой.

Это все подступало и опять-таки мешало ей соображать с обычной определенностью.

А Вера Корнильевна безрадостно принимала бремя, которого совсем не хотела такой ценой. Да и вообще-то не хотела.

«Мама», как звали они ее, не пустое было для Веры слово. Она дала Людмиле Афанасьевне самый тяжелый диагноз из трех, она ожидала для нее изнурительной операции, которой та, подточенная хронической лучевой болезнью, могла и не вынести. Она ходила сегодня с ней рядом и думала, что может быть это в последний раз — и ей придется еще многие годы ходить между этих коек и всякий день щемяще вспоминать о той, кто сделал из нее врача.

И незаметно снимала пальцем слезинки.

А должна была Вера сегодня, напротив, как никогда четко предвидеть и не упустить задать ни одного важного вопроса — потому что все эти полсотни жизней первый раз полной мерой ложились на нее, и уже спрашивать будет не у кого.

Так, в тревоге и рассеянии, тянулся их обход полдня. Сперва они прошли женские палаты. Потом всех лежащих в лестничном вестибюле и коридоре. Задержались, конечно, возле Сибгатова.

Сколько ж было вложено в этого тихого татарина! А выиграны только месяцы оттяжки, да и месяцы какие —

этого жалкого бытия в неосвященном непроветренном углу вестибюля. Уже не держал Сибгатов крестец, только две сильные руки, приложенных сзади к спине, удерживали его вертикальность; вся прогулка его была — перейти посидеть в соседнюю палату и послушать, о чем толкуют; весь воздух — что дотягивалось из дальней форточки; все небо — потолок.

Но даже и за эту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары санитарок, казенной еды да игры в домино — даже за эту жизнь с зияющей спиной, на каждом обходе светились благодарностью его изболевые глаза.

И Донцова думала, что если свою обычную мерку отбросить, а принять от Сибгатова, так она еще — счастливый человек.

А Сибгатов уже слышал откуда-то, что Людмила Афанасьевна — сегодня последний день.

Ничего не говоря, они гляделись друг в друга, разбитые, но верные союзники, перед тем как хлыст победителя разгонит их в разные края.

«Ты видишь, Шараф, — говорили глаза Донцовой, — я сделала, что могла. Но я ранена и падаю тоже».

«Я знаю, мать, — отвечали глаза татарина, — и тот, кто меня родил, не сделал для меня больше. А я вот спасти тебя — не могу».

С Ахмаджаном исход был блестящий: незапущенный случай, все сделано точно по теории и точно по теории оправдывалось. Подсчитали, сколько он облучен, и объявила ему Людмила Афанасьевна:

— Выписываешься!

Это бы с утра надо было, чтобы дать знать старшей сестре и успели бы принести его обмундирование со склада, — но и сейчас Ахмаджан, уже безо всякого костыля, бросился вниз к Мите. Теперь и вечера лишнего он тут бы не стерпел — на этот вечер его ждали друзья в Старом городе.

Знал и Вадим, что Донцова сдает отделение и едет в Москву. Это так получилось: вчера вечером пришла телеграмма от мамы в два адреса — ему и Людмиле Афанасьевне о том, что коллоидное золото высылается их диспансеру. Вадим сразу поковылял вниз, Донцова была в Минздраве, но Вера Корнильевна уже видела телеграмму, поздравила его и тут же познакомила с Эллой Рафаиловной, их радиологом, которая и должна была теперь вести курс его лечения, как только золото достигнет их радиологического кабинета. Тут пришла и разбитая Донцова, тоже прочла телеграмму

и сквозь потерянное свое выражение, тоже старалась бодровать Вадиму.

Вчера Вадим радовался безудержно, заснуть не мог, но сегодня к утру раздумался: а когда ж это золото довезут? Если б его дали на руки маме — уже сегодня оно было бы здесь. Будут ли его везти три дня? или неделю? Этим вопросом Вадим и встретил подходящих к нему врачей.

— На-днях! Конечно, на-днях! — сказала ему Людмила Афанасьевна.

(Но про себя-то знала она эти дни. Она знала случай, когда другой препарат был назначен московским институтом для рязанского диспансера, но девчонка на сопроводилровке написала: «казанскому», а в министерстве — без министерства ту никак — прочли «казахскому» и отправили в Алма-Ату).

Что может сделать радостное известие с человеком? Те же самые черные глаза, такие мрачные последнее время, теперь блистали надеждой, те же самые припухлые губы, уже в непоправимо кривой складке, опять выровнялись и помолодели, и весь Вадим, побритый, чистенький, подобранный, вежливый, сиял как именинник, с утра обложенный подарками.

Как мог он так упасть духом, так ослабиться волей последние две недели! Ведь в воле — спасение, в воле — все! Теперь — гонка! Теперь только одно: чтоб золото быстрее пронеслось свои три тысячи километров, чем свои тридцать сантиметров проползут метастазы! И тогда золото очистит ему пах. Оградит остальное тело. А ногой — ну, ногой бы можно и пожертвовать. Или может быть, попятно развиваясь — какая наука в конце концов может совсем запретить нам веру? — попятно развиваясь, радиоактивное золото излечит ему и саму ногу?

В этом была справедливость, разумность, чтоб именно он остался жив! А мысль примириться со смертью, дать черной пантере себя загрызть — была глупа, вяла, недостойна. Блеском своего таланта он укреплялся в мысли, что — выживет, выживет, выживет! Полночи он не спал от распирающего радостного возбуждения, представляя, что может сейчас делаться с тем свинцовым бюксиком, в котором везут ему золото: в багажном ли оно вагоне? или везут его на аэродром? или оно уже в самолете? Он глазами взносился туда, в три тысячи километров темного ночного пространства, и торопил, торопил, и даже ангелов бы кликнул на помощь, если б ангелы эти существовали.

Сейчас на обходе он с подозрением следил, что будут

делать врачи. Они ничего худого не говорили, и даже лицами старались не выражать, но — щупали. Щупали, правда, не только печень, а в разных местах, и обменивались какими-то незначительными советами. Вадим отмеривал, не больше ли они щупают печень, чем все остальное.

(Они видели, какой это пристальный настороженный больной, и совсем без надобности ходили пальцами даже на селезенку, но истинная цель их наторенных пальцев была проверить, насколько изменена печень).

Никак не удалось бы быстро миновать и Русанова: он ждал своего спецайка внимания. Он последнее время очень подобрел к этим врачам: хотя и не заслуженные, и не доценты, но они его вылечили, факт. Опухоль на шее теперь свободно побалтывалась, была плоская, небольшая. Да, наверно, и с самого начала такой опасности не было, как раздули.

— Вот что, товарищи, — заявил он врачам. — Я от уколов устал, как хотите. Уже больше двадцати. Может, хватит, а? Или я дома докончил бы?

Кровь у него, действительно, была совсем неважная, хотя переливали четыре раза. И — желтый, заморенный, сморщенный вид. Даже тубетейка на голове стала как будто большая.

— В общем, спасибо, доктор! Я тогда, вначале, был неправ, — честно объявил Русанов Донцовой. Он любил признавать свои ошибки. — Вы меня вылечили — и спасибо.

Донцова неопределенно кивнула. Не от скромности так, не от смущения, а потому что ничего он не понимал, что говорил. Еще ожидали его вспышки опухолей во многих железах. И от быстроты процесса зависело — будет ли вообще он жив через год.

Как, впрочем, и она сама.

Она и Гангарт жестко щупали его подмышками и надключичные области. Русанов даже поеживался, так сильно они давили.

— Да там нет ничего! — уверял он. Теперь-то ясно было, что его только запугивали этой болезнью. Но он — стойкий человек, и вот легко ее перенес. И этой стойкостью, обнаруженной в себе, он особенно был горд.

— Тем лучше. Но надо быть очень внимательным самому, товарищ Русанов, — внушала Донцова. — Дадим вам еще укол или два и, пожалуй, выпишем. Но вы будете являться на осмотр каждый месяц. А если сами что-нибудь, где-нибудь заметите, то и раньше.

Однако, повеселевший Русанов из своего-то опыта пони-

мал, что эти обязательные явки на осмотр — простые галочные мероприятия, графу заполнить. И сейчас же пошел звонить домой о радости.

Дошла очередь до Костоглотова. Этот ждал их со смешанным чувством: они ж его, как будто, спасли, они ж его и погубили. Мед был с дегтем равно смешан в бочке, и ни в пищу теперь не шел, ни на смазку колес.

Когда подходила к нему Вера Корнильевна одна — это была Вега, и о чем бы по службе она его ни спрашивала, и что бы ни назначала, — он смотрел на нее и радовался. Он почему-то последнюю неделю полностью простил ей то калечение, которое она настойчиво несла его телу. Он стал признавать за ней как будто какое-то право на свое тело и это было ему тепло. И когда она подходила к нему на обходах, то всегда хотелось погладить ее маленькие руки или мордой потереться о них, как пес.

Но вот они подошли вдвоем, и это были врачи, законные в свои инструкции, и Олег не мог освободиться от непонимания и обиды.

— Ну как? — спросила Донцова, садясь к нему на кровать.

А Вега стояла за ее спиной и слегка-слегка ему улыбалась. К ней опять вернулось это расположение или даже неизбежность — всякий раз при встрече хоть чуть да улыбнуться ему. Но сегодня она улыбалась, как через пелену.

— Да неважно, — устало отозвался Костоглотов, вытягивая голову из свешенного состояния на подушку. — Еще стало у меня от неудачных движений как-то сжимать вот тут... в средостении. Вообще чувство, что меня залечили. Прошу — кончать.

Он не с прежним жаром этого требовал, а говорил равнодушно, как о деле чужом и слишком ясном, чтоб еще настаивать.

Да Донцова что-то и не настаивала, устала и она:

— Голова — ваша, как хотите. Но лечение не кончено.

Она стала смотреть его кожу на полях облучения. Пожалуй, кожа уже зывала об окончании. Поверхностная реакция могла еще и усилиться после конца сеансов.

— Он у нас уже не по два в день получает? — спросила Донцова.

— Уже по одному, — ответила Гангарт.

(Она произнесла такие простые слова: «уже по одному» и чуть вытягивала тонкое горло, и получалось, что она что-то нежное выговаривала, что должно было тронуть душу!).

Странные живые ниточки, как длинные женские воло-

сы, зацепились и перепутали ее с этим больным. И только она одна ощущала боль, когда они натягиваются и рвутся, а ему не было больно, и вокруг не видел никто. В тот день, когда Вера услышала о ночных сценах с Зоей, ей как будто рванули целый клочок. И может, так было бы и лучше кончить. Этим рывком напоминали ей закон, что мужчинам не ровесницы нужны, а те, кто моложе. Она не должна была забывать, что ее возраст пройден, пройден.

Но потом он стал так явно попадаться ей по дороге, так ловить ее слова, так хорошо разговаривать и смотреть. И ниточки-волосы стали отбиваться по одной и запутываться вновь.

Что были эти ниточки? Необъяснимое и нецелесообразное. Вот-вот он должен был уехать — и крепкая хватка будет держать его там. И приезжать он будет лишь тогда, когда станет очень худо, когда смерть будет гнуть его. А чем здоровей — тем реже, тем никогда.

— А сколько он у нас получил синестрола? — осведомилась Людмила Афанасьевна.

— Больше, чем надо, — еще прежде Веры Корнильевны сказал Костоглотов и смотрел тупо. — На всю жизнь хватит.

В обычное время Людмила Афанасьевна не спустила бы ему такой грубой реплики и проработала бы крепко. Но сейчас — поникла в ней вся воля, она еле доканчивала обход. А вне своей должности, уже прощаясь с ней, она, собственно, не могла возразить и Костоглотову. Конечно, лечение было варварское.

— Вот вам мой совет, — сказала она примирительно и так, чтобы в палате не слышали. — Не надо вам стремиться к семейному счастью. Вам надо еще много лет пожить без полноценной семьи.

Вера Корнильевна опустила глаза.

— Потому что помните: ваш случай был очень запущенный. Вы к нам прибыли поздно.

Знал Костоглотов, что дело плохо, но так вот прямо услышав от Донцовой, разинул рот:

— М-да-а-а, — промышчал он. Но нашел утешающую мысль: — ну, да я думаю — и начальство об этом позаботится.

— Будете, Вера Корнильевна, продолжать ему тезан и понтаксил. Но вообще придется отпустить его отдохнуть. Мы вот что сделаем, Костоглотов: мы выпишем вам трехмесячный запас синестрола, он в аптеках сейчас есть, вы купите

— и обязательно наладите лечение дома. Если уколы делать там у вас некому — берите таблетками.

Костоглотов шевельнул губами напомнить ей, что во-первых, нет у него никакого д о м а, во-вторых, нет денег, а в-третьих не такой он дурак, чтобы заниматься тихим самоубийством.

Но она была серо-зеленая, измученная, и он раздумал, не сказал.

На том и кончился обход.

Прибежал Ахмаджан: все уладилось, пошли и за его обмундированием. Сегодня он будет с дружкой выпивать! А справки-бумажки завтра получит. Он так был возбужден, так быстро и громко говорил, как никогда еще его не видели. Он с такой силой и твердостью двигался, будто не болел эти два месяца с ними здесь. Под черным густым ежиком, под мазутно-черными бровями глаза его горели как у пьяного и всей спиной он вздрагивал от ощущения жизни — за порогом, сейчас. Он кинулся собираться, бросил, побежал просить, чтобы его покормили обедом вместе с первым этажом.

А Костоглотову вызвали на рентген. Он ждал там, потом лежал под аппаратом, потом еще вышел на крыльцо посмотреть, отчего погода такая хмурая.

Все небо заклубилось быстрыми серыми тучами, а за ними ползла совсем фиолетовая, обещающая большой дождь. Но очень было тепло, и дождь мог полить только весенний.

Гулять не выходило, и снова он поднялся в палату. Еще из коридора он услышал громкий рассказ взбудораженного Ахмаджана:

— Кормят их, гад буду, лучше, чем солдат! Ну — не хуже! Пайка — кило двести. А их бы говном кормить! А работать — не работают! Только до зоны их доведем, сейчас разбегутся, прятают и спят целый день!

Костоглотов тихо вступил в дверной проем. Над постелью, ободранной от простынь и наволочки, Ахмаджан стоял с приготовленным узелком и, размахивая рукой, блестя белыми зубами, уверенно досказывал свой последний рассказ палате.

А палата вся переменялась — уже ни Федерату не было, ни философа, ни Шулубина. Этого рассказа при прежних составах палаты почему-то Олег никогда от Ахмаджана не слышал.

— И — ничего не строят? — тихо спросил Костоглотов. — Так-таки ничего в зоне и не возвышается?

— Ну, строят, — сбился немного Ахмаджан. — Ну — плохо строят.

— А вы бы — помогли... — еще тише, будто силы теряя, сказал Костоглолов.

— Наше дело — винтовка, ихнее дело — лопата! — бодро ответил Ахмаджан.

Олег смотрел на лицо своего товарища по палате, словно видя его первый раз, или нет, много лет его видел в воротнике тулупа и с автоматом. Не развитый выше игры в домино, он был искретен, Ахмаджан, простодушен.

Если десятки лет за десятками лет не разрешать рассказывать то, как оно есть — непоправимо разблуживаются человеческие мозги и уже соотечественника понять труднее, чем марсианина.

— Ну, как ты это себе представляешь? — не отставал Костоглолов. — Людей — и говном кормить? Ты — пошутил, да?

— Ничего не шутил! Они — не люди. Они — не люди! — уверенно разгоряченно настаивал Ахмаджан.

Он надеялся и Костоглолова убедить, как верили ему другие тут слушатели. Он знал, правда, что Олег — ссыльный, а о лагерях его он не знал.

Костоглолов покосился на койку Русанова, не понимая, почему тот не вступается за Ахмаджана, но того просто не было в палате.

— А я тебя — за армейца считал. А ты во-от в какой армии служил, — тянул Костоглолов. — Ты — Берии служил, значит?

— Я никакой Берии не знаю! — рассердился и покраснел Ахмаджан. — Кто там сверху поставят — мое дело маленькое. Я присягу давал — и служил. Тебя заставят — и ты служил...

33.

В тот день и полил дождь. И всю ночь лил, да с ветром, а ветер все холодал, и к утру четверга шел дождь уже со снегом, и все, кто в клинике предсказывал весну и рамы открывал, — тот же Костоглолов — примолкли. Но с четверга ж с обеда кончился снег, пересекся дождь, упал ветер — стало хмуро, холодно и неподвижно.

В вечернюю же зарю тонкой золотой цепью просветлился западный край неба.

А в пятницу утром, когда выписывался Русанов, небо распахнулось без облачка, и даже раннее солнце стало подсушивать большие лужи на асфальте и земляные дорожки искусные через газоны.

И почувствовали все, что вот это уже начинается самая верная и бесповоротная весна. И прорезали бумагу на окнах, сбивали шпингалеты, рамы открывали, а сухая замазка падала на пол санитаркам подметать.

Павел Николаевич вещей своих на склад не сдавал, казенных не брал и волен был выписываться в любое время дня. За ним приехали утром, сразу после завтрака.

Да кто приехал! — машину привел Лаврик: он накануне получил права! И накануне же начались школьные каникулы — с вечеринками для Лаврика, с прогулками для Майки, и оттого младшие дети ликовали. С ними двумя Капитолина Матвеевна и приехала, без старших. Лаврик выговорил, что после этого повезет покатать друзей — и должен был показать, как уверенно водит и без Юрки.

И как в ленте, крутимой назад, все пошло наоборот, но насколько же веселее! Павел Николаевич зашел в каморку к старшей сестре в пижаме, а вышел в сером костюме. Веселый Лаврик, гибкий красивый парень в новом синем костюме, совсем уже взрослый, если бы в вестибюле не затеял возню с Майкой, все время гордо крутил вокруг пальца на ремешке автомобильный ключ.

— А ты все ручки закрыл? — спрашивала Майка.

— Все.

— А стекла все закрутил?

— Ну, пойдй, проверь.

Майка бежала, тряся темными кудряшками, и возвращалась:

— Все в порядке. — И тут же делала вид испуга. — А багажник ты закрыл?

— Ну, пойдй проверь.

И опять она бежала.

По входному вестибюлю все так же несли в банках желтую жидкость в лабораторию. Так же сидели изнуренные, без лица, ожидая свободных мест, и кто-то лежал в растяжку на скамье. Но Павел Николаевич смотрел на это все даже снисходительно он оказался мужественным человеком и сильнее обстоятельств.

Лаврик понес папин чемодан. Капа в песочном демисезонном пальто, медногривая, помолодевшая от радости, от-

пускающе кивнула старшей сестре и пошла под руку с мужем. По другую сторону отца повисла Майка.

— Ты ж посмотри, какая шапочка на ней! Ты ж посмотри — шапочка новая, полосатая!

— Паша, Паша! — окликнули сзади.

Обернулись.

Шел Чалый из хирургического коридора. Он отлично бодро выглядел, даже уже не желтый. Лишь и было в нем от больного, что — пижама больничная да тапочки.

Павел Николаевич весело пожал ему руку и сказал:

— Вот, Капа, — герой больничного фронта, знакомься! Желудок ему отхватили, а он только улыбается.

Знакомься с Капитолиной Матвеевной, Чалый изящно как-то состукнул пятками, а голову отклонил на бок — отчасти почтительно, отчасти игриво.

— Телефончик же, Паша! Телефончик-то оставь! — тербил Чалый.

Павел Николаевич сделал вид, что в дверях замешкался и может быть не дослышал. Хороший был Чалый человек, но все-таки другого круга, других представлений, и может быть не очень солидно было связываться с ним. Русанов искал, как бы поблагодарней ему отказать.

Вышли на крыльцо, и Чалый сразу окинул «москвича», уже развернутого Лавриком к движению. Оценил глазами и не спросил: «твоя»? а сразу:

— Сколько тысяч прошла?

— Да еще пятнадцати нет.

— А чего же резина такая плохая?

— Да вот попалась такая... Делают так, работнички..

— Так тебе достать?

— А ты можешь?! Максим!

— Еж твою еж! Да шутя! Пиши и мой телефон, пиши! — тыкал он в грудь Русанову пальцем. — Как отсюда выпишусь — в течение недели гарантирую.

Не пришлось и причины придумывать! Вырвал Павел Николаевич из записной книжечки листик и написал Максиму служебный свой и домашний свой.

— Все, порядочек! Будем звонить! — прощался Максим.

Майка пригнула на переднее, а родители сели сзади.

— Будем дружить! — подбадривал их Максим на прощанье.

Хлопнули дверцы.

— Будем жить! — кричал Максим, держа руку, как «рот фронт».

— Ну? — экзаменовал Лаврик Майку. — Что сейчас делать? Заводить?

— Нет! Сперва проверить, не стоит ли на передаче! — тарахтела Майка.

Они поехали, еще кое-где разбрызгивая лужи, завернули за угол ортопедического. Тут в сером халате и сапогах прогулочно, не торопясь, шел долговязый больной как раз посредине асфальтового проезда.

— А ну-ка, гудни ему как следует! — успел заметить и сказать Павел Николаевич.

Лаврик коротко сильно гуднул. Долговязый резко свернул и обернулся. Лаврик дал газу и прошел в десяти сантиметрах от него.

— Я его звал — Оглоед. Если бы вы знали, какой неприятный, завистливый тип. Да ты его видела, Капа.

— Что ты удивляешься, Пасик! — вздохнула Капа. — Где счастье, там и зависть. Хочешь быть счастливым — без завистников не проживешь.

— Классовый враг, — бурчал Русанов. — В другой бы обстановке...

— Так давить его надо было, что ж ты мне сказал — гудеть? — смеялся Лаврик и на миг обернулся.

— Ты — не смей головой вертеть! — испугалась Капитолина Матвеевна.

И правда, машина вильнула.

— Ты не смей головой вертеть! — повторила Майка и звонко смеялась. — А мне можно, мама? — И крутила головку назад то через лево, то через право.

— Я вот его не пуцку девушек катать, будет знать!

Когда выезжали из медгородка, Капа отвертела стекло и, выбрасывая что-то мелкое через окно назад, сказала:

— Ну, хоть бы не возвращаться сюда, будь он проклят! Не оборачивайтесь никто!

А Костоглотов им вслед матюгнулся всласть, длинным коленом.

Но вывод сделан такой, что это — правильно: надо и ему выписываться обязательно утром. Совсем ему неудобно среди дня, когда всех выписывают — никуда не успеешь.

А выписка ему была обещана на завтра.

Разгорался солнечный ласковый день. Все быстро прогревалось и высыхало. В Уш-Тереке тоже уже, наверно, копают огороды, чистят арыки.

Он гулял и размечтался. Счастье какое: в лютый мороз уезжал умирать, а сейчас вернется в самую весну — и мож-

но свой огородик посадить. Это большая радость: в землю что-то тыкать, а потом смотреть, как вылезает.

Только все на огородах по двое, а он будет один.

Он гулял-гулял и придумал: идти к старшей сестре. Прошло время, когда Мита осаживала его, что «мест нет» в клинике. Уже давно они сознакомились.

Мита сидела в своей подлестничной каморке без окна, при электрическом свете — после двора и легким, и глазам непереносимо тут было — и из стопки в стопку перекладывала и перекладывала какие-то учетные карточки.

Костоглотов, пригнувшись, влез в усеченную дверь и сказал:

— Мита! — У меня просьбочка. Очень большая.

Мита подняла длинное немягкое лицо. Такое вот нескладное лицо досталось девушке от рождения, и никто потом до сорока лет не тянулся его поцеловать, ладонью погладить, и все ласковое, что могло его оживить, так и не выразилось никогда. Стала Мита — рабочая лошадка.

— Какая?

— Мне выписываться завтра.

— Очень рада за вас! — Она добрая была Мита, только по первому взгляду сердитая.

— Не в том дело. Мне надо за день в городе сделать много, вечером же и уехать. А одежду со склада очень поздно приносят. Как бы, Миточка, так сделать: принести мои вещички сегодня, засунуть их куда-нибудь, а я утром бы рано-рано переоделся и ушел.

— Вообще нельзя, — вздохнула Мита. — Низамутдин если узнает...

— Да не узнает! Я понимаю — что это нарушение, но ведь, Миточка, только в нарушениях человек и живет!

— А вдруг вас завтра не выпишут?

— Вера Корнильевна точно сказала.

— Все-таки, надо от нее знать.

— Ладно, я к ней сейчас схожу.

— Да вы новость-то знаете?

— Нет, а что?

— Говорят, нас всех к концу года распустят! Просто упорно говорят! — некрасивое лицо ее сразу помилело, как только она заговорила об этом слухе.

— А кого — н а с? В а с?

— Да вроде и н а с, и в а с! Вы не верите? — с опаской ждала она его мнения.

Олег почесал темя, искривился, глаз один совсем зажал:

— М-может быть. Вообще-то — не исключено. Но сколько я этих п а р а ш уже пережил — уши не выдерживают.

— Но теперь очень точно, очень точно говорят! — Ей так хотелось верить, ей нельзя было отказать!

Олег заложил нижнюю губу за верхнюю, размышлял. Конечно, что-то зрело. Верховный Суд полетел. Только медленно слишком, за месяц больше ничего, и опять не верилось. Слишком медленна история для нашей жизни, для нашего сердца.

— Ну, дай Бог, — сказал он, больше для нее. — И что ж вы тогда? Уедете?

— Не зна-аю, — почти без голоса выговорила Мита, расставив пальцы с крупными ногтями по надоевшим истрепанным карточкам.

— Вы ведь — из-под Сальска?

— Да.

— Ну, разве там лучше?

— Сво-бо-да, — прошептала она.

А верней-то всего — в своем краю надеялась она еще замуж выйти?

Отправился Олег искать Веру Корнильевну. Не сразу ему это удалось: то она была в рентгенокабинете, то у хирургов. Наконец, он увидел как она шла со Львом Леонидовичем по коридору — и стал их нагонять.

— Вера Корнильевна! Нельзя ли вас на одну минуточку?

Приятно было обращаться к ней, говорить что-нибудь специально для нее, и он замечал, что голос его к ней был не тот, что ко всем.

Она обернулась. Инерция занятости так ясно выражалась в наклоне ее корпуса, в положении рук, в озабоченности лица. Но тут же с неизменным ко всем вниманием, она и задержалась.

— Да?..

И не добавила «Костоглотов». Только в третьем лице, врачам и сестрам, она называла его так. А прямо — никак.

— Вера Корнильевна, у меня к вам просьба большая... Вы не можете Мите сказать, что я точно завтра выписываюсь.

— А зачем?

— Очень нужно. Видите, мне завтра же вечером надо уехать, а для этого...

— Лева, ладно, ты иди! Я сейчас тоже приду.

Лев Леонидович пошел покачиваясь и сутулясь, с руками, упертыми в передние карманы халата, и со спиной, распирающей завязки. А Вере Корнильевна сказала Олегу:

— Зайдите ко мне.

И пошла перед ним. Легкая. Легко-сочлененная.

Она завела его в аппаратную, где когда-то он так долго препирался с Донцовой. И за тот же плохо строганный стол села, и ему показала туда же. Но он остался стоять.

А больше — никого не было в комнате. Проходило солнце сюда наклонным золотым столбом с пляшущими пылинками, и еще отражалось от никелированных частей аппаратов. Было ярко, хоть жмурься, и весело.

— А если я вас завтра не успею выписать? Вы знаете, ведь надо писать эпикриз.

Он не мог понять: она совершенно служебно говорила или немножко с плутоватостью.

— Или — что?

— Эпикриз — это выводы из всего лечения. Пока не готов эпикриз — выписывать нельзя.

Сколько громоздилось дел на этих маленьких плечах! — везде ее ждали и звали, а тут еще он оторвал, а тут еще писать эпикриз.

Но она сидела — и светилась. Не одна она, не только этим благоприязненным, даже ласковым взглядом — а отраженный яркий свет охватывал ее фигурку рассеянными веерами.

— Вы что ж, хотите сразу уехать?

— Не то, что хочу, я бы с удовольствием и остался. Да негде мне ночевать. На вокзале не хочу больше.

— Да, ведь вам в гостинице нельзя, — кивала она. И нахмурилась: — Вот беда: эта нянечка, у которой всегда больные останавливаются, сейчас не на работе, бюллетенит. Что же придумать?.. — тянула она, потрепала верхнюю губу нижним рядом зубов и рисовала на бумаге какой-то кренделек. — Вы знаете... собственно... вы вполне могли бы остановиться... у меня.

Что?? Она это сказала? Ему не послышалось? Как бы это повторить?

Ее щеки порозовели явно. И все так же она избегала взглянуть. А говорила совсем просто, как если бы это будничное было дело — чтобы больной шел ночевать к врачу:

— Как раз завтра у меня такой день необычный: я буду утром в клинике только часа два, а потом весь день дома, а с обеда опять еду... Мне очень удобно будет у знакомых переночевать...

И — посмотрела! Рдели щеки, глаза же были светлы, безгрешны. Он — верно ли понял? Он — достоин ли того, что ему предложено?

А Олег просто не умел понять. Разве можно понять, когда женщина так говорит?.. Это может быть и очень много, и гораздо меньше. Но он не думал, некогда было думать: она смотрела так благородно и ждала.

— Спа-сибо, — выговорил он. — Это... конечно, замечательно. — Он совсем забыл, как учили его сто лет назад, еще в детстве, держаться галантно, отвечать учтиво. — Это — очень хорошо... Но как же я могу вас лишить... Мне известно.

— Вы не беспокойтесь, — с утвердительной улыбкой говорила Вера. — Нужно будет на два-три дня — мы что-нибудь придумаем тоже. Ведь вам же жалко уезжать из города?

— Да жалко, конечно... Да! Тогда только справку о выписке придется писать не завтрашним днем, а послезавтрашним! А то комендатура меня потянет — почему я не уезжаю. Еще опять посадят.

— Ну, хорошо, хорошо, будем мухлевать. Значит, Мите сказать — сегодня, выписать завтра, а в справке написать — послезавтра? Какой вы сложный человек.

Но глаза ее не ломило от сложности, они смеялись.

— Я ли сложный, Вера Корнильевна! Система сложная! Мне и справок-то нужно не как всем людям — по одной, а — две.

— Зачем?

— Одну комендатура заберет в оправдание поездки, а вторая — мне.

(Комендатуре-то он, может, еще и не отдаст, будет кричать, что одна, но — запас надо иметь? Зря он муку принимал из-за справочки?..)

— И еще третья — для вокзала. — На листке она записала несколько слов. — Так вот мой адрес. Объяснить, как пройти?

— Найду-у, Вера Корнильевна!

(Нет, серьезно она думала...? Она приглашала его по настоящему?)

— И... — еще несколько уже готовых продолговатых листиков она приложила к адресу. — Вот те рецепты, о которых говорила Людмила Афанасьевна. Несколько одинаковых, чтобы рассредоточить дозу.

Т е рецепты, т е!

Она сказала как о незначущем. Так, маленькое добавление к адресу. Она умудрилась, два месяца его леча, ни разу о б э т о м не поговорить.

Вот это и был, наверно, такт.

Она уже встала. Она уже к двери шла.

Служба ждала ее. Лева ждал...

И вдруг в рассеянных веерах света, забившего всю комнату, он увидел ее, беленькую, легонькую, переуженную в поясе, как првый раз только сейчас — такую понимающую, дружественную и — необходимую! — Как первый раз только сейчас!

И ему весело стало, и откровенно очень. Он спросил:

— Вера Корнильевна! А за что вы на меня так долго сердились?

Из светового охвата она смотрела с улыбкой, почему-то мудрой:

— А разве вы ни в чем не были виноваты?

— Нет.

— Ни в чем?

— Ни в чем!

— Вспомните хорошо.

— Не могу вспомнить. Ну, хоть намекните!

— Надо идти.

Ключ у нее был в руке. Надо было дверь запирать. И уходить.

А так было с ней хорошо! — хоть сутки стой.

Она уходила по коридору, маленькая, а он стоял и смотрел вслед.

И сразу опять пошел гулять. Весна разгоралась — надышаться нельзя. Два часа бестолково ходил, набирал, набирал воздуха, тепла. Уже жалко ему было покинуть и этот сквер, где он был пленником. Жалко было, что не при нем расцветут японские акации, не при нем распусят первые поздние листья дуба.

Что-то и тошноты он сегодня не испытывал, и не испытывал слабости. Ему бы вполне с охоткой покопать сейчас земличку. Чего-то хотелось, чего-то хотелось — он сам не знал. Он заметил, что большой палец сам прокатывается по указательному, прося папиросу. Ну нет — хоть во сне снись — бросили, все!

Находившись, он пошел к Мите. Мита — молодец: сумка Олега уже была получена и спрятана в ванной, а ключ от ванной будет у старой нянечки, которая заступит дежурить с вечера. А к концу рабочего дня надо пойти в амбулаторию, получить все справки.

Его выписка из больницы принимала очертания неотвратимые.

Не последний раз, но из последних он поднялся по лестнице.

И наверху встретил Зою:

— Ну, как делишки, Олег? — спросила Зоя непри-
нужденно.

Она удивительно неподдельно, совсем в простоте усвоила этот простой тон. Как будто не было между ними никогда ничего: ни ласковых прозвищ, ни танца из «Бродяги», ни кислородного баллона.

И, пожалуй, она была права. А что ж — все время напоминать? помнить? дуться?

С какого-то ее вечернего дежурства он не пошел около нее околачиваться, а лег спать. С какого-то вечера она как ни в чем не бывало пришла к нему со шприцем, он отвернулся и дал ей колоть. И то, что нарастало между ними, такое тугое, напряженное как кислородная подушка, которую они несли когда-то между собой — вдруг стало тихо опадать. И превратилось в ничто. И осталось — дружеское приветствие:

— Ну, как делишки, Олег?

Он оперся о стул ровными длинными руками, свесил черную лохму.

— Лейкоцитов две тысячи восемьсот. Рентгена второй день не дают. Завтра выписываюсь.

— Уже завтра? — порхнула она золотенькими ресницами. — Ну, счастливо! Поздравляю!

— Да есть ли с чем?..

— Вы неблагодарный! — покачала Зоя головой. — Ну-ка, вспомните хорошо ваш первый день здесь, на площадке! Вы — думали жить больше недели?

Тоже правда.

Да нет, она славная девчонка, Зойка: веселая, работающая, искренняя, что думает — то и говорит. Если выкинуть эту неловкость между ними, будто они друг друга обманули, если начать с чистого места — что мешает им быть друзьями?

— Вот так, — улыбнулся он.

— Вот так, — улыбнулась она.

О мулине больше не напоминала.

Вот и все. Четыре раза в неделю она будет тут дежурить. Зубрить учебники. Редко выпивать. А там, в городе — с кем-то стоять в тени после танцев.

Нельзя же сердиться на нее за то, что ей двадцать два года и она здорова до последней клеточки и кровинки.

— Счастливо! — сказал он без всякой обиды.

И уже пошел. Вдруг с той же легкостью и простотой она окликнула:

— Оле, Олег!

Он обернулся.

— Вам, может, переночевать будет негде? Запишите мой адрес.

(Как? И она?)

Олег смотрел недоуменно. Понять это — было выше его разумения.

— Очень удобно, около самой трамвайной остановки. Мы с бабушкой вдвоем, но и комнатухи две.

— Спасибо большое, — растерянно принял он клочек бумажки. — Ну, вряд ли... Ну, как придется...

— Ну, вдруг? — улыбалась она.

В общем, в тайге б он легче разобрался, чем среди женщин.

Ступил он еще два шага и увидел Сибгатова, тоскливо лежащего на спине на твердом щите в своем затхлом углу вестибюля. Даже в сегодняшний буйно-солнечный день, сюда попадали только десятые отражения.

Смотрел Сибгатов в потолок, в потолок.

Похудел он за эти два месяца.

Костоглотов присел к нему на край щита.

— Шараф! Ходят слухи упорные: всю ссылку распустят. И — с п е ц и — а д м.

Шараф головы к Олегу не повернул, глаза только одни. И как будто ничего не принял, кроме звука голоса.

— Слышишь? И вас, и нас. Точно говорю.

А он — не понимал.

— Не веришь?.. Домой поедешь?

Увел Сибгатов глаза на свой потолок. Растворил безучастные губы.

— Мне — раньше надо было.

Олег положил ему руку на руку, а та была на груди, как у мертвеца.

Мимо них бойко проскочила в палату Нелля:

— Тут у вас тарелочков не осталось? — и оглянулась: — Э, чубатый! А ты чего не обедаешь? А ну, тарелки освобождай, ждуть тебя?

Вот это да! — Пропустил Костоглотов обед и даже не заметил. Домотало его! Только одного он не понял:

— Тебе-то что?

— Как что? Я — раздатчица теперь! — объявила гордо Нелля, — халат, видишь, чистый какой?

Поднялся Олег — пойти похлебать свой последний больничный обед. Вкрадчивый, невидимый и беззвучный, выжиг

в нем рентген всякий аппетит. Но по арестантскому кодексу невозможно было оставить в миске.

— Давай, давай, управляйся быстро! — командовала Нелля.

Не только халат — у нее по-новому были и локоны закручены.

— Вот ты какая теперь! — удивился Костоготов.

— А то! Дура я за триста пятьдесят по полу елозить! Да еще и не подкормишься...

34.

Как, наверно, у старика, пережившего сверстников, бывает тоскливая незаполненность — «пора, пора уходить и мне», так и Костоготову в этот вечер в палате уже не жилось, хотя койки были все заполнены, и люди — все люди, и заново поднимались как новые те же вопросы: рак или не рак? излечивают или нет? и какие другие средства помогают?

К концу дня последний ушел Вадим: привезли золото, и его перевели в радиологическую палату.

Только и осталось Олегу пересматривать кровати и вспоминать, кто тут лежал с самого начала и сколько из них умерло. Получалось, что и умерло как будто немного.

Так душно было в палате и так тепло снаружи, что Костоготов лег спать с приоткрытым окном. Воздух весны переваливал на него через подоконник. Весеннее оживление слышалось и из маленьких двориков старых домишек, которые теснились вприлепку к стене медгородка с той стороны. Жизнь этих двориков через кирпичную стену городка не была видна, но сейчас хорошо слышались то хлопанье дверей, то крик детей, то пьяный зык, то гнусавая патефонная пластинка, а уже поздно после отбоя донесся женский сильный низкий голос, выводящий враспяжку, то ли с надрывом, то ли с удовольствием:

И шахте-ора молодого-ого
На кварти-иру привела-а...

Все песни пели — о том же. Все люди думали — о том же. А Олегу надо было — о чем-нибудь другом.

Именно в эту ночь, когда встать предстояло рано и силы надо было беречь, Олег совсем не мог заснуть. Прово-

лаживалось через его голову все нужное и ненужное: недо-споренное с Русановым; недосказанное Шулубиним; и еще Вадиму какие надо было высказать аргументы; и голова уби-того Жука; и оживленные лица Кадминых при желтой керо-синовой лампе, когда он будет выкладывать им миллион городских впечатлений, а у них будут новости аульные и какие они за это время слышали музыкальные передачи — и приплюснутая хибарка будет казаться им троим наполнен-ною вселенной; потом рассеянно-надменное выражение во-семнадцатилетней Инны Штрем, к которой теперь Олег и подойти не посмеет; а эти два приглашения — два женских приглашения остаться ночевать, еще и от них ломило голову: как нужно было правильно их понимать?

В том ледяном мире, который отформовал, отштамповал Олегову душу не было такого явления, такого понятия: «не-расчетливая доброта». И Олег — просто забыл о такой. И теперь ему чем угодно было легче объяснить это приглаше-ние, чем простой добротой.

Что они имели в виду? и как он должен был поступить? — ему не было понятно.

С боку на бок, с боку на бок, и пальцы разминали не-видимую папиросу...

Поднялся Олег и потащился пройтись.

В полутьме вестибюля, сразу у двери, в своем обычном тапике на полу сидел Сибгатов, отстаивая свой крестец — уже не с терпеливой надеждой, как прежде, а с замороженной безнадежностью.

А за столиком дежурной сестры, спиной к Сибгатову, склонилась у лампы узкоплечая невысокая женщина в белом халате. Но это не была ни одна из сестер — дежурил сегодня Тургун и, наверно, он уже спал в комнате врачебных заседаний. Это была та диковинная воспитанная санитарка в очках, Елизавета Анатольевна. Она успела уже за вечер все дела переделать и вот сидела, читала.

За два месяца, которые пробыл тут Олег, эта стара-тельная санитарка с лицом, полным быстрого смысла, не раз ползала под их кроватями, моя пол, когда все они, боль-ные, лежали поверх; она передвигала там, в глубине тай-мые сапоги Костоглотова, не побранясь ни разу; еще она об-тирала тряпками стенные панели, опорожняла плеватель-ницы и начищала их до сверкания; разносила больным банки с наклейками; и все то тяжелое, неудобное и не чистое, что не положено было брать в руки сестре, она приносила и уносила.

И чем она безропотнее работала, тем меньше ее в кор-

пуге замечали. Две тысячи лет уже, как сказано, что иметь глаза — не значит видеть.

Но тяжелая жизнь углубляет способности зрения. И были тут, в корпусе, такие, кто друг друга сразу опознавали. Хотя не было им учреждено среди остальных ни погон, ни явной формы, ни нарукавной повязки — а они легко опознавали друг друга: как будто по какому-то светящемуся знаку во лбу; как будто по стигматам на костях ладони и плюсны. (На самом деле тут была тьма примет: слово оброненное одно; тон этого слова; пожимка губ между словами; улыбка, когда другие серьезны; серьезность, когда другие смеются). Как узбеки или каракалпаки без труда признавали в клинике своих, так и эти, на кого хоть однажды упала тень колючей проволоки.

И Костоглотов с Елизаветой Анатольевной давно друг друга признали, уже давно понимающе здоровались друг с другом. А вот поговорить не сошлось им ни разу.

Теперь Олег подошел к ее столику, слышно хлопая шлепанцами, чтобы не испугать.

— Добрый вечер, Елизавета Анатольевна!

Она читала без очков. Повернула голову — и самый поворот этот уже чем-то неназываемым отличался от ее всегда готовного поворота на зов службы.

«Добрый вечер, — улыбнулась она со всем достоинством немолодой дамы, которая под устойчивым кровом приветствует доброго гостя.

Доброжелательно, не торопясь, они посмотрели друг на друга. Выражалось этим, что они всегда готовы друг другу помочь. Но что помочь — не могут.

Олег избочился кудлатой головой, чтоб лучше видеть книгу.

— И опять французская? И что же именно?

Странная санитарка ответила, мягко выговаривая «Л».

— Клод Фаррер.

— И где вы все французские берете?

— А в городе есть иностранная библиотека. И еще у одной старушки беру.

Костоглотов косился на книгу, как пес на птичье чучело:

— А почему всегда французские?

Лучевые морщинки близ ее глаз и губ выражали и возраст, и замученность, и ум.

— Не так больно, — ответила она. Голос ее был постоянно негромок, выговор мягкий.

— А зачем боли бояться? — возразил Олег.

Ему было трудно стоять долго. Она заметила и подвинула ему стул.

— У нас в России сколько? — лет двести уже наверно ахают: Париж! Париж! Все уши прогудели, — ворчал Костоглотов. — Каждую улицу, каждый кабачок мы должны им наизусть знать. А мне вот назло — совсем не хочется в Париж!

— Совсем не хочется? — засмеялась она, и он за ней. — Лучше под комендатуру?

Смех у них был одинаковый: как будто и начали, а дальше не тянется.

— Нет, правда, — брюзжал Костоглотов. — В щебетанье их, и распухание быстрее и раж, и какая-то легкомысленная перебросочка. Так и хочется их осадить: эй, друзья! а — вкалывать вы как? а на черняшке без приварка, а?

— Это несправедливо. Значит, они ушли от черняшки. Заслужили.

— Ну, может быть. Может, это я от зависти. А все-таки, осадить хочется.

Сидя на стуле, Костоглотов переваливался то вправо, то влево, будто тяготился излишне-высоким туловищем. Без всякого перехода он естественно и прямо спросил:

— А вы — за мужа? Или сами по себе?

Так же сразу и прямо ответила и она, будто он ее о дежурстве спрашивал:

— Всей семьей. Кто за кого — не поймешь.

— И сейчас все вместе?

— О, нет! Дочь в ссылке умерла. После войны переехали сюда. Отсюда мужа взяли на второй круг. В лагерь.

— И теперь вы одна?

— Сынишка. Восемь лет.

Олег смотрел на ее лицо, не задрожавшее к жалости.

Ну, да ведь они о деловом говорили.

— На второй — в сорок девятом?

— Да.

— Нормально. А какой лагерь?

— Станция Тайшет.

Опять кивнул Олег:

— Ясно. Озерлаг. Он может быть и у самой Лены, а почтовый ящик — Тайшет.

— И вы там были?? — вот надежды сдержать она не могла!

— Нет. Но просто знаю. Все ж пересекаются.

— Дузарский!? Не встречали?.. Нигде?..

Она все-таки надеялась! Встречал... Сейчас расскажет...

— Дузарский?.. — чмокнул Олег. — Нет, не встречал. Всех не встретишь.

— Два письма в год! — пожаловалась она.

Олег кивал. Все нормально.

— А в прошлом году пришло одно. В мае. И с тех пор нет...

И вот уже дрожала на одной ниточке, на одной ниточке. Женщина!

— Не придавайте значения! — уверенно объяснял Костоготов. — От каждого два письма в год — это знаете, сколько тысяч? А цензура ленивая. В Спасском лагере пошел печник, зэк, проверять печи летом — и в цензурной печке сотни две неотправленных писем нашел. Забыли поджечь.

Уж как он ей мягко объяснял и как она давно ко всему должна была привыкнуть — а смотрела сейчас на него диковато-испуганно.

Неужели так устроен человек, что нельзя отучить его удивляться?

— Значит, сынишка в ссылке родился?

Она кивнула.

— И теперь на вашу зарплату надо его поставить? А на высшую работу нигде не берут? Везде попрекают? В какой-нибудь конурке живете?

Он вроде спрашивал, но вопроса не было в его вопросах. И так это все было ясно до кислоты в челюстях.

На толстенькой переплетенной книжечке изящного малого формата, не нашей бумаги, с легко-зазубристыми краями от давнишнего разреза страниц, Елизавета Анатольевна держала свои небольшие руки, измочаленные стирками, половыми тряпками, кипятками, и еще в синяках и порубах.

— Если бы только в этом, что конура! — говорила она. — Но вот беда: растет умный мальчик, обо всем спрашивает — и как же его воспитывать? Нагружать всей правдой? Да ведь от нее и взрослый потонет! Ведь от нее и ребра разорвет! Скрывать правду, примирять его с жизнью? Правильно ли это? Что сказал бы отец? Да еще и удастся ли? — мальчонка ведь и сам смотрит — видит.

— Нагружать правдой! — Олег уверенно вдавил ладонь в настольное стекло. Он так сказал, будто сам вывел в жизнь десятки мальчишек и без промаха.

Она выгнутыми кистями подперла виски под косынку и тревожно смотрела на Олега. Коснулись ее нерва?

— Так трудно воспитывать сына без отца! Ведь для

этого нужен постоянный стержень жизни, стрелка — а где ее взять? Вечно сбиваешься — туда, сюда...

Олег молчал. Он и раньше слышал, что это так, а понять не мог.

— И вот почему я читаю старые французские романы, да впрочем, только на ночных дежурствах. Я не знаю, умоляли они о чем-нибудь более важном или нет, шла в то время за стенами такая жестокая жизнь или нет — не знаю и читаю спокойно.

— Наркоз?

— Благоедеяние, — повела она головой белой монашки. — Близко я не знаю книг, какие бы не раздражили. В одних — читателя за дурака считают. В других — лжи нет, авторы поэтому очень собой гордятся. Они глубокомысленно исследуют, какой проселочной дорогой проехал великий поэт в тысяча восемьсот таком-то году, о какой даме упоминает он на странице такой-то. Да может это им и нелегко было выяснить, но как безопасно! Они выбрали участь благу! И только до живых, до страдающих сегодня — дела им нет.

Ее в молодости могли звать Лиля. Эта переносица еще не предполагала себе вмятины от очков. Девушка строила глазки, фыркала, смеялась, в ее жизни были и сирень, и кружева, и стихи символистов — и никакая цыганка никогда ей не предсказала кончить жизнь уборщицей где-то в Азии.

— Все литературные трагедии мне кажутся смехотворными по сравнению с тем, что переживаем мы, — настаивала Елизавета Анатольевна. — Аиде разрешено было спуститься к дорогому человеку и с ним вместе умереть... А нам не разрешают даже узнать о нем. И если я поеду в Озерлаг...

— Не езжайте! Все будет зря!

— ...Дети в школах пишут сочинения: о несчастной, трагической, загубленной, еще какой-то жизни Анны Карениной. Но разве Анна была несчастна? Она избрала страсть — и заплатила за страсть, это счастье! Она была свободный гордый человек! А вот если в дом, где вы родились и живете отроду, входят в мирное время шинели и картузы — и приказывают всей семье в двадцать четыре часа покинуть этот дом и тот город только с тем, что могут унести ваши слабые руки?..

Все, что эти глаза могли выплакать — они выдали давно, и вряд ли оттуда еще могло течь. И только, может быть, на последнюю анафему еще мог вспыхнуть напряженный сухой огонек.

— ...Если вы распахиваете двери и зовете прохожих с

улицы, чтоб, может, что-нибудь купили бы у вас, нет — швырнули б вам медяков на хлеб! И входят нанюханые коммерческие люди, все на свете знающие, кроме того, что и на их голову еще будет гром! — и за рояль вашей матери бесстыдно дают сотую долю цены, — а девочка ваша с бантом на голове последний раз садится сыграть Моцарта, но плачет и убегает, — зачем мне перечитывать «Анну Каренину»? Может быть, мне хватит и этого?.. Где мне о н а с прочесть, о н а с? Только через сто лет?

И хотя она почти перешла на крик, но тренировка страха многих лет не выдала ее: она не кричала, это не крик был. Только и слышал ее — Костоготов.

Да может еще Сибгатов из тазика.

Не так было много примет в ее рассказе, но и не так мало.

— Ленинград? — узнает Олег. — Тридцать пятый год.

— Узнаете?

— На какой улице вы жили?

— На Фурштадской, — жалобно, но и чуть радостно протянула Елизавета Анатольевна. — А вы?

— На Захарьевской. Рядом.

— Рядом... И сколько вам тогда было лет?

— Четырнадцать.

— И ничего не помните?

— Мало.

— Не помните? Как будто землетрясение было — на-распашку квартиры, кто-то входил, брал, уходил, никто никого не спрашивал. Ведь четверть города выселили. А вы — не помните?..

— Нет, помню. Но вот позор: это не казалось самым главным. В школе нам объясняли, зачем это нужно, почему полезно.

Как кобылка, туго занузданная, стареющая санитарка поводила головой вверх и вниз:

— О блокаде — все будут говорить! О блокаде — поэмы пишут? Это разрешено. А до блокады как будто ничего не было.

Да, да. Вот так же в тазике грелся Сибгатов, вот на этом месте Зоя сидела, а на этом же — Олег, и за этим столиком, при этой лампе они разговаривали — о блокаде, о чем же?

До блокады ведь ничего в том городе не случилось.

Олег вздохнул, боковато подпер голову локтем и удрученно смотрел на Елизавету Анатольевну.

— Стыдно, — сказал он тихо. — Почему мы спокойны,

пока не трахнет нас самих и наших близких? Почему такой человеческий характер?

А еще ему стало стыдно, что выше памирских пиков вознес он эту пытку: что надо женщине от мужчины? не меньше — чего? Как будто на этом одном заострилась жизнь. Как будто без этого не было на его родине ни муки, ни счастья.

Стыдно стало — но и спокойней гораздо. Чужие беды, откатывая, смывали с него свою.

— А за несколько лет до этого, — вспомнила Елизавета Анатольевна, — выселяли из Ленинграда дворян. Тоже сотенку тысяч, наверно, — а мы очень заметили? И какие уж там оставались дворяншечки? — старые да малые, беспомощные. А мы знали, смотрели и ничего: нас ведь не трогали.

— И рояли покупали?

— Может быть и покупали. Конечно, покупали.

Теперь-то Олег хорошо разглядел, что женщине этой еще не было и пятидесяти лет. А уже пла она по лицу за старушку. Из-под белой косынки вывисала по-старчески гладкая, бессильная к завиву космочка.

— Ну, а вас когда выселяли — за что? как считалось?

— Да за что же — соцвреды. Или СОЭ — социально-опасный элемент. Литерные статьи, без суда, удобно.

— Ваш муж — кто был?

— Никто. Флейтист филармонии. В пьяном виде любил порассуждать.

Олегу вспомнилась его покойная мать — вот такая же ранняя старушка, такая же суетливо-интеллигентная, такая же беспомощная без мужа.

Жили бы в одном городе — он мог бы этой женщине чем-то помочь. Сына направить.

Но как насекомым, приколотым в отъединенных клеточках, каждому была определена своя.

— В знакомой нашей семье — уже теперь, прорвавшись, рассказывала и рассказывала намолчавшаяся душа, — были взрослые дети, сын и дочь, оба пламенные комсомольцы. И вдруг — всю семью назначили к высылке. Дети бросились в райком комсомола: «защитите!». «Защитим, — сказали там. — Нате бумагу, пишите: прошу с сего числа не считать меня сыном, дочь — такую-то, такую-то, отрекаюсь от них как социально-вредных элементов и обещаю в дальнейшем ничего общего с ними не иметь, никаких связей не поддерживать».

Сгорбился Олег, выперли его костлявые плечи, голова свесилась.

— И многие писали...

— Да. А эти брат и сестра сказали: подумаем. Пришли домой, кинули в печку комсомольские билеты и стали собираться в ссылку.

Зашевелился Сибгатов. Держась о кровать, он вставал из тазика.

Санитарка подхватилась взять тазик и вынести.

Олег тоже поднялся и перед тем как ложиться спать, побрел неизбежной лестницей вниз.

В нижнем коридоре он проходил мимо той двери, где Демка лежал, а вторым был у него послеоперационный, умерший в понедельник, и вместо него после операции положили Шулубина.

Дверь эта закрывалась плотно, но сейчас была приоткрыта, и внутри темно. Из темноты слышался тяжелый хрип. А сестер никого не было видно: или при других больных, или спали.

Олег больше открыл дверь и просунулся туда.

Демка спал. Это стонуце хрипел Шулубин.

Олег вошел. Приоткрытая дверь давала немного света из коридора.

— Алексей Филиппыч!..

Хрип прекратился.

— Алексей Филиппыч!.. Вам плохо?

— А? — вырвалось как хрип же.

— Вам плохо?.. Дать что-нибудь?.. Свет зажечь?

— Кто это? — испуганный выход в кашель, и новый захват стона, потому что каплять больно.

— Костоготов. Олег. — Он был уже рядом, наклонясь, и начинал различать на подушке большую голову Шулубина. — Что вам дать? Сестру позвать?

— Ни-че-го, — выдохнул Шулубин.

Не каплял больше и не стонал. Олег все более, все более различал, даже колечки волос на подушке.

— Весь не умру, — прошептал Шулубин. — Не весь умру.

Значит, бредил.

Костоготов напарил горячую руку на одеяле, слегка сдавил ее...

— Алексей Филиппыч, будете жить! Держитесь, Алексей Филиппыч!

— Осколочек, а?.. Осколочек?.. — шептал свое больной.

И тут дошло до Олега, что не бредил Шулубин, и даже узнал его, и напоминал о последнем разговоре перед опера-

цией. Тогда он сказал: «А иногда я так ясно чувствую: что во мне — это не все я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового Духа. Вы так не чувствуете?».

35.

Рано утром, когда еще все спали, Олег тихо поднялся, застелил кровать как требовалось — с четырьмя заворотами пододеяльника, и на цыпочках ступая тяжелыми сапогами, вышел из палаты.

За столом дежурной сестры, положив густоволосую черную голову на переплетенные руки поверх раскрытого учебника, спал сидя Тургун.

Старушка-няня нижнего этажа отперла Олегу ванную, и там он переоделся в свое, за два месяца уже какое-то и отчужденное: старенькие армейские брюки с напуском «галифе», полушерстяную гимнастерку, шинель. Все это в лагерях вылеживалось у него в калтерках — и так сохранилось, еще не изношенное до конца. А зимняя шапка его была гражданская, уже купленная в Уш-Тереке и мала ему очень, сдавливала. День ожидался теплый. Олег решил шапку совсем не надевать, уж очень обращала его в тучело. И ремнем опоясал он не шинель, а гимнастерку под шинелью, так что для улицы вид у него стал какого-то вольноотпущенника или солдата, сбжавшего с гаупвахты. Шапка же пошла в вещмешок — старый, с салными пятнами, с прожогом от костра, с залатанной дырой от осколка, этот фронтной вещмешок тетка принесла Олегу в передаче в тюрьму — он так попросил, чтобы в лагерь ничего хорошего не брать.

Но даже и такая одежда после больничной придавала осанку, бодрость и будто здоровье.

Костоглотов спешил скорее выйти, чтоб что-нибудь не задержало. Нянечка отложила брусок, задвинутый в ручку наружной двери, и выпустила его.

Он выступил на крылечко — и остановился. Он вдохнул — это был молодой воздух, еще ничем не всколыхнутый, не замутненный! Он взглянул — это был молодой зеленеющий мир! Он поднял голову выше — небо раздвигалось розовым от вставшего где-то солнца. Он поднял голову еще выше — веретена перистых облаков кропотливой, многовековой выделки были вытянуты через все небо — лишь на

несколько минут, пока расплывутся, лишь для немногих, запрокинувших головы, может быть — для одного Олега Костоглотова во всем городе.

А через вырезку, кружева, перышки, пену этих облаков — плыла еще хорошо видная, сверкающая, фигурная ладья ущербленного месяца.

Это было утро творения! Мир сотворялся снова для одного того, чтобы вернуться Олегу: иди! живи!

И только зеркальная чистая луна была — не молодая, не та, что ответит влюбленным.

И — лицом разойдясь от счастья, улыбаясь никому — небу и деревьям, в той ранневесенней, раннеутренней радости, которая вливается и в стариков, и в больных, Олег пошел по знакомым аллеям, никого не встречая, кроме старого подметальщика.

Он обернулся на раковый корпус. Полузакрытый длинными метлами пирамидальных тополей, корпус высился в своем светлосером кирпиче, штучка к штучке, несколько не постарев за семьдесят лет.

Олег шел — и прощался с деревьями медицинского городка. На кленах уже висели кисти-сережки. И первый уже цвет был — у алычи, цвет белый, но из-за листов алыча казалась бело-зеленой.

А вот урюка здесь не было ни одного. А он уже, сказали, цветет. Его хорошо смотреть в Старом городе.

В первое утро творения — кто же способен поступать благорассудно? Все планы ломая, придумывал Олег непутевое: сейчас же, по раннему утру, ехать в Старый город смотреть цветущий урюк.

Он прошел запретные ворота и увидел полупустую площадь с трамвайным кругом, откуда промоченный январским дождем, понурый и безнадежный, он входил в эти ворота умирать.

Этот выход из больничных ворот — чем он был не выход из тюремных?

В январе, когда Олег добивался больницы, визжащие, подскакивающие и перенабитые людьми трамваи замотали его. А сейчас, у свободного окна, даже дребезжание трамвая было ему приятно. Ехать в трамвае — был вид жизни, вид свободы.

Трамвай тянул по мосту через речку. Там, внизу, наклонились слабоногие ивы, и плети их, свисшие в желто-коричневой быстрой воде, уже были доверчиво зелены.

Озеленились и деревья вдоль тротуара, но лишь настолько, чтобы не скрыть собою домов — одноэтажных, прочно ка-

менных, неспешливо построенных неспешливыми людьми. Олег посматривал с завистью: и живут же какие-то счастливицы в этих домах! Шли удивительные кварталы: широченные тротуары, широченные бульвары. Ну да какой город не понравится, если смотреть его розовым ранним утром!

Постепенно кварталы сменялись: не стало бульваров, обе стороны улицы сблизились, замелькали дома торопливые, не гонкие за красотой и прочностью, эти уже строились, наверно, перед войной. И здесь Олег прочел название улицы, которое показалось ему знакомым.

Вот откуда знакомым: на этой улице жила Зоя!

Он достал блокнотик из шершавой бумаги, нашел номер дома. Стал опять смотреть в окно и на замедлении трамвая увидел сам дом: разнооконый, двухэтажный, с постоянно распахнутыми или навсегда выломанными воротами, и во дворе еще флигельки.

Вот, где-то здесь. Можно сойти.

Он совсем не бездомен в этом городе. Он зван сюда, зван девушкой!

И продолжал сидеть, почти с удовольствием принимая на себя толчки и громыхание. Трамвай был все так же непопон. Против Олега сел старый узбек в очках, не простой, древне-ученого вида. А получив от кондукторши билет, свернул его в трубку и засунул в ухо. Так и ехал, а из уха торчал скруток розовой бумаги. И от этой незамысловатости при въезде в Старый город, Олегу стало еще веселей и проще.

Улицы еще сузились, затеснились маленькие домишки, сбитые плечо к плечу, потом и окна у них исчезли, потянулись высокие глинобитные глухие дувалы, а если выше их выставлялись дома, то только спинами глухими, гладкими, обмазанными глиной. В дувалах мелькали калитки или туннелики — низкие, согнувшись войти. С подножки трамвая до тротуара остался один прыжок, а тротуары стали узкие в шаг один. Улица падала под трамваем.

И вот, наверно, и был тот Старый город, куда ехал Олег. Только никаких деревьев не росло на голых улицах, не то, что цветущего урюка.

Упускать дальше было нельзя. Олег сошел.

Все то же мог он теперь видеть, только со своего медленного хода. И без трамвайного дребезжания стало слышно — слышно железное какое-то постукивание. И скоро Олег увидел узбека в черной тюбетейке, в черном стеганом ватном халате и с розовым шарфом по поясу. Присев на корточки среди улицы, узбек на трамвайном рельсе одно-

колейного пути, отбивал молотком окружность своего чекменя.

Олег остановился с умилением: вот и атомный век! Еще и сейчас тут, как и в Уш-Тереке, так редок металл в хозяйстве, что не нашлось лучше места, чем на рельсе. Следил Олег, успеет ли узбек до следующего трамвая. Но узбек нисколько не торопился, он тщательно отбивал, а когда загудел снизу встречный трамвай, постороился на полшага, переждал и снова присел.

Олег смотрел на терпеливую спину узбека, на его поясной розовый шарф (забравший в себя всю розовость уже поголубевшего неба). С этим узбеком он не мог переброситься и двумя словами, но ощутил его как брата-работягу.

Отбивать чекмень весенним утром — это разве не была возвращенная жизнь?

— Хорошо!..

Он медленно шел, удивляясь, где же окна. Хотелось ему заглянуть за дувалы, внутрь. Но двери-калитки были прикрыты, и неудобно входить. Вдруг один проходик просветил ему насквозь. Олег нагнулся и по сыроватому тоннелю пришел во двор.

Двор еще не проснулся, но можно было понять, что тут-то и идет вся жизнь. Под деревом стояла врытая скамья, стол, разбросаны были детские игрушки, вполне современные. И водопроводная колонка здесь же давала влагу жизни. И стояло корыто стиральное. И все окна вкруговую — их много оказалось в доме, все смотрели сюда, во двор. А на улицу — ни одно.

Пройдя по улице, еще в другой двор зашел он через такой же тоннелек. И там все было так же, еще и молодая узбечка под лиловой накидкой с долгими тонкими черными косами до самых бедер возилась с ребятишками. Олега она видела — и не заметила. Он ушел.

Это было совсем не по-русски. В русских деревнях и городских все окна красных комнат выходят именно на улицу, и через оконные цветы и занавески, как из лесной засады, высматривают хозяйки, кто новый идет по улице, кто к кому зашел и зачем. Но сразу понял Олег и принял восточный замысел: как ты живешь — знать не хочу, и ты ко мне не заглядывай!

После лагерных лет, всегда на виду, всегда ощупанный, просмотренный и подгляженный — какой лучший образ жизни мог выбрать для себя бывший арестант?

Все больше ему нравилось в Старом городе.

Уже раньше он видел в проломе между домами безлюд-

ную чайхану с просыпающимся чайханщиком. Теперь попала еще одна на балконе, над улицей. Олег поднялся туда. Здесь уже сидело несколько мужчин в тибетейках ковровой, бордовой и синей, и старик в белой чалме с цветной вышивкой. А женщины — ни одной. И вспомнил Олег, что и прежде ни в какой чайхане он не видел женщин. Не было таблички, что женщинам воспрещено, но они не приглашались.

Олег задумался. Все было ново для него в этом первом дне новой жизни, все надо было понять. Собираясь отдельно, хотят ли мужчины этим выразить, что их главная жизнь идет и без женщин?

Он сел у перил. Отсюда хорошо было наблюдать улицу. Она оживлялась, но не было ни у кого торопливой городской побегки. Размеренно двигались прохожие. Бесконечно-спокойно сидели в чайхане.

Можно было так считать, что сержант Костоглотов, арестант Костоглотов, отслуживши и отбыв, что хотели от него люди, отмучившись, что хотела от него болезнь, — умер в январе. А теперь, пошатываясь на неуверенных ногах, вышел из клиники некий новый Костоглотов, «тонкий, звонкий и прозрачный», как говорили в лагере, вышел уже не на целую полную жизнь, но на жизнь-довесок — как хлебный довесок, приколотый к основной пайке сосновой палочкой: будто и входит в ту же пайку, а нет — кусочек отдельный.

Вот эту маленькую добавочную двуподанную жизнь сегодня начиная, хотел Олег, чтоб не была она похожа на прожитую основную. Он хотел бы теперь перестать ошибаться.

Но уже чайник выбирая — ошибся: надо было не мудрить и брать простой черный, проверенный. А он для экзотики взял к о к-чай, зеленый. В нем не оказалось ни крепости, ни бодрости, вкус какой-то нечайный, и набравшиеся в пиалу чайки никак не хотелось глотать, а сплескивать.

А между тем, день разгорался, солнце поднималось, Олег уже не прочь был и поесть — но в этой чайхане ничего не было кроме двух горячих чаев, да и то без сахара.

Однако, перенимая бесконечно-неторопливую здешнюю манеру, он не встал, не пошел искать еды, а остался посидеть, еще по-новому переставив стул. И тогда с балкона чайханы он увидел над соседним закрытым двором прозрачный розовый как бы одуванчик, только метров шесть в диаметре — невесомый воздушный розовый шар. Такого большого и розового он никогда не видел в росте!

Урюк??..

Усваивал Олег: вот и награда за неторопливость. Значит: никогда не рвись дальше, не посмотрев рядом.

Он к самым перилам подошел и отсюда, сверху, смотрел, смотрел на сквозистое розовое чудо.

Он дарил его себе — на день творения.

Как в комнате северного дома стоит украшенная елка со свечами, так в этом замкнутом глиняными стенами и только небу открытом дворике, где жили как в комнате, стоял единственным деревом цветущий урюк, и под ним ползали ребятишки, и рыхлила землю женщина в черном платке с зелеными цветами.

Олег разглядывал. Розовость — это было общее впечатление. Были на урюке бордовые бутоны как свечи, цветки при раскрытии имели поверхность розовую, а раскрывшись — просто были белы, как на яблоне или вишне. В среднем же получалась немыслимая розовая нежность — и Олег старался в глаза ее всю вобрать, чтобы Кадминым рассказать.

Чудо было задумано — и чудо нашлось.

Еще много разных радостей ждало его сегодня в только что народившемся мире!..

А ладьи-луны совсем уже не было видно.

Олег сошел по ступенькам на улицу. Непокрытую голову начинало напекать. Надо было грамм четырехста хлеба черного купить, улопать его в сухомятку, и ехать в центр. Вольная ли одежда его так подбадривала, но его не тошнило, и ходил он совсем свободно.

Тут Олег увидел ларек, вставленный в уступ дувала так, что не нарушал черты улицы. Навесное полотнище ларька было поднято как козырек и поддерживалось двумя откосинами. Из-под козырька тянуло сизым дымком. Олегу пришлось сильно нагнуть голову, чтобы подойти под козырек, а там стать не распрямляя шеи.

Длинная железная жаровня шла по всему прилавку. В одном месте ее калился огонь, вся остальная была полна белым пеплом. Поперек жаровни над огнем лежало полтора десятка длинных заостренных алюминиевых палочек с нанизанными кусочками мяса.

Олег догадался: это и был шашлык! — еще одно открытие сотворенного мира, тот шашлык, о котором столько рассказывали в тюремных гастрономических разговорах. Но самому Олегу за тридцать четыре года жизни никогда не приходилось видеть его собственными глазами: ни на Кавказе, ни в ресторанах он никогда не бывал, а в нарпитовских довоенных столовых давали голубцы и перловую кашу.

Шашлык!

Затягивающий был запах — этот смешанный запах дыма и мяса! Мясо на палочках не только не было обуглено, но даже не было смугло-коричневым, а в том нежном розово-сером цвете, в котором оно доспевает. Неторопливый ларечник с кругло-жирным лицом одни палочки поворачивал, другие передвигал с огня в сторону пепла.

— Почему? — спросил Костоглотов.

— Три, — сонно ответил ларечник.

Не понял Олег: что три? Три копейки было слишком мало, три рубля вроде слишком много. Может быть, три палочки на рубль? Эта неловкость всюду настигала его с тех пор, как он вышел из лагеря: он никак не мог уразуметь масштаба цен.

— Сколько на три рубля? — догадался вывернуться Олег.

Ларечнику лень было говорить, он одну палочку приподнял за конец, помахал ею Олегу как ребенку и опять положил жариться.

— Одна палочка? — три рубля?.. — Олег покрутил головой. Это было из круга других величин. На пять рублей он должен был прожить день. Но как хотелось отпробовать! Глазами он осматривал каждый кусочек и выбирал палочку. Да на каждой палочке было чем заманиться.

Близко ждали трое шоферов, их грузовики стояли тут же на улице. Подошла и еще женщина, но ей ларечник сказал по-узбекски, и она недовольная отошла. А ларечник вдруг стал все палочки класть на одну тарелку и насыпал поверх, прямо пальцами, нарезанного лука и еще из бутылочки брызгал. И Олег понял, что шоферы забирают весь этот пашлык, каждый по пять стержней!

Это опять были те неуяснимые двухэтажные цены и двухэтажные заработки, которые царствовали всюду, но Олег ни вообразить не мог второго этажа, ни тем более забраться туда. Эти шоферы запросто перекусывали за пятнадцать рублей каждый — и еще, может быть, это был не главный их завтрак. Зарплаты на такую жизнь хватить не могло, да и не тем продавался пашлык, кто получает зарплату.

— Больше нету, — сказал ларечник Олегу.

— Как нету? Вообще нету?? — очень огорчился Олег. Как он еще мог раздумывать! Может быть, это был первый и последний случай в жизни!

— Сегодня не привозили. — Ларечник убирал остатки своей работы и, кажется, собирался опускать козырек.

И тогда Олег взмолился к шоферам:

— Братцы! Уступите мне одну палочку! Братцы! — палочку!

Один из шоферов, сильно загоревший, но льноволосый паренек, кивнул:

— Ну, бери.

Они еще не платили, и зеленую бумажку, которую Олег достал из кармана, заколотого английской булавкой, ларечник даже не в руку принял, а смахнул с прилавка в ящик, как смахивал крошки и мусор.

Но палочка-то была Олегова! Покинув солдатский вещмешок на пыльной земле, он двумя руками взял алюминиевый стержень, и посчитав кусочки — их было пять, а шестой половинка — стал зубами отъедать их с палочки, да не сразу целыми, а помалу. Он вдумчиво ел, как пес свою долю, отнесенную в безопасный угол, и размышлял над тем, как легко раздражить человеческое желание и как трудно насытить раздраженное. Сколько лет был ему из выспих даров земли ломоть черного хлеба! Только сейчас он собирался пойти и купить его себе на завтрак — но вот потянуло сизым дымком жаркого, и дали Олегу обглодать палочку — и уже его подмывало презрение к хлебу.

Шоферы кончили по пять палочек, завели машину, уехали, — а Олег все еще досасывал свою долю. Он испытывал губами и языком каждый кусочек — как сочится нежное мясо, как пахнет, как оно вмеру дошло и ничуть не пережарено, сколько первородного притяжения еще таятся, еще не убито в каждом таком кусочке. И чем больше он вникал в этот шашлык и чем глубже наслаждался, тем холодней перед ним захлопывалось, что — к Зое нет ему пути. Сейчас трамвай повезет его мимо — а он не сойдет. Это именно над палочкой шашлыка ему стало ясно до предела.

И прежней дорогой в центр города поволок его трамвай, теперь только сильно набитый. Олег узнал зоину остановку и миновал еще две. Он не знал, какая ему остановка лучше, какая хуже, вдруг в окно их вагона снаружи снизу женщина стала продавать газеты, и Олегу захотелось посмотреть — как это, он газетчиков уличных не видел с детства (вот когда последний раз: когда застрелился Маяковский, и мальчишки бегали с экстренным выпуском). Но тут была пожилая русская женщина, совсем не расторопная, не сразу находившая сдачу, а все-таки придумка помогла, и каждый новый трамвай успевал у нее сколько-нибудь купить. Олег постоял, убедился, как это у нее идет.

— А милиция не гоняет? — спросил он.

— Не спохватились, — утерлась газетчица.

Он себя самого не видел, забыл каков. Присмотрясь к ним, милиционер бы документы потребовал с него первого, а не с газетчицы.

Уличные электрические часы показывали только девять, но день уже был настолько жарок, что Олег стал растегивать верхние крючки шинели. Не спеша, давая себя обогнать и толкать, Олег шел по солнечной стороне около площади, шурился и улыбался солнцу.

Еще много радостей ожидало его сегодня!..

Это было солнце той весны, до которой он не рассчитывал дожить. И хотя вокруг никто не радовался возврату Олега в жизнь, никто даже не знал — но солнце-то знало, и Олег ему улыбался. Хотя в следующей весны и не наступило никогда, хотя бы эта была последняя но ведь и т о л и ш н я я весна! и за то спасибо!

Никто из прохожих не радовался Олегу, а он — всем им был рад! Он рад был вернуться к ним! И ко всему, что было на улицах! Ничто не могло показаться ему неинтересным, дурным или безобразным в его новосотворенном мире! Целые месяцы, целые годы жизни не могли сравняться с одним сегодняшним вершинным днем.

Продавали мороженое в бумажных стаканчиках. Уже не помнил Олег, когда такие стаканчики и видел. Еще полтора рубля, порхайте! мешок, прожженный и простреленный — за спиной, обе руки свободны, и отделяя холодающие слои палочкой, Олег пошел еще медленней.

Тут попалась ему фотография с витриной, и в тени. Олег облокотился о железные перила и застрял надолго, расмартивая ту очищенную жизнь и улучшенные лица, которые были выставлены в витрине, а особенно, конечно, девушек, их там больше всего и было. Сперва каждая из них оделась в свое лучшее, потом фотограф крутил ей голову и десять раз переставлял свет, потом сделал несколько снимков и отобрал из них лучший, и ретушировал его, потом из десяти таких девушек еще отбирали по одной и так составлялась эта витрина, и Олег знал — и все же приятно было ему смотреть и верить, что из таких-то девушек и состоит жизнь. За все упущенные годы, и за все, которых он не доживет, и за все, чего он там теперь лишен — он насматривался и насматривался бесстыдно.

Кончилось мороженое, и надо было выбросить стаканчик, но такой он был чистенький, гладенький, что сообразил Олег: в пути из него пить хорошо. И сунул в вещмешок. Спрятал и палочку — и она может пригодиться.

А дальше попалась аптека. Аптека — тоже очень инте-

ресное учреждение! Костоглотов завернул в нее тотчас же. Прямоугольники ее чистых прилавков, один за другим, можно было рассматривать целый день. Предметы, выставленные здесь, были все диковины для лагерного глаза, они десятилетиями не встречались в том мире, а какие из них Олег и видел когда-то в вольной жизни, то сейчас затруднялся назвать или вспомнить, для чего они. С дикарским почтением рассматривал он никелированные, стеклянные и пластмассовые формы. А потом шли травы в пакетиках с объяснением их действия. В травы Олег очень верил, — но где была та трава, где?.. А потом тянулись витрины таблеток, и сколько тут было названий новых, никогда в жизни неслыханных. В общем одна эта аптека открывала Олегу целую вселенную наблюдений и размышлений. Но он вздохнул от витрины к витрине и только спросил, по заказу Кадминых, термометр для воды, соду и марганцовку. Термометра не было, соды не было, а за марганцовку послали платить три копейки в кассу.

Потом Костоглотов встал в очередь в рецептурный отдел и постоял минут двадцать, уже сняв мешочек со спины и еще тяготясь духотой. Все-таки было у него колебание — может, лекарство-то взять? Он положил в окошечко один из трех одинаковых рецептов, переданных ему вчера Вегой. Он надеялся, что лекарства не будет, и отпадет вся проблема. Но оно нашлось. Подсчитали в окошечке и написали ему пятьдесят восемь рублей с копейками.

Олег даже рассмеялся облегченно и отошел. Что на каждом шагу в жизни его преследует цифра «пятьдесят восемь — этому он ничуть не удивился. Но что ему надо сто семьдесят пять рубликов положить за три рецепта — это уж было сверх. На такие деньги он мог месяц питаться. Хотел он тут же порвать рецепты в плеватальницу, но подумал, что Вега может о них спросить — и спрятал.

Жалко было уходить от аптечных зеркальных поверхностей. Но день разгорался и звал его, день его радостей.

Еще много радостей ждало его сегодня!

Он не спешил отшагивать. Он переходил от витрины к витрине, цепляясь как репейник за каждый выступ. Он знал, что неожиданности ждут его на каждом шагу.

И правда, попалась почта, а в окне реклама: «Пользуйтесь фототелеграфом!» Поразительно! О чем десять лет назад писали в фантастических романах — вот уже предлагалось проходим. Олег зашел. Тут висел список — десятка три городов, куда можно посылать фототелеграммы. Стал Олег перебирать — кому и куда бы? Но во всех этих больших

городах, раскинутых по шестой части суши, не мог он вспомнить ни одного такого человека, кому доставил бы радость своим почерком.

Все же, чтоб отведать ближе, он подошел к окошечку и попросил показать ему бланк и какой размер букв должен быть.

— Сейчас испортился, — ответила ему женщина. — Не работает.

Ах, не работает! Ну, лучший с ним. Так и привычней. Спокойней как-то.

Шел он дальше, читал афиши. Был цирк и несколько кино. В каждом что-то шло на дневных сеансах, но вот на это не мог он тратить дня, подаренного ему, чтоб рассмотреть вселенную. Вот если бы, действительно, остаться пожить немножко в городе, так даже и в цирк пойти не грешно, ведь он как ребенок, ведь он родился только что.

Время было такое, что, пожалуй, уж удобно идти к Вере.

Если вообще идти...

А как можно не пойти? — Она — друг. Она приглашала искренно. И смущенно. Она — единственная родная душа во всем городе — и как же не пойти?

Ему-то самому, затаенно, только этого одного и хотелось — идти к ней. Даже не осмотрев городской вселенной — к ней.

Но что-то удерживало, и подбрасывало доводы: может еще рано? Она могла еще не вернуться или там не прибраться.

Ну позже...

На каждом перекрестке он останавливался, размышляя: как бы не прогадать, куда лучше идти? Он никого не спрашивал и улицы выбирал по прихоти.

И так набрел на винную лавку — не магазин с бутылками, а именно лавку с бочками: полутемную, полусырую, с особенным кисловатым воздухом. Какая-то старая таверна! Вино наливали из бочек — в стаканы. И стакан дешевого стоил два рубля. После пашлыка это была действительно дешевка! И Костоготов из глубинного кармана потащил на размен очередной червонец.

Вкуса никакого особенного не оказалось, но ослабевшую его голову стало вскруживать уже на допитии. А когда он пошел из лавки, и дальше — то еще полегчала жизнь, хотя и с утра была к нему благосклонна. Так стало легко и приятно, что, кажется, уж ничто не могло б его расстроить.

Потому что все плохое в жизни, что только есть, он уже испытал, отбыл, — а остальное было лучше.

Сегодня много радостей он себе еще ожидал.

Пожалуй, если бы еще одна винная лавка встретилась — можно было бы еще стакан выпить.

Но лавка не попадалась.

Вместо этого густая толпа запрудила весь тротуар, так что ее обходили только по проезжей части. Олег решил: что-нибудь случилось на улице. Нет, все стояли лицом к широким ступеням и большим дверям и ждали. Костоглотов задрал голову и прочел: «Центральный универмаг». Это было как раз вполне понятно: что-то важное должны были да-в а т ь. Но — что именно? Он спросил у одного, у другой, у третьей, но все жались, никто толком не отвечал. Лишь узнал Олег, что как-раз подходит время открытия. Ну, что ж, судьба. Втеснился и Олег в эту толпу.

Через несколько минут двое мужчин раскрыли широкие двери и испуганно-удерживающим движением пытались умерить первый ряд — но отскочили в стороны, как от конницы. Ожидающие мужчины и женщины, в первых рядах молодые, с такой прытью затопали к двери и дальше по второй лестнице на второй этаж, как могли б они только покидать это здание, если б оно горело. Втиснулась и прочая толпа, и каждый, в меру своего возраста и сил, бежал по ступенькам. Оттекала какая-то струйка и по первому этажу, но главная была на второй. В этом атакующем порыве невозможно было подниматься спокойно, и черновздохмаченный Олег с вещмешком за спиной, тоже побежал (в толчее его бранили «солдатом»).

Наверху же поток сразу разделялся: бежали в три разных стороны, осторожно заворачивая по скользкому паркетному полу. Мгновение было у Олега, чтобы выбрать. Но как он мог рассуждать? Он побежал наудачу за самыми уверенными бегунами.

И оказался в растущем хвосте около трикотажного отдела. Продавщицы в голубых халатиках так спокойно, однако, ходили и зевали будто никакой этой давки не видели и предстоял им скучный пустой день.

Отдышавшись, узнал Олег, что ожидаются не то дамские кофточка, не то свитеры. Он матюгнулся шепотом и отошел.

Куда же побежали те другие два потока — сейчас он не мог найти. Уже во все стороны было движение, у всех прилавков люди: у одного погуще толпились, и он решил — может быть здесь. Тут ожидались дешевые глубокие

тарелки. Вот и ящички с ними распаковывались. Это было дело. В Уш-Тереке не было глубоких тарелок, Кадмины ели в надбитых. Привести в Уш-Терек дюжину таких тарелок было дело! Да ничего б не довез он, кроме черепков.

Дальше стал Олег гулять по двум этажам универмага произвольно. Посмотрел фотоотдел. Аппараты, которых до войны достать был невозможно, и все принадлежности к ним, теперь забывали прилавки, дразня и требуя денег. Это была еще одна детская несбывшаяся мечта Олега — заниматься фотографией.

Очень ему понравились мужские плащи. После войны он мечтал купить гражданский плащ, ему казалось это самым красивым на мужчине. Но сейчас надо было положить триста пятьдесят рубликов, месячную зарплату. Пошел Олег дальше.

Нигде он ничего не покупал, а настроение у него было как будто с тугим карманом, да только без всяких нужд. Еще и вино в нем весело испарялось.

Продавались рубашки штательные. Слово «штатель» Олег знал: все уш-терекские женщины, услышав это слово, бежали в раймаг. Посмотрел Олег рубашки, пощупал, ему понравились. И одну — зеленую в белую полоску в мыслях своих взял. (А стояла она шестьдесят рублей, он взять ее не мог).

Пока он размышлял над рубашками, подошел мужчина в хорошем пальто, но не к этим рубашкам, а к шелковым, и вежливо спросил продавщицу:

— Скажите, а вот этот пятидесятый номер у вас есть с тридцать седьмым воротничком?

И как передернуло Олега! Нет, как будто его напильниками теранули сразу по двум бокам! Он дико обернулся и посмотрел на этого чисто-выбритого, нигде не поцарапанного мужчину в хорошей фетровой шляпе, в галстук на белой сорочке, так посмотрел, как если б тот его в ухо ударил и сейчас не миновать было кому-то лететь с лестницы.

Как?? Люди кисли в траншеях, людей сваливали в братские могилы, в мелкие ямки в полярной мерзлоте, людей брали по первому, по второму, по третьему разу в лагерь, люди коченели в этапах — краснушках, люди с киркой надрывались, зарабатывая на латаную телогрейку, а этот чисто-плюй не только помнит номер своей рубашки, но и номер своего воротничка?!

Вот этот номер воротничка добил Олега! Никак не мог бы он подумать, что у воротничка еще есть отдельный номер! Скрывая свой раненый стон, он ушел от рубашек прочь. Еще

и номер воротничка! Зачем такая изошренная жизнь? Зачем в нее возвращаться? Если помнить номер воротничка — то ведь что-то надо забыть! Поважнее что-то!

Он просто ослабел от этого номера воротничка...

В хозяйственном отделе Олег вспомнил, что Елена Александровна, хотя и не просила его привозить, но мечтала иметь облегченный паровой утюг. Олег надеялся, что такого не окажется, как всегда, что нужно, и совесть его, и плечи его будут разом освобождены от тяжести. Но продавщица показала ему на прилавке такой утюг.

— А это — точно облегченный, девушка? — Костоглов недоверчиво выцепивал утюг на руке.

— А зачем я вас буду обманывать? — перекривила губы продавщица. Она вообще смотрела как-то метафизически, углубленная во что-то дальнее, будто здесь перед ней не реальные покупатели слонялись, а скользили их безразличные тени.

— Ну, не то, что обманывать, но может быть вы ошибаетесь? — предположил Олег.

Против воли возвращаясь к брэнной этой жизни совершая невыносимое для себя усилие переноса материального предмета, продавщица поставила перед ним другой утюг. И уже не оставалось у нее сил что-нибудь объяснить словами. Она опять взлетела в область метафизическую.

Что ж, сравнением постигается истина. Облегченный был, действительно, на килограмм полегче. Долг требовал его купить.

Как ни обессилела девушка от переноса утюга, но еще утомленными пальцами она должна была выписать ему чек, и еще произнести слабеющими губами: «на контроле» (какой еще контроль? кого проверять? Олег совсем забыл. О, как трудно было возвращаться в этот мир!) — да еще и не ей ли, касаясь пола ногами, надо было теперь перетянуть этот облегченный утюг в контроль? Олег чувствовал себя просто виноватым, что отвлек продавщицу от ее дремлющего размышления.

Когда утюг лег в мешок, плечи сразу почувствовали. Уже становилось душно ему в шинели, и надо было скорей выходить из универсама.

Но тут он увидел себя в огромном зеркале от пола до потолка. Хотя неудобно мужчине останавливаться себя рассматривать, но такого большого зеркала не было во всем Уш-Тереке. Да в таком зеркале он себя десять лет не видел. И пренебрегая, что там подумают, он осмотрел себя сперва издали, потом ближе, потом еще ближе.

Ничего уже военного, как он себя числил, в нем не осталось. Только отдаленно была похожа эта шинель на шинель и эти сапоги на сапоги. К тому же и плечи давно ссутуленные, и фигура, не способная держаться ровно. А без шалки и без пояса он был не солдат, а скорее арестант беглый или деревенский парень, приехавший в город купить и продать. Но для того нужна хоть лихость, а Костоглотов выглядел замученным, зачуханным, запущенным.

Лучше б он себя не видел. Пока он себя не видел, он казался себе лихим, боевым, на прохожих смотрел снисходительно, и на женщин как равный. А теперь, еще с этим мешком ужасным за спиной, не солдатским давно, а скорее сумою нищенской, ему если стать на улице и руку протянуть — будут бросать копейки.

А ведь ему надо было к Веге идти... — Как же идти к ней таким?

Он переступил еще — и попал в отдел галантерейный или подарочный, а в общем — женских украшений.

И тогда между женщинами, щебетавшими, примерявшими, перебиравшими и отвергавшими, этот полусолдат-полунищий со шрамом по низу щеки, остановился и тупо застыл, рассматривая.

Продавщица усмехнулась — что он там хотел купить своей деревенской возлюбленной? — и поглядывала, чтоб чего не спер.

Но он ничего не просил показать, ничего не брал в руки. Он стоял и тупо рассматривал.

Этот отдел, блистающий стеклами, камнями, металлами и пластмассой, стал перед его опущенным быковатым лбом как шлагбаум, намазанный фосфором. Шлагбаума этого лоб Костоглотова не мог перешибить.

Он — понял. Он понял, что это прекрасно: купить женщине украшение и приколоть к груди, набросить на шею. Пока не знал, не помнил — он был не виноват. Но сейчас он так пронзительно это понял, что с этой минуты, кажется, уже не мог прийти к Веге, ничего ей не подаря.

А и подарить ей он не мог бы и не смел бы — ничего. На дорогие вещи нечего было и смотреть. А о дешевых — что он знал? Вот эти брошки — не брошки, вот эти узорные навесики на булавках, и особенно вот эта шестиугольная со многими сикрящимися стеклышками ведь хороша же?

А может быть — совсем пошла, базарна?.. Может, женщина со вкусом постыдится даже в руки такую принять?.. Может, таких уже давно не носят, из моды вышли?.. Откуда знать ему, что носят, что не носят?

И потом, как это — прийти ночевать и протянуть, коснея, краснея, какую-то брошку?

Недоумения одно за другим спшибали его как городошные палки.

И сгустилась перед ним вся сложность этого мира, где надо знать женские моды, и уметь выбирать женские украшения, и прилично выглядеть перед зеркалом, и помнить номер своего воротничка... А Вега жила именно в этом мире, и все знала, и хорошо себя чувствовала.

И он испытал смущение и упадок. Если уж идти к ней — то самое время идти сейчас, сейчас!

А он — не мог. Он — потерял порыв. Он — боялся.

Их разделил — Универмаг...

И из этого проклятого капища, куда недавно взбегал он с такой глупой жадностью, повинуюсь идолам рынка, — Олег выбрал совсем угнетенный, такой измученный, как будто на тысячи рублей здесь купил, будто в каждом отделе что-то примерял, и ему заворачивали, и вот он нес теперь на согбенной спине гору этих чемоданов и свертков.

А всего только — утюг.

Он так устал, словно уже многие часы покупал и покупал суетные вещи — и куда ж делось то чистое розовое утро, обещавшее ему совсем новую прекрасную жизнь? Те перистые облака вечной выделки? И ныряющая ладья луны?..

Где ж разменял он сегодня свою цельную утреннюю душу? В универмаге?.. Еще раньше — пропил с вином. Еще раньше проел с пашлыком.

А ему надо было посмотреть цветущий урюк — и сразу же мчаться к Веге...

Стало тошно Олегу не только глазеть на витрины и вывески, но даже и по улицам толкаться среди густеющего роя озабоченных и веселых людей. Ему хотелось лечь где-нибудь в тени у речки и лежать — очищаться. А в городе куда он мог еще пойти — это в зоопарк, как Демка просил.

Мир зверей ощущал Олег как-то более понятным, что ли. Более на своем уровне.

Еще оттого угнетался Олег, что в шинели стало ему жарко, но и тащить ее отдельно не хотелось. Он стал расспрашивать, как идти в зоопарк. И повели его туда добротные улицы — широкие, тихие, с тротуарными каменными плитами, с раскидистыми деревьями. Ни магазинов, ни фотографий, ни театров, ни винных лавок — ничего тут этого не было. И трамвай гремели где-то в стороне. Здесь был добрый тихий солнечный день, насквозь греющий через деревья.

Прыгали «в классы» девочки на тротуаре. В палисадниках хозяйки что-то сажали или вставляли палочки для вьющихся.

Близ ворот Зоопарка было царство детворы — ведь каникулы и день какой!

Войдя в зоопарк, кого Олег увидел первым — был винторогий козел. В его вольере высилась скала с крутым подъемом и потом обрывом. И вот именно там, передними ногами на самом обрыве, неподвижно, гордо стоял козел на тонких сильных ногах, а с рогами удивительными: долгими, изогнутыми и как бы намотанными виток за витком из костяной ленты. У него не борода была, но пышная грива, свисающая низко по обе стороны до колеи, как волосы русалки. Однако, достоинство было в козле такое, что эти волосы не делали его ни женственным, ни смешным.

Кто ждал у клетки винторогого, уже отчаялся увидеть какое-нибудь передвижение его уверенных копыт по этой гладкой скале. Он давно стоял, совершенно как изваяние, как продолжение этой скалы; и без ветерка, когда и космы его не колыхались, нельзя было доказать, что он — жив, что это — не надувательство.

Олег простоял пять минут и с восхищением отошел: так козел и не пошевелился! Вот с таким характерцем можно переносить жизнь!

А перейдя к началу другой аллеи, Олег увидел оживление у клетки, особенно ребятишек. Что-то металось там бешено внутри, металось, но на одном месте. Оказалось, вот это кто: белка в колесе. Та самая белка в колесе, из поговорки. Но в поговорке все стерлось, и нельзя было вообразить — зачем белка? зачем в колесе? А здесь представлено это было в натуре. В клетке был для белки и ствол дерева, и разбегающиеся сучья наверху — но еще при дереве было коварно повешено и колесо: барабан, круг которого открыл зрителю, а по ободу внутри шли перекладины, отчего весь обод получался как замкнутая бесконечная лестница. И вот, пренебрегая своим деревом, гонкими сучьями в высоту, белка зачем-то была в колесе, хотя никто ее туда не нудил и пищей не зазывал — привлекла ее лишь ложная идея мнимого действия и мнимого движения. Она начала, вероятно, с легкого перебора ступенек, с любопытства, она еще не знала, какая это жестокая затягивающаяся шутка (в первый раз не знала, а потом тысячи раз уже и знала, и все равно!). Но вот все раскручено было до бешенства! Все рыженькое веретенное тело белки и иссиза-рыжий хвостик развивались по дуге в сумасшедшем беге, перекладины колесной лестницы ряби-

ли до полного слиятия, все силы были вложены до разрыва сердца! — но ни на ступеньку не могла подняться белка передними лапами.

И кто стояли тут до Олега — все так же видели ее бегущей, и Олег простоял несколько минут и все было то же. Не было в клетке внешней силы, которая могла бы остановить колесо или спасти оттуда белку, и не было разума, который внушил бы ей: «Покинь! Это — тцета!» Нет! Только один был неизбежный ясный выход — смерть белки. Не хотелось до него достоять. И Олег пошел дальше.

Так двумя многомысленными примерами — справа и слева от входа, двумя равновозможными линиями бытия, встречал здешний зоопарк своих маленьких и больших посетителей.

Шел Олег мимо фазана серебряного, фазана золотого, фазана с красными и синими перьями. Полюбовался невыразимой бирюзой павлиньей шеи и метровым разведенным хвостом его с розовой и золотой бахромою. После одноцветной ссылки, одноцветной больницы глаз пировал в красках.

Здесь не было жарко: зоопарк располагался привольно, и уже первую тень давали деревья. Все более отдыхая, Олег миновал целую птичью ферму — кур андалузских, гусей тулузских, холмогорских и поднялся в гору, где держали журавлей, ястребов, грифов, и, наконец, на скале осененной клеткою как шатром, высоко над всем зоопарком жили сипы белоголовые, а без надписи принять бы их за орлов. Их поместили сколько могли высоко, но крыша клетки уже была низка над скалой, и мучались эти большие угрюмые птицы, расширяли крылья, били ими, а лететь было некуда.

Глядя как мучается сип, Олег сам лопатками повел, расправляя. (А может, это уют ему надавливал на спину?).

Все у него вызывало истолкование. При клетке надпись: «Неволю белые совы переносят плохо». Знают же! — и все-таки сажают!

А какой же выродок переносит хорошо неволю?

Другая надпись: «Дикообраз ведет ночной образ жизни». Знаем: в полдесятого вечера вызывают, в четыре утра отпускают.

А «барсук живет в глубоких и сложных норах». Вот это по-нашему! Молодец, барсук, а что остается? И морда у него матрасно-полосатая, чистый каторжник.

Так извращенно Олег все здесь воспринимал, и, наверно, не надо было ему сюда приходить, как и в универмаг.

Уже много прошло дня — а радостей обещанных что-то не было.

Вышел Олег к медведям. Черный с белым галстуком стоял и тыкался носом в сетку, через прутья. Потом вдруг подпрыгнул и повис на решетке верхними лапами. Не галстук белый у него был, а как бы цепь священника с нагрудным крестом. Подпрыгнул — и повис! А как еще он мог передать свое отчаяние?

В соседней камере сидела его медведица с медвежонком.

А в следующей мучился бурый медведь. Он все время беспокойно топтался, хотел ходить по камере, но только помещался поворачиваться, потому что от стенки до стенки не было полных трех его корпусов.

Так что по медвежьей мерке это была не камера, а б о к с.

Увлеченные зрелищем дети говорили между собой:

— Слушай, давай ему камнем бросим, он будет думать, что конфеты.

Олег не замечал, как дети на него самого вглядывались. Он сам здесь был лишний бесплатный зверь, да не видел себя.

Спускалась аллея к реке — и тут держали белых медведей, но хоть вместе двоих. К ним в вольеру сливались арыки, образуя ледяной водоем, и туда они спрыгивали освежиться каждые несколько минут, а потом вылезали на цементную террасу, отжимали лапами воду с морды и ходили, ходили, ходили по краю террасы над водой. Полярным медведям, каково приходилось им здесь летом, в сорок градусов? Ну, как нам в Заполярья.

Самое запутанное в заключении зверей было то, что приняв их сторону и, допустим, силу бы имея, Олег не мог бы приступить взламывать клетки и освобождать их. Потому что потеряна была ими вместе с родиной и идея разумной свободы. И от внезапного их освобождения могло стать только страшней.

Так нелепо размышлял Костоготов. Так были выворочены его мозги, что уже ничего он не мог воспринимать наивно и непричастно. Что б не видел он теперь в жизни — на все возникал в нем серый призрак и подземный гул.

Мимо печального оленя, больше всех здесь лишнего пространства для бега, мимо священного индийского зебу, золотого зайца агути, Олег снова поднялся — теперь к обезьянам.

У клеток резвились дети и взрослые, кормили обезьян. Костоготов без улыбки шел мимо. Без причесок, как бы все остриженные под машинку, печальные, занятые на своих нарах первичными радостями и горестями, они так напоми-

нали ему многих прежних знакомых, просто даже он узнавал отдельных — и еще сидевших где-то сегодня.

А в одном одиноком задумчивом шимпанзе с отечными глазами, державшем руки повисшими между колен, Олег, кажется, узнал и Шулубина — была у него такая поза.

В этот светлый жаркий день на койке своей между смертью и жизнью бился Шулубин.

Не предполагая найти интересное в обезьяньем ряде, Костоглов быстро его проходил и даже начал скапывать, — как увидел на дальней клетке какое-то объявление и несколько человек, читавших его.

Он пошел туда. Клетка была пуста, в обычной табличке значилось: «макака-резус». А в объявлении, наспех написанном и приколотом к фанере, говорилось:

«Жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной жестокости одного из посетителей. Злой человек сыпнул табака в глаза макаке-резус».

И — хлопнуло Олега! Он до сих пор прогуливался с улыбкой снисходительного всезнайки, а тут захотелось завопить, зареветь на весь зоопарк — как будто это ему в глаза насыпали!

Зачем же?!.. П р о с т о т а к — зачем же?.. Бессмысленно — зачем же?

Больше всего простотою ребенка хватало написанное за сердце. Об этом неизвестном, благополучно упедшем человеке не сказано было, что он — антигуманен. О нем не было сказано, что он — агент американского империализма. О нем сказано было только, что он — з л о й. И вот это пора- жало: зачем же он просто так — з л о й? Дети! Не растите злыми! Дети! Не губите беззащитных!

Уже было объявление прочтено, и прочтено, а взрослые и маленькие стояли и смотрели на пустую клетку.

И потащил Олег свой засаленный, прожженный и простреленный мешок с уюгом — в царство пресмыкающихся, гадов и хищников.

Лежали ящеры на песке как чешуйчатые камни, при- валясь друг к другу. Какое движение потеряли они на воле?

Лежал огромный чугунно-темный китайский аллигатор с плоской пастью, с лапами, вывернутыми как будто не в ту сторону. Написано было, что в жаркое время не ежедневно глотает он мясо.

Этот разумный мир зоопарка с готовой едою может быть вполне его и устраивал?

Добавился к дереву, как толстый мертвый сук, мощный

питон. Совсем он был неподвижен, и только острый маленький язычок его метался.

Вилась ядовитая эфа под стеклянным колпаком.

А уж простых гадов — по несколько.

Никакого не было желания всех этих рассматривать. Хотелось представить лицо ослепшей макаки.

А уже шла аллея хищников. Великолепно, друг от друга отменяясь богатой шерстью, сидели тут и рысь, и барс, и пепельно-коричневая пума, и рыжий в черных пятнах ягуар. Они были — узники, они страдали без свободы, но относился к ним Олег как к блатным. Все-таки можно разобрать в мире, кто явно виноват. Вот написано, что ягуар за сутки съедает сто сорок килограммов мяса. Нет, этого представить себе нельзя! Ведь лагпункт на неделю не получает столько! А ягуару — в сутки!

Олег вспомнил тех расконвоированных ездовых, которые обворовывали своих лошадей: ели их овес и так выжили сами.

Дальше увидел он — господина тигра. В усах, в усах было сосредоточено его выражение хищности! А глаза — желтые... Запуталось у Олега в голове, и он стоял и смотрел на тигра с ненавистью.

Один старый политкаторжанин, который был когда-то в туруханской ссылке, а в новое время встретился в лагере с Олегом, рассказывал ему, что — нет, не бархатно-черные, а — желтые были глаза!

Прикованный ненавистью, Олег стоял против клетки тигра.

Все-таки, просто так, просто так, — зачем??

Его мучило. Ему не хотелось больше этого зоопарка. Ему хотелось бежать отсюда. Он не пошел уже ни к каким львам. Он стал выбираться к выходу наугад.

Мелькнула зебра, Олег покосился и шел.

И вдруг! — остановился перед...

Перед чудом духовности после тяжелого кровожадия: антилопа нильгау — светлокоричневая, на стройных легких ногах, с настороженной головкой, но ничуть не пугаясь, стояла близко за сеткой и смотрела на Олега крупными, доверчивыми и — милыми! да, милыми глазами!

Нет, это было так похоже, что вынести невозможно! Она не сводила с него мило-укоряющего взгляда. Она спрашивала: «Ты почему ж не идешь? Ведь полдня уже прошло, а ты почему не идешь?».

Это — наваждение было, это — переселение дум, пото-

му что явно же она стояла тут и ждала Олега. И едва он подошел, сразу стала спрашивать укорными, но и прощающими глазами: «Не придешь? Неужели не придешь? А я — ждала...».

Да почему же он не шел? Да почему же он не шел!.. Олег тряхнулся — и надал к выходу. Еще он мог ее застать.

36.

Он не мог сейчас думать о ней ни с жадностью, ни с яростью — но наслаждением было пойти и лечь к ее ногам, как пес, как битый несчастный пес. Лечь на полу и дышать в ее ноги как пес. И это было бы — счастьем изо всего, что только можно было придумать.

Но эту добрую звериную простоту — прийти и откровенно лечь ничком около ее ног, он не мог, конечно, себе позволить. Он должен будет говорить какие-то вежливые извинительные слова, и она будет говорить какие-то вежливые извинительные слова, потому что так усложнено все за многие тысячи лет.

Он и сейчас еще видел этот вчерашний ее рдеющий разлив на щеках, когда она сказала: «Вы знаете, вы вполне могли бы остановиться у меня, вполне!». Этот румянец надо было искупить, отвратить, обойти смехом, нельзя было дать ей еще раз застесняться — и вот почему надо было придумывать первые фразы, достаточно вежливые и достаточно юмористические, ослабляющие то необычное положение, что вот он пришел к своему врачу, молодой одинокой женщине — и с ночевкой зачем-то. А то бы не хотелось придумывать никаких фраз, а стать в дверях и смотреть на нее. И обязательно назвать сразу Вегой: «Вега! Я пришел!».

Но все равно, это будет счастье невместимое — оказаться с ней не в палате, не в лечебном кабинете, а в простой жилой комнате — и о чем-то, неизвестно, говорить. Он наверно будет делать ошибки, многое некстати, ведь он совсем отвык от жизни человеческого рода, но глазами-то сможет же он выразить: «Пожалей меня! Слушай, пожалей меня, мне так без тебя плохо!».

Да как он мог столько времени потерять! Как мог он не идти к Веге — давно, давно уже не идти! Теперь он ходко шел, без колебания, одного только боясь — упустить ее.

Полдня пробродив по городу, он уже схватил расположение улиц и понимал теперь, куда ему идти. И шел.

Если они друг другу симпатичны. Если им так приятно друг с другом быть и разговаривать. Если когда-нибудь он сможет и брать ее за руки, и обнимать за плечи и смотреть нежно близко в глаза — то неужели же э т о г о мало? Да даже и более того, много более того — и неужели мало?

Конечно, с Зоей было бы мало. Но — с Вегой?.. с антилопой нильгау?

Ведь вот только подумать, что можно руки ее вобрать в свои — и уже тетивы какие-то настроунились в груди, и он заволновался, как это будет.

И все-таки — мало?..

Он все больше волновался, подходя к ее дому. Это был самый настоящий страх! — но счастливый страх, измиращая радость. От одного страха своего — он уже был счастлив сейчас!

Он шел, только надписи улиц еще смотря, а уже не замечал магазинов, витрин, трамваев, людей — и вдруг на углу, из-за суতোлки не сразу сумел обойти стоящую старую женщину, очнулся и увидел, что она продает букетики маленьких синих цветов.

Нигде, в самых глухих закоулках его вытравленной, перестроенной, приспособленной памяти не осталось ни тени, что идя к женщине, надо нести цветы! Это вконец и вкорень было им забыто как несуществующее на земле! Он спокойно шел со своим затасканным, залатанным и огруженным вещмешком и никакие сомнения не колебали его шага.

И вот — он увидел какие-то цветы. И цветы эти зачем-то, кому-то продавались. И лоб его наморщился. И недающееся воспоминание стало всплывать к его лбу как утопленник из мутной воды. Верно, верно! — в давнем небывалом мире его юности принято было дарить женщинам цветы!..

— Это — какие же? — застенчиво спросил он у торговки.

— Фиалки, какие! — обиделась она. — Штука — рубль.

Фиалки?.. Вот те самые поэтические фиалки?.. Он почему-то не такими их помнил. Стебельки их должны быть стройнее, выше, а цветочки — колокольчатей. Но, может, он забыл. А может — это какой-то местный сорт. Во всяком случае, никаких других тут не предполагалось. А вспомнив — уже не только нельзя было идти без цветов, а стыдно — как мог он только что спокойно идти без них.

Но сколько ж надо было купить? Один? Выглядело

слишком мало. Два? Тоже бедненько. Три? Четыре? Дорого очень. Смекалка лагерная прощелкала где-то в голове, как крутится арифмометр, что два букета можно бы сторговать за полтора рубля или пять букетов за четыре, но этот четкий щелк прозвучал как будто не для Олега. А он вытянул два рубля и тихо отдал их.

И взял два букетика. Они пахли. Но тоже не так, как должны были пахнуть фиалки его юности, фиалки поэтов.

Еще вот так, нюхая, он мог нести их, а отдельно в руке совсем смешно выглядело: демобилизованный больной солдат без шапки, с вещмешком и с фиалками. Никак нельзя было их пристроить и лучше всего втянуть в рукав и так нести незаметно.

А номер Веги — был, вот он!..

Вход во двор, она говорила. Он вошел во двор. Налево потом.

(А в груди так и переполаскивало!).

Шла длинная общая цементная веранда, открытая, но под навесом, с косою прутьяной решеткой под перилами. На перилах набросаны были «на просушку» одеяла, матрасы, подушки, а на веревках от столбика к столбику еще висело белье.

Все это очень не подходило, чтобы здесь жила Вега. Слишком отяжеленные подступы. Ну что ж, она за них не отвечает. Вот там, дальше, за всем этим развешанным, сейчас будет дверь с ее номерком, и уже за дверью — мир Веги одной.

Он поднырнул под простыни и разыскал дверь. Дверь как дверь. Светло-коричневая окраска, кой-где облупленная. Зеленый почтовый ящик.

Олег выдвинул фиалки из рукава шинели. Поправил волосы. Он волновался — и радовался волнению. Как вообразить ее — без врачебного халата, в домашней обстановке?..

Нет, не эти несколько кварталов от зоопарка он прощлепал в своих тяжелых сапогах! — он шел по растянутым дорогам страны, шел два раза по семь лет! — и вот, наконец, демобилизовался, дошел до той двери, где все четырнадцать лет его немо ожидала женщина.

И — косточкой среднего пальца коснулся двери.

Однако, он не успел как следует постучать — а дверь уже стала открываться (она заметила его прежде? в окно?) — открылась — и оттуда, выпирая прямо на Олега ярко-красный мотоцикл, особенно крупный в узкой двери, двинулся здоровый мордатый парень с наплепанным расклепанным носом. Он даже не спросил — к чему тут Олег, к кому он

— он пер мотоцикл, он сворачивать не привык, и Олег посторонился.

Олег опешил и не в миг понял: кто приходится этот парень одиноко живущей Веге, почему он от нее выходит? Да ведь не мог же он совсем забыть, хоть за столько лет, что вообще люди не живут сами по себе, что они живут в коммунальных квартирах! Забыть не мог, а и помнить был не обязан. Из лагерного барака воля рисуется полной противоположностью бараку, не коммунальной квартирой, никак. Да даже в Уш-Тереке люди жили все особно, не знали коммунальных.

— Скажите, — обратился он к парню. Но парень прокатив мотоцикл под развешанную простыню, уже спускал его с лестницы с гулковатым постуком колеса о ступеньки.

А дверь он оставил открытой.

Олег нерешительно стал входить. В неосвященной глупи коридора видны были теперь еще дверь, дверь, дверь — какая же из них? В полутьме, не зажигая лампочки показала женщина и сразу спросила враждебно:

— Вам кого?

— Веру Корнильевну, — непохоже на себя, застенчиво произнес Костоглов.

— Нету ее! — не проверяя двери, не смотря, с непрязненной уверенной резкостью отсекала женщина. И шла прямо на Костоглова, заставляя его тесниться назад.

— Вы — постучите, — возвращался в себя Костоглов. Он размягчел так от ожидания увидеть Вегу, а на гавканье соседки мог отгавкнуться и сам. — Она сегодня не на работе.

— Знаю. Нету. Была. Ушла. — Женщина низколобая, косощекая, рассматривала его.

Уже видела она и фиалки. Уже поздно было и прятать.

Если б не эти фиалки в руке, он был бы сейчас человек — он мог бы сам постучать, разговаривать независимо, настаивать — давно ли ушла, скоро ли вернется, оставить записку (а может быть, и ему была оставлена?..).

Но фиалки делали его каким-то просителем, подносителем, влюбленным дурачком...

И он отступил на веранду под напором косощекой.

А та, по пятам тесня его с плацдарма, наблюдала. Уже что-то выпирало из мешка у этого бродяги, как бы и здесь он чего не смахнул.

Наглыми, стреляющими хлопками без глушителя раздражался мотоцикл во дворе — и затыкался, раздражался и затыкался.

Мялся Олег.

Женщина смотрела раздраженно.

Как же Веги могло не быть, если она обещала? Да, но она ждала раньше — и вот куда-то ушла. Какое горе! Не неудача, не досада — горе!

Руку с фиалками Олег втянул в рукав шинели как отрубленную.

— Скажите: она вернется или уже на работу ушла?

— Ушла, — чеканила женщина.

Но это не был ответ.

Но и нелепо было стоять тут перед ней и ждать.

Дергался, плевался, стрелял мотоцикл — заглохал.

А на перилах лежали — тяжелые подушки. Тюфяки. Одеяла в конвертных пододеяльниках. Их выложили выжаривать на солнце.

— Так что вы ждете, гражданин?

Еще из-за этих громоздких постельных бастионов Олег никак не мог сообразить.

А кособокая разглядывала и думать не давала.

И мотоцикл проклятый душу в ключья разрывал — не заводился.

И от подушечных бастионов Олег попятился и отступил — вниз, назад, откуда пришел — отброшенный.

Если б еще не эти подушки — с одним подмятым углом, двумя свисшими, как вымя коровье, и одним взнесенным как обелиск — если б еще не подушки, он бы сообразил, решил на что-то. Нельзя было так прямо сразу уйти. Вега, наверно, еще вернется! И скоро вернется. И она тоже будет жалеть! Будет жалеть!

Но в подушках, в матрасах, в одеялах с конвертными пододеяльниками, в простынных знаменах — был тот устойчивый, веками проверенный опыт, отвергать который у него не было теперь сил. Права не было.

Именно — теперь. Именно — у него.

На поленьях, на досках может спать одинокий мужчина, пока жжет ему сердце вера и честолюбие. Спит на голых нарах и арестант, которому выбора не дано. И арестантка, отделенная от него силой.

Но где женщина и мужчина сговорились быть вместе — эти пухлые мягкие морды ждут уверенно своего. Они знают, что не ошибутся.

И от крепости неприступной, непосильной ему, с болванкой утюга за плечами, с отрубленной рукой, Олег побрел, побрел за ворота — и подушечные бастионы радостно били его пулеметами в спину.

Не заводился, треклятый!

За воротами глуше были эти взрывы, и Олег остановился еще немножко подождать.

Еще не потеряно было дожждаться Веги. Если она вернется — она не может здесь не пройти. И они улыбнутся, и как обрадуются: «Здравствуйте!..» «А вы знаете...» «А как смешно получилось...».

И он тогда вытянет из рукава смятые, стиснутые, завядшие фиалки.

Дождаться можно и снова повернуть во двор — но ведь опять же им не миновать этих пухлых уверенных бастионов!

Их не пропустят вдвоем.

Не сегодня, так в день какой-то другой — и Вега, тоже и Вега, легконогая, воодушевленная, с кофейно-светлыми глазами, вся чуждая земному праху — и она же выносит на эту веранду свою воздушную, нежную, прелестную — но постель.

Птица — не живет без гнезда, женщина — не живет без постели.

Будь ты трижды нетленна, будь ты тружды возвышенна — но куда тебе деться от восьми неизбежных ночных часов?

От засыпаний.

От просыпаний.

Выкатился! выкатился пурпурный мотоцикл, на ходу достреливая Костоглотова, и парень с расклепанным носом смотрел по улице победителем.

И Костоглотов пошел, побитый.

Он выдвинул фиалки из рукава. Они были при последних минутах, когда еще можно было их подарить.

Две пионерки-узбечки с одинаковыми черными косичками, закрученными ту же электрических шнуров, шли навстречу. Двумя руками Олег протянул им два букетика!

— Возьмите, девочки.

Они удивились. Переглянулись. Посмотрели на него. Друг другу сказали по-узбекски. Они поняли, что он не пьян, и не пристаёт к ним. И даже, может быть, поняли, что дядя-солдат дарит букетики от беды?

Одна взяла и кивнула.

Другая взяла и кивнула.

И быстро пошли, притираясь плечо о плечо и разговаривая оживленно.

И остался у него за плечами замызганный, пропотевший вещмешок.

Где ночевать — это надо было придумывать заново.

В гостиницах нельзя.

К Зое нельзя.

К Веге нельзя.

То-есть, можно, можно. И будет рада. И вида никогда не подаст.

Но запретнее, чем нельзя.

А без Веги стал ему весь этот прекрасный изобильный миллионный город — как мешок тяжелый на спине. И странно было, что еще сегодня утром город ему так нравился и хотелось задержаться надолго.

И еще странно: чему он сегодня утром так радовался? Все излечение его вдруг перестало казаться каким-то особенным даром.

За неполный квартал Олег почувствовал как голоден, и как ноги натер, как тело все устало, и как опухоль недобитая перекатывается внутри. И, пожалуй, хотелось ему поскорей бы только уехать.

Но и возврат в Уш-Терек, теперь вполне открытый, тоже перестал манить. Понял Олег, что там его тоска заглохнет теперь еще больше.

Да просто не мог он представить себе сейчас такого места и вещи такой, которые могли бы его развеселить.

Кроме как — вернуться к Веге.

Обязательно к ногам ее опуститься: «Не гони меня, не гони! Я же не виноват!».

Но это было запретнее, чем нельзя.

Спросил у встречного который час. Третий. Что-то надо было решать.

Увидел на трамвае тот самый номер, который вез в сторону комендатуры. Стал смотреть, где он останавливается ближе.

И с железным скрежетом, особенно на поворотах, трамвай, как сам тяжело-больной, потащил его по каменным узким улицам. Держась за кожаную петлю, Олег наклонился, чтобы из окна видеть что-нибудь. Но волоклись без зелени, без бульваров, мощенка и облезлые дома. Мелькнула афиша дневного кино под открытым воздухом. Занятно было бы посмотреть как это устроено, но что-то уже попригас его интерес к новинкам мира.

Она горда, что выстояла четырнадцать лет одиночества. Но не знает она — а чего может стоить полгода таких: вместе и не вместе.

Свою остановку он узнал, сошел. Теперь километра полтора надо было пройти по широкой улице унылого заводского типа. По ее мостовой грохотали в обе стороны непрерыв-

ные грузовики и тракторы, а тротуар тянулся мимо долгой каменной стены, потом пересекал железнодорожную заводскую колею, потом — пересыпь мелкого угля, потом шел мимо пустыря, изрытого котлованами, и опять через рельсы, там снова стена и, наконец, одноэтажные деревянные бараки — те, что в титулах записываются как «временное гражданское строительство», а стоят десять, двадцать и даже тридцать лет. Сейчас хоть не было той грязи, как в январе, под дождем, когда Костоготов в первый раз искал эту комендантуру. И все равно — уныло долго было идти и не верить, что эта улица — в том самом городе, где кольцевые бульвары, неохватные дубы, неустойчивые тополя и розовое диво урюка.

Как бы она ни убеждала себя, что так надо, так верно, так хорошо — тем надрывней потом прорвется.

По какому замыслу была так таинственно и окраинно помещена комендантура, располагавшая судьбами всех ссыльных города? Но вот тут, среди барачков, грязных проходов, разбитых и заслепленных фанерой окон, развешанного белья, белья, белья — вот тут она и была.

Олег вспомнил отвратное выражение лица того коменданта, даже на работе не бывшего в рабочий день, как он принимал его тут, и сам теперь в коридоре комендантского барака замедлил, чтоб и свое лицо стало независимым и закрытым. Костоготов никогда не разрешал себе улыбаться тюремщикам, даже если те улыбались. Он считал долгом напомнить, что — все помнит.

Он постучал, вошел. Первая комната была совсем гола и совсем пуста: только две долгие колченогих скамьи без спинок и, за баллюстрадной отгородкой стол, где наверно и происходило дважды в месяц таинство отметки местных ссыльных.

Никого тут сейчас не было, а дверь дальше с табличкой «Комендант» — распахнута. Выйдя в прогляд этой двери, Олег спросил строго:

— Можно?

— Пожалуйста, пожалуйста, — пригласил его очень приятный радушный голос.

Что такое? Подобного тона Олег сроду в НКВД не слышал. Он вошел. Во всей комнате был только комендант, за своим столом. Но это не был прежний — с глубокомысленным выражением загадочный дурак, а сидел армянин с мягким, даже интеллигентным лицом, нисколько не чванный, и не в форме, а в гражданском хорошем костюме, не подходящем к этой барачной окраине. Армянин так весело по-

смастривал, будто работа его была — распределять театральные билеты, и он рад был, что Олег пришел с хорошей завкой.

После лагерной жизни Олег не мог быть очень привязан к армянам: там, немногочисленные, они ревностно вызволяли друг друга, всегда занимали лучшие каптерские, хлебные и даже масляные места. Но по справедливости рассуждая, нельзя было за то на них и обижаться: не они эти лагеря придумали, не они придумали и эту Сибирь — и во имя какой идеи им надо было не спасать друг друга, чуждаться коммерции и долбать землю киркой?

Сейчас же, увидя этого веселого, расположенного к нему армянина за казенным столом, Олег с теплотой подумал именно о неказенности и деловитости армян.

Услышав фамилию Олега и что он тут на временном учете, комендант охотно и легко встал, хотя был полон, и в одном из шкафов начал перебирать карточки. Одновременно, как бы стараясь развлечь Олега, он все время произносил что-нибудь вслух — то пустые междометия, а то фамилии, которых по инструкции он жесточайше не имел права произносить:

— Та-а-ак... Посмотрим... Калифотиди... Константи尼迪... Да садитесь, пожалуйста... Кулаев... Карануриев. Ох, затрепался уголок... Казымагомаев... Костоглотов! — И опять в пущий изъясн всех правил НКВД не спросил, а сам же и назвал имя-отчество: — Олег Филимонович?

— Да.

— Та-а-ак... Лечились в онкологическом диспансере с двадцать третьего января... — И поднял от бумажки живые человеческие глаза: — Ну и как? Лучше вам?

И Олег почувствовал, что уже — растроган, что даже защипало его в горле немножко. Как же мало надо: посадить за эти мерзкие столы человеческих людей — и уже жизнь совсем другая. И сам уже не стянута, запросто ответил:

— Да как вам сказать... В одном лучше, в другом хуже... (Хуже? Как неблагодарен человек! Что ж могло быть хуже, чем лежать на полу диспансера и хотеть умереть?..) — Вообще-то лучше.

— Ну и хорошо! — обрадовался комендант. — Да почему ж вы не сядете?

Оформление театральных билетов требовало же все-таки времени! Где-то надо было поставить штамп, вписать чернилами дату, еще в книгу толстую записать, еще из другой выписать. Все это армянин весело, незатрудненно сделал, освободил Олегово удостоверение с разрешенным выездом, и

уже протягивая его и выразительно глядя, сказал совсем неслужебно и потише:

— Вы... не горюйте. Скоро это все кончится.

— Что — э т о? — изумился Олег.

— Как что? Отметки. Ссылка. Ко-мен-дан-ты! — беззаботно улыбался он. (Очевидно, была у него в запасе работка поприятней).

— Что? Уже есть... распоряжение? — спешил вырвать информацию Олег.

— Распоряжение не распоряжение, — вздохнул комендант, — но есть такие наметки. Говорю вам точно. Будет! Держитесь крепче, выздоравливайте — еще в люди выйдете.

Олег улынулся криво:

— В ы ш е л уже я из людей.

— Какая у вас специальность?

— Никакой.

— Женаты?

— Нет.

— И хорошо! — убежденно сказал комендант. — Со ссыльными женами потом обычно разводятся и целая канитель. А вы освободитесь, вернетесь на родину — и женитесь!

Женитесь...

— Ну, если так — спасибо, — поднялся Олег.

Доброжелательно напутствуя кивком, комендант все же руки ему не подал.

Проходя две комнаты, Олег думал: почему такой комендант? Отроду он такой или от поветрия? Постоянный он тут или временный? Или специально таких стали назначать? Очень это важно было узнать, но не возвращаться же.

Опять мимо барачков, опять через рельсы, через уголь, этой долгой заводской улицей Олег пошел увлеченно, быстро, ровней, скоро скинув и шинель от жары — и постепенно в нем расходилось и расплескивалось то ведро радости, которое ухнул в него комендант. Лишь постепенно это доходило все до сознания.

Потому постепенно, что отучили Олега верить людям, занимающим эти столы. Как было не помнить специально распространяемой должностными лицами: капитанами и майорами, лжи послевоенных лет о том, что будто бы готовится широкая амнистия для политических? Как им верили! — «Мне сам капитан сказал!» А им просто велели: подбодрить упавших духом — чтобы тянули! чтобы норму выполняли! чтоб хоть для чего-то силились жить!

Но об этом армянине, если что и можно было предположить, то — слишком глубокую осведомленность, не по за-

нимаемому посту. Впрочем, и сам Олег по обрывкам газет — не того ли и ждал?

Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как же иначе! Человек умирает от опухоли — как же может жить страна, проращенная лагерями и ссылками?

Олег опять почувствовал себя счастливым. В конце концов, он не умер. И вот скоро сможет взять билет до Ленинграда. До Ленинграда!.. Неужели можно подойти и потрогать колонну Исаакия? Сердце лопнет!..

Да что там — Исаакия! Теперь же все менялось с Вегой! Головокружительно! Теперь, если действительно... если серьезно... — ведь это не фантазия больше! Он сможет жить здесь, с ней!

Жить с Вегой! Жить! Вместе! Да грудь разорвет, если только это представить!..

А как она обрадуется, если сейчас поехать и все это ей рассказать! Почему же не рассказать? Почему не поехать? Кому ж во всем свете рассказать, если не ей? Кому еще интересна его свобода?

А он уже был у трамвайной остановки. И надо было выбирать номер на вокзал? Или к Веге? И надо было спешить, потому что она ж уйдет. Уж не так высоко стояло солнце.

И опять он волновался. И тянуло его опять к Веге! И ничего не осталось от верных доводов, собранных по дороге в комендатуру.

Почему, как виноватый, как загрязненный, он должен ее избегать? Ведь что-то же думала она, когда его лечила? Ведь молчала, ведь уходила за кадр, когда он спорил, когда просил остановить это лечение?

Почему же не поехать? Почему они не могут п о д н я т ь с я? не могут быть в ы ш е? Неужели они не лю д и? Уж Вега-то, Вега-то во всяком случае!

И уже он продирался на посадку. Сколько набралось людей на остановке — и все хлынули именно на этот номер! Всем нужно было сюда! А у Олега в одной руке была шинель, в другой вещмешок, нельзя было за поручни ухватиться — и так его стиснуло, завертело и втолкнуло сперва на площадку, а потом и в вагон.

Со всех сторон люто припираемый, он очутился позади двух девушек, по виду студенток. Беленькая и черненькая, они так оказались к нему близки, что, наверно, чувствовали, как он дышет. Его разведенные руки зажали отдельно каждую, так что не только нельзя было заплакать рассерженной кондукторше, но просто нельзя было пошевелить ни той, ни другой. Левой рукой с шинелью он как будто приобнимал

черненькую. А к беленькой его прижало всем телом, от колен и до подбородка он чувствовал ее всю, и она тоже не могла его не чувствовать. Самая большая страсть не могла бы так их сплотить, как эта толпа. Ее шея, уши, колечки волос были придвинуты к нему за всякий мыслимый предел. Через старенькое суконце он принимал ее тепло, и мягкость, и моподость. Черненькая продолжала ей что-то об истинтутских делах, беленькая перестала отвечать.

В Уш-Тереке трамваев не было. Так стискивало, бывало, только в воронках. Но там не всегда в перемешку с женщинами. Это ощущение не подтверждалось ему, не подкреплялось десятилетиями — и тем перерожденней оно было сейчас, тем сильней!

Но оно не было счастьем. Оно было горем. Был в этом ощущении порог, перейти который он не мог даже внушением.

Ну да ведь предупреждали ж его: останется ли б и д о. И только оно!..

Так проехали около двух остановок. А потом хоть и тесно, но уже не столько жали сзади, и уж мог бы Олег немножечко и отклониться. Но он не сделал так: у него не стало воли оторваться и прекратить все блаженство-мучение. В эту минуту, сейчас, он ничего большего не хотел, только еще, еще оставаться так. Хотя бы трамвай пошел теперь в Старый город! Хотя бы, обезумев, он и до ночи лязгал и кружился без остановок! хотя бы он отважился на кругосветное путешествие! — Олег не имел воли оторваться первый! Растягивая это счастье, выше которого он теперь не был достоин, Олег благодарно запоминал колечки на затылке (а лицо ее он так и не повидал).

Оторвалась — беленькая и стала двигаться вперед.

И, выпрямляясь с ослабевших, подогнутых колен, понял Олег, что едет к Веге — на муку и на обман.

Он едет требовать от нее больше, чем от себя.

Они так возвышенно договорились, что духовное обещание дороже всякого иного. Но этот высокий мост составив из рук своих и ее, вот видит он уже, что его собственные подгибаются. Он едет к ней бодро уверять в одном, а думать измученно другое. А когда она уйдет, и он останется в ее комнате один, ведь он будет скулить над ее одеждой, над каждой мелочью, над платочком надушенным.

Нет, надо быть мудрее девчонки. Надо ехать на вокзал.

И не вперед, не мимо тех студенток, он пробился к задней площадке и прыгнул, кем-то обруганный.

А близ трамвайной остановки опять продавали фиалки....

Солнце уже склонялось. Олег надел шинель и поехал на вокзал. В этом номере уже не теснились так.

Потолкавшись по вокзальной площади, спрашивая и получая ответы неверные, наконец, он достиг того павильона, вроде крытого рынка, где продавали билеты на дальние поезда.

Было четыре кассовых окошечка и к каждому стояло человек по сто пятьдесят — по двести. А ведь кто-то еще и отлучился.

Вот эту картину — многосуточных вокзальных очередей, Олег узнал как будто не покидал. Много изменилось в мире — другие моды, другие фонари, другая манера у молодежи, но это было все такое же, сколько он помнил себя: в сорок шестом году так было — и в тридцать девятом так было, и так же и в тридцать четвертом и в тридцатом то же. Еще витрины, ломящиеся от продуктов, он мог вспомнить по НЭПу, но доступных вокзальных касс и вообразить даже не мог: не знали тягости уехать только те, у кого были особые книжечки или особые справки на случай.

Сейчас-то у него справка была, хоть и не очень видная, но подходящая.

Было душно, и он обливался, но Костоглотов еще вытянул из мешка тесную меховую шапку и насадил ее на голову как на колодку для растяга. Вещмешок он нацепил на одно плечо. Лицу своему внушил, что двух недель не прошло как он лежал на операционном столе под ножом Льва Леонидовича — и в этом изнуренном сознании, с меркнувшим взглядом, потащился между хвостов — туда, к окошечку поближе.

Там и другие такие любители были, но не лезли к окошечку и не дрались, потому что стоял милиционер.

Здесь, на виду, Олег слабым движением вытащил справку из косого кармана под полой и доверчиво протянул товарищу милиционеру.

Милиционер — молодеватый усатый узбек, похожий на молодого генерала, прочел важно и объявил головным в очереди:

— Вот этого — поставим. С операцией.

И указал ему стать третьим.

Изнеможенно взглянув на новых товарищей по очереди, Олег даже не пытался втесниться, стоял сбоку, с опущенной головой. Толстый пожилой узбек под бронзовой сенью коричневой бархатной шапки с полями, вроде блюда, сам его подтолкнул в рядок.

Около кассы близко стоять весело: видны пальцы касирши, выбрасываемые билеты, потные деньги, зажатые в руке пассажира, уже достанные с избытком из глухого кар-

мана, из зашитого пояса, слышны робкие просьбы пассажира, неумолимые отказы кассирши — видно, что дело движется и не медленно.

И вот дошло и Олегу наклониться туда.

— Мне, пожалуйста, один общий жесткий до Хан-Тау.

— Докуда? — переспросила кассирша.

— До Хан-Тау.

— Что-то не знаю, — пожала она плечами и стала листать огромную книгу-справочник.

— Что ж ты, милочка, общий берешь? — пожалела женщина сзади. — После операции — и общий? Полезешь наверх — швы разойдутся. Ты бы плацкарт брала.

— Денег нет, — вздохнул Олег.

Это была правда.

— Нет такой станции! — крикнула кассирша, захлопывая справочник. До другой берите.

— Ну как же нет, — слабо улыбнулся Олег. — Она уже год действует. Я сам с нее уезжал. Если б я знал — я бы вам билет сохранил.

— Ничего не знаю! Раз в справочнике нет — значит, станции нет!

— Но поезда-то останавливаются! — более горячо, чем мог бы операционный, втягивался спорить Олег. — Там-то касса есть!

— Гражданин, не берете — проходите! Следующий!

— Правильно, чего время отнимать? — рассудительно гудели сзади. — Бери, куда дают!.. С операции, а еще ковыряется.

Ух, как бы Олег сейчас мог поспорить! Ух, как бы он сейчас пошел вокруг, требуя начальника пассажирской службы и начальника вокзала! Ух, как любил он прошибать эти лбы и доказывать справедливость — хоть эту маленькую нищенскую, а все же справедливость! Хоть в этом отстаивании опутать себя личностью.

Но железен был закон спроса и предложения, железен закон планирования перевозок! Та добрая женщина позади, что уговаривала его в плацкартный, уже совала свои деньги мимо его плеча. Тот милиционер, который только что вставил его вчере дь, уже руку поднимал отвести его в сторону.

— От той мне тридцать километров добираться, а от другой семьдесят, — еще жаловался Олег в окошечко, но это было уже по-лагерному, жалоба зеленого фрайера. Он сам спешил согласиться: — Хорошо, давайте до станции Чу.

А эта станция и наизусть была известна кассирше, и цена известна, и билет еще был — и надо было только радо-

ваться. Тут же, не отходя далеко, проверил Олег дырчатую пробивку на свет, вагон проверил, цену проверил, сдачу проверил — и пошел медленно.

А чем дальше от тех, кто знал его как операционного — уже распрямляясь, и сняв убогую шалку, сунул ее в мешок опять. Оставалось до поезда два часа — и приятно было их провести с билетом в кармане. Можно было теперь пировать: мороженого поесть, которого в Уш-Тереке уже не будет, кваса выпить (не будет и его). И хлеба-черняшки купить на дорогу. Сахара не забыть. Терпеливо налить кипятка в бутылку (большое дело — своя вода с собой!). А селедки — ни за что не брать. О, насколько же это вольготнее, чем ехать столыпинским этапом! — не будет обыска при посадке, не повезут воронком, не посадят на землю в обступе конвоиров, и от жажды не мучиться двое суток! Да еще, если удастся, захватить третью багажную полку, там растянуться во всю длину — ведь не на двоих, не на троих она будет на одного! Лежать — и болей от опухоли не слышать. Да ведь это же счастье! Он счастливый человек! На что он может жаловаться?..

Еще и комендант что-то болтнул про амнистию...

Пришло долгожданное счастье жизни, пришло! — а Олег его почему-то не узнавал.

В конце-концов, ведь есть же «Лева» и на «ты». И еще другой кто-нибудь. А нет — сколько возможностей!.. Появляется взрывом один человек в жизни другого.

Утреннюю луну сегодня когда он увидел — он верил! Но луна-то была — уцербленная...

Теперь надо было выйти на перрон — гораздо раньше выйти, чем будет посадка на его поезд: когда будут пустой их состав подавать, уже надо будет заметить вагон и бежать к нему, захватывать очередь. Олег пошел посмотреть расписание. Был поезд в другую сторону — семьдесят первый, на который уже должна была идти посадка. Тогда, выработав в себе запышку и быстро проталкиваясь перед дверью, он спрашивал у кого попало, и у перронного контролера тоже (билет же вытарчивал из его пальцев):

— Семь пятый — уже?.. семь пятый — уже?..

Очень он был испуган опоздать на семьдесят пятый, и контролер, не проверяя билета, подтолкнул его по огруженному, распухшему спинному мешку.

По перрону же Олег стал спокойно гулять, потом остановился, сбросил мешок на каменный выступ. Он вспомнил другой такой смешной случай — в Сталинграде, в тридцать

девятом году, в последние вольные деньки Олега: уже после договора с Рибентропом, но еще до речи Молотова и до указа о мобилизации девятнадцатилетних. Они с другом в то лето спускались по Волге на лодке, в Сталинграде лодку продали, и надо было на поезд — возвращаться к занятиям. А порядочно у них было вещей от лодочной езды, еле тянули в четырех руках, да еще в каком-то глухом сельмаге приятель Олега купил репродуктор — в Ленинграде в то время их нельзя было купить. Репродуктор был большой, раскрытый раструб без футляра — и друг боялся его помять при посадке. Они вошли в сталинградский вокзал — и сразу оказались в конце густой очереди, занявшей весь зал, заставившей его деревянными чемоданами, мешками, сундучками — и пробиться прежде времени было невозможно, и грозило им на две ночи остаться без лежачих мест. А на перрон тогда свирепо не пускали. И Олега осенило: «Уж дотащишь как-нибудь все вещи до вагона, хоть самый последний?». Он взял репродуктор и легким шагом пошел к служебному запретному проходу. Через стекло важно помахал дежурному репродуктором. Та отперла. «Еще вот этот поставлю и все», — сказал Олег. Женщина кивнула понимающе, будто он тут целый день таскался с репродукторами. Подали поезд — он до посадки первый вскочил и захватил две багажные полки.

Ничего не изменилось за шестнадцать лет.

Олег похаживал по перрону и видел тут других таких хитрых, как он: тоже прошли не к своему поезду и здесь с вещами ждали. Немало их было, но все же перрон был куда свободней, чем вокзал и привокзальные скверы. Тут беспечно гуляли и с семьдесят пятого люди свободные, одетые хорошо, у которых места были нумерованы, и никто без них захватить не мог. Были женщины с подаренными букетами, мужчины с пивными бутылками, кто-то кого-то фотографировал — жизнь недоступная и почти непонятная. В теплом весеннем вечере этот долгий перрон под навесом напоминал что-то южное из детских лет — может быть Минеральные Воды.

Тут Олег заметил, что на перрон выходит почтовое отделение и даже прямо на перроне стоит четырехскатный столик для писем.

И — заскребло его. Ведь это надо. И лучше сейчас, пока не раздробилось, не затерлось.

Он втолкнулся с мешком внутрь, купил конверт — нет, два конверта с двумя листами бумаги, — нет, еще и открытку, — и вытолкнулся опять на перрон. Мешок с утюгом и

буханками он поставил между ног, утвердился за покатым столиком и начал с самого легкого — с открытки:

«Здорово, Демка!

Ну, был в зоопарке! Скажу тебе: это ведь! Такого — никогда не видел. Пойди обязательно. Белые медведи, представляешь? Крокодилы, тигры, львы. Клади на осмотр целый деньдень, там и пирожки внутри продают. Не пропусти винтового козла. Не торопясь постой около него — и подумай. Еще если увидишь антилопу нильгау — тоже... Обезьян много — посмеешься. Но одной нет: макаке-резус злой человек насыпал в глаза табак — просто так, ни за чем. И она ослепла.

Скоро поезд, спешу.

Выздоровливай — и будь человек! На тебя — надеюсь!

Алексею Филиппычу пожелай от меня доброго! Я надеюсь — он выздоровеет.

Жму руку!

Олег».

Писалось легко, только ручка очень мазала, перья были перекоsobочены или испорчены, взрывали бумагу, упирались в нее как лопата, и в чернильнице хранились лохмотья, так что при всей осторожности старшим на вид выходило письмо:

«Пчелка Зоенька!

Я благодарен вам, что вы разрешили мне прикоснуться губами — к жизни настоящей. Без этих нескольких вечеров я был бы совсем, ну совсем какой-то обокраденный.

Вы были благоразумнее меня — зато теперь я могу уехать без угрызений. Вы приглашали меня зайти — а я не зашел. Спасибо! Но я подумал: останемся с тем, что было, не будем портить. Я с благодарностью навсегда запомню все ваше.

Искренне, честно желаю вам — самого счастливого замужества!

Олег».

Это как во внутренней тюрьме: в дни заявлений давали вот такую же мерзость в чернильнице, перо вроде этого, а бумага — меньше открытки, и чернила сильно плывут, и насквозь проступают. Пиши кому хочешь, о чем хочешь.

Олег перечел, сложил, хотел заклеить (с детства пом-

нил он детективный роман, где все начиналось с путаницы конвертов) но не тут-то было! Лишь утемнение на скосах конверта обозначало то место где по ГОСТ'у подразумевался клей, а не было его, конечно.

И обтерев из трех ручек не самое плохое перо, Олег задумался над последним письмом. То он твердо стоял, даже улыбался. А сейчас все зыбилось. Он уверен был, что напишет «Вера Корнильевна», а написал:

«Милая Вега!

(Я все время порывался вас так назвать, ну — хоть сейчас).

Можно мне написать вам совсем откровенно — так как мы не говорили с вами вслух, но — ведь думали? Ведь это не просто больной — тот, кому врач предлагает свою комнату и постель?

Я несколько раз к вам шел сегодня! Один раз — дошел. Я шел к вам и волновался, как в шестнадцать лет, как, может быть, уже неприлично с моей биографией. Я волновался, стеснялся, радовался, боялся. Ведь это надо столько лет исколесить, чтобы понять: Бог посылает!

Но, Вега! Если б я вас застал, могло бы начаться что-то неверное между нами, что-то насильно задуманное! Я ходил потом и понял: хорошо, что я вас не застал. Все, что мучились вы до сих пор и что мучился до сих пор я — это по крайней мере можно назвать, можно признать! Но то, что началось бы у нас с вами — в этом нельзя было бы даже сознаться никому! Вы, я, и между нами это — какой-то серый, дохлый, но все растущий змей.

Я — старше вас, не так по годам, как по жизни. Так поверьте мне: вы — правы, вы во всем, во всем, во всем правы! — в вашем прошлом, в вашем сегодняшнем, но только будущую себя угадать вам не дано. Можете не соглашаться, но я предсказываю: еще прежде, чем вы доплывете до равнодушной старости, вы благословите этот день, когда не разделили моей судьбы. (Я не о ссылке совсем говорю — о ней даже слух, что кончится). Вы полжизни своей закололи, как ягненка — пощадите вторую!

Сейчас, когда я все равно уезжаю (а если кончится ссылка, то проверяться и дальше лечиться я буду не у вас, значит, — мы прощаемся), я открою вам: и тогда, когда мы говорили о самом духовном, и я честно так думал и верил, мне все время, в с е в р е м я хотелось — вскинуть вас на руки и в губы целовать!

Вот и разберись.

И сейчас я без разрешения — целую их».

То же было и на втором конверте: отемненная полоска, совсем не клейкая. Всегда Олег почему-то думал, что это — не случайно.

А за спиной его — хо-го! — пропала вся предусмотрительность и хитрость — уже подавали состав и бежали люди!

Он схватил мешок, схватил конверты, втиснулся в почту: — Где клей? Девушка! Клей есть у вас? Клей!

— Потому что уносят! — громко объясняла девушка. Посмотрела на него, нерешительно выставила баночку: — Вот тут, при мне, клейте! Не отходя.

В черном густом клее маленькая ученическая кисточка по своему веретенному тельцу давно обросла засохшими и свежими комьями клея. Почти не за что было ухватить, и мазать надо было — всем телом ручки, как пилой вода по конвертной укосине. Потом пальцами снять лишнее. Заклеить. Еще снять пальцем избыточный, выдавленный.

А люди — бежали.

Теперь: клей — девушке, мешок — в руки (он между ногами все время, чтоб не уперли), письма — в ящик, и самому бегом!

Как будто и доходяга, как будто и сил нет, а бегом — так бегом! и потом взволакивая на вторую платформу, бежал из главных выпускных ворот, — Олег донесся до своего вагона и стал примерно двадцатым. Ну, к ставшим еще подбегали свои, ну, пусть будет тридцатым. Второй полки не будет, но ему и не надо по длинным ногам. А багажной должно бы хватить. Закинут корзины — перепихнем корзины.

Все везли какие-то однообразные корзины, и ведра даже — не с первой ли зеленью? Не в ту ли Караганду, как рассказывал Чалый, исправлять ошибки снабжения?

Седой старичок-кондуктор кричал, чтобы стали вдоль вагона, чтоб не лезли, что всем место будет. Но это последнее у него не так уж уверенно было, а хвост позади Олега рос. И сразу же заметил Олег движение, которого опасался: движение прорваться поперек очереди. Первым таким лез какой-то бесноватый кривляка, которого незнающий человек принял бы за психопата, и пусть себе идет без очереди, но Олег за этим психопатом сразу узнал *п о л у ц в е т а* с этой обычной для них манерой пугать. А вслед за крикуном подпирала и простые тихие: этому можно, почему не нам?

Конечно, и Олег мог бы так же полезть, и была бы его верная полка, но насточертело это за прошлые годы, хотелось по чести, по порядку, как и кондуктору-старичку.

Старичок все-таки не пускал бесноватого, а тот уже толкал его в грудь и так запросто материл, как будто это были самые обычные слова речи. И в очереди сочувственно загудели:

— Да пускай идет! Больной человек!

Тогда Олег сорвался с места, в несколько больших шагов дошел до бесноватого и в самое ухо, не щадя перепонки, заорал ему:

— Э-э-эй! Я тоже — от т у д а!

Бесноватый откинулся, ухо потер:

— Откуда?

Олег знал, что слаб сейчас драться, что это все на последних силах, но на всякий случай обе длинных руки у него были свободны, а у бесноватого одна с корзиной. И, нависнув над бесноватым, он теперь, наоборот, совсем негромко отмерил:

— Г д е д е в я н о с т о д е в я т ь п л а ч у т , о д и н с м е е т с я .

Очередь не поняла, чем излечен был бесноватый, но видели, как он остыл, моргнул и сказал длинному в шинели:

— Да я ничего не говорю, я не против, садись хоть ты.

Но Олег остался стоять рядом с бесноватым и с кондуктором. На худой-то конец отсюда и он полезет. Однако, подпиравшие стали расходиться по своим местам.

— Пожалуйста! — укорял бесноватый. — Подождем.

И подходили с корзинами, с ведрами. Под мешочной накрытой иногда ясно была видна крупная продолговатая лилово-розовая редиска. Из трех двое предъявляли билет до Караганды. Вот для кого Олег очередь установил! Садись и нормальные пассажиры. Женщина какая-то приличная, в синем жакете. Как сел Олег — так за ним уверенно вошел и бесноватый.

Быстро идя по вагону, Олег заметил небоковую багажную полку, еще почти свободную.

— Так! — объявил он. — Корзинку эту сейчас передвинем.

— Куда? Чего? — всполошился какой-то хромой, но здоровый.

— Того! — отозвался Костоготов уже сверху. — Людям ложиться негде.

Полку он освоил быстро: вещмешок пока сунул в головы, вытащив из него утюг; шинель снял, расстелил и гимнастерку сбросил — тут, наверху все можно было. И лег остывать. Ноги его в сапогах сорок четвертого размера нависали над проходом на полголена, но так высоко не мешали никому.

Внизу тоже разбирались, остывали, знакомились.

Тот хромой, общительный, сказал, что раньше ветфельдшером был.

— И чего же бросил? — удивились.

Да что ты! — чем за каждую овечку на скамью садиться, отчего подохла — я лучше буду инвалид, да овощи свежу! — громко разъяснял хромой.

— Да чего ж! — сказала та женщина в синем жакете. — Это при Берии за овощи, за фрукты ловили. А сейчас только за промтовары ловят.

Солнце было уже, наверно, последнее, да его и заслонял вокзал. Внизу купе еще было светловато, а наверху тут — сумерки. Купированные и мягкие сейчас гуляли по платформе, а тут сидели на занятом, вещи устраивали. И Олег вытянулся во всю длину. Хорошо! С поджатыми ногами очень плохо двое суток ехать в столыпинском. Девятнадцати человекам в таком купе очень плохо ехать. Двадцати трем еще хуже.

Другие не дожили. А он дожил. И вот от рака не умер. Вот и ссылка уже колется, как яичная скорлупа.

Он вспомнил совет коменданта жениться. Все будут скоро советовать.

Хорошо лежать. Хорошо.

Только когда дрогнул и тронулся поезд — там, где сердце, или там, где душа — где-то в главном месте груди, его схватило. И он перекрутился, навалился ничком на шинель и ткнулся лицом зажмуренным в угловатый мешок с буханками.

Поезд шел — и сапоги Костоглотова, как мертвые, побалтывались над проходом носками вниз.

Злой человек насыпал табаку в глаза макаке-резус.

Просто — так...

КОНЕЦ ПОВЕСТИ.

О П Е Ч А Т К И

страница	строка	напечатано	следует читать
34	11	слышно	слышно
34	13	начинал	начинала
34	12	досадный	досадный
62	17	нагол ову	на голову
89	4	по	но
95	9	белорылий	белорылый
111	22	желают	жалеют
112	24	сдыхала	сбыхла (сбыла)
115	5	лускала	лузгала
119	18	nene	нее
136	11	зас ледующим	за следующим
140	5	видет	видеть
146	17	кипил	купил
147	11	потм	потом
151	14	свих	своих
164	11	стоояла	стояла
167	21	свих	своих
224	15	иу беждал	и убежал
253	17	синаестрол	синестрол
254	9	прожит	прожить
266	4	по прежннему	по-прежнему
270	11	в тумбочку	в тумбочку.
281	4	верите	вертите
285	17	венеорлога	венеролога
292	18	ввиченный	ввинченный
299	5	вседа	всегда
313	2	впышки	вспышки
317	21	раззьяв	раззявя
323	6	кторые	которые
329	20	логди кессантные	лодки десантные
351	16	всег	всего
356	8	глазами	глазами
356	9	доубежляя	доубеждая
360	19	Тиохновича	Тихоновича
360	31	только	только
361	21	эт	это
363	5	ис просил	и спросил
364	17	заствляли	заставляли
374	18	мучаться	мучиться
375	5	Людмила	Людмила
376	17	ве	не
377	13	отдепением	отделением
386	5	иколаевич	Николаевич
393	5	првый	первый
406	4	в	к
412	6	находиышая	находившая
414	5	десятилетьями	десятилетиями
417	7	дестать	достать
419	5	сикрящимися	искрящимися
426	21	румянец	румянец
426	12	фо раз	фраз
437	6	моподость	молодость
437	21	немножечко	немножечко
442	7	дендень	день
442	22	страшным	страшным
443	14	ва	вы

ка-и ?)

<303
<309

342?)

370 ш
371 gefahrt
387 привит ну лж

выбрел
или
выбрал
себя)

421
колеса
открыты
421